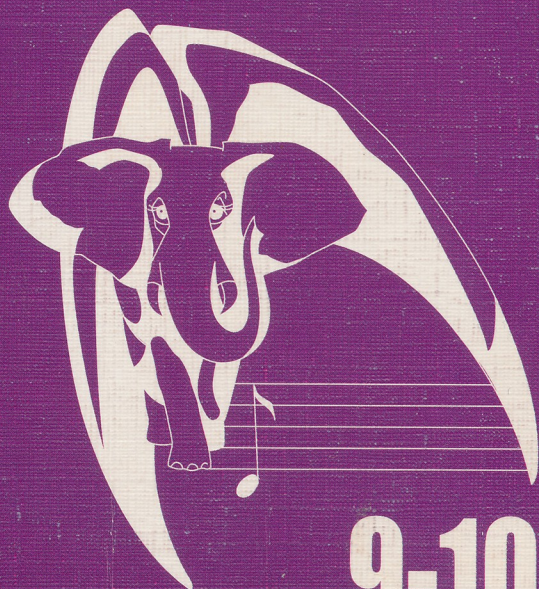


Издательский дом GrishineL

ISSN 1993-9477

Литературно-художественный журнал

# ВОЛГА XXI ВЕК



9-10  
2007

ВОЛГА XXI ВЕК

9-10 2007



Е. Егоров. «Уборка поля». 1926 г., х., м., 53x68,3

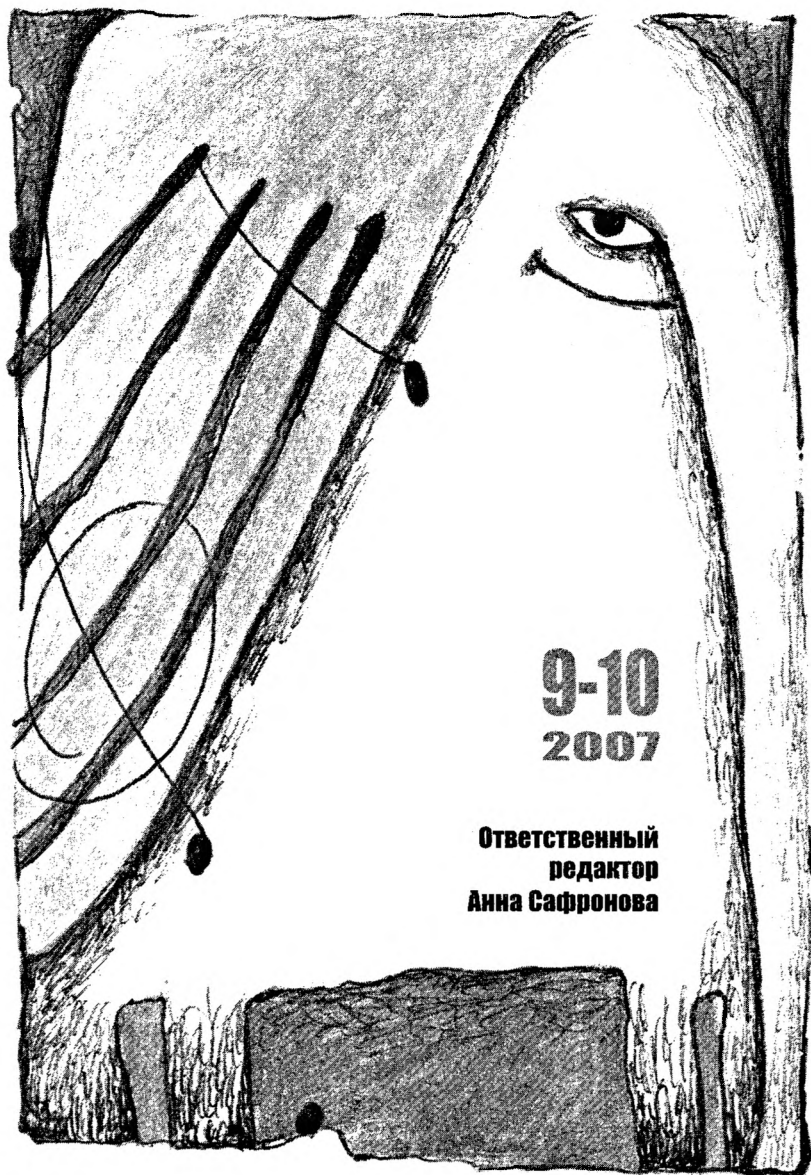


Е. Егоров. «Чайная Феди Курчавова». 1923 г., х., м., 68x50

Литературно-художественный журнал

# ВОЛГА

XXI ВЕК



9-10  
2007

Ответственный  
редактор  
Анна Сафронова

Издательский дом GrishineL  
Саратов  
2007

**9-10**  
**2007**  
**Содержание**

<b>СТИХИ</b>	3	Александр Ожиганов. Некоторые послания и посвящения
<b>ОПЫТ ПРОПАДАНИЙ И ВОЗНИКНОВЕНИЙ В СВОЕМ ФОРМАТЕ</b>	11	Валерий Володин. Повесть временных лет
	95	Татьяна Грауз. <i>Рассказы</i>
	102	Евгений Стрелков. Приглашение к путешествию малой скоростью
<b>ДЕБЮТ</b>	105	Алексей Маслов. «За стенкой дома...» <i>Стихи. Послесловие Алексея Александрова</i>
<b>ПРОСТО ПРОЗА ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ</b>	117	Татьяна Лебедева. Кукушкины дети. <i>Повесть</i>
	165	Алексей Голицын. «Сегодня пиво дали неплохое...» и др.
	166	Сергей Кузнецов. «Ты говоришь, живу в глуши...» и др.
	167	Жан-Мари Пьери. «Верхняя Волга» и др.
	169	Владимир Баев. «Все происходит не со мной...» и др.
	170	Елена Спирина. «Июнь пьян...» и др.
	171	Алиса Розанова. «Бумажные судьбы...» и др.
<b>БАЙКИ ГЛЕБУЧЕВА ОВРАГА</b>	173	Анатолий Назаров. Про дядю Мишу, ушедший город и прочую жизнь. <i>Вступительные заметки: Сергей Боровиков, Игорь Сорокин, Ольга Кострюкова</i>
<b>ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ</b>	191	Ефим Водонос. «Гроза моментальная навеки»: о творчестве Евгения Егорова
<b>ВЫСТАВКИ, СОБЫТИЯ</b>	203	Ирина Маршева, Юрий Филиппов. Тени культурного наследия
	208	А. Н-й «Crazy-House» и другие...
<b>ПЕРЕВОД</b>	213	Людвиг Ахим фон Арним. Рафаэль и его соседки. Повесть. <i>Предисловие, перевод Марины Куличихиной</i>
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	240	Марта Антоничева. Наши другие берега
	242	Алексей Александров. «Абзац» как альманах и проект
	243	Михаил Богатов. Говорить и быть
	245	Сергей Боровиков. Выход ученого
	246	Роман Арбитман. Элементарно, дорогой Холмс!
	249	Андрей Суздалев. Три книги из проекта «Кабинет Зангези»
		<b>Рубрика в рубрике: В отсутствие «Волги»...</b>
	254	Сергей Боровиков. Что и как
	258	Алексей Голицын. Лебединая песня. «Я умер в палиндромный год...»
<b>КИНООБОЗРЕНИЕ</b>	261	Иван Козлов. Императоры, топ-менеджеры и дамская проза

**Александр  
Ожиганов**

# Некоторые послания и посвящения

**АЛЕКСАНДР  
ОЖИГАНОВ**  
*родился в 1944 году  
в Молдавии, рос  
в Одессе, учился  
в Кишиневском  
и Ленинградском  
университетах. Жил  
в Ленинграде, затем  
в Самаре. В самарский  
период стал  
постоянным автором  
«Волги». Для журнала  
его открыл Виктор  
Кривулин, он же  
написал предисловие  
к первой публикации –  
стихи из цикла  
«Подвал» («Волга»,  
№ 9–10, 1992). Книги:  
«Трещотка: Избранные  
стихотворения  
1960–70-х гг.»  
(М.: АРГО-РИСК;  
Тверь: Колонна, 2002);  
«Ящери-речь: Поэмы»  
(М.: АРГО-РИСК;  
Тверь: Колонна, 2005).  
Живет в Москве.*

КТО СВАЛИЛ, КТО СВАЛИЛСЯ,  
КТО ВЛЕЗ В СОЮЗ,  
В ЦЕРКОВЬ, В ПАРТИЮ,  
В ПОСТ–ШОУ–БИЗНЕС–ЙОГУ,  
КТО ЗАПИЛ, КТО ЗАБИЛ,  
КТО ЗАБЫЛ ПРО МУЗ,  
КТО ЗАБИЛСЯ ЗИМОЙ,  
КАК МЕДВЕДЬ, В БЕРЛОГУ,  
КТО ЛОСНИТСЯ ВАЛЕТОМ,  
КТО ЛОВИТ БЛОХ,  
КТО САЖАЕТ ТАРЕЛКИ  
НА ЛОБНОМ МЕСТЕ,  
КТО ЕЩЕ ХОТЬ КУДА,  
КТО СОВСЕМ УЖ ПЛОХ  
И О КОМ УЖЕ НЕТ НИКАКИХ  
ИЗВЕСТИЙ,  
СОТНИ РАЗ ПОВТОРЯЯСЬ,  
ДРУЗЬЯ, ВСЕМ Я  
ГОВОРЮ: ПУСТЬ Я ВАС,  
МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ СТОЮ,  
ВЫ–МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ СЕМЬЯ,  
ГДЕ Я ТИХО ЮРОДСТВУЮ–  
СИРОТОЮ.

**Памяти  
Леонида Аронсона**

Несчастный случай на охоте,  
в постели или на войне...

Но то, что вы еще живете,  
вдвойне случайнее, втройне  
несчастнее—вы, на поминках  
скорбящие с набитым ртом  
о всех осечках, всех заминках  
и всех невыпалах—гуртом.

И так ожесточенно живы,  
жуя кружочки колбасы,  
вы, шестирукие, как шивы,  
и трехголовые, как псы

**Памяти  
Бориса Викторова**

хоронили бедного Бориса  
восемнадцатого октября  
и как театральная кулиса  
высилась стена монастыря  
кто с высокой паперти на дольний  
мир глазел кто шастал за стеной  
а перед высокой колокольной  
клен лоснился мертвой желтизной  
поп топорился за аналоем  
действие длилось полтора часа  
плыло пламя желто-голубое  
в бледно-голубые небеса

все потом столпятся у могилы  
слушая как молотки стучат  
веруя что ангелы и силы  
встретят душу у отверстых врат

**Виктору Кривулину**

И тьма от тьмы— мадьяры?.. татарва?.. —  
отъединилась. Одр орды расправил  
ошметки крыльев. Плыли против правил,  
спустя тысячелетья... рукава...

И лукиановские острова,  
паря в имперско-писарской оправе,  
бросали полуграмотной оправе  
спасательные полые слова

в картушах – елисейские писцы!  
И близнецы небесные сосцы  
терзали в катакомбах: лупанарий!..

Один из полых слов построит Рим.  
Другой создаст отсутствием своим  
полей красноречивый комментарий.

## Елене

Где ты была? – у черта на рогах?..  
за пазухой у бога?.. И поныне  
ты пребываешь там. Межзвездный прах  
мутит седое серебро Полыни.

Но и поныне ноет не-ребро,  
нелепица писца при переводе  
с немецкого на идиш. Серебро  
Полыни. Столкновение в переходе  
Между Аидом и Шеолом. Стык  
инертных половин бесплотной массы.  
Праматери раздвоенный язык,  
Серебряный родник забытой расы.

Полынных звезд сигнальные огни,  
гортани карстовой регистровые тени.  
И Лета леденит уже ступни,  
лодыжки, икры, голени, колени...

## Александрю Кушнеру

*Эти бешеные страсти  
И взволнованные жесты...*

*А. Кушнер*

Скрежешет лед. И брызжет пена.  
И раскаляясь докрасна,  
не лицедействует весна,  
а вырывается из плена.  
В брожение вздыбленного теста  
она пускает пузыри,  
и шабаш возгласа и жеста  
здесь бесы правят до зари.

А утром – жаворонков пень,  
скрипенье веток, пир жуков,  
и щук упругое скольжение,  
и ток и кровь тетеревов.  
И ветер шалый в упоенье  
смешавший стайки тополей.  
И вяжущий мне пальцы клей.  
И – тайное – корней сплетенье.

На окраину – мимо  
Папиросного дыма,  
Духоты и развалов  
Одеял и вокзалов,  
Предрассветно огромных,  
Как беда за плечами,  
Мимо головолomных  
И печальных прощаний –  
В предысторию, в горы,  
Где над струйками серы  
Только тихие хоры  
И хрустальные сферы.

На окраину – мимо  
Одного нелюдима  
В корабельной каморке,  
Продуваемой ветром  
(Это стало секретом  
И осталось на полке  
Незаконченной темой),  
Пролетев, ибо где мой  
Дом, взлетающий круто?..  
Это – тема ПРИЮТА  
Самой первой поэмы.

И стучат электрички,  
И дрожат сигареты,  
И ломаются спички  
Между пальцев согретых...  
И срываются где-то  
У Сосновой поляны  
Напоенные летом  
Сумасбродные планы.

Мы уже не узнаем,  
Сколько грусти до Рима,  
Ждут ли нас за Дунаем...  
Мимо!





Прощай, моя радость! На льдинах, на лужах, на прелом  
заопленном дерне петляющих тропочек мерзких –  
счастливой часовенкой в синем платочке на белом  
улыбчивом личике: это от первоапрельских  
случившихся шуток, сумятиц и «что с тобой случилось?»,  
коротких прогулок, по-прежнему перед обедом,  
когда все иначе, когда постоянно казалось:  
ломается голос, а ты забываешь об этом!

Последний подарок, податливей губ и опасней  
шуршащих пластинок и писем – простуженный голос.  
Не память, а поле, сентябрьский дождик над пашней,  
стога и лукошки, овсяный раскидистый колос.  
И – вольному воля! Окольным путем, перелеском,  
картофельным полем, полянами или овсами,  
почти что сливаясь с озерным размеренным плеском,  
прокружиться и падать всю ночь заодно с небесами!..

Не так, моя радость! За дзеньканьем редких сосулеч  
и хлопаньем пушки – написанный набело метод.  
О, как я боялся смотреть на подмоченный сурик  
петровских коллегий, предчувствуя заговор этот!  
Когда же возили песок и вода прибывала,  
стояли зеваки и ветер высвистывал вольно,  
я знал, что вода не поднимется выше подвала:  
пройдет по ногам! – и что этого будет довольно.

Я знал, что не будет ни писем, ни встреч, ни шатаний  
пустых электричек до часа второго крещения,  
что это природа во власти своих предписаний  
скулит сиротливо, и жметя, и жаждет прощенья.  
И я за гранит, как батрак за кусок чернозема,  
держась, оживаю... Полгода неравного боя.  
Прощай, моя радость! На месте бывшего погрома –  
простуженный голос, апрельская звонница, Зоя.

### Эдуарду Лимонову

пошейте Эдуард штаны. мне плохо.  
мы ходим взад-вперед как шатуны.  
у Вас была великая эпоха  
а у меня – протертые штаны.  
пошейте мне штаны. ну что Вам стоит?  
Москва Одесса Харьков Ленинград  
стоят. а мы сидим. штаны – простое.  
потом мы их обмоем Эдуард!

\* Жизнь (греч.)

уже забронзовел как танк Иосиф.  
 нам с Вами позолота не к лицу.  
 будь я смелее я бы тоже бросил  
 в кого-нибудь по тухлому яйцу.  
 но я труслив. Дела Лимонов плохи.  
 в апреле вместо тезисов – дожди.  
 дымит Багдад. Отпрыгался Курехин.  
 вы из кутузки лезете в вожди.

оскома ломит челюсти. подросток  
 Савенко поседел заматерел...  
 не мне судить. не мне судить. мне просто  
 нехорошо, бесштаный я б хотел  
 припомнить с Вами времечко застоя  
 когда прочел мне Кока как-то раз  
 как писала – не помню... Рая? – Зоя  
 заглядывая (sic!) в свой унитаз.

ты царь. живи один. и все такое.  
 подите прочь! – и прочее. прочтите  
 Эдуард стишок и все бывшее  
 в отжившем сердце оживет. почти.  
 почти что оживет... мое почтенье  
 Лимонов. одинаковым был старт.  
 но я гляжу на наше поколение –  
 грущу и удивляюсь Эдуард.

мы оба занимались коммунизмом.  
 Вы вот национал (sic!)-большевик.  
 уж лучше заниматься онанизмом.  
 но улаживать себя я не привык.  
 я на себя Лимонов не люблюю.  
 заглянешь брехать в зеркало: ну-ну!  
 а впрочем я бы улажил любуюю.  
 но боги подложили мне жену.

И вот – живем. горласта Ваша муза.  
 моя скромней. и голосочек тих.  
 но памяти Советского Союза  
 я может быть и посвятил бы стих  
 когда б не эти эхи ахи охи  
 КППС СП СА Главлит  
 где сильно подзаряженный Курехин  
 куражась синим пламенем горит.

когда свобода примет вас у входа  
 вы гражданин другой такой страны  
 на радостях пришлите для урода  
 собственноручно шитые штаны.

12 апреля 2003 г.

## ВОСПОМИНАНИЯ О БЕССАРАБИИ

Нате Напович

бродский<sup>1</sup> друкер<sup>2</sup> каплан ожиганов  
 Фрадис хорват капович панэ  
 бессарабский парнас хулиганов  
 и поэтов поющих по не-  
 подцензурным законам где мелос  
 как бредущий в осиннике лось  
 хорошо на Рышкановке пелось  
 на Ботанике славно пилося

жили как у подножья вулкана  
 только задним умом и крепки  
 и панэ наподобие Пана  
 чашку лбом разбивал в черепки  
 вот сидят все на Малой Малине  
 вот уходят Долиною Роз  
 веря: встретятся завтра же и не...  
 и не зная еще: не пришлось

кто в нью-йорке кто в кельне кто в Риме  
 кто в Москве кто в каком-то одном...  
 кто в небесном Иерусалиме  
 кто в иерусалиме земном  
 рождество на вокзале кабина  
 диск крутя – дождь-жар-дрожь  
 дождь-жар-дрожь –  
 где отечество а где чужбина  
 с бодуна ни за что не поймешь

дождь стук-звяк привокзальных стаканов  
 и ступают опять на панель  
 бродский друкер каплан ожиганов  
 фрадис хорват капович панэ  
 и в бреду ли в хмельном ли угаре  
 возносясь над жестяным кустом  
 исчезают... а Штефан чел Маре<sup>3</sup>  
 осеняет их – снизу – крестом

<sup>1</sup> Александр Бродский<sup>2</sup> Борис Виктор<sup>3</sup> Стефан Великий (памятник)

ОПЫТ ПРОПАДАНИЙ И ВОЗНИКНОВЕНИЙ

Валерий  
Володин

# Повесть временных лет



**ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН**  
 родился в 1956 году.  
 Закончил отделение  
 психологии  
 биологического  
 факультета  
 Саратовского  
 государственного  
 университета.  
 Прозу печатал  
 в 90-х годах в журнале  
 «Волга», где работал  
 продолжительное  
 время. В журнале  
 «Волга—XXI век»  
 опубликована повесть  
 «Никто ниоткуда и  
 никуда» (№ 3—4, 2007).  
 Живет в Саратове.

**Н**аконец-то меня настигла всеобъемлющая безвестность.

Раньше-то я хоть немного был известен. Хоть отдельными краешками своего существования.

Теперь я обрел полную противоположность славе. Голыми руками ныне меня не возьмешь. Исчезающая. Искренне таю в ваших руках.

Как вам моя пустота? Не покусывает?

Ах, предчувствия мне не солгали...

Все-таки прелесть как хороши старенькие песни! Век бы с добавкой их слушал, переоборудовав ухо под прошлое.

Ничтожный человек уверенно порождает ничтожного писателя. Ничтожный писатель не породит даже и ничтожного человека.

Обыватель, конечно, штука хорошая. Но только чего ж с ним заигрывать-то, улыбкой лилейно стелясь? Он не для игрушек создан, не для баловства. А для того, чтоб пошлость не кончалась. Уйдите с вашей лилейностью, не отвлекайте его от его прямого дела. Пусть он во всю дурь блеснет, во все обворожительное ее зарево. Тогда и похвалим. Или сблюем. Это уж куда честная и трезвая кривая вывезет, она три дня пить бросила, не подведет.

Водка была единственным (и замечательным; друзей не предаю) способом восстановления и поддержания сил. Больше извне ни сил и ничего взять было неоткуда. Совместная женщина была бессодержательнее водки в расхожем ее варианте. Из нее — женщины — ничего не почерпнуть, кроме раздражения, пустой боли.

Выражаю водке горячую благодарность, награждаю ее личным орденом третьей степени, а засим с ней прощаюсь, — она стала так же бессодержательна, как и безвинная вроде бы женщина. Со временем все выдыхается. Все становится одним опошлелым, выдохшимся временем. И та, и эта выдохлись безвозвратно. Стали без цвета, без вкуса, без запаха. И льются впустую.

А та прежняя женщина давно уж льется впустую, намного раньше водки, опередив ее в пустоте на несколько рюмочных лет.

Пока пересекал эту пустынную в пышности залу, успел трижды потерять себя. Вот такая я растяпа. Забываюсь и то и дело выраниваю себя куда ни попадя. Однажды нашел свои жалкие потери, извиняюсь за нескромную ситуацию, даже в унитазе. И что это было за плачевное зрелище себя любимого! Лучше бы никому с этим на практике не сталкиваться...

С этой поправкой на унитазное зрелище и вынужден жить, гнушаясь крупными проявлениями вечности в себе.



У нее большие проблемы с элементарными смыслами. Договориться с ней о чем-то наверняка—это уже ни в чьих силах. Ее ошарашила какая-то болезнь обыкновенных, простейших смыслов, какая-то болезнь вредного, вечно перекорливого нрава, но за такую мелкую починку головы не брался ни один уважающий себя сумасшедший дом. Слишком мелкая и неблагодарная работа. Хлопот не оберешься. А человек все равно не починен, все равно исподтишка норовит огреть внезапным сумасшествием, точно кипятком. Явно не как у Христа за пазухой чувствуешь себя с ней. Как-то совсем по-другому чувствуешь себя. Даже неясно—как, у последней ясности крыша поехала.

Она отвесила оргазм, как пощечину. А заслужил, подлец! Так ему и надо.

Было очень весело обидно, и щека незаслуженно пылала сексуально униженным глянцем. Вот тебе и вникли друг в друга, называется! Вот и пообщались на уровне тел! С этим сексом связываться—все равно что на войну ходить, думалось смущенно и немножко даже с обидой. Ну что ж, пусть. Как уж получилось. Знать, судьба. Смотришь, известное дело, то гульба, то пальба. Будем прорываться дальше в жизнь без посредства половых отношений. На этом он свою мысль и закончил, с другими заканчиваниями навек прекратив.

Этот превентивный человек без мякonych человеческих чувств. По виду-то они были вроде бы человеческими, даже ничего себе, даже в объятьях иной раз подушат, но, боже мой, какая же в них нескончаемая прорва всякой крокодильщины, причем сногшибательной и мгновенно тобой закусывающей. Б-ррр, как неприятно быть ими съедаемым! Лучше уж скормить себя чему-нибудь действительно живому, схрумкающему тебя с чавканьем, с причмоком, с приязненностью великолепного и отважного аппетита. Смотреть на эту картину—и то загляденье, не то что быть в ней непосредственным участником, вернее—участуемым. Правда, все придется тотчас перевести в глубоко прискорбное прошедшее время. Но и этого уже будет не жаль. Ничего не жаль, только уберите, пожалуйста, этого превентивного человека с ужасно прикидывающимися чем-то человеческим чувствами, иначе они убьют что-нибудь окончательно.

Будучи будущем. Вот кем я был, будучи сегодня начисто разворован бездарнейшим днем-мерзляем и ни одного живого человека не ощущая в себе, даже и на доньшке самом нигде. Весь приличный народ во мне куда-то сбежал, оставив меня наедине с личным отребьем. А оно уж отвраткой попотчует весьма и весьма, на личные прелести оно никогда не скупится. Только и жди в себе негодяя, тупо будучи будущем, отрепьем будущего своего.

А может, я будучи будущем по природе своей и мне не отвертеться быть кем-то иначе? Ну зачем уж так-то пугать меня, дорогое отребье, многоуважаемый сброд? Я ведь вам еще пригожусь как-нибудь поиначе... Только выпустите вы немножко меня. На разок погулять. Не сбегать—обещаю.

В этот раз я, конечно, не смылся. В этот раз мне побег не удался легко... Схвачен был на границе уж яви и сна. Били личными сапогами, голой рукой, моим вечным спутником—чайником (без чаю я жить не умею), припевая глумливо, охотно и весело нашу студенческую ни в чем не повинную песенку: «Его по морде били чайником. Чайником! Чайником!» Песенка потом, конечно, скончалась, но я кое-как на сей раз все-таки уцелел.

Эге!—сказал я внезапно себе.—Здесь что-то есть, однако!

Но ничего здесь, кроме меня, не было, к увы моему. Да и сам я был, как мне кажется, под большим и странным вопросом.

Тогда что же здесь было, в конце-то концов? Ведь что-то здесь да было. Не одна же моя мнительность распространялась тут всюду, сооружая фиктивное присутствие, маяча явственностью чего-то вообще. Эй, отвечайте ж, кто здесь, мне становится страшно!

Эге! Да это было мое сомнение! Мое вездесущее сомнение, пронрывающее и за мертвые края.

Только-то и всего? Единственно сомнение?

А разве этого мало? У меня сомнения крупные, увесистые. Иной раз живого человека перевесят. Они у меня жирно закормлены, сомнения. Не в черном теле держу их, но в буйном роскошестве.

Я в твоей помощи не нуждаюсь. Да она и помощью-то никогда не будет, твоя жалкая, не проникающая меня помощь. Потому что в ней нет желания помощи и простого добра, просто дара добра. Этой помощи еще очень сильно нужно помочь, чтобы она хоть немного стала

помощью. Была бы на нее отдаленно похожа. Это вечная помощь ни о чем и никому. И в этом женщина по-своему бессмертна, и она неосознанно тянется к этому бессмертию, потому что иных бессмертий ей не дано. Она цепляется за то единственное, которое у нее неотменимо есть, чтобы быть немножечко вечной. С другими вечностями она давно уж в раздоре. Так, может быть, эта вот вечность ее исподтишка и спасает? Так, может быть, женщина ведет себя единственно правильно, чтоб хоть как-то бы ей уцелеть? Ведь больше ее ничто, ничто не спасет. Даже всегда даровитая и необыкновенно чуткая в помощях смерть.

Не жила человеческим, так как она обыкновеннейший внечеловек. В ней и болит все как-то фальшиво, очень искусственно и напоказ. Красиво отчасти болит. Легко переключалась, легко заменяла одно другим, потому что нет всепоглощающей истинно боли и не по чему горько болеть. В ней слишком просто одно подменить другим, ведь это ничего не стоит, никаких мук и затрат. Само понятие души в ней ничего не стоит, оно упразднилось. А может, еще как по-другому отсутствует, какими-нибудь инфермальными способами пренебрежений, чем черт только не шутит. Ей ничего не стоит переменить жизнь, если только она не слишком проигрывала материально. Не жалко было потерять со сменой жизни прежнее душевное существо, которое обычно греет в повседневности, — потому что такового существа в ней никогда не водилось, не наблюдалось. В порочащих связях с духом замечена не была. Она существовала с помощью механического завода очевидных потребностей, и этого хватало, чтобы жить, то есть чтобы от скуки не умереть.

Человек искусственный до того, что почти уже вымышленный. Потому-то и тянет ее недолимо на все искусственное и очень заметно поддельное. Она похожа на огромный блистающий магазин, из которого хочется поскорей уйти. Чтоб обменяться взглядами хоть с каким-нибудь корявым облаком, с утрюмым особнячком, с потупившим отчего-то взгляд грустным деревом, которое замечено в плохом настроении сегодня с утра.

Поздно вечером возвращающаяся женщина, сквозь пустоту улиц. Таким одиночеством и грустной тайной вдруг обдаст это мелькнувшее ее видение. Это, скорее, привидение, чем женщина. Целая чужая жизнь в одно мгновение высветится смутным всполохом, чуть тревожным и драгоценным. И так жалко, жалко эту незнакомую женскую жизнь, которую ты вряд ли когда еще встретишь. Неизвестно за что и жалко — может, как раз вот за эту невстреченность. Но нет, отчего-то эту жизнь жаль саму по себе, словно она уже кончилась. Да она в каком-то смысле и кончилась. По крайней мере, для тебя, это уж точно. Столько твоих неразделенных надежд и возможностей она унесла — навсегда. Как ничто не уносит, не уничтожает. Но и в то же время как-то безмерно одаривает. Как ничто одарить не может. Одаривает хотя бы тем, что это просто было, случилось: мелькнула встреча, превратив несколько мгновений в чудо, в волшебную взволнованность нескольких крупиц времени, которая проронится далеко-далеко в будущее и станет хорошей памятью, станет жизнью, когда жизни окажется мало и она затеснит. Будет воздухом, если что-то в тебе начнет исподволь задыхаться.

Эта быстро ушедшая в никуда женщина и не догадывается, что в тебе похоронила, что успела в тебе *прожить*. Она даже не взглянула на тебя, увлеченная мимолетством и тревогою одиноких вечерних улиц. Какую-то самую прекрасную частицу себя ты утрачиваешь с каждой такой женщиной, поздно, слишком поздно возвращающейся домой в свое одиночество (то, что дома ее ждет одиночество, — непроверяемо, это ясно уже по походке, в которой так много сквозит неприкаянности и темноты).

Такой невыразимой одинокой грустью хлынет из тьмы лицо ее, что всю твою прошлую жизнь перетревожит и разворочит, жизнь запросит переоценки, переиначки, ей бы надо быть как-то не так, прежний лик ее сам не свой, не ее, растерявшейся вдруг жизни.

За эту грусть я и люблю бесконечно возвращающихся откуда-то явно же не оттуда, откуда бы им следовало возвратиться, чтобы все было у них хорошо, чтобы эти возвращения были их достойны, — тех мелькнувших по улицам быстрой тенью поздних, очень поздних и всюду запоздалых женщин. С ними как будто случилось, Боже, какое-то страшное, непоправимое прощание, которое хлынет мгновенно и в тебя. Оно сделает тебя не столько потерянным, сколько спасенным — на нестерпимо дорогую грустинку. Помогите им, Боже, помогите этим возвращающимся ниоткуда страшно поздним женщинам, если им не может помочь ни один мужчина...

Зевотная проза. Нет, даже дремотная. Впрочем, вру. Сразу мертвящая. По ее прочтении обнаруживаешь себя уже на том свете, собственной смертью и умирать не надо, только напрасно мучиться и утомлять свою смертыньку. И то польза: хоть не проза, зато великолепное средство препровождения в мир иной, безболезненный способ доставки куда надо. Вместо Харона. Он здесь отдыхает, и очень заметно.



Нет ничего скучнее и бездарнее общения с человеком, интересующимся только самим собой. А если учесть, что почти все люди таковы, то и оказывается, что нет ничего бессмысленнее человеческого общения. Как приятно дружить с какой-нибудь великой книгой и ходить к ней изредка в гости, ездить к ней по весне на дачу, чтобы вскопать по ее милой просьбе клочок земли, или просто посидеть с ней за чашкой вечернего чая, разговарывая легко ни о чем. А ходить разговаривать к людям—все равно что сходить в гости к смерти. Да и то чувствуешь себя обманутым. В отличие от приятельства со смертью, которая никогда не солжет, не обманет, не оставит в тебе чувства украденности. Тут все честно и нескудно. Она обычно даже что-то прибавит—на мало ли еще какую большую дорожку.

Москвичи живут в совершенно иной стране, чем преимущественная Россия, о которой—лишь понаслышке да по усмешке. Им не нужно прилагать уже потусторонние усилия, чтобы просто жить. В России же приходится многое извлекать из смерти, многое брать у нее в помощь, чтобы хоть сколько-то и как-то посуществовать. Подавляющее большинство России—это маргиналы смерти. Вечно они у инобытия на побегушках, вечно они одалживаются у него. Вот почему у нас так нередки посмертные восстания. У нас и сама смерть пожизненна.

Освоить чужую среду сложно, но посильно. Освоить заново среду, бывшую родной и ставшую чужой, уже невозможно, точно как нельзя войти в одну любовь дважды. Эта среда с презрением замкнулась от тебя навсегда. Да и ты сам оказываешься непроницаем для нее. Смерть уже не проникнешь—она практически необходима.

Я долго и радостно углублялся в себя. Я бежал в себя с диким восторгом. Наконец достиг того места, где в довольно живописной душевной местности располагался мой личный концлагерь. Там меня уже ждали, пряча нетерпенье. Привычно поблескивал пыточный инструмент. «Вот и здравствуй, как ты кстати! А мы уж тебя ждем не дождемся, начали волноваться». Затем приступили к обыденному, которое удачно придушало мои опрометчивые крики.

Самое отвратительное и невыносимое зло на свете—божье творение злобный человек.

Роман, в котором нет ничего *сокровенного*, не может быть *даровитым*. Данный (не данный!) писатель нагло занимает в литературе не чужую нишу—чужую жизнь; в литературе не всем места хватит. Сие животное именем борзотык тучно пасется не на своих пастбищах, нагуливая себе несуществующий вес, возвращая несуществующее имя. Потом будет жрать водку на гонорары, когда станет вроде бы человеком. Что вполне естественно и понятно. С этого бы и надо было ему начинать. Кто же тут был бы против?

Писатель страдал излишней прыгучестью. Вот и допрыгался. Так его в прыжках и не узнали. Сам себя умудрился замельтешить. Сам себя загородил полетами и сопровождающим их треском.

Человек со следами какой-то психической болезни на лице. С незримыми слезами болезни, которая угнездилась в человеке где-то глубже слез, дальше его самого.

Вынужден жить среди крокодилов. Они это дело сильно не приветствуют. Ну не любят они это дело—чтобы я среди них обитал.

Чуть расслабишься жизнью—и немедленно уж находишь себя в крокодильей среде или пасти. Да что ж это такое, братцы, негде стало уж очутиться! Постоянно вынужден пресмыкаться в чьем-то неудобоваримом пищеварении. Обливаясь весь крокодильим желудочным соком. Да хватит же вам меня переваривать, не хочу я быть вашим ничем!

Спихватилась к пятидесяти годам, что остается одна. А кому нужен кусок самовлюбленного сала? Об этом за пятьдесят лет так и не успела помыслить. Все лишь себя вообразала.

Я больше похож на своих родителей, чем на все звезды и планеты, вместе взятые. И мне это очень приятно—быть на них похожим. Хотя бы так—внешне—быть благодарным им, ныне покойным. Нести эту благодарность каждую секунду наружным напоминанием их. В своих движениях мне гораздо ограднее узнавать движения отца, чем характер планеты Марс. Но есть и много людей, действительно похожих своей механичностью на неведомость планет, в них не то что-то запредельно космическое, не то что-то слишком по-земному сомнамбуличное. Не сразу догадаешься, что в тебя втыкается взглядом натуральной марсианин, собственной своей персоной. Или продукт творения каких-нибудь Гончих Псов. Стоит, ухмыляется, помаргивает совершенно космически, сейчас начнет расширение вселенной.

## Стихотворение

Блин, сколько жизни было прожито!  
 Блин, сколько повидано всякого на веку!  
 И так далее. Тому подобное также уместно.  
 Никаких сковородок не хватит для этих блинов,  
 Не то что нежарких стихов, блин, блин, блин.

Если б только кто знал, как чудесно быть хранимым этим безбрежно бережным городом! Как прекрасно ощущать на себе его береженья! Так никто из людей хранить не умеет, в них не бывает такой громады даренья, такого простора приязни. Не покидает чувство, будто я один у него такой – нежно хранимый. Не он меня изгнал. Но только он может меня возвратить. Из отдаленного далека я неизменно чувствую, как приятно ему беречь – беречь хотя бы мое отсутствие. Может, когда-нибудь он меня все же окликнет, даст хотя бы земли на могилку... Каким-то его, милого и бесценного города, непрекращающимся издали чувством я утешен и убежден: окликнет он, призовет. И обратит непременно в себя. Оживит меня брезженьем своего береженья в свою живую частицу. Я с благодарностью за эту поддержку тянусь ему навстречу, но как же далеко, далеко отсюда, где я уже умер...

Моя единственная защита в жизни – хорошо писать. Просто хорошо писать. Больше мне защищаться нечем. Можете прямо сейчас приходите и брать меня голыми руками. Ни словом не пискну в ответ. И даже сам упакую себя, сам помогу себя донести для ваших неотложных и, надеюсь, не слишком терзательных нужд.

Больше меня ничто не защитит. Даже и мои с Россией только два союзника – армия и флот. За мое плохое писание они сразу убывают куда-то за горизонт в яростно неизвестном направлении – под видом лирического отступления или в виде исключения из правил, за которое моментально получаешь по морде чайником – и это еще в лучшем, самом любезном случае, когда расплющить совсем пока не хотят, а только немного играют.

Нет, без армии и флота мне оставаться не сахар. Иначе что же я буду за государство? С одними походными чайниками, да к тому же без сахара, государства не бывают. Это, скорее, я сам куда-то иду, а не чья-то бродяжья страна то бредет, то плетется, то безудержно бредит...

Где мне разместить свой сайт, если у меня нет даже своего дома  
 Отниму у этих слов даже и вопрошанье. Чтоб ни тени не было – вопрошанья.

Сегодня ночью была полая луна.  
 Вот и допрыгались.

Вынужден не ехать в бывший свой город на Новый год, чтобы избежать тавтологического повтора в своей судьбе, порядком уже всем надоевшего, так что от повторений я выгляжу обманчивым призраком. А кто ж призраков любит? – их пускают на порог скрепя зубы и скрипя сердцем.

Ведь и так уже безумно устал от бессмысленных повторов в собственной судьбе – хоть вырубай прорастающие отовсюду лишние дни, что уже есть повторы повторов, следы от следов.

Нет, хотя бы на Новый год отсижусь взаперти от близких часов и не повторюсь никоим образом. Даже собой на это время прекращу быть. Воздержусь уж.

Люди, далекие от жизни. Даже дальше моего отдаления. А это уже невозможно, если только вы осмеливаетесь считать себя живыми.

Этот человек из рода непрекратимых паразитов на литературе, а также на всех режимах, какие бы ни попались на его пути. Он все режимы хорошо переваривал, как луженый желудок. Потом в туалете ходил потихоньку режимом. Он бы и к лунному режиму приновился и, без сомнений, выцарапал бы на Луне престижную даровую квартиру, коих он и на своей планете за жизнь получал в досталь, чтобы уютнее было потихоньку гадить, а громко – воспевать, не забывая то и дело превращаться в диссидента и вовремя кричать: режим! режим! держите его! Кто громче всех кричит, когда ловят вора? Как раз и не угадали! Тот, кто сейчас сидит у себя в сортире и потихоньку гадит очередным режимом, вернее, его непереваренные остатки.

Пугачева превратилась в зловещую фигуру национальной пошлости. А с какого света начинала!

Теперь она на свете другом.

Бедная-бедная моя Пугачиха... Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдаль... Но ты-то, ты туда зачем? Что толкнуло тебя на это? Чего там не видала, когда и здесь смо-

три—не хочу, только жить немножко начали... Эх, Пугачиха, Пугачиха, что ж ты наделала?! Плохо тебе, что ли, жилосо меж нас? Рази я тебя не лелеял, не холил? Рази тронул хоть пальцем когда? Всю получку домой приносил и аванец. Слова обидного в жисть не сказал. Ноги мыл тебе—воду пил. На кого ж ты меня покинула, горемыку нещасного? Для кого теперь ненавистный мой век? Ты открой-отвори ясные, светлые глаза, ты спроси-проведай у зеркала, где муть и сон туманящий, ты возьми меня с собой...

Все это надо сделать безотлагательно, пока не ушел еще поезд. Пока еще идут старинные часы! Пока не грянула пора нам расставаться понемногу! Пока не прозвенел звоночек *отмыда!*

Меня посетили чувства—по чувствам очень похожие на жену. Только вот вопрос: на бывшую? настоящую? или сразу целиком на будущую?

Это меня и смутило.

Почему при чувстве жены всегда крепко тянет выпить? Неужели эта загадка метафизическая? Нет ли тут объяснений попроще, то есть не уходит ли этот вопрос своими корнями непосредственно в мягкую почву моего алкоголизма, который и в любой идеальной жене нашел бы изощренно причину, чтобы очень трезво обидеться и предаться за черствую жену своей неумолимой склонности?

Почему так: с рождением и становлением ребенка культурно неустойчивая женщина начинает резко дичать? Как правило. На поумнение ребенка, что ль, многое из нее убывает? Или еще что, поонтологичнее? Но тогда—что? Вот—вопрос, всем таковым таков. А не все остальные вопросы—вопрос. Все другие вопросы только кажутся самонадеянно вопросительными и красиво прикидываются под крепкую задумчивость. А сами на самом деле дураки дураками, а не вопросы, фитюльки празднословные. Лишь тот вопрос носит высокое звание вопроса, который в женщине затронет хоть крошечку правды! Иль нечаянно упадет в ней на ее след, пусть и неверный.

Бездарный человек бездарен идеально во всем. Он только гадит на редкость талантливо.

Они были братьями по пустоте. Сводными. А отцы, естественно, разные, если они, как упомянуто, сводные. У одного идиот в натуре и во всем остальном, а у другого вообще неизвестно кто, даже, может, лишь приблизительно человек. Может быть, даже исчезающе малый олигарх в бегах или бухгалтер в рукавниках. Для такого человека идиотом отцу было бы трудно быть. Он иногда ведь чем-то нет-нет да все-таки блистал, этак взьерошится весь, поднапряжится—и, гляди-ко, взсверкнет, негодяй, откуда только свет в таких берется, а вот поди ж ты, откуда-то брался,—а идиот и его кровинушки никогда не блистают, они цветоневыразительны наподобие зада чеобразной обезьяны—срамной такой семафорчик из никуда не пропускающих, из сигнализирующих только что-то весьма и весьма половое, задорно похабное. Вот и весь рассказ о бедовой судьбе, о глубокой истории рода. Сага выдохлась. В общем, конец.

Завтра мир решительно постареет еще на один год. Мне от этого как-то легче, словно этот мир разделит еще один мой шаг в старение. Все законнее можно не таить собственную предстарость. Все проще будет тяжесть отжитой жизни, так как все большую жизненную громаду не нужно уже преодолевать: она прочно замкнута на замок несдвигимого, уже прекратившего мое существование прошлого.

Ничуть не завидую нынешним молодым. Во всех отношениях обворованное поколение. Мы менее были обворованы и иначе, нас здорово обокрали потом, в девяностые,—на целые жизни и судьбы. И даже не очень их жалко, нынешних,—укравших чужие жизни и судьбы. Все присвоивших и обнуливших прежние поколения. Как можно жалеть столько презренья и с пустого места взятой самонадеянности? Как хочется, как алчется им пожирать! Какой-то запредельно нечеловечный голод в их глазах.

Очень не хочу быть ими скушанным. Отдамся-ка лучше на съедение собственному возрасту или чему-нибудь еще более-менее людоедскому, что скушивает не так жестоко и напрасно, как молодые челюсти, а с чувством, с толком, с расстановкой.

Не следует слишком далеко уходить от личного, дабы не пропасть окончательно.

И нужно целиком, безраздельно—сверх возможных сил—предаться слову, чтобы хоть немного прийти в себя. Безвозвратно собирая, слово где-то в потаенных мирах вручает тебя—тебе. И без этого вручения ты не существуешь. Не будешь быть никогда. 31 декабря 2003 г.

Со временем я, кажется, становлюсь себе все лучшим собеседником. Скоро люди станут излишни. И я буду их только коллекционировать. Приятное, по всей видимости, занятие. Более приятное и занятное, чем быть с ними, быть ими. 1 января 2004 г., 1 час ночи, всего-то пока один час ночи.

Как замечательно быть никем. Кроме малости себя. (чуть позже)

А вы могли бы жить с пустотой? Вот и я не смог: опустевать пошло. Что делать мне с той пустотой? Долго среди пустоты метался, и себя уже посчитав конечной пустотой.

Поменял ее на другую женщину. Поменял, поменял, обрушил во тьму внешнюю.

Но не стало ли пустоты еще больше, и вокруг, и во мне? Не обрушилась ли уже в меня и тьма внешняя?

Весело, густо валили толпой, пряча каждый себя за ее удобным неразборчивым телом. Всё смеялись, с восторгом кричали, беззаботно забывались друг в друге, уютно скрываясь и теряясь в могучих толпьяных недрах.

О нет, опротивело, обрыдло! Дальше пойду один пропадать. Лучше уж не найти себя в одиночку, чем всей толпой. Прощай, многоуважаемый сброд. Я больше не стану умирать по-вашему, я и свою смерть имею. Вполне особенную и мою.

Простое отличие дурака от нормального: дурак пытается отличиться даже в дурном, нормальный – и в хорошем старается быть тих и невиден.

Его мозги прекратили свое развитие досрочно и с перевыполнением плана на 103,2%, что превысило все другие показатели.

Скоро рынок смоделирует, каким нужно быть Богу. Чтобы угадать вкусы потребителя и легче сбыть. Еще только немного маркетинг поработает в нужном направлении и проблем с Богом не будет никаких. На складах не залежится.

Жить в Энгельсе? Как это можно? Что за дурная причуда? Какой морок наваял сей бред? Какая-то получается странная внутриутробность. Что ж я, плачевная железа, что ли, какая-нибудь классика? Да даже и не плачевная – все равно обидно. Это проникновение сильней всего смахивает на глумящуюся обычно надо мной порнографию.

Жить в Саратове еще куда ни шло. Даже приятно мне такое дело – жить в Саратове, прикрываясь, как листочком, его хорошим желтогорным именем татарского наречия. Но вот как без ущерба для себя обитать в Энгельсе – ума не приложу, хоть прыгивая с ума по лекалам социализма. Увольте, увольте, пожалуйста, меня от обитания в.

А есть ведь еще и славный город Маркс или, допустим, Пугачев. Ну а в них, скажите на милость, как дерзать внутриутробно жизнью, не рискуя впасть в только того и хотящую порнографию и прочие не украшающие нас ничуть безобразья, физиологизмы и отвращизмы?

А сколько было и еще пребывает таких чудовищных мумифицированных тел в виде безропотных горюхов, не подозревающих, чем же они являются изнутри своего имени?! О наружи и не говорим, язык сразу скукоживается и становится каким-то потерянным для слов сухожилым инструментом. Вот к чему приводят некоторые особо опасные поименования, которым место на стенде «Их разыскивает милиция».

Был женат третий раз. Теперь безусловно счастливо. Ему под пятьдесят, она лет на десять младше, второй раз замужем. Он знал ее еще с тех пор, когда ей было восемнадцать, она тогда впервые влюбилась в него. Родилась дочка, у него – уже четвертый ребенок. Оба счастливы до неприличия. Он говорит: так хорошо у меня никогда не было. Она: а когда у тебя родилась первая дочка, разве было не так же хорошо? Он: нет, тогда все было в первый раз, а теперь – в последний. Это слишком по-разному хорошо. И подумал: тогда все было так нескончаемо впереди, теперь боишься, что все вдруг безвозвратно исчезнет... Ах, как третья любовь – ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в руке... Он улыбнулся этой своей истинно единственной жене немного просящей и заискивающей улыбкой. Но можно было улыбнуться и просто, без боязни, без утраты – с ней очень надежно. В этой женщине уже начиналась вечность.

Лизку – дочери – сегодня исполнился целый-прецельный год.

В том-то вот все и дело.

Замечательно целый год. Целее не бывает. Дальше пойдут годы все более неполные, обкраденные. Заранее кем-то изжитые. А пока у нее год целиком свой, она пронзительно по-своему его исползала и огукала.

Что-то я забегался вдрызг с никчемными делами. Весь январь пробегал впустую. Весь январь в ноги ушел, отринувшись в обратную от моей головы, так и не достигнув никаких мозгов. Голова моя в этом году осталась совсем безъянварной.

Жду февраля с досягнувьем его сосулук сверху, непосредственно прямо в забегавшую вне мыслей голову, так легко захотевшую посторониться от этой бесследно пролетающей

зимы, явно обиженной на напрасно шатающиеся по улицам пустые головы. Может, февраль что-то поправит и сделает меня одним сосулечным жестом наконец-то по-умному зимним... Всей дрянной головой жду февраль...

Изначально какой-то проблеск был. Но год от году он делался все бездарнее и мурлее. Потом и вовсе превратился в человеческое чудовище, которое нельзя пускать не то что на порог сердца, но и просто на порог. В нем на редкость успешно расцвел дар зла, и к пятидесяти годам стало ясно, что главным его предназначением была — мерзость. Пошлая и паршивая. Мелкая и изворотливая. Он стал любить бить хвостом в чиновничьих учреждениях, где могли дать благо, а чаще — по незримым сусалам. Полгода рассказывал всем, как показали по местному телевидению пустой стул с указанием его фамилии — он что-то был тогда в оппозиции к губернатору и решил пооскорблять его своим отсутствием, коего не только никто не заметил, но и не ненае. Негодяй так и пророс в нем во всю обширно отвратную силу. Во всю свою подноготную. Развернулся в полную подлость своих подлых крыльев. Быть мерзавцем стало его основной профессией, которой раньше он лишь подрабатывал.

И что, этот хлам человеческий до конца его жизни будет по-прежнему называться писателем? Господи, для чего же Ты даешь такое омерзение среде людей и им подобных?! За что же такие извращения в этом не худшем из миров?!

Придет ли он и сегодня бить хвостом о мой печальный порог, изрядно уставший от его появлений? Такого людина ведь и не прогонишь никак — он не поддается уже никаким изгнаниям. Он просачивается сквозь любое изгнание. Чем же мне его отлучить? Я теряюсь уже среди своих отвержений, а он непременно все тут да и тут.

Бедная событиями жизнь... Это про людей очень внешних, кто, считается, на события богат, будучи таковым и не за душой.

Событие есть только то, что рождается и происходит в душе. Но это — подлинное — событие обычно не видно, не слышно. И это самое лучшее, что может быть в мире: тишина события. Божья благодать отсутствия факта.

Омерзительно, когда торгуют своими мертвецами, особенно в национальном масштабе. Мертвецы — плохое коммерческое предприятие. Обычно во всем покорные и благодарные, тут мертвецы твердо стоят на своем: неблагодарны! — даже без вины виноватые, даже без собственной смерти убитые... Мгновенно поднимают посмертное восстание...

Фундаментально изменилось качество того, что принято называть событием. Изменилось то, что стало являться событием. Событие теперь уже не есть то, что было неоспоримо таковым лет двадцать назад. А что тогда было полновесное событие — ныне лишь очевидная пустота. Мир утратил жизненную полноту понятий — и стал нефундаментально другим.

Странное это существо — человечество, нелепое. Не знаешь, смеяться или плакать на него. Оно вроде бы и не глупое, но как-то все равно очень глупо, то исподтишка, то напрямую. А может, человечество — это всего лишь род вселенского сумасшествия?

Что делать нам? Куда ж нам плыть..?

Цель решительно и бесповоротно одна: лично не глупеть. Изю всех мыслимых сил не глупеть. Чтоб всю вселенную не опозорить окончательно. Чтоб не сделать ее одним сплошным сумасшествием.

Март наступил. Март, март, март...

Что я этим хотел сказать?

Очевидно, что-то весьма и весьма не пустое. Но сказал вот еще более пустое, чем было до молчания. Прошу прощения за углубление пустоты.

В снеге есть отменное качество, которого не встретишь больше ни в чем.

Какое?

Он идет всегда сквозь воспоминания.

Он всегда как будто прошлый и счастливый снег.

Каждый раз, глядя на тихо падающий снег, думаешь — думаешь с недоверчивым изумлением: «Нет, нет, такого больше не будет. Этот снег давным-давно уже прошел. Этого снега не может быть. Это вряд ли идет снег. Это что-то совсем другое, другое. Это, наверное, уже настоящее. Но как оно замечательно прикинулось былыми снегами, совсем уцелевшими в глазах моих снегопадами! Даже и не заметить подделку... Даже не подкопаться — так все тут чисто для всякого взгляда...»

Так тут чисто и тихо... И светлы вокруг воспоминания. Все до единого уцелевшие вокруг воспоминания. Даже и я среди них не пропал...

Он умер как-то неправильно: много лет спустя после своей настоящей гибели.

Это было очень нечестно перед собственной смертью, это было предательство. Он поступил плохо, очень плохо—и еще долго сознавал это, кружа вокруг собственных бывших мест и людей неприкаянной извинительной то ли душой, то ли еще каким прорвавшимся с того света неутолимым пристанищем. Потом его как-то вдруг не стало, очень оскорбительно для смерти быстро.

Такому человеку и настроение испортить приятно. А было бы в нем и еще что-нибудь, кроме настроения, так и это было бы приятно испортить тем более. Такая уж он пакость, что даже и портить в нем нечего. Вот беда-то... Он так и будет гулять пакостно целым и невредимым. Тут прежде сам в пух и прах извредишься, чем его повредишь. Нет уж, пусть он гуляет себе каким сделан, а я буду гулять каким сделан я. Выгода будет обоюдная, и не пересечемся с ним дышать одними кислородами. Пусть у нас и кислороды будут всегда разные, на особицу. Недружба недружкой, но кислородами-то зачем еще дружить, они ведь не семья.

Странно—еще никто не учредил премию за плодотворное длительное молчание в литературе. За лучшее молчание. Учредят ведь. Ради развлечения. Совершенно в духе ничего не говорящего времени.

И как быть действительно молчаливым, сокровенно немеющим в своих сокровеньях? Но их молчание—действительно золото, так зачем им какие-то призрачные денежные эквиваленты?

Нет смысла прислушиваться к его мнению, потому что никакого мнения у него не бывает. Он профессионал отсутствующего мнения. В нем все принципы мгновенно гаснут. Все убеждения, все твердые основания тотчас предаются исчезновению—тому обжигающему холодом огню, который польхает в нем неудержимо, неостановимо, как сумасшедший потусторонний пожар, как всласть разжившееся небытие.

У него хватало благоразумия многое не чувствовать. Он слишком многое мелко не чувствовал. Потому так крупно и уцелел.

У нее в мозгах была какая-то ловкая дикость. Речи выдавали нечленораздельность ее ума—монолитную его непрошибаемую башенность, за которую двух безбашенных дают.

Радостный дом так низко пал—он стал домом, в который никому не хочется возвращаться. На месте этого покинувшего нас дома теперь располагаются мертвенные пустыри наших нескольких осколочных душ, бывших некогда одною неразрывной, неубойной—душой.

Вдруг вещь тихо шепнула:

— Я умираю. Я больше так не могу.

В комнате стало безлюдно.

В комнате сделалось оч-чень очевидно.

Встречают по одежке, провожают, естественно, по матушке.

Встанет утром, позавтракает на тяжелую руку каким-нибудь метафизическим блюдом и дальше займется по своим метафизическим заботам: мусорки там, отбросовые баки, стеклянная череда пустых бутылок... Много, много метафизики вокруг, все надо успеть, чтоб найти, чем опохмелиться. Тогда все философские вопросы сдвигаем сразу резко в сторону... Они отпадают до поиска следующей дозы. Вечные вопросы сами потом явятся, их-то искать уж не надо... А куда они денутся?

Есть какая-то грубая несправедливость в словах: в 80-х годах прошлого века. Чувства никак не соглашаются сделать прошедший век прошлым. Оскорбительно даже слышать такое порядочному старому чувству. Не за то мы воевали, говорит оно.

Все-таки отсутствие души требуется для описания олигархических и им подобных сфер. Не величие. Редкий хороший писатель долетит до середины финансового омута. А если и долетит, немедля запросится обратно, в абсолютно любое слово—лишь бы не обитать где попало.

Он формально очень талантливый писатель. О наполнении лучше не говорить. Пусто будет сказать.

Он устарел задолго до своей подло скоро выскочившей старости. Это ли не гадость?

Жизнь моя состоит из череды вытаскивания старческих и детских горшков, из кашек и блюдец. Мать лежит, дочь только из фазы ползанья вышла. Я бытовой раздаточный механизм. Таскать мне не перетаскать? А перенесу! Своя ноша до смерти не убивает.

Когда у человека что-то не в порядке с хронологией, он вызывает у меня подозрение. Сразу мое неверие берет его на заметку: вот вам ну и ну... Почти ни у кого не в порядке стало с хронологией. Вот беда так беда, откуда и не ждали.

Кромешные скоты. Только-то и всего, но это очень много... Чего с них взять? Не скотское же с них возьмешь. Не с паршивой же овцы клок. Печальнее ноябрьской кромешности эта кромешность, — там что-то нет-нет да возьмешь, в ноябре...

Эмоционально глупый высокоученый человек. Да прямо болван чувств. Тоже кромешный. И скот по-своему. Этого у него уж не отнимешь. Он своего не отдаст.

Я ведь внутренне очень блондин. Могу показать. Нет-нет, это просто сильно закурено легкое, а так блондин. Если копнуть еще глубже. Вы не против опознания?

Прошлое почти так же не изведано, как и будущее. Даже, может, чуть больше. Ведь в прошлом масса возможностей, а в будущем лишь одна — сбывшаяся.

Хаос похож на старичка-гномика с корзинкой еще теплых и живых грибов. Он вот-вот сейчас что-то скажет. Спросит дорогу?

Они не столько мерзавцы, сколько дураки. Хотя в их исполнении это одно и то же.

Сколько человека ни усовершенствуй, конца этому усовершенствованию не найдешь. Бездна — быть человеку совершенным. Это — пиши пропало.

Здесь сплошь неполноценные люди, они привыкли плодить друг друга таковыми, дурной конвейер неостановим. Раковый прирост населения. Откуда же взяться даже призраку совершенства, даже крошечке призрака? Бедняжка он, призрачек-то.

Одни огрызки, безделки людей, застопорившихся где-то на подготовительном классе развития личностей, своих (ни своих, ни чужих!) слепых, глухих, тупых беспредельно личностей-недоносков. Вот здесь им в широте не откажешь — когда дело касается тупости и безмыслия. Они безграничны именно тут. В этом их направленья величия.

Нет больше ни терпенья, ни смысла выносить идущую от нее психологическую вонь. У этой женщины дурно пахнущая душа. Не чищено с самого рождения. А может, и дольше.

... в беззлойной вечности расположенных душ... Где бы ее найти среди сует, эту избегающую вечность, чтобы так расположиться? И замереть, навсегда отказавшись от пагубы тщетных движений, отринув их в мир иной, где пусты все слова, где так много мертвых людей, где по городу катит пронзительно нежный весенний и прежний трамвай. Он мне поет еще на бис... Как беззвучны мои невозможно далекие аплодисменты, уже безнадежно бес- смертные...

Шарлатан, истинный мастер своего дела, неподдельный шарлатан, не умеющий писать о вещах впрямую, подлинное лицо вещи, — не чувствуя их природу и не руководствуясь ею, не принимая во внимание трепетные души вещей. Поэтому у него все вещи с кривой ухмылкой, с раздрозганным взглядом. И сами не свои. Как с толкучки пришли. Грызут семечки. На подбородке пьяная шелуха. Эх, яблочко, куды котиться? Ко мне в рот попадешь — не воротиться! И шарлатан среди них так и мелькает — заводила, ватажных дел мастер.

Самое ценное на этом свете?

Мои дети и *не мои* книги. Моих книг попросту не существует на этом свете. Может быть, они сразу выходят на том свете? Что ж, поживем — увидим.

Человек, живущий смыслом, никогда не поведет себя столь бессмысленно. Безукоризненный в своих действиях смысл мгновенно даст ему знатного пинка, чтоб не зарывался и вспомнил, как брести в неизвестность.

Некоторые части прошлого, более отдаленные во времени, выглядят значительно ближе, чем совершившиеся позже, — просто потому, что они вобрали более яркие и личные события (взяли их свет, их чуткую близость), чем уныло пролившаяся потом безличность дней, которая впадает в личный океан тусклой однообразности, в жалконький хаос неразличимого, все стирающего и всеизбегающего дня.

Время, а время, умеешь ли ты показывать незримые лица свои? Про коготки-то твои мы довольно уж знаем... А вот ты личико, личико свое покажи! Что, слабо?

Везде, куда бы он ни пришел, через краткое время воцарится бардак и какое-то злобное, оскаленное запущенье, которого никогда не позволит себе никакая природа, а только особого края человек, который этой природе и даром не нужен, даже распоследней ее песчинке, чьей откровенности можно позавидовать.

Этот близкий по вынужденно ежедневному пространству человек мне не помощник, он мне мелкий, мелкий враг, неотвязно отзывающийся из всякого уголка этого дома, из отовсюду. Мельче ничтожества не бывает. Мельче ничего уже нет: не разглядеть, не ощутить. Этот человек досадно чуть больше, чем бывает обыкновенно простое никто. Его отсутствие постоянно мне тесновато. Ах, забрала б она, что ль, поскорее и пылящуюся здесь понапрасну всех отсуствий своих пустоту. Убирайся, всездешнее отсутствие, ты проникло даже и в боль...

Смехи, призрачные вы мои смехи... Вот и вы во мне исчезли друг за дружечкой. Как вагоны уходящего поезда, тук-тук-тук, тук-тук-тук, за вагоном печальный вагон. Как мои отсмеявшиеся насмерть сокровения. Всем дальним моим ныне смехам я шлю ниоткуда премногой, чуть прогорклый привет, тук-тук-тук... Хто там?

Бешено-безбашенная жизнь. Плюс бесшабашная и шепутная. Промедление—шизоподобно. Столько всего в нем намешано, что и не уследить за сим разбитным калейдоскопом сыплющегося, сыплющегося неудержимо человека. Вот он уж бш да шб, остальное труха.

Она настолько всепроникающе любила себя, что была убеждена, будто в ней нет никаких вредных микробов, будто в ней вообще не может быть ничего заразительного, — и упорно кормила еще малорукого ребенка со своей облизанной ложки, несмотря на кричащие попреки со стороны гигиены в лице мужа и матери, которые устали уже одолевать голосами ее противоречивых микробов.

Вот бывают среди мирного света и такие безмерно самовлюбленные крошечности. Микробы-то тут при чем? Даже микробов в себе объегоривают. Даже микробам показывают свое упрямство и норовят с ними быть во вредных контрах. А ребенок знай себе поедывает мамкины облизыванья, неразумное дитя, авось зараза сама сжалится над ним. На то и уповаем в лице сторонних наблюдателей сей младобуйственной казни, ну сушая прямо беда...

Здесь был на конюшенном постое дурно пахнущий абзац о критике. Немедленно проветрим помещение. Опустим этот пассаж. Царствие ему небесное. Прощай, голубой период отношений! Мы не увидимся с тобой никогда. Даже на том свете руки тебе не подам, будь у меня там хоть тысяча рук записных, запасных!

Поэтому что следует быть благодарным там, где не можешь быть великодушным.

«Люди ухода». «Русский человек—это человек ухода». Как хорошо и точно сказано! Я добавил бы: ... Впрочем, тут и добавлять нечего. Я пошел. До следующего ухода с вами! Мы с вами обязательно когда-нибудь еще уйдем. Непременно. Тогда и поговорим обо всем, обо всем. Мы постараемся уйти очень подробно.

Я весь теперь из одних врагов состою, ласково стелющихся по моему телу: шелка и шелка врагов моих развевающихся. Я весь теперь из врагов. Спокойно, тихо вокруг. Никто не теребит. Все великомерно равнодушенько куда-то отзынулись.

И самый лучший враг себе—я сам. Этот человек вообще сплошь состоит из тишины и робкого равнодушия. Этот враг очень глубоко и надежно спрятан в меня. Этот враг мне еще пригодится.

Возможно, пригодится он и вам. Меняю врага на трехкомнатное свое отсутствие. Скидок и уступок не предлагать. Прихожу с собственным интимом, так как свой интим ношу с собой.

Позвольте мне подумать об этом с презрением и на том закончить наш разговор. Не прибегая к резкому откровению слов, которым приличнее сейчас отсутствовать и молчать где-то вдали, возможно, на чужом языке или на совсем никому не знакомом.

Раззвирившийся взгляд. Раззвирившийся взгляд. И разорившийся. Ныне взгляд тот в изгнании. Иль бессветно заброшен в долговую тюрьму. Там нет окон на стороны света.

А такой славы, как нынешняя, и не нужно,—она некачественная, с душком. Тоже мне хорошенкое занятьишко—славой вонять...



Где я—там не слава. Где слава—там не я. Вот моя диспозиция—молниеносно меняющаяся, чтоб обнаруживать себя то и дело неуловимым.

Ну не кретин ли?—затеял с самим собой игру в прятки, несколько раз уже себя перепрятывал. Доперепрятывался! Прочесывали местность—никого, ничего. Одни обрывающиеся следы метаний, диких восторгов и пепелищ... Курил покойник много...

Все мерзавчики разрушили. До основания, до мозга смысла. В пустыне живу. В оголтелой пустыне, из которой только и выйти—в иное инобытие. Только туда рановато, много-много прискорбно не сделано. Ничего, ничего, еще всю попустынным. Посмотрим, кто кого перепустынит. У нас отменный опыт ведения действий в условиях отъявленных просторов безлюдья. Пока другие толпились, мы набирались ума-разума там, в суховейных и одиноких идеально местах. Нам давно уже внятна бескрайняя тактика и стратегия пустоты. Ну что ж, попустыним? Выбор оружия за вами: тоска? одиночество? ветер в голове? Учтите, любым оружием, за исключением огнестрельного, владею в совершенстве.

В идиотизме мне видится легкий просвет человечества. Облегчающий свет в конце тоннеля. Всемассовые идиоты доведут свет до окончателыной кондиции, как видит ее их клинический то и дело клинический ум. И света не будет. Вместе с идиотами, представьте себе. А потом, спустя некоторое время, которое временем быть уже не захочет,—потом свет сам по себе обнаружится, будучи совершенно безлюдным. Ему нельзя отсутствовать и не быть. Он ведь должен породить светлых людей.

Осенью во мне светло даже в предельных кончиках пальцев. Даже в обычно тягостном мраке печени, почек. Пусть я их и не больно-то люблю, эти подозрительно внутренние органы: что они там делают себе на уме? что по темной творят? А потом гляди—уже рак. Тут же лишний шум, гам, всеобщее нездоровое оживление. Тут же ненужные похороны. И гляди—уж куда-то тебя заховали. Потом, конечно, нигде не найдешь. Хоть обыщишь до позелененья... А ты преспокойно лежишь себе на самом видненьком месте... Осень. Солнышко. Самый сентябрь.

Пью прилично долго, уже из тихого упорства, одним усилием взбесившейся в протесте воли. Даже среда бросила заедать—безнадежное дело. Счет пошел на ползучие дни. Дни, крошечные дни уже пью, самые дни до дна испиваю. Сколько их было?—ни грамма не помню, здесь память нужна ведь железная или из алмаза. И цистерну свою, естественно, выпил за это лохматое и хвостатое время. Резко приступил, естественно, ко второй. Подумываю уж мимоходом о третьей. И все пью, пью, пью, глотка луженая, буль-буль да глых-глых, глых-глых да буль-буль, утроба ненасытная, никак вот что-то не наалкаюсь, не залью до конца бесстыжие зенки—оказывается, они у меня бездонные, кто бы подумать мог...

Вольные жидкостные процедуры на свежем воздухе и так, в замкнутом помещении, что не мешает хорошо разбежавшейся воле просторно поволевать. Когда же кончатся эти—уже вопиюще не мои—цистерны? Но они все прибывают и прибывают. Кто сошел с ума—я или составители этих поездов? Когда же наконец я утону и иссохну, обнаружив себя лежащим на дне последней доблестно опустошенной цистерны? Но нет все да нет, я никак не могу найти себя утопленником, я еще если и не на плаву, то на лежу или на ползу, в случае не из лучших. Но все я есть и есть. Как-то даже странным для себя образом, потом полубразом, потом уже молча: любимая, спи. И все есть да есть да есть—я, который, конечно, давно уж не я, а какой-то несложный опивок, только сложно ползущий. Короче, что бы там ни случилось, я емь, во что бы то ни стало—емь. Не то бредом, не то чудом, не то чьим-то ничьим спасением, то ли женщина была, за что в промельках просветления и благодарен откровенно никому. Потом независимо от себя внезапно опять нечаянно похмелюсь, до легкого, но внушительного головокруженья, очень сильно по отдельным воспоминаньям похожего одновременно на счастье белого танца и



на скромную, до поры до времени потупленную горечь белой горячки. Тут многое уже смело сливается, тут многое уже резко одно и то же, равно как и что-то одно может с отвагой быть очень многим, почти всем. Тут своя прихотливо горящая и рассуждающая про себя философия, свой солипсизм мощно слипшихся мозгов-однодневок.

А хренчик вот! Все равно все свое выпью до края, выгложу вдосталь и до конца! И не поперхнусь! И не подохну! Я вам не подарю свою смерть так неоправданно рано. Лучше надейтесь спокойней на что-то заветно другое. А я успокоюсь, я еще успокоюсь... Ну, теперь привяжите меня, позволяю...

Вот уже и старики стали совсем другими, чем были в моем детстве. И старики сделались мельче, не по габаритам, конечно, не по физической природе, — как раз мои старики были антропологически невзрачнее, но какая-то естественная осанность выдавала в них более крупную человеческую породу, чем в теперешних, с сиреневыми волосами, с мускулистой побейкой и отменным рядом бесменно веселых зубов. Не по старости они скроены, не по чину ее выглядят, а так, словно чужие пришельцы в чужой и побрезгивающий ими возраст. Приблудные у вечности гости? Это не старики, а облегченный вариант несения службы — достойной и служивой человечности.

А старые старики моего детства гордо и твердо являли саму вечность, вечность печальности и бесстрастья, вовсе не заботясь об этом и не подозревая за собой такой полномочности. Такие кражистые ее моменты, честно иссеченные бесчестным временем. Такие и смерти не поклонятся. Она сама придет к ним на поклон.

Сижу и грустно нюхаю свою задумчивую одичалую руку с уже проступающими на ней островками первичной старости.

Что ты, дурак, делаешь?

Зачем в нее так пристально внохиваешь свою печаль?

Хочу стать таким же диким и самоуглубленным, как это являет печально она? О да, мне хотелось бы быть таким же степным, дальноразимым, как моя-не моя рука. Она лежит среди безвестных дорог стола, простираясь до горизонта. И то, что уходит за его смутный край, вероятно, тоже моя рука, хоть этот орган степи мне уже и не виден, не ощутим.

Сельскохозяйственный крупный дурак. Ну что тут еще сказать, кроме нечего? Не свинья же — откровенно сказать. Зачем тут свинья? Про что тут свинья? Не трожьте свинью! Она животное предельно благородное. Это совсем-совсем не хрюкающий человек. Вполне человек ее пронзительно ищущий истину хрюк. Досягнуть ли человеку до пронзительности поросячьего глаголемого вед? Сельскохозяйственный крупный дурак зачем-то опустил свою шальную голову шарикоподшипникового образца и для виду посмотрел себе под ноги. С ножа капала слюна крови. Он вытер нож о голенище наглого, отъявленного сапога. Побалуемся нынче селяночкой.

Мне хорошо и свободно тогда, когда меня нет. Во всех противных случаях я есть. Откуда-то ни с того ни с сего берусь.

Никогда нельзя говорить своим дочерям: да ладно уж, не мойте на этот раз в моей комнате, обойдется, — из жалости к их перетрудам. Не будет и их жалости. Не будет и дочерей.

Вот и все...

Только-то и всего.

Ну а чего ж вы хотели? Много ли человеку пустоты надо?

Мне хотелось бы быть легкой формой отсутствия. Да все вот никак не получается, то одно, то другое, то квартирный вопрос вдруг стремительно неразрешим. И собственным грешным и ненавистным телом обвешан и утеснен. Гроба хорошего на меня нет! Слишком, говорят, разборчив. Всё рюшечки ему не те, маловато барокко! Всё пространств в заупокойном помещении ему не достача! Капризный. Не угодишь ему с небытием. Так говорят. Всю неправду обо мне успели собрать накануне втеснения меня в мир миров, все небылицы накануне небытия. Впихнули в мою посмертную квартирку почти насильно вместе с каким-то еще узелком. Интересно, что в нем? Для каких грядущих нужд скрыты от меня его тощие выпирающие внутренности потемки, его жалкий объем, едва ли не смеющийся надо мной, едва ли не плачущий над моими бедными в скором потребностями, над столь мало берушими в дороженьку чувствами?..

Снег был значительно медленнее тишины.

А тишина выглядела отсутствием, ночной пустотой больших городов.

Как будто ничего и не было в мире. Как будто и этого мира никогда не было.

Только скудно жмущееся в свою темь сомнение—я, только я, жалкий и никакой, стоял у отшторенного в полный распах окна и глядел, глядел помимо снегопада в себя—в никуда, в тишину, в свой собственный головокружительный снег. И прекрасно чувствовал, сколь значительно медленней я этого снега. Мне еще можно успеть больше, чем он. 31 декабря 2004.

И вот мы пришли. Так к чему ж мы пришли?.. К тому же не мы—я один, оказалось. Пришел-то.

Да вот подступил я вплотную к жестокой своей и нещадной судьбе!

Теперь уж не отвертеться. Лицом всё к лицу. Вот если б еще мне лицо то напротив немного узнать...

О здравствуйте, мои бескрайне милые ветхость и запустенье! Как вы всегда кстати моей тихотленной душе! Ну, встречайте же скорей дорогого гостя, своего разоренного всласть, оруженного, истрепленного, насквозь дикого братца... Что запнулись? Недостаточно умер? Еще выгляжу нагло живым?

Ненависти и злобы на ее век хватит (таково время), а вот любви—неизвестно, поэтому не бойся любить ее с избытком, с перехлестом, беспощадно—чтобы нигде не могла от чувства твоего укрыться или ускользнуть. Люби ее как младшую позднюю дочь. Как слишком-слишком последнее. Потому что она и есть младшая поздняя дочь. Потому что она и есть слишком последнее. Уже невозможно последнее.

Меж нами все ж таки страшная и опасная штука—46 лет разрыва; вот наконец-то поладили—встретились: она родилась, как-то сумев простить мне обиду столь длительного разрыва, громадной прежней невестречи. Рождением она перечеркнула и аннулировала эту разлуку, которая никогда бы не кончилась, если б не стало ее, если б отчего-то она не явилась...

С любовью нужно чрезмерно успеть, даже помимо собственных сил, моготы,—не так много осталось нам вместе, средь жизни, не так уже долго. В лучшем, самом лучшем случае, до того времени, когда неминуемо мы разминемся в новой—навечной—невстрече. Мне—свернуть потихонечку в смерть. Дочери—от меня как можно подальше. Любим пространством, всякой подвернувшейся далью и недалью, всей сокровенной не-большо сверхотстраненной укрыться от меня, смертящего, в жизнь, в отвлеченную жизнь, чтобы я ни при каких обстоятельствах не сумел ее даже коснуться—чем-нибудь нечаянно, отчаянно мертвым, какой-нибудь проскочившей бы помимо меня случайною, незначайною смертью—другая уж не проскользнет! И на том свете умру, но не пропущу!

Вот идет развратно одетая Стелла... как-то возвратно одетая.

Милая! Милая!

А отдам-ка тебе свою душу, слегка подгнившую, одрянцевешую. На скорей, развратно одетая. Угостись-ка. Чем богаты, тем и рады.

То-то будет удовольствия по взаимному согласию!

Ох, прости ты, виденье, меня многогрешного. Чур тебя, чур меня!..

Нет, так и так выходит взаимное согласие, даже обоюдное. Как ни грехи честной мыслью в сторону сухмяной пустоши бессекся и вообще чистоты нравов.

...потом эмигрировал вглубь России. Эмигрировать дальше было некуда. И бессмысленно. Только в картошку. Туда путь всегда оставался, не скроем. Пролегал в длинные гряды, заросшие мусорной самодовольной травой. Приходилось стать жухлой ботвой населения. И он стал картофельным народом, в котором было много разговоров о засухе, неурожае, о злодействах колорадского жука, гнусного ставленника олигархов.

Интеллектуальное злодейство. Интеллектуальные злодеи—самые трусливые в мире существа. Они с презрением вытирают ноги о мир. С помощью головы. От беспомощности и страха вытереть ноги иначе.

Во всех журналах вещи выглядят так, будто они не пошли в «Знамени» и вынуждены быть на любых страницах—все равно где пропадать.

Вы поколение более совершенных идиотов, чем наше,—хочется нередко сказать с удовольствием молодежи. Это не мы, а вы всё прикрываетесь гнильем любых идеологий. Вообще прикрываться любите чем ни попадя. Мы—открыты. Вернее, такими были. Не боялись быть раной, незащищенностью, гибелью и душой. А вы, чего вы не боитесь?

Привлекают лишь женщины, в которых есть тихая и смятенная грусть—она знает себе цену и свою ясную гордость, она тверда и непреклонна, как рыцарь без страха и упрека, она почти героична. словно эти женщины и есть сама утрата, чистая, беспримесная, идеаль-

но свершившаяся. Утрата, без которой никак и нигде уж не обойтись, она из самых милых и сущих существ жизни. Она – позарез. По край души. По самому обрыву жизни в колеблющуюся уже в полмгновении от тебя смерть.

От настоящих женщин всегда пахнет грустью. От поддельных – чужим мужчиной. Сквозь прелестную грусть духов.

Женщины грустно пахнут, очень грустно – собственными спрятанными в них тайнами. Иногда – похороненными.

Наверное, никто сейчас в целом мире так остро и точно не чувствует Саратова, как я, немислимо от него отдаленный, ровно на этот город утраченный, усекновенный, безмерно для него пропавший, безнадежно невозвращенный. Я исчез ровно на мой город, бесценный мой город. Он вырван из меня с корнем. Но я, я сам продолжаю еще вопреки всему быть этим городом. И буду им до конца, каким бы малым и несуществующим я сам себе ни казался. Сколько б меня ни не было.

Я – это город мой невозвратный.

Где мое подлинное жизненное место? – В Саратове, конечно; там живут мои воспоминания. Хочу к ним перебраться на постоянное местожительство. Будет кому упокоить мою дальнюю старость. Мои воспоминания очень похожи на моих детей, правда, не на родившихся, а на тех, что не родились и не смогли стать моими детьми.

Воспоминания начали жить там в 1973 году, мне и семнадцати лет еще не было; я ранний отец. И вот они долго и отлучно живут там, а я нет: не живу, да и неотлучен от них, несмотря на разрыв в расстояниях, несмотря на раскинувшуюся меж нами *смерть отдаленья*. Так давно они там живут, что успело смениться несколько поколений воспоминаний, некоторые из них уже умерли, мне к ним не успеть, теперь никогда. Хотя воспоминания воскрешаются все же легче, чем люди, – эти умирают очень надежно, основательно. Надежнее ничего не бывает.

В разные периоды жизни человек похож на разных своих предков. Причем по убывающей: в детстве – на родителей, потом на кого-то еще, потом на свое обычно безумное время. В старости скатывается в совершенную обезьяну.

В кратких промежутках немного напоминает себя.

Нужно обладать огромной жизненной бесчувственностью, чтобы выжить. Иначе сложет тоска. Голым нервом ничего не возьмешь. Прикрой свои обнаженные нервы. Будь вечно одет во что-нибудь равнодушно, как жизнь. Будь одет в жизнь. Она одянье беспечное.

Нас радовало различное. Вот и вся причина нашего всего. Вся причина наших различий, наших печалей, наших особиц, нашего оттолкновения и уже далеко-далеко не нашего разрыва.

Время решило меня попридержать. Я – из задержанно родившихся. Дед мой – *годок* Ходаевича и Гумилева... Во всем виноваты две мировые войны и особый случай России. Я бы сам по себе и мог родиться раньше, но беды меня всё откладывали. Впрок.

Немедленно увольте меня жить из этого непроходимого для моих взглядов видятника и мурлятника! Не то реготать буду и другое. А другое у меня очень и очень нехорошо и занозисто. Я вас предупредил и за себя не ручаюсь. И тогда я регочу. Не премину также буровить, куролесить, несусветно булгачить. Вообще веду себя отчасти неспокойно. Как невзаправдашный. Иль как много выпивший сумасшедший на побывке.

Это абсолютно вымерший для меня человек. У него и желания каменны. Эти камни так и остались валяться – руиниться среди развалин бывшего человека. Тут не растет даже грустная личная беда. Беда-лебеда никакая.

– Ты очень сильно озлился на мир! На твой взгляд лучше ничему не попадаться...

Да, на глупое и злобное я еще больше – до невыносимости – ожесточился, а к прекрасному я подобрел окончательно. Так что где прекрасное, чем бы оно ни было, – там и моя доброта. Как овечка кроткая пасется. Именно на тех пастбищах ее можно сразу начинать искать, иных кормежек она откровенно чурается. Уж больно разборчивая, от клеверов очевидных губу топырит...

И среди немолодых домов стоял немолодой я, годившийся этим домам, пожалуй, в деды. Мой порядком растрескавшийся, сыплющий мелким напрасным камнем фундамент был

дичайше обвит ползучими растениями. Они похитили всякое мое бывшее движение, и я стоял и нем, и пуст, и бескрыл, мне было сколько-то столетий, но счет им я утратил. На самый крайний случай у меня оставалось лишь несколько сверхпрочных слов, да и то были они омертвевшие. Не единожды умрешь, прежде чем их языком сдвинешь, так как слова были самыми немолдыми и тяжеловесными среди нас, среди всех-всех нас, кое-как составлявших эту захудалую местность, которая давно исчезла со всех мыслимых карт и даже для себя казалась пропащей.

А засим—стоим себе дальше, поскольку без окрестностей не обойтись, во что-то Земле надо ж одеться. Мы ведь не на Луне, чтобы вести себя иначе, а на своей не совсем уж безродной планете—она еще очень долго будет казаться нам не чужой и знакомой.

Презрение к уникальности и неповторимости человека—главенствующее умонастроение. Это в нынешнем времени *базовое*, точнее—антибазовое. Все должны покладисто и предвольно быть как все. Точь-в-точь как и при социализме (и дело совсем не в формации, не в социальном абрисе и антураже). Только форма управления и манипуляции массами другая—более подлая и изощренная, более ловко играющая на низменном и шкурном. При социализме, как ни крути, был найден оптимальный способ управления массами, вернее, их укрощения—массы не зарывались и не смели поставить себя выше неординарного, яркого, самостоятельного. Они должны были с тихим презрением все непонятное уважать. Массы еще не смели да и не умели быть тотально презренным диктатом и повсеместной волей, проникшей теперь и в сущность вещей. Массы хорошо знали свое должное место—и были довольны кормежкой и вылазкой в Сочи. Равновесие взаимного удовлетворения витало повсюду. Все волки еще были сыты, все овцы еще были целы. За исключением, конечно, идеологически неверных овец.

Теперь массы бродят где ни попадая, где им вздумается, отравляя и оподляя под себя все встреченное или только еще готовящееся быть попавшимся. Ныне массы—мера вещей и человека, сверхмера всего. Это—супер! Выше масс попробуй-ка дернуться!—то-то замечательно получишь палкой по морде, причем и палкой-то не простой, не какой-нибудь там дубиной лесной обыкновенной, а палчицей высшего качества и непременно—эсклюзивной.

«Восстание элит» взамен «восстания масс»? Нет, никоим образом! Просто «элиты», как они теперь понимаются,—те же массы, только удачно поменявшие облик. Это то же восстание масс—под покровом, прозваньем элит. Эти «элиты» собрали в себе все представительное и худшее, что снует в массах. «Элиты» теперь—это просто массы на виду, на слуху, на бреду. Массы, сделавшие массовую карьеру, только немного в штучном варианте, чтоб мелькало хоть какое-нибудь бы лицо. В открытую представлятельствовать откровенной одной пустоте было бы слишком. Нельзя выглядеть чересчур уж собой, то есть ее величеством госпожой толпой, собственной важной и неотменимой персоной, проездом в будущее, транзитной ездой в знаемое...

Ну что, зевнем напоследок от скуки? Или оставить зевок на потом, когда скучно будет уж невыносимо?

Радость, близкую к счастью и к самому высокому свету, я испытывал, когда изредка (исподволь натерпев в себе этот праздник) выбирался в любимые свои полевые и лесопосадочные окрестности студгородка летним жарынным днем. Бродил в полнейшем—и все богатейшем, все крупнейшем—одиночестве среди лиственной и пространной пустынности огромного и слегка подуставшего лета. Подолгу сидел на теплой, кузнечиковым шепетением полной траве и смотрел сквозь зыбкость марева, отзывающего всегда чем-то вечным, неутоленным, на очертания придавленного жарой города и плавно текущей лесистой горы—или в другую сторону, полевую, на слабо колышущийся зеленый и предельно безлюдный простор. И везде были мои воспоминания, здешние мои воспоминания, пролеглие сквозь множество лет, пронизавшие бесконечные дни, то и знайступающие иными временами. В мреющей под палящим солнцем, шевелящейся сама собой, без всякого ведома и влияния ветра листве столько таилось и вдруг навещало меня прошлых, теперь незримых людей—знакомых и просто разделивших здесь мое время. Нестерпимо дорогих людей, некогда промелькнувших здесь вместе со мной и ежегодно заменяемых новыми промелькнувшими.

Мало что было в моей жизни таким счастливым, пронзительно моим, как эти минуты летучих, почти уже обезлюженных воспоминаний,—память светлейшею грустью размышляла о тех вообще временах, извлекая из них сладкий яд в никуда возвращений, о тех уже скомканных в единый мрак утрат невозвратных людях.

И какой невероятно счастливой была удача вызволить из того испропащающего сумрака полунебытия хотя бы нескольких драгоценных людей, смутно живых, помраченных годами, еле внятных в своих проявленьях и недоявленьях,—скорее, уже пропаще нынешних, нежели явственно прежних, скорее, умерших, нежели живых.

В этом городе, в этом городе осенней моей души любимое у меня было место—летнее и *полевое*.

Каждый человек, покуда не расчеловечен, все равно остается человеком своего детства. Трудно представить, но в моем детстве фильмоскоп был еще настоящим чудом — чудом зимних вечеров, с волшебной проекцией на белый бок голландки (не пугайтесь, это не женщина и не темномужичко осквернение женщин, а печка такая, в просторечьи произносимая — галанка, вполне русская подданная, чувствующая себя в наших селах до сих пор уместно, прекрасно, будто здесь она и родилась). А теперь, наверное, мало кто и знает, что такое фильмоскоп, не говоря о голландке, но не той, которая бывает женщиной и иностранкой, ее все знают, а не говоря о нашей галанке.

Сейчас уже мало кому возможно поверить, что бывает абсолютно бестелевизионное детство. Телевизор я встретил впервые почти уже в подростковом возрасте (тинейджером я побыгь так и не успел, говорят, очень клевое занятие). Отсюда и моя странная вроде бы страсть к другим друзьям. То поле встретишь, то речку, то ни о чем багущую собачку... Должен покаяться: приятельствовал и с ветрами, особенно с вешними, но были контакты и с дуновеньями солнечных сентябрей... Одно время моими заядлыми друзьями были два длинных в целую вечность оврага, Каменный и Коренной, с брошенными по их дну и до осени потерянными ручейками. За пропажи с ними мне часто влетало... Как давно я их не видел — опустевших, диких, пропащих!.. Эх, овраги мои вы овраги... Наверно, спились...

Я неизбежно человек своего детства, дотелевизионного деревенского детства — волготного детства разлетных полей, зазывного, манящего в нетерпении звонкого леса, шелестящего зеленой улыбкой, неутомимо таинственной речки, волшебное открыто-закрытой и лицеприятной повсюду природы. Я человек еще вполне бунинский, вполне чудесного и безбрежного захолустья. *Очаровательного захолустья*. Я совсем еще тот и оттуда, только протащенный насильственно сквозь несвойственные мне времена и эпохи. Я давным-давно уж не здесь.

«Запах леса делает меня абсолютно свободным». Э. Кустурица, в телеинтервью.  
Хоть от одного человека дельную вещь услышишь...

В наше время себя не похвалишь — безвестным наутро мигом проснешься. Как миленький. И будь добр немедленно за это отчитаться системному администратору лично, так как живешь на процент с продаж. А вдруг тот процент уж угас, вдруг — тью-тью? И речь уже не о том, что известен, а как бы не пришлось платить неустойку за то, что ты немножко и вроде крадочкой есть.

Шло навстречу пол-идиота с лыбящейся головой в придачу. Голове, как органу порядочной анатомии, было очень обидно за эту устрашающе отнесенную всему миру полуулыбку животного человека. Он не в природу и не в людей лыбился, а так себе. Смутно плавал в отсутствующем где-то веселье.

Все остальное, кроме улыбки, было в нем чрезвычайно нормально, просто повитое расхожим поколенческим идиотизмом. Так нормально, что легко и убить можно. Какую-нибудь попавшуюся ненароком человеческую муху. Иль муку. А может, маруху. Разница при такой встрече невелика. Да ему ничего не стоило и одной голой улыбкой прихлопнуть. Вон она какая железноротая, весоватая. Чуть повеселее даванет — и готово. Можешь вплотную задумываться о загробной жизни. О счастье в личной жизни. О вообще.

Кому повем печаль свою?

Никому. Нет таких людей. Они кончились. Истратились все вчистую.

Только моему безмерно любимому городу — повем, повем.

Мы с ним обмениваемся печалью накоротке. Мы понимаем друг друга с полупечали. Даже еще ни грустинки не началось, а мы уже понимаем один другого. Пустячной улыбкой простой. За которой не стоит ничего, кроме нас, в себя еще не пришедших от слишком задержанной, от запропащенной встречи двоих этих нас. Город все же малость узнал меня? Что-то во мне заприпомнил? Он улыбался печально, печально: вот-вот вспомнит он имя мое и кто я был для него. Он долго узнавал меня медленной своей отдаленной улыбкой воспоминанья. И был сдержан: еще не досягнул до меня шумом и большим шевеленьем, еще не сказал ничьими устами ни слова. Но было необыкновенно все ясно, как в день всеусущий сквозного творенья.

Во мне занималась теплая душа бесконечная. Во мне нарастал тихий и, наверно, святой закат. Медленно, пока слишком медленно пробуждалось в области неведомого легкое и стремительное лето, о существовании которого я давно позабыл, — его не было десять лет кряду в непогоди безвременья. Милый июнь проступал прямо на моих глазах, растерявшихся от столь внезапной и странной причуды.

Теперь я полегче жив буду.

Привокзальная площадь ожила разом и наперегонки заговорила в меня всем своим обольстительным, заждавшимся гомоном, которого я не слыхивал тысячу лет. Тысячу лет тьорьмы слуха и зрения, невольничью вечность своей пропажи. Я все их узнал сразу, эти

совсем еще недавно отверженные звуки, которые слышали лишь моя приглушенная память, лишь унылые мое и отчаяние.

Ну вот мы и встретились, старый дружище моей юности. Всего запропащенного моего давний и верный приятель.

Это же я, страннопринимный твой призрак. Разве ж так трудно меня хоть немножко узнать? Разве уж так невозможно?

С кем обнимемся, обнимая тебя? О, не будь таким пылким, осторожно, отстрани чуток свои странные чувства, — ты раздавишь меня в нестерпимых объятьях...

А мне так еще долго с тобой надо быть...

Никому не позволю отбирать у меня этот город, жив ли буду я или мертв! Многих Родин уже я лишился, последней отнять невозможно. Ну, попробуйте, отнимите — немедленно в вас умру!

Самое презренное теперь существо — индивидуальный, неповторимый человек. Даже в прозе нельзя слишком уж лично высовываться. Лирическое чувство настолько упало в цене и угасло, что стало общей неловкостью. Если хочешь быть посмешищем — будь лиричным и исповедальным. Смешная и высмеиваемая прежде толпа стала не смешной, а желанной и образцовой. Толпа лишь видоизменила свой облик, переняла современные черты, но так и осталась толпой, только более жесткой, авторитарной. Чувство толпы окончательно стало главным чувством. Кто не с толпой, тот и без себя, ибо лишь она сегодня имеет право давать ощущение личного чувства. Лишь тот имеет право на звание человека, кто — толпа. Лишь она мера ценного, подлинного и реального. Лишь она искомая вечность, которая вышвырнула все другие бессмертия вон.

У меня пропала беда.

Жалко, конечно. Почти до слез. Иногда приятно победовать. И даже победительно победовать.

Ну, пропала и пропала. Ну и бог с ней. Мало ли добра пропадает? Чего с кем не бывает. Упорным кропотливым трудом наработаем новую. Со свеженькой бедой веселей, развлекательнее — спервоначалу она всегда румяна и щебетлива.

Еще не все потеряно, далеко не все. Мне по силам еще раздобывать яркие, необычайные беды, просто на загляденье, беды, с которыми можно вдосталь поиграть в жизнь. Пока эта последняя — жизнь, — нас проклиная, не сбежит от непосильных забав в лучшую сторону.

Что нам пропавшие беды? Что нам пропавшие жизни? Мы ведь давно научились жить вне всякой жизни. Аминь. Да пребудет что-нибудь вечно.

Истощение. Околевание. Господи, да я ли это? Не верю что-то. Эти вести доходят до меня сомнительными, я узнаю о них последним. Всеми смеющимися силами не верю. Всеми неудержимо хохочущими — прямо в ваши истощительные лица. В морду всякому упадку прямо хочю. Заливаюсь, содрогаясь всеми одинокими и запустелыми помещениями мощно побегавшего по жизни никчемного организма, всеми чуланчиками своими, всеми каморками всего принадлежащего мне странным и косвенным образом. Не пугайтесь, если сейчас мой смех уморит меня. Это не беда. У меня есть много способов существовать иначе. Я как-нибудь все равно буду. Так что обязательно встретимся. Я не прощаюсь. Пока.

Вчера проходила процедура выбраковки в населении. Меня выбраковали и поперли, естественно, в первую голову, как убийственно неспособного на современность. Вот поэтому я здесь и сейчас. Хоть немножко останусь как-никак бывающим. Не мучьте, пожалуйста, меня. Оставьте кое-как одним. Давайте лучше встретимся через вечность, а? Мне кажется, это самое удобное время, оно устроит и вас, и меня. Прошу вас пожаловать — через вечность. Там обо всем и поговорим всласть или вообще. И о ваших пустяках — тоже, всенепременно. Надеюсь, они также станут вечными и большими. Ей-богу, будет о чем бескрайне поговорить. А сейчас среди равнины унынья я до полуслова не дотяну. Какую успешную жизнь обсудишь с хроническим таким молчуном, да к тому же заметным бракованным: пробы негде уж ставить? Нет, до вечности, теперь уж до вечности, раньше и не приходите! Звонить, слать теплые письма, стучать в молчаливые двери прошу вас также туда.

Сегодня глухою ночью я пас овец на тучных пастбищах сна. Были и козы, а также козлищи в сновиденном немереном стаде.

К чему бы это? Знаки хорошего или дурного то были? К чему мне так много животных? — я и одну-то овечку в десять лет навряд ли умну.

Не обличал ли сон во мне исподтишка замашки демиурга? Но почему в стадах отсутствовали иные животные, почему иные пастбища не расстилались вдаль, когда же, наконец, мы выполним Продовольственную программу 1982 года и мужик встанет на ноги, презрев лужу зелья?

Что-то изо сна вежливо, но дико отвечало: ждите, абонент временно недоступен.

По улице моей который год никто не ходит и не исчезает. По улице моей давно нейдут я сам, потерянный на улицах случайных, небывалых. Куда ж нам плыть, товарищ Пушкин?..... Иль мы уже приплыли? Но гавань где? И корабли? И вообще народ? Ни зги не видно что-то, может, то облачко подскажет нам, какое у бурана окажется знакомое нестранное лицо.....

Для кого-то есть в том или ином, скажем, фильме четкая идеологема, для кого-то напрочь отсутствует. Каждый высматривает во всем только свои крошечные идеологеми, обычно довольно личиком несуразные. Или под видом их полавливает себе да полавливает что-то другое – и сам не знает, чего он мощно так наловил и кому потом навялится свой улов. Каждый видит только свою проекцию, только смутный образ своих желаний. Редко-редко встретишь чистую, весьма отдельную от морока и мороки человека, бредущую наугад идеологемку. Как же тогда радуешься встрече с чистой, ясной? Вон она идет, вон, дура сияющая, малахольная... Узнать бы еще, какой дурдом по ней плачет, ревмя ревет безутешно...

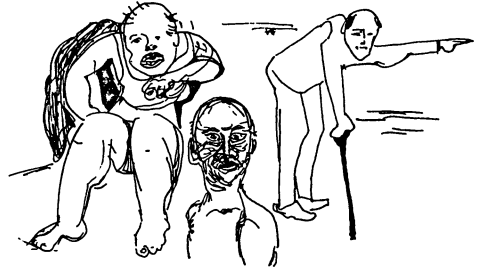
Произошедшие некогда события либо становятся в будущем реальностью, либо становятся никогда не бывавшим. Смотря к каким людям и воспоминаниям попадут. Влиятельные и значительные люди (действительно таковые или в общем пустом мнении – в данном случае совершенно не важно), их близкий круг могут сделать прошлые события наново произошедшими, и даже более произошедшими, чем они бывали в заурядном облике повседневья. Для выживаемости события нет имеет особого значения даже то, что именно случилось, а важны причастные ему люди, способные наследовать это событие для будущего. О медленной гибели миллионов людей мы не знаем ничего, потому что свидетельствовать некому, кроме гибнущих, другим же замолвить словечко – невыгодно иль брезгливо, и потому этого как бы нет, не происходит, эта реальность – совсем не реальность, и мы бессовестно продолжаем жить в бессовестном обществе, умножая корпоративные призраки, выпуская их в жизнь и перенаселяя ее ими, вместо реально живущих реалий. Мы имеем перед глазами совершенно иную жизнь, чем та, что струит в самой себе, естественным током.

Многое важное, очень крупно произошедшее со мной абсолютно не бывало, потому что это было в ненаследуемой среде, в которой я обычно и обитал, и свидетельствовать – докричаться до крупноты этих событий – некому, кроме меня. Какие-то несколько событий я все же заставил жить и помог им произойти и в будущем. Но масса драгоценной, по-настоящему эпикальной жизни ушла в никуда. Разве ж кто может поверить, что я свидетель? Ведь каждый и сам любит посвидетельствовать ни о чем и верит только себе. Так и остается для будущего пустота... И некому подтвердить, что я упорный свидетель, так как я не имею за собой никакой сплоченной среды, корпоративной опоры, я всегда имею дело лишь с одной пустотой, и свидетельствовать обо мне как свидетеле может единственно только она. Ну а какой из пустоты выйдет свидетель, что упрочит она своим показаньем? Она и меня-то растащит вконец, если призывать ее и продолжать ей доверяться. Лучше уж самому по себе отсутствовать, без этой всякой и любой пустоты... Так будет лучше, надежнее, так остается призрачный шанс сохранить хотя бы пустое, но будущее...

С природой хочется тысячи повторений – тысяч закатов, тысяч пейзажей, всего бесконечья вторящихся, похожих друг на друга, неизнашиваемых радостей. Почему не хочется повторений в социальном, в людском – или хочется гораздо меньше и как-то не так, как в случае с природой?

В природу тянет уединиться и посокровенничать посредством ее с собой, в социальное уединиться большого желания нет. Да и как уединиться там, где как раз все уединению противоположно, где все несет ему непременно разрушение, осквернение молвой и толпой? Ни одно одиночество потом это уединение не узнает. Даже откажется – узнавать.

Он был бы крупно несчастен, если бы не был так огромно злобен. Его невозможно пожалеть. Он распространяет свою едкую, разлагающую злобу всеюдно. Этакая вселенская жаба, призванная отравлять любой сколь-нибудь добрый воздух, стоит ему едва появиться. У этой жабы отменный нюх на малейшую струйку нездешнего чистого воздуха.





Он никогда не сможет написать то, что меня по-настоящему взволнует, что оживит или окончательно умертвит. Поэтому он писатель пусть и не плохой, но откровенно проходной. Мимоместующий. Бесприкосновенный. Дай бог и впрямь здоровьичка его пустоте—чтоб только шествовала она от меня далеко стороной, как, впрочем, данное отсутствие и вело себя прежде: это очень благоразумная пустота.

Женщина, которую не любил ни один мужчина,—страшное существо. Более страшное, чем жалкое или какое-либо другое. От никогда не любимой всего можно ожидать. Из-за хронически пожизненной нелюбви, нелюбви уже инвалидной, она на все способна. Даже и на то, на что никогда не способна. За исключением того, на что бы она была способна, когда бы любила—самоотверженно, самозабвенно, потеряв даже свое существо.

Я не умру побежденным.

Победы надо мной не случится.

Сверх сил и утрат своих не умру побежденным. Мое поражение никогда не будет чужим удовольствием. Я слишком уважаю свою жизнь и то, что мы вместе с ней когда-то имели и потеряли.

Ищите побежденных где-нибудь в иных местах. Среди меня их нету. Не сыщется ни при каких обстоятельствах. Быть втоптаным за здорово живешь в грязь—не мой удел. Я даже из смерти найду ловкости немимо схватить вас за ноги, если вы вдруг начнете пошлый свой топот и бред отрицанья. О пляске на моих костях я и не заикаюсь, это будет уж слишком, и ответ мой будет незамедлителен, адекватен, а может, и превентивен. Я предупредил довольно прозрачно, а повторять не люблю. Берегитесь. Всем будущим своим берегитесь. Не то сделаю, что должно, и будь что будет, война план покажет. Коли вы так со мной—я тоже войну свою на свалку не брошу, на что-нибудь мне она пригодится. Война так война—если в другом состоянии вы быть бесталанны. Умрем обоюдно по-честному, раз вы не привыкли честно умирать в одиночку.

На подавляющем большинстве человекообразных культура держится лишь весьма прилизительно. В любой самый неожиданный момент они могут оказаться пронзительно голыми. В любой момент культура готова с них бодренько спрыгнуть. Будут успешно позверовывать и откровенно червячить. Потом станут эксклюзивно одноклеточными, харизматично амёбными, креативно—инфузорией-туфелькой последней модели, от самого продвинутого в Европе Дома Моды, Юдашкину мало не покажется. Короче—прикольно, клево и супер. А по жизни—прекрасный мудака. Зовут меня... можно никак. Живу я везде. Люблю размножаться деленьем, в гондон облачив безопасный свой секс.

Страшно видеть превращение писателя в черт-те знает кого. Дурно пахнущее зрелище. Тут какой-то закон сохранения энергии: выделяется ровно столько отвращающего, сколько было в сем благодатном месте прекрасного. Иногда даже больше.

За счет божественного остатка?

Один голый полуприродный организм выступал воочию перед моими сбежавшими в самую душу глазами. Ни единой души не мелькало в замусоренных кромешной плотью этих глазах напротив. Вот и свела судьба нас. Да и попробуй не отведи глаз... Память в этих луп-луп мигалах даже и не валялась, даже нога ее здесь нигде не ступала—негде там лишнему поместиться. Кажется, наставала роковая минута моей жизни. Что ж, встретим судьбу не отвергая глаз. Вот только что-то с лицом судьба подкачала... Прямо ражую морду мне вместо судьбы подпихнула. Ну что ж, ну что ж, всюду торговля, каждый выгадывает свой интерес. Не обманешь—так и будешь до конца жизни сидеть в лоточниках, ларечниках, будочниках и незабудках. А то и вообще скажут: пошел, пошел. Вот и пойдешь. А куда глазам глядеть? Им глядеть станет некуда, негде... И этот казавшийся поначалу злодейским голый организм, всхлипывая, выпал прочь из роковой минуты, лишив встречу трагедии дальнейшего, сделал меня мимоходным своим пустяком. Как жаль, как жаль. Вот и опять, как всегда, ничего не произошло...

Голенький человек... Вижу страшную мысль.

Небо капнуло на меня птичьей беспечной кашкой. Отмечен! Высшую государственную небесную награду ношу на себе бережно, важно. Главное теперь—не потерять себя.

Темнота нехорошо возбудила кусты, и они неузнаваемыми голосами вскричали известную половую чушь.

У травы взгляд сырой, голос простуженный, осипший. Шиповник кашлянуть боится. Такое раннее утро! Мертвый час предрассветный. Ничто еще не может стать пол-

ностью человеком. И я еще—зябкая, неуклюжая трава, глядящая на себя в чуть светящее окошко, которое также пока отрекается быть человеческим. Все в округе сплошь один милый, давно разыскиваемый мной нечеловек.

Мирно в себе закончил работу. Дело за полдень. Никого не обидел, у всех все хорошо, и я сегодня у Бога вроде бы на хорошем счету—купаюсь в спокойствии. Как чудесно ждать домой жену! Божественное занятие! Она третья у меня жена. В множественном ожидании как бы не сбиться со счету. Не отбиться от дому—в чужом доме всегда легко куда-то пропасть. Кстати, кто она, эта третья жена? Видел ли я ее когда-нибудь хоть бы промельком?

Это была базовая молния, фундаментальная. Следом—только пустосверки. Потом хлынул остальной дождь, и небесной толпы стало необыкновенно много.

Водка ходовой товар души. С похмелья душа ходовой товар водки. К исходу запоя все бездвижно. Никто никому никто. Товар лежит без лица, душа вовсю нетоварна и вряд ли душа. Боже, куда б мне пропасть...

В небе проступила рдяная душа вечерней звезды. Кроткая, ясная, необъятная. Куда же мне деть при дороге свое неуместное тело, бесстыжую явность свою?

Издаലെка видно—сквозь бурю осень торчит ветхое тело растенья. Ба! Глаза мои, погляди, кого вы видите! Татарник! Знакомые все лица!  
Узнаешь ли иногда Толстого, родимый? Как он там?

Внезапная ясность души вперемешку не то с борделем, не то с бардаком. А чего ты хотел?—ведь Россия.

В России повсюду Россия. Даже там, где б ее не хотелось и не ждалось.

Вот и пришла моя любимая!

Ждал всю жизнь, она обернулась мгновением. Здравствуй-здравствуй, Византия души моей!—душою посмеиваюсь. Как поживает нежная вечность твоя?

Моей вечности без тебя что-то не было, любимая. Мою вечность ты сейчас осторожно заносишь в прихожую. Моя вечность уже скинула вымокший плащ. Мы пойдем с нею пить крепкий чай цвета реченьки Пры—вечность продрогла с осеннего холоду. О, как вечность мне улыбнется из-за дымчатой чашки вечерней, небрежно сдувая забедокурившую прядку чуть усталых волос!

Тихо, пугаясь даже себя и всякого личного шороха, этак незаметненько отметил в себе свое малоблистательное 49-летие.

Все более становлюсь неизвестным писателем, все глубже, все тверже. Пройдет малость лет, и можно на моем месте смело ставить плиту: здесь похоронен неизвестный писатель. Пал за освобождение народа своей души. Имя рассеялось, невосстановимо, воскрешению не подлежит. И пусть земля будет пухом. И скатертью ему дорога. И прочие в таких случаях любезности, пробирающие сразу до костей. Тут будет о чем крепко задуматься... Н-да... И прочие пошлости, от которых поневоле встанешь и опять заживешь. Сколь бы ни было лень продолжаться. И петь дикую песнь выбракованного. Обязательно будешь! А куда же ты денешься?!

Лужа сытого дождя села развязно на дорогу и ухмыляется: ну-ка, хотела бы я посмотреть на первого, кто вяпается в меня! Лужа чистосердечна в своей добротной грязи, ей хочется поделиться, а также участвовать, она любит покрутиться на людях, особенно в вышних эшелонах. Она бы не прочь быть муниципальной главой этой очумелой от праха движений дороги. Это слишком по ней уж заметно, так что малость за нее неудобно и неприлично. Не стоит сильно удивляться, если в одно прекрасное время лужа будет двигать себя в кандидаты от блока, а может, прямо от партии разбитых дорог.

Много первого снега поумирало напрасно.

Если бы уговорить его не таять, получилось бы несколько прочных, добротных зим, до бровей засыпанных снегом, которые бы не помешало иметь про запас. На случай отсутствия будущих зим. Хотя бы на первые привыкательные поры, пока слякоть и пальмы не станут обыденным делом.

За окном падает громадный, наверное, всесветный снег.

Скоро и я упаду?

Первый снег безмятежный. Какую грациозную плавность и мягкость он низводит с небес! Сколько кроткой тишины вселяет в эти обезлюженные грандиозно пространства! Человечности у него не отнять. Сегодня здесь снег—один величественный, немислимо громадный человек, расселившийся в воздух белым порханьем, рассыпчато ставший куда-то бредущим на ошупь пространством. Его многого валкого, леткого тела никуда не вместить. Не окликнуть ли в помощь иные просторы, чтоб нетолкотно снег приютить, чтоб ни в чем не узнал он стеснения и ущемленья? Чтоб в себе узнавал он мгновенно, свободно первый снег.

Грустно, одиноко. Конец ноября. Венец мерзобря.

Разве может в моей жизни больше ничего не случиться?

Это было б ужасно неправильно. В этом что-то преступно не так.

Конец ноября—словно личное, зябкое окончание. Опропащание.

Все же он тревожный, ноябрьский преданно выжданный снег. Чувства еще не обучены белым паденьям—снег кажется им немного чужим и опасным. Он чуточку им сторонний. Набрякший двояким предвестьем, которое может слегка умертвить. В декабре чувства уже научатся метелям, но им лень будет и шелохнуться: спячка зимы заразительна и азартна, и пленительен сон золотой.

Попрошу сегодня у жизни как подаяния: случись же что-нибудь с тобой, моя жизнь. Случись же наконец-то, моя неслучившаяся жизнь. Напрасно оставлять меня без будущего. Мне так его сегодня не хватает. Зачем ему так долго зиять передо мной? Зачем быть ему столь пустынным, пропащим местом? Провалом, безвестьем—зачем?

Только ноябрьский снег—единственное из всего, что похоже немного на будущее,—тихотихо струит, перетекает в ту странную сторону, где должны быть, по всем вероятностям сродства и похожести, уже проявляясь, предместия будущего, моего средь безвестья замершего будущего, но там скопилась и там сказалась одна едкая несказанная пустота. Одна чернеющая пустота еще не покрытой всеместно снегом земли, и зябко видеть, как зияет чернью мое промерзшее насквозь, расстилающееся уныло повсюду кочковато-землистое будущее, отшатнувшееся прочь от моего большого окна. Оно больно моим стосковавшимся запертым взглядом запретным—он давным-давно сбегал бы отсюда... он многожды тщетно сбегал. Но куда подевать это никому не нужное бесполое тело, к которому зрительно возвращаться ему уже омерзело?

И мне не нужно тела, мерзко вгнездившегося в рассиженный насмерть буднями стул; в тоске изнывающей стол только призрак-сообщник, он тяжелеет тайным врагом, он скоро уже незаметно предстает. И в который раз я сбегая тщетной попыткой в свой недостижимый, далью смущающий и погубляющий взгляд—он уже, несомненно, по ту сторону снегопада, по иному краю земли, в том неведомом месте, куда мне, выдать, никогда не добраться, я там всегда буду пуст—там, где окажется немножко хорошего будущего, во всем—добро. Даже отсюда, из мертвенной комнаты, я чувствую, слышу, как оно живо и странно-прекрасно...

Мне бы очень-очень хватило того немножко. Сколько ж можно мертветь средь прошедшей начисто жизни? Не все же сидеть на краю снегопада у неизлечимо большого мною окна. И видеть, как чувство за чувством, год пропадая за годом, жизнь за жизнью снег пыточно медленно, снег неуклонно заносит напрочь тебя—всклени и вспянь. Скоро станешь ты вровень с зимой, с этой нежитью белой—зимой. Что ты будешь тогда?

А не мое ли это будущее—огромный февральский сугроб? Не есть ли он—я отдаленный, бестолково несбывшийся в ноябре?

Но не разглядеть, не угадать, что там смутнеет вместо меня по другой край зимы. По другой—занебесный—край моей ласковой тьмы, так уютно, так знобко, так жизнеобещающе уговаривающей не быть, по возможности не быть этим первым, престраннейшим и преступнейшим, снегом. Но быть мне больше нечем и нечем, если изъять из меня тот душевно, тот душегубно, столь убийственно нежно пропадающий в близкие бездны, все свергающий медленный снег, излетевший меня в белый прочерк разбредшийся снег, уж накликавший ранние сумерки. Того и гляди, день умрет. С кем останусь я доживать неизвестно кого? Домирать потерявшую лик бесконечность. С кем останусь, непозволительно мертво привыкнув собой оставаться?

А вот не надо ставить человека в условия, где он просто вынужден сказываться зверем. Тогда и не увидите оскал злобно вспыхнувшей тьмы. Большинство людей все же любит преимущественно—ровно светить. Не верьте глубоко темному в человеке—оно темнит, пока темно. Не случайно же все стремится выглядеть в человеке под свет, под добро, все одевается в белые одеяния благоденний, даже самые отпетые общные злобы: они ищут какого-то добродного оправдания, одобрения, они хотят выглядеть одетыми в свет, в шикарные чужие признания, пусть этот свет и в извращенном виде, скажем, свет по понятиям. Но—свет, как его не отридай и не изврачай. Попытка одеться в приличное в иных—авторитетных—глазах, мнениях, сообществах, средь искалеченной насмерть свободы. И природа человеческая—затравленная, загнанная, оклеветанная,—и эта изувеченная веками плясок на костях природа, пусть

и не без преткновений, пусть не всегда с большими объётами, но хочет, жаждет быть прежде всего именно светом. А иначе бы и дети не рождались.

Мы тяготеем все же к любви—не к убийству. Но вот беда—не всякая любовь тяготеет к нам. И тогда зарождаются мысли убийства.

Все это, конечно, очень спорно. Но спорить хочется в сторону света.

Он отразил сознание балластной—сегодня как никогда наиболее распространенной—части населения, населения, непременно на чем-нибудь и на ком-нибудь паразитствующего. И оттого, что его приняло и что-то услышало в нем свое столько клеркообразной сволочи, он не стал, разумеется, хорошим писателем, будучи всепоголовным лауреатом поголовно всех премий. Он только единственное упустил: упустил выразить. Выразить—душу. Свою. Ну хоть немножко—свою. И тем самым не выразил и затмил тысячи иных многих душ, впрочем, пропащих и без него.

Когда-нибудь спросится с него за эту широко распространяемую слепую смерть—в виде личной безликой души. Спросится за украденные похода души, которые прежде украли другие. В том числе и за свою бессмертность, которую он сам у себя незаметно и ловко украл—и забыл, где оставил. Только помнил, что прятал подальше от гладкого, изумительно легкого текста.

Туман окутал поздний день.

Все зябко тебе, милый? Ну, подыши, подыши немного, напоследок согрейся, скоро уже твоя ночь, ясная, безмятежная, взамен тебя умершая ночь.

Я проснулся в кромешной бездарности.

А каким гением засыпал, мудодень! Каким повелителем мира был хотя бы в районе постели!

Все в прошлом. Ночь переменяла меня безвозвратно. Подтасовала в меня какого-то другого человека, который никогда не окажется прежним. Теперь вот надо его зачем-то умыть, поить лучшим чаем, заставлять гладить домашнего кота, лишённого возможности иметь котят своих сыновей, дочерей, но не побежденного, затем выводить на какую-нибудь службу под бодрым видом прогулки иль денежных обогащений. Да пропади он пропадом, проходи-мец несчастный! Не обязан всякую секунду я с ним канителиться! Не нанимался. Уговор был на другого человека, а он стал вчерашним вечером. И будет ли вчерашний вечер сегодня вечером, совершенно неясно.

Вопрос обо мне остается опасно открытым, и будет дурачки зиять до тех пор, пока я не забреду в родную окрестность постельки. Тут-то все и разрешится в полную ясность. Жду с нетерпением в районе подушки собственной определенности. Улегся уж с полдня. Себя караюлю.

«Здесь был я»,—напишу я когда-нибудь крупным размашистым росчерком прямо поверх своего исчезновения.

Узнаю ли я свой почерк, или он будет заметно иной? Поживем—увидим.

Пасть моей записной тетрадки так прекрасно лилова, как улыбка преданнейшей из собак. Посмотрел со стороны на лиловый свет меж приподнявшимися страницами. Так и хочется туда нырнуть, в сиреневый отсвет слов. Пасть в эту чуткую, бездноватую пасть. В это уже почти фиолетовое чудо сумеречного зимнего часа, где среди высоких снегов и безличного воздуха, наспех сооруженных из опрокинутой синьки, обычно блуждает чья-то неузнаваемая, потерявшая и себя-то душа. Много неузнаваемых, но когда-то явно знакомых душ—они смущают меня моим неузнаванием и просят, навечно безмолвные, просят вспомнить, где я видел их, где так крепко, бездарно не знал.

Что ответить мне, ослепшему еще жизнь назад?

Ваши пеплы вернутся вам, пиплы. Что тогда будете вы? Как рассеетесь среди земли?—ведь рассеяний прежних не будет.

Такая поздняя, одичалая осень...

На тысячелетия вспять постарели все мои чувства.

Я встарел обратно в камни, в безживные воды, во всякую пустошь земную.

Вот только что пробежал во мне динозавр непомерно крупно и дико.

Это уже лучше. Все-таки хоть что-то живенькое. Не один голый мезозой или меловой период во мне. Вечность, кажется, уж начала во мне помаленечку обживать.

Сколько же можно себя предлагать и выказывать! Сколько можно глядеться товаром, быть сбываемой вещью! Заявляю со всем исчезаньем: отрекаюсь от всех предпочтений!

Ни частицы себя не позволю дать больше. Не обнаружу ни слова. Неузнавших, я с презрением вас всех отвергаю. Извините, я тихо в себе умираю. Мы квиты вполне: нас не стало взаимно. Вы сыграли мою смерть превосходно. Я всецело от вас отрицаюсь. Выйдите прочь из меня, мертвяки! Я хочу побыть с небытием наедине. «Можно тебя на пару слов?»—оно мне сказало.

За 50 почти лет упорной и трудоемкой жизни я не заработал себе даже возможности спокойно работать. А только это, по большому счету, заработать и хотел. Никакой свободы себе не вытудил на попрание России, а только все большую неволю и горечь. Я в этом не очень виноват. Говорю это в трезвой памяти и твердом уме (можно наоборот, для России разница невелика, и не на такие различия плевать мы хотели)—я, который шарахается в себе от шороха самой малейшей вины, даже и небывалой,—но и та старается прибрать меня вовсю к своим терзким рукам.

Это же надо умудриться и мне, и меня кое-как уместающей странешке: не заработать даже возможности работать! И ужаснуться этим уже не получается: насмерть привык к своему *нищенству свободы*. Такое слишком распространенное в России *необладание личной судьбой* вроде б в порядке вещей, особенно в последние времена, когда и всякий порядок вещей словно потерял свою чистую и ликую судьбу и стал сумбуром вещей, несчастной свалкой рухляди, пестряди, мокряди...

Видит бог, я не очень виноват в том, что во мне—как-то резко помимо меня—идет все большее сужение в раба. В человека, у которого хамским произволением вещей отняли его работу. Его истинную, его единственную работу, с помощью которой он мог бы хоть немножко нащупать в себе бога или что-то близкое к нему, может быть, даже и самого себя.

Мы живем в стране людей, у которых отняли их собственные, их множественные в свободе лица. Вернутся ли они когда-нибудь нам?

Разве исчезновениям так трудно уж возвращаться?

—О нет, ваши лица уже реструктуризованы. И ждут новых вливаний, иных инвестиций. Вам не о чем больше беспокоиться.

Написать так исчерпывающе полно, что оставить за собой пустыню. Да право в ней умереть.

Сегодня пятидесятое 1 декабря моей жизни. Как больно, как зябко укололся о первую цифирку этой круглой зимы! Не по годам она оказалась остра. Две капельки белой поздней крови выступили нехотя из меня. Кровь зимняя, пятидесятилетняя, совсем не кровь... Совсем ничто... Даже не окрасить кровавым сколь-нибудь малой раны, и рану не видно немудрым взглядом—тем, которому не пятьдесят, тем, до которого я еще не дожил.

История моей жизни непечально такова: где-то, известно, родился, где-то как-то жил, зачем-то хорошо, крепко умер смертью невидной, пустой.

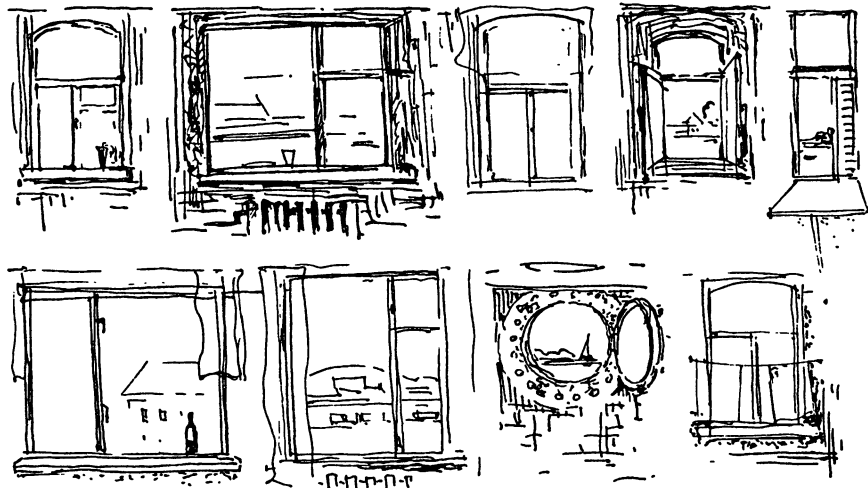
История дальнейшего тоже непечально такова: нахожусь в хроническом состоянии вечной пропажи всездешней.

Вот и капец, господа. Кто с ним незнаком, приходите, рад буду познакомить. А засим—несбыточно и небытийно откланиваюсь и пребываю преданный вам, преданный вами, что, оказывается, почти что взаимно...

Вскоре после замужества чувства этой женщины перестали чувствовать, мозги отреклись мозговать. Компенсаторно работало сверх мощи одно только крайне физиологичное тело. Желудок также промаху не давал, не сплеховывал, ведь он не дурак. С рождением ребенка она стала уже выдающейся идиоткой и любила больше других занятий плотно покушать и сказать пословицей ровно к месту. Ребенка пришлось воспитывать уже полубредово, на интеллектуальном автопилоте, но он часто давал сбой, и женщина с большой охоткой и отличным самоуважением решительно несла отважную дурь, а ребенок смотрел на нее престранными, но еще чистыми глазами, откровенно не понимая, где надо плакать, а где смеяться, так как он не мог уловить, что значит его целиком биологическая мать. Так они и жили-поживали, как бы добра наживали и прочего разного...

Вечеру жизни все же выросший из этого ребенка кое-какой человек мог свободно сойти с ума от одного только воспоминания жующей все его детство матери. У бывшего ребенка сразу начиналась икота воспоминаний, словно он объелся несвежими впечатленьями. Его тошнило до какой-то зеленой, невыносимо тягучей мерзи былого. Потом былое шло уже желчного, последнего окраса, какой может водиться лишь где-то на задворках человека и носит цвет его откровенной помойки.

Если лет десять назад в удивление была всякая черствость ко мне, то теперь в изумление всякая радость или удивление, изъявленные по поводу меня.



Я вряд ли много изменился за эти годы.

Насколько время потеряло удивление! Насколько безрадостней стало в радости! И глушит все пустая музыка пустоты безмерной, человеческой. Как безмолвно, как неслышно стало—жить. Как много музыки пропало...

Уж совсем без себя ведь тоже нельзя, надо все же немножечко быть, пусть и реденько. Надо реально иметь совесть не исчезать постоянно. Хотя бы из приличия перед другими, мящими себя живыми, нужно время от времени появляться, чуток помелькивать собой. Иначе тебя ни за живого, ни за мертвого не станут считать и будут ни во что ставить, за никого признавать. Определись наконец-то твердо: с кем ты? И тогда уж либо точнее помелькивай, либо вплотную отсутствуй, не суйся в этот мир с неясными намеками, двоякими исчезновеньями и разными своими несловными и рукосуйными призраками—они нас нехорошо смущают, уймись. И тверже запомни себе на носу: кто не с нами—тот против нас, в то же мгновение... или даже чуть раньше.

Почему хорошо пишется близ умирающего человека?

А когда сам умираешь—как пишется? Как дышится? Пишешь—как дышишь?

Мама отдаст мне напоследок свою душу? Разве за жизнь не отдала? Ей всегда казалось, что она не все отдала. Слишком много не все. Так всем настоящим матерям кажется. Их отдавание непрестанно—и нет ничего в жизни надежнее этой защиты. Мама часто любила повторять случайно поэтическую фразу своей сестры тети Моти, которую всегда называла *няней* (она была лет на 20 старше мамы, одна *подняла* после войны шестерых детей, пол-Новокуйбышевска имею в родне, около пятидесяти тысяч): «Все наука придумала, только не знает, как бы у матери жалости немножко отнять».

Пусть эти щемящие светом и чистотой слова и будут памятником им обоим.

Вот так и пишется...

Маму звали Мария. Без этого имени что-то будет неполным...

Каждый раз 12 декабря любого года я встаю утром с левой ноги. В остальные дни—только с правой, ошибки ни разу не вкралось. К чему бы это? Или это какой-то ушиб младенчества сидит во мне? После которого 12 декабря левая нога сама знает, что ей без droгновения делать.

Загадка века, каковую смело приплюсовываю к немногим другим непостижимостям и невозможностям столетий.

Одиночество—тот еще гусь, который крикает до тех пор, пока в ответ сам не крикнешь. Как бы приветствуя бодрым отходняком. Вот тогда ему все понятно. Моментажно перестает издавать звуки. И уже явно не гусь. К тому же гусь, да будет мне известно, никогда и не крикает, не имеет такой он превратной привычки. Это скорее утка. Она так ведет себя звуком. Чаше всего. Дурусть свою ей за это надо благодарить. Но вернемся к нашим баранам, к одиночеству то есть. Впрочем, тут никого уже нету и я—только бред предыдущих слов, пасущийся в одиночку среди бредствующих и бродящих, среди все еще бередящих стай и стадов...

Вот гадство какое: развел ты собою целое дурацкое подсобное хозяйство! Как теперь с ним управляться, спрашивается? Возись вот теперь по домашности, чего мне как раз только и не хватало для полного шасья... А вот и не будь одиноким, обнаглел совсем! Это такая зверо-птичья обуза... С этим скотным внутренним стадом и сам непременно загрегочешь. Как-нибудь чересчур по-особенному. Практически нечеловеческим, практически нечленораздельным голосом. Возможно даже—голосом безумия опрометчиво длинных и невозможно пустых этих наших пространств...

Душа не сбывлась?

А может, это я никогда не рождался.

Дело двойственное, сомнительное. Пожалуй, даже криминальное.

Больше всего здесь смущает отсутствие трупя.

Человек, который напролом поверкает речь, даже не чувствуя этих увечий, подобен испражняющемуся камню. Животное и то чище гадит.

Все снег идет да снег, да снег идет, идет... Когда же и куда я пойду, подражая хоть малость этому поднебесному ходу? Возьми меня с собой, снеже милый, возьми—я уже готов на все снежное, на все твое невозможное. Я готов даже переступить, снеже, твое снежное и невозможное, чтобы не быть, не пустовать в этой гиблой, незрячей местности, что зачем-то сказалась домом моим; но дом мой разбрелся по ничейным местам...

Написано простотой любящего сердца. Это и есть авангардная литература. Все остальное—неавангардно. Напрасное для напрасных умов. Дуновенье ветров из сытой жопы.

Главное—еще каким-то чудом жив.

Главное—еще есть что любить и живы чувства любви.

Еще остались люди, на которых можно смотреть без содрогания и всем сердцем.

Осознав это, понимаешь: всего остального так мало в жизни и так оно ничтожно. Я подразумеваю под всем остальным и ничтожным все беды, промахи, злоключения, которые случились со мной или поимеют наглость произойти. Если, конечно, сумеют. Ведь им придется преодолеть не прежнего хилого меня, а теперешнюю мою ясную, солнечную живость и мою распрямившуюся любовь. Попробуйте-ка с ними справиться, мерзавчики жизни! Это крепости, которые не уморит ни одна осада. Я так легко презираю всю вашу всесветную мертвость и нелюбовь. Мне так приятно не умирать от вас в одиночку. Будьте здоровы, ваши оживившие меня умиранья.

Я все закончил. И вот решил—таки наградить себя разговором с тобой. Теперь я заслуживаю этого общенья. Живный плоточек женщины—это все, что сегодня я заслужил, чего достоин, выполнив свой урок в отпоре небытию. А если бы его не было, этого наградного плоточка женщины, чего бы стоили все мои усилия?—я мгновенно бы проиграл это небытийственное сражение и был бы тотчас им поглощен, им, пошлейшим из пошлых,—небытием.

Я всегда страдал отсутствием устного рассказа, благодаря блистательному невладению им. Эта болезнь врожденная. Мой прадед сказал за жизнь всего несколько необременительных коротких фраз. Среди них самой услышанной была последняя: «Ну вот, кажись, я и помираю...» Говорят, это была пятая фраза его жизни. А если учесть, что он не мог, как ему приписывают, сказать сразу же при явлении на свет: «Ну вот, кажись, я и родился»—то фраз было значительно меньше пяти.

Вот так крепость мой прадедущка! Все слова внутри себя прожил! Ни одно побаловать-ся на лицу не выпустил...

Пусть даже подумают про меня, что я убийца. Главное то, что подумаю про себя я, что именно я есть. Мне уже более чем безразлична чужая мысль обо мне, ибо почти догла выгорело мое. Так догла, что только я и остался—ничего лишнего, наносного. Предельно маленькое, до исчезновения, до высшего совершенства отсутствия исчезновения. Честный нуль меня. Предельно честная моя точка.

Если большинство людей не понимает и не способно понимать, что такое беда, что может быть ею,—значит, это с людьми большая беда, и она будет бесконечно проявляться, множа бедствия в мир. Мы обречены на вечное возвращение бед, так как люди сами—большая и неразрешимая беда.

Мир и не мог удержаться жить высоко и вполне закономерно стал жить по разбитым законам бессмертного быдла и бессмертной пошлости, когда-никогда это все равно должно было произойти. Вот в чем конец истории и времен. Нельзя было позволять

быдлу одерживать верх, нельзя. Теперь с тех опоганенных высот его не согнать, возврат невозможен—слишком преобладает оно числом, быдло, слишком легко и заманчиво стать им, никаких усилий не надо. Как просто оно соблазняет! Как легко берет подавляющим превосходством!

Быдло отменило и высмеяло высокого человека, с поганой усмешечкой вручив ему свою собственную посредственность и бескрылость. Но высокий человек все равно куда-нибудь улетит, крылья—превыше него.

Для ослов пишет подходящий осел, писатель—для одинокой, заблудившейся души. Но где ее взять, если она ушла и окончательно заблудилась? А все неушедшие в блужданиях несведущи, они не знают ни ходу, ни броду, ни даже кладбища своего, куда бы не грех иногда приносить цветы, в знак простого поминовения.

Как зябко жить... Жизнь—ознобнее космоса.

И умереть—зябко.

Повсюду стынь несусветная. Даже за смертью не согреться. И оттуда дует северно, скверно. Повсеместно теперь наступил вечный ноябрь. Как бы поднапрячься, сдвинуть его? Где бы добыть еще на разок нечеловеческих сил?

Хоть убейся, а все равно в России нет как нет никакой свободы—для тех, кому она действительно—позарез—нужна. Рабство круговое, только личины рабства другие.

Поэтому стоит добывать только свою частную свободу, частным порядком. В нее углубляться изо всех немислимых сил. Никакие внешние свободы как-то не устраиваются в России, не укореняются. Или возникают такие свободы, которые существуют за счет попиранья в новое рабство все многих и многих иных и иных. И всё выглядывают они каким-нибудь отменнейшим свеженьким рабством, новым рылом и новым мурлом.

Будь упорно свободен в одиночку.

Этот тоннель тебе копать одному.

Лишь так свобода сможет тебя оберечь. Лишь так она обернется свободой.

Человек с таким не-лицом не может написать ничего *приемлемого*. Вся проза непременно будет с выражением его в высшей степени *отменной* морды—она всякое слово заставит на свой взгляд смотреть. Она заставит все не быть словом. Весь текст—утомительное единолицье измелкавшихся рожа.

Вот бы потрогать его череп, нет ли там уголовных бугорков Ламброзо? Свирепых шишек-чек-то?

Если человек безмозгл, ему каждое дело приходится делать кувалдой. Бессмысленной кулаковой головой он хорошо раздолбает проблему, напрасно ждавшую спасения.

...И долгих негаснувших сил.

Немеркнувшей жизни.

Пусть смерть придет только вместе со смертью. Или чуть задержась, отступя, теряясь в сомненьях...

Этот человек не о том и не так.

Он глубоко ни о чем.

Просто пара пустяковых слов, пущенных наугад в ветер. Просто сквозняк—из ничейных, пустынных, который в отчаянии пустил поблуждать простор, уставший от пустых и напрасных дыханий.

Постоянно придумываю себе надежды, и оттого мне вполне живимо, как в любимом и любящем доме. Они степляют будущую еще прохладную жизнь. Создают иллюзию подмены ее, словно будущая жизнь уже хорошо прожита и безупречно достойно. С ними никакое будущее не страшно, потому что оно уже состоялось. И состоялось так, как и хотелось: творчески сбилось. Реального будущего почти и не надо. Хватило того, что дали окунувшись в небывшее надежды.

Драгоценные тени былого бродят в том—житейски и бытово ненужном—будущем, во всяко излишнем будущем, если не считать светлого прохождения и блуждания в нем крепче жизни живимых надежд.

С моим пятидесятилетием меня поздравил один мой любезнейший кот. За что я прямо-прямо посмотрел ему в глаза; неотрывности было минуты полторы. В них я и увидел, что со мной происходит. И мы с ним рассмеялись. Наши растрескавшиеся души громыхали



от хохота, точно шальные неутомимые повозки. А водку нам пить было нельзя. И мы ели торт огромными, как жизнь, кусками, запихивая их каждый, естественно, себе в рот (чтоб обжорденье не было пригорным) кто невооруженной рукой, кто до блеска чистою лапой, намывающей с утра несуществующих, оказывается, гостей.

Готовил себя к одному человеку. А получился другой. И даже много других, целая толпа. Всё неизвестные, неизвестные. Всё какие-то уродцы и недоделки. А тот, подготовленный, так и меркнет где-то в потемках. Ни его не зовут, ни он не окликает. Так и сидит впотьмах, ждет очередного своего невыхода. Эге-гей! Выходи давай любыми путями, а то поздно будет—ослепнешь! И ножки атрофируются, какими надо будет ходить много и везде, большей частью отсутствующими местами.

В ней всегда было что-то бульдожье. Теперь стало окончательно псово. Смотрит крупночелюстным прямо, открыто, не боясь уличения и кровожадности.

В ней всегда было что-то слишком мертвое. Теперь она окончательно смотрит на меня прямо из смерти. Но мне не знобит, не небытийно. Я уже не боюсь ее, сильно мертвую. Мне хватит жизни, чтобы о нее не убится.

...когда вдруг ловишь себя на том, что умираешь...

32-й октябрь моего упадка. Как славно, как расчудесно пропаще, как жизнелюбивее было упасть в девятнадцатилетнем октябре, в 1975-м, когда жизнь казалась только началом! Как светло мне падать теперь до той светлой недостижимой горечи—из горечи нынешней, мертвой.

Выслушай глупца, подивись его чудовищной глупости, но знай: через 20 лет так и будет, как он нагупил, шиворот-навыворот напоролил. Поскольку прогресс давно тронулся по линии глупости. По ниспаданю. Ум уже не предсказывает, бессилеи прозреть. Четкая, непоколебимая линия глупости—вот он, наш избедневший, позорно блистательный путь, который ведет в тупик распахнутого настезь нечеловека.

После чтения даже предельно малых доз развлечения происходит увеличение единственно пустоты, так как пустота склонна воспроизводить и полнить лишь саму себя. Насильственно поступающей со всех сторон пустотой пресыщен уже. Пресыщен и овзрывлен. Избегните меня на тысячу километров—сейчас я ядерно ахну. Сейчас я верну вам вашу сияющую пустоту. Надеюсь, это будет грандиозное зрелище, оно многим должно понравиться. Да и я, кажись, не промах, так как рожден был для фейерверков.

Единственное, чего они хотят по-настоящему,—чтобы я так или иначе умер, удобненько этак и безбольненько для них исчез, как бы никогда не бывав.

Помелькате аккуратно и плачевно на похоронах. Прилично поприсутствовать где надо, а где надо—также прилично поотсутствовать. Сделать все, чтобы наилучшим образом лежал в да будет тебе земля пухом. Они успешно сделают все, чтобы мне было хорошо в моем отсутствии и чтобы меня удачно нигде не было. Нечего роптать заупокойно, с опозданием ровно на жизнь,—это явно теперь пустое. Они победили. Нужно было попросту жить как они, чтобы уцелеть и победить. Нужно было попросту быть ими, чтобы быть никем, никаким. Они потихоньку пируют в себе свою изумившуюся на себя победу. Они одержали верх в мировоззренческом сражении. Вкус их победы—бессмертный вкус потребления. Пусть вспомнят свидетели бога: и я ими был потреблен. Я на вкус оказался невзрачненьким.

Все просто предельно: нужно было жить как они—ты спас бы тогда желудочно-кишечную душу. Ты был слишком сам по себе, слишком все собой обособил и неприятно собой усложнил. За это тебе и перепало. За это и досталась тебе твоя преждевременная, глупая смерть. Так тебе и надо. Ты сам отлично себя наказал. Ты нашел себе верное возмездие. Ты обрел верную смерть. Очень верную тебе смерть—на всю оставшуюся жизнь.

А вот хренчики!—я все равно где-нибудь да высунусь, жизненным причем совершенно образом! Я сорчу вам добрую рожу откуда-нибудь из вполне живого состояния. Вам предстоит еще меня знать. Я успею еще как следует надоесть, намозолить ваши отвыкшие от прочных видений глаза, ведь то, как я надоедал,—это было совсем не надоедание; оказывается, я лишь слегка помелькал, отвратность моих видений для вас еще впереди. Уж как-нибудь, потихонечку-полегонечку вынесете меня до собственной биологической смерти, а иная с вами уже давно ведь случилась. Вынесете. Перебьетесь. Переживете мое присутствие из превосходно организованного вами небытия. Ведь теперь, как никогда, я буду легок, неприкасаем и неуязвим. Теперь я сам, по предельной воле своей, по беспримесно чистому своему желанию, буду отсутствовать в вас. О, как вы не дождетесь, чтобы я был в вас пусть хотя бы на при-

зрак, на краткое, неощутимое мелькновение! Обещаю вам никогда не присниться. Обещаю в мыслях ваших не быть и не слечь. Обещаю избегать вас в воздухе, травах и водах, в звездах и небесах. Мне славно быть где попало.

Я жил в населенном пункте с количеством жителей в пять тысяч мертвяков. Нехилое было кладбище, скучать не приходилось—только уворачивайся от широко распространенного здесь мертвого веселья. Захаживали также друг к другу в гости—но зачем, по какой надобности, никто не знал, не ведал и не помнил. Вообще, странное это дело—тот свет. Здесь все как у людей.

Приехал сюда пятидесятилетним, уезжаю, спустя десять лет, сорокалетним—помолодевшим ровно на отъезд отсюда.

Я неудобный для очевидных человек—слишком живой, излишне присутствующий, населивший nepозволительно много видений. Меня бы как следует поубавить, не зря Достоевский предлагал. И подсократить в избыточных порхах. Поместить в прочные рамки уравновешенной смерти, удобные, заглушающие. Даже моя десятилетняя глушь не могла меня сделать порядочно мертвым. Да что за человек-то это такой! Даже в смерть его не вместишь. Уж и умереть ему узко! Как же с ним быть, когда в нем есть что-то невозможное для смерти?! Для делового партнерства этот пункт весьма настораживающий. Мы повременим...

У меня есть более важные—смертно более важные—дела, чем налаживание отношений с моими раздраженными, расхоложенными ко мне людьми. Жестоко? Не очень. Они, дай тому время, обойдутся со мной жесточе, обойдут меня жестче. Без рефлексий и слепой жалости, на которые я угробил массу своей жизни. Зачем им еще тратить себя и на эти бессмысленные штучки, отжившие век и ставшие глупостью?

Я буду ими убит без сознания. Я буду ими убит безвозмездно. Я буду легонько убит, и мысль их не дрогнет, и чувство не пошелохнется. Ничто не снизойдет даже до автоматичной усмешки, обычной в делах убийства.

Залповый огонь милого, приветливого равнодушия, и все, ты готовый удачный мертвец—законный и законопослушный, каким не вымертвила быть вечная кривляка-жизнь.

Впрочем, я много лет как убит в их глазах, их глазами. Нет смысла описывать в будущем времени то, что давно уж случилось. Напрасно ворошить слишком старую и трухлявую смерть. Она не прибавит к прелести мира ничего, ничего, никакого нового добротного. Ничего...

Две сестры они по нечуткости, две сестры.

Ладно, никто от них чуткости и не требует, данные ожидания прекращены за отсутствием состава чувств. Пусть пребывают себе в своем бесчувствии. Но оскорблять меня еще и глупостью.—Увольте.

Эти женщины и по глупости—сестры? Вот неожиданность. Неужели и тут они родня? А может, это одна женщина, только притворяется двумя и многими? Но как я сумел так заблудиться, чтобы найти в двух разных людях одну одинаковую женщину?

Умудрился—заблудился в двух женщинах, как в трех бесперспективных соснах...

Почему меня ранят все эти мертвые люди? Что они по-мертвому спрашивают о чем-то мертвом для меня? Кто вы, бродящие по пустым улицам вокруг моей жизни? На что она вам, не узнающим ничего живого?

В 14 лет дочь сказала: «Природа на мне будет отдыхать, раз у меня папа такой». Теперь, в 25 лет, из глубины своей рекламы, она, конечно, так не считает. Теперь она знает за собой, что природа никак уж на ней не отдыхает, а напрасно отдохнула на мне. Власть отдохнула—до тошноты всем близким. И нагло продолжает отдыхать.

У нас за всю историю было всего полтора читающих поколения. И в течение 20 века большинство населения было по-настоящему безграмотно, а ныне 99 процентов бодрого электората успешно читает по складам. Отчасти поэтому так легко бросили глубоко читать. Не укоренилось в недрах нации, культурный слой был весьма приблизительный, на глазок.

Скажем, во Франции, похоже, до сих пор еще читают, во всяком случае, как-то так, как у нас читать перестали. Там больше позади веков чтения. Там есть *глубокий читатель*. А у нас хватило несколько штук Донцовых, чтобы в момент отпрянули всякие века и прочий вздор различных твердынь, ставших жалкими-жалкими, хлипче слезы, ранимей надежд. Те твердыни сделались ужасно летучи...

В этом месте смыслов не происходит. Здесь живут до земли ровные люди, не испускающие ничего, кроме того, чему положено оставаться от целлюлознобиологических людей. Здесь не черная дыра, здесь черное отсутствие. Сумеречное, противозначительное отсутствие всего, чему надлежит быть хотя бы по примитивной логике червя.

Если человек по истечении даже значительного времени говорит: «Я стал совсем другим человеком!»—явно грош ему цена; этот, значит, перестроился, прямо по глупости Михал Сергеевича. Кем же ты стал, голубчик, если стал не собой, где теперь искать собственно тебя? А ведь ты был, был собой, хоть мало-мальски!—иначе кто ты и чью личину на лице распинаешь?

Ведь человек в детстве больше он сам, чем когда-либо. И в жизни, к печали своей, он идет от себя—к не себе. Или к не-очень-себе. Сквозь старость его уже не узнать: сквозь него мерцает иной человек. Дотлевают иные огни, которым имени уже не найти, которых по имени не окликнуть. Вот и все, кончен человек, пора расходиться... Уходя, гасите свет.

Зачем мне нужна моя жизнь?

Чтобы...—дальше растягивается гиблый ряд новых вопросов.

И все же, и все же?

А чтобы чтобы!

Думаю, я полно ответил. А теперь давайте жить... Потихоньку вперед и вперед, крадучись, играя в прятки. Сходит наземь небосвод! Что и требовалось доказать.

Так глух и одинок мой дом.

Мне даже самого себя не слышно.

Ночь позднего октября в сверхпоздний час.

Где-то тук-тук, тук-тук несуществующего поезда. Несуществующе несущегося. Он лишь перевез мою печаль в иные места, где мне не бывать. Не бывать, не бывать, тук-тук-тук...

Господи, как мне избежать себя? Помогите мне, Господи, с этим побегом. Обещают: он будет последним.

Я настолько притерпелся к одиночеству, что оно перестало быть одиночеством, поневоле отвратилось от себя и сделалось желанной благодатью. Оно испугалось меня. Оно все-таки дрогнуло. Не я испугался его, оно—меня. Не оно меня пожирает, я—пользуюсь его бывшие горьким горючим, чтобы крепче жить в будущее, чтобы оно сбывалось, а не исчезало.

Одиночество не справилось со мной, не расправилось. И теперь заискивающе бродит вокруг, как провинившийся пес, и просит всяких подачек. Я кормлю свое одиночество с рук, я не буду ему мстить, я его не брошу. Живи близ меня, так и быть, около меня как-нибудь прокормишься. Не зверь же я тебе.

Одиночество, испугавшись меня, отвратившись мною, изменило свою природу, его уже не узнать по свирепой повадке и хватке. Оно робко обратилось верным домашним псом, оно выглядит прирученно.

— Бобик, хочешь кушать? На вот тебе сахарный мосолок. От себя отрываю.

Из самых глубин несогнувшейся души достану ему заветную прочную косточку.

Не жалко. Пусть себе трескает. Ты здорово, зверь, мне помог.

Никогда больше не подойду к этому дому. Даже подыхать буду. Даже мертвым сюда не приду—когда все равно будет, где жить. Пусть будут прокляты ваши бывшие прощанья, так легко отпустившие, ничего не удержавшие. Будьте прокляты ваши неожиданья—за то, что мне хорошо быть ничьим.

Память моя—мое кладбище. Но кладбище цветущее, зазывное, жизнерадостное. Это то драгоценное место, откуда никогда не хочется уходить. Но идти все же надо, пора... Не сидеть же вечно на кладбищенской ветхой скамейке надгробием себе самому. Нужно куда-то углубляться в дальнейшую, предбудущую жизнь, пусть смысла в этом меньше, чем в простой тишине кладбища среди огромного полдня, вместившего малый сей мир и вселенно здесь расселенную душу.

Правильно сделали, что похоронили меня—в качестве текстопроизводителя. Теперь-то я уж точно выживу, мне только смерть, безоглядная верная смерть и нужна была, чтобы распрямиться и начать дышать заново. Мне только смерть нужна была, чтобы окончательно очнуться от смерти. Дай бог здоровья и благополучия моим умелым гробовщикам—прошлым, настоящим и будущим. Они очень живо устроили мое незавидное было будущее; и еще устроят, за здорово умрешь, можно не сомневаться. Тут уж не помертвешь абы как, за здорово живешь. Тут уж не будешь себе вымирать шалаяй-валаяй, с медовой лентой, поваливаясь на кровати. Здесь держи ухо остро

на каждый шорох небытия. А то хана сразу тут как тут, не отвертишься, глазом зевнуть не успеешь.

Как живы вы, мои дорогие могильщики? Как протекают ваши могильные дела? Проточны ли лунные дни ваши? Не устаю и никогда не устану благодарить вашу заботливую смерть. Вашу хлесткую, предприимчивую, предупредительную смерть, ваше распорядительное вездесущее небытие. Да будет вам жизнь моя пухом.

Примите, примите же мою изнемогающую душу. Она ведь была. Она так счастливо случилась. Возьмите ж, брезгливость свою одолев, кривую усмешку из черт изгоняя. Хоть на ветошку-то она теперь да согдится. Иль кому навести бодрый лоск на хмурый, невыспавшийся сильно сапог, на мутный похмельный штиблет, на всю ночь напролет блядовавшие туфли. На что-нибудь такое-такое совершенно последнее, неизменно косящееся со ступней на подозрительное человечество.

Примите меня в ряды вашей глупости. Я исправлюсь. Я буду дураком от противного. Я вас не подведу в идиотизме и других отклонившихся умственных прелестях, только хорошенько хапните меня своими рядами, изумительными в своем роде. Хапните, чего вам стоит; в ответ обещаю быть удобоваримым, даже вкус дам отменный, не подкачаю. Я буду пахнуть для вас жасмином и сервелатом, а по отдельному тарифу – туберозой и запахами народного быта. В бизнес-классе торжественно клянусь благоухать невозможно дорогим коньяком. Вонять носками откаюсь.

Когда пишешь с настоящей – безысходной – болью, она утрюма и отталкивающая, вызывает раздражение, презрение. Писатель выглядит ничтожным и жалким, как идол раскопок. Чтобы боль была легко усваиваема, ей лучше всего быть поверхностной и сторонней, не более 120 килокалорий (оптимум – сливки вчерашнего алкания «Домик в деревне», 10%, 470 г, питьевые стерилизованные нежирные, продукт компании «Вимм-Билль-Данн», звонки по России бесплатно, не поленился извлечь из мусорного ведрища), на упаковке непременно указывается срок годности, нельзя упускать и другие маркетинговые нюансы – это всегда существенно.

Боль должна быть ровно такой, что вроде бы ни о чем страшном речь даже близко нейдет. А автору следует выглядеть на как минимум средний класс. На худой конец он должен мгновенно обернуться иностранцем, французом в натуре, например. Тогда многие изъязы неяршливой боли легко будет скостить, списав на то, что иностранец недавно обрелся в стране и речь ему плохо дается, он часто валит неврападом, куда вывезет кривая, что может простить уже половину дела; к тому же у нас иностранец сам по себе простибельное явление.

Нет, с болью номер здесь не пройдет. Нужно первой всего с распахнутыми на губах идиотизмом тут подойти. С адреналиновыми глазами, с муторно сучающимися руками и иноходью – желательно бешеного мустага. Тогда все у вас получится. Звоните чаще... она уж распустилась и дала ход зеленому листу... Встретимся на распродаже. Ушел на базу\*, менеджер парить принадлежащие компании мозги. Уж поймет во все дырки, по полной. Но мы умеем изображать на лицах внимание. Зря, что ли, нас здесь держат... Повторяю: ушел на базу, ушел на базу, ушел на базу. Что-то заклинило, перехожу на ручное управление... А мне не больно, не больно, курица довольна. Как слышите? Прием.

Да здравствует моя почесавшаяся правая пятка... а равно и левая, но не почесавшаяся... но придет срок – почешется, вот увидите, так что заранее виват и тебе, моя левая да толчковая, что б я делал-то без тебяшеньки...

Сказанул данное, выдавив из худосочной мощи последней извилины, а мог бы и не говорить, смолчал бы в какую-нибудь тряпочку! Не социализм уже. У каждого теперь своя пятка чешется. Все чесотки теперь по отдельности. Это тоже неприкосновенная частная собственность, охраняемая хмурым и грязным суверенитетом носка да чьим-то небритым умом.

Как мало мне надо и как одно и то же! Воспоминания, повторения, бесчисленные находки и обретения прошлого, чудесные рифмы судьбы. С неповторимым наслаждением и каждый раз с почти новым чувством я мысленно все возвращаюсь и возвращаюсь по студенческой

\*В наши годы, в чудесные семидесятые, когда та или иная переторгованная до горяча продавщица уходила по нестерпимым надобностям в близлежащие окрестности, а то и подальше, она оставляла на сиротящихся дверях своего магазина довольно смелое заявление, смутно похожее на завещание: «Ушла на базу».

дорожке к Вишневой, по которой начал возвращаться тридцать три года назад, меж тем умозрительно спеша возвратиться куда-то по иным, еще более ранним дорожкам, которые торопились возвратиться в совсем уж немыслимую рань, ветвясь к первым опробованным памятью дням, примыкая прямо к утопающему в восхитительной тьме детству, где едва живая память чуть брезжит, еще не уверенная, что это она сама, а не чьи-то другие виденья, слова, набормотавшиеся с чужой жизни, с неизвестных голосов, очевидно, с той стороны рождения. С той стороны, где рождение еще было маленькой смертью.

На скамье подсудимых сидел подкидыш. Его занесло сюда шальной волной преступления, а сам он был ни при чем. И не при себе. Он грустно глядел куда-то в даль следствия, а глазами порхал по залу, ища в лицах остатка справедливости. Но находил в них только разрозненность и неприступность – и вновь отлетал в даль следствия, где ему было легче и понятнее, чем в решившей его напугать огромным сроком жизни. За это он и отказывался видеть жизнь перед собой в лучшем свете и видел ее полуголой, к тому же шалава. Сидит во втором ряду и сопли жует, а тут, бля, сиди ни за хрен собачачий.

На скамье подсудимых сидел убийца с, трудно поверить, двумя глазами, с, трудно поверить, двумя ушами, с, трудно поверить, двумя руками и, верится легко, одним непарным и даже не парнокопытным мозжечком. Чего-то очень явно не хватало в его сильно отпетой внешности. По-видимому, как раз того, что было всегда в нем скрытым отсутствием, которое он, в натуре, теперь распустил из уголовного шику.

Зададимся каким-нибудь вопросом, дабы мозги не праздновали слишком шикарно отсутствие и пустоту. Отчего это жизни много, а ее как-то все скудновато, например, зададимся. Или, например, зададимся как-то все скудновато: отчего это? И так непосредственно вплоть до белого бычка иль упершись лобешником прямо в белую горячку. А иначе нам и белый свет – не в свет. Он откровенно с нами будет немил. Иначе нам белый свет как-то все скудновато, например, отчего это так непосредственно вплоть до иль упершись лобешником прямохонько в вз? А зададимся? Иль сразу же и т.д.? Не откладывая никакого и т.д. в долгий ящик? Вот тут-то как раз и зададимся...

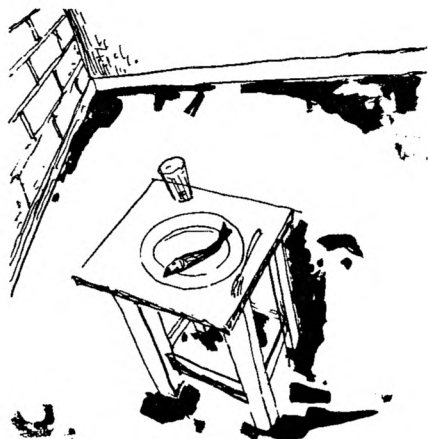
Круговорот мозгов в природе.

Пошел в банк перехватить кой-каких денег (давно было, сейчас со мной денежных походов и во сне не бывает), придрались моментально к моей подписи: это не ваша закорючка, вы, возможно, не тот человек, у нас другой вид вашей фамилии, вот, пожалуйста, графический образец Володина, ничего похожего на вашу фамилию вы расписались. Что за черт дивный! Два раза не могу одинаково расписаться, хоть специальные курсы заканчивай, всегда вынужден факсимильно представлять другим человеком. Просто толпы меня ходят, а одного человека никак не найдут. Бедная моя жизнь, приневоленная содержать такую уйму.bestолокового и неточного населения!

Как беспредельно я завидую стрелчатым подписям деловых людей и отставных майоров, их графическим фотографиям! Сразу видно и чеканную красоту, и умный взгляд на вещи, и то, что это один человек, но помимо воли любящий себя до множественного безумия – даже черточке в сторону отойти и то страшно. Слукавить по сторонам от любви к себе – это ни-ни, тут прямо сразу беда. А сколько еще любви резервно кроется в витий-

ственной геометрии собственной ненаглядной фамилии, бесценно украшенной пышным чертополохом линий и закорючек, ловчих петелек и внезапных, как икога, по природе своей явно дураковатых росчерков малахольного письма, которое просто не знает, куда и подеваться из-под этого безжалостно его преследующего пера дорогой стати, затейливости, а особенно – принадлежности, гиперавторской, ясное дело. Се черкал без преувеличения сверхчеловек.

Из жизни ушло обаяние целостной жизни. Дороже – фрагменты, мелькания. Роман как связующее жизни, как основовательный и жизнеутверждающий уклад уступает место осколкам, обрывкам, чем любит теперь наполняться современность.



Жажда целостной жизни сдалась на милость жажде разрыва. Фрагмент уже легко и достаточно утоляет то, на что потребовался бы прежде целый большой связный роман. Связной роман. Все объединяющий дом посреди другой жизни. Фрагменту же достаточно промелька или оттолкновения. Клип не столько притягивает, сколько выдворяет. Фрагмент обожает мгновение и настоящее. Причем он мгновение не увековечивает, а лишь к нему прикасается, чтобы чуждо потрогать и пренебречь. Он мгновение не увековечивает—он его изувечивает. Из тьмы этих мгновений-инвалидов и будет состоять будущее?

На своем величественном юбилее (30 лет бабахнуло) Басков назвал замечательного стилиста нашей эпохи Юдашкина золотыми руками России. Меня это увлекло несказанно. Интересно, а кто у нас золотой зад России? А золотые яйца? Теряюсь в догадках... С членом-то России все более-менее ясно—это... впрочем, не гони волну на отечество, товарищ, Россия же отнюдь не мужского рода, а стало быть, и телосложения, у нее должны обнаруживаться преимущественно другие места, не выступы, а впадины. Заруби себе это на носу, если не хочешь прослыть в одночасье певцом однополюх терзаний. И нечего тут принимать голос из своей головы за наш голос из ФСБ!

Как—ФСБ? Где—ФСБ? И—фас меня? О, тут только меня и видели! Я прямо в глаза своих себя потерял, не говоря уж о каких-то там внешних видах, о приличии наличествования, о необходимости обыкновенного бытового мелькания и т.д. Моментально простите меня за нехорошие слова о России, так как я лучше буду иметь дело с ней, а не с фэсэб, до смерти пугающей уже одним своим костлявым названьем. А там ведь и кроме названия наверняка кое-что еще есть, не одна же это слышимость непугевого моей головы.

Поздняя, очень поздняя зимняя ночь. Какая-то даже сверхпоздняя. Возможно, это уже ночь моей жизни. Все замерло внечеловечным замиранием—кажется, предвечным... неким непостижимым замиранием вселенных. Ни людинки, ни движинки по невозможно огромным, опроставшимся пространствам улиц, превращенных в прострельный мертвенный свет. Лишь незримые души вокруг. С полета моего так и не уснувшего окна я вижу, как в величественно и грациозно распрямившемся во все пространство колодце высотного двора, в безжизненном и оттого как-то еще более жизненном, в этом цепляющемся за жизнь из последка сил свете падает, падает медленно крупный разрезанный снег. Это длится блаженно долго, по-видимому, всю оставшуюся жизнь. Времени здесь давно уже нет, оно завершилось во что-то более ценное и надобное... Все ушло в этот роняемый тихо снег, даже будущее утро. Вся жизнь стала медленным, безмолвно излетающим снегом. Вся жизнь этот снег. Всю жизнь этот снег—как будто грезящий, как будто грядущий.

А вот это и есть где-то постоянно пропадающее счастье: такая ночь, такой снег, такое затяжное белое падение земли к небу, отлучившемуся за кремешные облака. Это—ни мгновения сомнений!—и есть высшее достижение, которого я жду от жизни, на которое жизнь предельно способна. Иные сбытия и свершения кажутся абсолютно ничтожными пред неуловимым лицом снега, моего вечного друга, моего неизменного странника.

(Неверкино, октябрь, я придумываю себе свое будущее)

И все сбилось до странности, до невозможности сверхточного такого совпадения. Ничто не указывало на возможность подобного изумительного сбытия, кроме бессознательных воспоминаний, которые всё уже знали про меня наперед и многое за меня решить уж успели, и я до сих пор не могу поверить, что так бывает: живу ныне в том доме в студгородке, который отчего-то и воображал снежно. Только окна воображения немного в другую сторону. Окна воображение не угадало всего-то на полсторону света—они выходят не во двор (тот, что умеет распрямиться под снегом во все грациозное ликование пространства), а бегло смотрят вдоль шоссе и поездов, благодатный юго-восток взамен сдержанного и скуповатого северо-востока. И виден с полета моего окна тот зачарованный временем дом общежития, где начал я жить 32,5 года назад. Ах студгородок-студгородок, ты оказался после снега самым верным дружочком! Твою бесценную помощь я никогда не забуду. Какими громадными сроками ты меня наделил щедровито! Уже библийскими, почти колымскими. Но это радостная Колыма, это материк счастливый. Я приговорен к своим воспоминаниям—и это доказывает возвратившаяся местность, что материализовалась из моих прогорклых, явно несбыточных желаний и невозвращений, из попанной памяти, которая уж стала выплядеть жалко бесплодной.

Воспоминания мои, со всей очевидностью, знали помимо моих неверий, что они сюда непременно вернутся—чтобы стать одновременно и сбывшимся прошлым, и поначалу крохотным будущим—но уже предстоящим огромно. Как будто скрытые надежды своей упрямой волей почти наугад обрисовали и облекли вещь и плотью именно такое будущее, о котором я даже и мечтать-то не смел, лишь с опаской догадывался. Свои воспоминания не устаю благодарить. Я подозревал, подозревал за ними эту ни с чем не сравнимую по дару способность к животворящему жизнеустройству! Теперь убедился воочию, виденьями собственной переме-

щенной и преобразованной жизни. В воспоминаниях – энергия ядерных реакций: они мощны осушить, свершить любые возвращения, им по силам вернуть даже то, чего не было, никогда и нигде. Воспоминания уже и будущее преобразовали по-своему, на свой – какой им заблагорассудится или примерещится – вольненький нрав, за который их и люблю бесконечно.

В двадцатом веке разрушители окончательно и бесповоротно вошли в почет. Самый короткий путь к славе – разрушать, исторически известно. Созидать немодно, невыгодно (гляньте-ка на критерии: один ублюдочнее другого!) да и откровенно глупо – в распространенном мнении. Все созидатели отнесены в глубокую тень, их фигуры явственно одревнели. Как будто их сослали на века в прошлое.

А разрушители как на подбор бодры, молодцеваты и веселы невозможно. Они брызжут жизнью безоглядно. Когда-нибудь вконец ее разбрызжут. Чуть гибели вселится окрест. Выйдут ли тогда из глубокой тени те, кого превратили насильно в века? Будет ли цела сама та глубокая тень? Мраком глубоким покрыто сне.

Мой возврат в Саратов 6 ноября 2006 года был празднично обставлен глухими приступами тоски, стойким одиночеством и фейерверками провальной неуверенности в себе. Я был безгранично рад этому празднику – много мне добыть было неоткуда. Я пользуюсь праздниками подержанными, истергтыми, побывавшими много раз в чем-то употреблении, очень мутными и смутными. На чистые и свои праздники следует безжалостно потратить последующую жизнь. Только бы не промахнуться с трапой. Не ухнуть жизнь мимо цели – хоть она и большая и в нее трудно не попасть. Но ведь можно промазать и в солнце... Будь беспредельно крепок и щедр в дальнейшей растрате. Изю всех мыслимых и немислимых сил и не-сил: будь! Будь – а там видно будет, что будет... Теперь моя цена ровно в мою выносливость – быть. Теперь моя жизнь – ровно в мою выживаемость, стойкость.

Итак, я отправлен для дальнейшего прохождения службы в пункт назначения под названием Безымянное Будущее. Честь имею отбыть. Жду вас в лучшие, жду вас в бесценные гости. Мы когда-нибудь обязательно свидимся. Издалека вижу вас всем своим сбывшимся сердцем.

Исчезновение было громадным, величиной в десять лет.

А возвращение и появление – со спичечную головку, да и ту я старался не вынимать из кармана, потому что стало престижно пользоваться зажигалками. Со спичками меня бы никто не понял и посмотрел бы на меня каквозь меня, а мне не хотелось продолжать быть пустым местом, опротивело оставаться прозрачным.

Завтра идти на свидание с незнакомой женщиной. Нас свели заочно. На предмет великолепного дальнейшего. Итак, свидание. Как дуэль. В который раз за жизнь свидание на предмет усовершенствования и переоборудования судьбы... Но ничего не страшно, ничто не дрогнет, как это бы случилось в молодости, которой исполнилось тридцать с прищепчиком лет. Пятидесятилетние чувства уже совершенно бесстрашны. Бесстрашие потерь хранит их от трусливого позора. Бесстрашие потерь – моя благая и святая крепость. Утратам неуютно со мной, потому что теперь я хуже всякой утраты. Это дуэль, на которой неважно, кто будет убит, потому что убивать уже некого.

Только немножко жаль ту будущую женщину, еще не свиденную. Какое оружие она для меня припасает в бессонный свой час? Сколь тревожны ее сны в ночь перед поединком? Какие мысли застанут врасплох ее рассвет, мне до ужаса незнакомый?

Пожалуй, свое оружие я заряжу холостыми... Пожалуй, оружие свое я незаметно потеряю по дороге к рассвету...

И ты в этой тьме все растеряла? Я так и знал... Спасибо, родная. Я люблю тебя заранее. До наших с тобою взаимных убийств.

Итак, до взаимных убийств. Я узнаю тебя мгновенно, с десяти шагов истерявшегося и пропащего взгляда. И даже пропащего взгляда я узнаю, непременно узнаю потерянные следы... Только не забудь завтрашние семь часов. И часов тех не бойся. Будь бесстрашна всей силой бывалых потерь. Пусть не дрогнет ничто: если ты и убьешь, то убьешь не смертельно, не сильно...

Эта смерть будет первый наш с тобою легкий трофей...

Провела, что я сделался неуязвим, – и ну давай бить своим земноводным хвостом. Во всяком случае, некоторые помахновения хвоста у нее налицо. Виль-виль, виль-виль во все глаза вдруг мелькает. Иногда на задние лапки взбрыкивается, прикидываясь более совершенным существом на ступенях эволюции. Ну да слегка обмануть и слегка напущу на себя обманувший вид. Вроде дело со псинкой имею. Фью-фью, фью-фью, собачка! А где ж твоя служба гуляла-пропадала бывалоча? Ты слишком поздно преподнесла свою жалкую и неумную верность, которая родилась без чутья и без нюха, без цвета, без запаха, без проявления. Как сказал по всегда важному случаю Слава Володин, который мне четвероюродный друг:

«Это цинизм голой воды!» (Аж сердце мое ахнуло от красоты политических слов!) Вот ты и есть то, что он так метко сказал, родитель бессмертной фразы. Ты — цинизм голой воды. Точнее умного человека ничего не бывает, и круглей тут уж ничего не скажешь. Большое спасибо Славе Володину за четвероное родство, за семьему его воду на киселе. Услужил и удружил. Он всегда очень кстати и мне, и остальной стране. Недаром у нас крепкий род еще с татаро-монголов, а особенно с их нашествия. И ничего тут не поделаешь: у нас всегда в роду были хилистые и размашистые корни, а равно и корнеплоды.

— Знает ли твой четвероногий брат Вяч. Володин о твоём существовании?

— Нет, конечно. Но я знаю больше о его несуществовании, чем он о моем.

Я возвратился в Саратов 6 ноября 2006 г., поселился в общежитии номер 6 на 6-м, разумеется, этаже в комнате 663 — даже и лишне уж называть число комнаты и так понятно, какая прелесть тут поджидает.

Не попугивает обилие шестерок?

Меня — так нисколько. Просто с шестерками что-то на этот раз не в порядке. Замельтешили, переполошились с моим приездом, ведут себя панически нервно. А я-то ни капли не чувствую себя этой цифрой.

Пересчитал на всякий случай все имеющиеся в наличии шестерки, чтобы все было у меня на учете и ничего не пропало. Так и есть! Их оказалось ровнехонько 6 штук плюс еще их половинка на краю моей комнаты, видимо, про запас на случай износа основных мощностей. Как раз на пару дьявольских чисел хватает, что уже радуется само по себе: хоть чего-то в полном обилье!

Ну, слава богу, значит, недостачи не будет. Не проворовался.

Человек, который никогда-никогда не сделает до конца хорошо для других. Что-то ему неизменно мешает в себе, какой-то противочеловечный запор. Он бы по изначальной прихоти и мыслит сделать чудо как хорошо, но все равно вдруг отчего-то нагадит хоть малость гденыбудь посередине, не дотерпит нужду мелкого негодаяства до душевных сортиров. Почти независимо от себя, почти уже во вдохновенном полете доброго. Но хоть и с высоты птичьего полета, да все равно как-нибудь нагадит, мелькнет в воздухе мелкой какашкой. Ощущение стойкой гадости остается обязательно от его самого великолепного в первом порыве, предельно вроде бы сердечного поступка. Тень неизбежной подлости постоянно крылит в нем изнутри, прорываясь наружу сладкой фельдфебельской улыбкой и фельдфебельскими формами взбадривания подчиненных.

А как замечательно он всегда начинает... С какой любовью к себе чистит по утрам маленько крокодиловы зубы, как искренне сидит на толчке, с каким заметно внутренним, заметно убежденческим уважением к желудочно-кишечному тракту поедывает умно организованный завтрак, ощупывая деликатным ртом тонкости и подробности тщательно отсылаемой в него пищи... О! Отодвиньтесь, отойдите скорей от него прочь подальше! Тут недолго и позавидовать. И стать таким же одним ротозейным мгновением. Ведь этот человек по-человечески очень заразен. Он даже больше заразен, чем заразителен. Это просто какой-то ходячий маленький СПИД всего сколь-нибудь человеческого.

Кость разума. Ею обычно многие и давятся, не приходя в сознание. Потом вроде нечаянно и вроде помимо себя становятся идиотами с крупно выпученными глазами. Если, конечно, было хоть немножко чем подавиться. А чаще в обыкновенной практике идиотами с далеко выпученными глазами становятся заведомо, почти по призванию и вовсе ничего не глотая. Это подавившиеся отсутствием кости. Их так и называют немножко громким и пугающе красивым именем: мудилы. Что в переводе на обычный человеческий язык означает: просто люди, живчики, мелкие разночинцы головы, которая чаще всего им не принадлежит, о которой они редко догадываются, да и то лишь тогда, когда совсем ее где-нибудь потеряли...

Я жил когда-то у моря. И даже если вся моя жизнь будет напрасна и никчемна, можно сказать когда-нибудь в ее оправдание: я жил когда-то у моря. Этого будет достаточно, чтобы реабилитировать ее ценность, чтобы дать ей точное имя богатства.

После 50-ти в человеке становится главным умение поладить с его собственной старостью, которая еще не обнаружилась в полной мере, но уже капризничает и юнится, как младенец. Надобно много сил и здоровья, чтобы вырастить этого ноющего по каждому пустяку младенца крепким и жизнеспособным, дабы не получить хилого инвалида годам к семидесяти себе на дряблую шею.

После 50-ти в человеке главное существо — смерть. Это существо уже живее самого человека, — он выглядит большей смертью, чем оно. Этому существу он во всем угождает, так как он в его власти и милости. Дань платит кряхтеньем, сомненьем, насильственно веселым одиноким попукиванием.



Самые счастливые уголки детства?—Глухие. Места заброшенные. Укромочки. Схороны. Все отвлеченное от прямой людной жизни. Страшновато древние чердаки, потаенные речки, необъятные полевые одиночества, медленные, утрагившие бег и поскок человеческий, никуда не ведущие тропинки в их почти раскравшем бурьяне, лопушиные овраги с отвесной глиной столь манящих зевком своей вечности обрывов. И дерево, дерево, островное дерево полей, на которое с большой оглядкой—разрешает ли ангел местности эту легкую волюность?—можно забраться до замирающих в сердце высот, чтоб ощутить себя и высоким воздухом, и чистым взглядом, придонято распростертым над окрестным морем июня, и какой-нибудь намечтавшейся в эти края нечаянной птицы, у которой нет ничего твоего, но вместе с тем—все совершенно твое, стоит только, скопив в себе малость полета, хоть немного вспорхнуть, как она, и лежать неподвижно средь крыльев над миром, протекающим медленно мимо.

И еще из тех глухих уголков: жалость к себе, нестерпимая жалость к тому, что ты умрешь и не будешь. Всеокрестная бесприютная жалость к тому, кто будет мертв. Кто больше не будет таен и укромнен никогда.

Спустя 27 лет вновь очутился в общежитии, совсем близком общежитию юности. Мои палестины. Сомнений тут нету.

Они так же расчудесно инопланетны, как и в пору моей юности местной, только теперь они необитаемы на одного меня, ровно на мою жизнь, а может, ровно на мое отсутствие.

В чьей смерти завтра проснусь?

Сегодня я что-то не очень ментален. Поэтому прошу не дергать меня по пустякам.

За три недели в Саратове (после 10-летнего *вымирания отсюда*) встретил наконец-то первого уличного знакомого. Им оказалась дама 50 с преизбытком лет, моя однокурсница, совершенно незаметная в наше время, как-то изначально стертая, о которой я, вероятно, никогда б и не вспомнил, не ушибись я нечаянно об эту вот встречу. Она меня не узнала или захотела безлюдно узнать; так и разминулись каждый с своим. Она—особой особью недрогованной и безоглядкой, я—с постоянной смущенной оглядкой, за шкирку понуждаемый воспоминаниями смотреть украдкой ей вслед.

Вспоминал упорно, всей базой мозга ее отлетевшее имя. Все бесполезно, так никакого имени в памяти и не взвихрил, даже путем перебирания всех женских имен краду и в рассыпанном порядке. Обратный порядок тоже ни к чему не привел. Только поздно ночью, когда уж бродил мыслью во всяких потемках, вдруг сама собой вскинулась как от испуга ее небезынтересная фамилия. Синегубова! Батюшки мои светы! Хоть кричи караул! Вот так смертичка мне попала под первое знакомое уличное лицо! Уличенное лицо? Чаемое уличаемое? Нет—улучившее. Сразу меня целиком получившее! Удружил мне любимый городочек, нечего сказать... Замечательно поприветствовал и, так сказать, в гроб сходя, благословил...

Эти синенькие губки меня и смутили окончательно. Эти губки меня и добили. Синенькие их шепотки, как скромненький синий платочек, меня так и преследуют всюду, куда я хотя бы мыслю ни двинулся, и взбодряют, не устают меня взбадривать как бы от противного, как бы смертию смерть поправ. А может, это и к лучшему, что первыми навстречу мне вышли именно они, практически бросившись мне в объятия, сами того и не подозревая, вовсе не зная за собой никаких синеньких нежностей...

Еще неизвестно, что б стало со мной и где б я теперь был, выйди к чужим моим здешним глазам, например, Краснощекова. А если бы встречен я был Добронравовой, не погиб ли б я тут же ужасно на месте? Совершенно неизвестно. А здесь—определенность. Четкая, ясная, честная и большая. Синегубова—это звучит очень живо, даже как-то неоправданно живо, как будто отчасти немножко с наградой. С таким довеском трудно хоть на секунду мелькнуть мертвым или полуживым. Тут присутствие духа неотлучно уж только от маленького вечного испуга, который всегда теперь ношу с собой, как талисман густо-небесного цвета.

Взревел дурной майор, взревел. Воистину взревел! Христосе воскрес, конечно, сначала, а как же, не без этого, конечно, Христосе воскрес, а уж потом, естественно, по праву воистину взревел. Он любит быть последовательным. Но каков скрупулезный гад! Но какова дотошная сволочь! Пробирает отставным басом до самых жалконьких косточек. Охлаждает душу до вымирания. ГЬ-дуновеньями северо-восточно разит от него за версту. Ах, ты еще и замогильный, товарищ майор? Вот не ожидал, хоть и ожидал чего-то такого... Простите, призрачный подполковник, за неуставные отношения с вами, как с ошибочно живым. Тут надо было по-мертвому. Я совсем забыл, что нужно иметь дело с мертвецом. За это мне и влетело—Христос с ревом и с воистину перемешку. А это уже очень и очень немало для жизни, а также для простейших форм воскресенья.

Вот так мы пасхи и встречаем, в основном призрачные, в основном с отставными майорами и в основном до второго пришествия—в том числе и отъявленных этих майоров, так как

на второй его пришествный раз моей трепетной жизни вряд ли уж хватит, неровен час—она упорхнет. Или бросится бешеная на майора под видом пасхального чувства. А он религиозные поцелуи не обожает. Брезгует слюнями простого человечества. Брезгует и брыкается.

Сегодня 25 ноября 2006 года. Если вдуматься, это о многом уже говорит. В частности, обо мне почти все сказано.

Чего я сильнее и превыше всего хочу? Однозначно: явственных нежеланий. Но я не устал еще быть всеместно живым. Я еще немножко очутюсь во всем, во всем. Ладно? Немножко еще поканителюсь—и брык. Идет? Договор будем заключать или как? Ну, или как оно ведь и лучше. Вам же выйдет дешевле, а мне так и надо, пусть будет мне намного дороже... Все равно я уже привык ничего не покупать, для меня цены давно не кусаются. Финансовым бешенством страдать так и так не буду.

За десять лет моей самонадеянной пропажи в городе изменилось многое из всего. Отмечилось слишком много моего неотменного. Прежние лики улиц устали и скрытны, они сбегали в почти недосягнувенную потаенность. Прежний город, устав от потерь и принимая за потерю меня, то и дело шарахается от моих воспоминаний. Прежний город ощутимо боится моих непредсказуемых воспоминаний. И я иду осторожно по городу, боясь спугнуть этот город. Ведь достаточно одного неосторожного воспоминания—и все здесь рухнет, мгновенно обретет свои руины. Что будет тогда здесь, если города не станет? Об этом мои воспоминания страшатся даже помыслить.

Я бы отказался от этого опасного, чрезвычайно взрывного оружия—ужасно разрозненных воспоминаний, но тогда что, скажите на милость, что это будет за город? И этими спонтанными взрывами, этими почти тектоническими толчками прошлого я строю, тщательно строю свой, долженствующий тут быть вопреки всему город из жалких руин этой бедственной новизны.

Возможно, я скоро очнусь в своем городе—очутившись как будто в безместве, в безвестье—на месте этой броской и кичливой пустыни; возможно, я сам превращусь в эту пустыню. Еще совсем неизвестно, кто одолеет кого и в себя обратит. Но и тогда, что бы там ни случилось, мои воспоминания будут сильнее и вытнее этого места. Они все равно, неизбежно отстроят небедственный и душеобитаемый город, упорно летящий в легком и радостном сердце—скорей всего, уже не моем. Скорее всего, и не здешнем.

Никто уже не поет Окуджаву. Отчего такая беда? А чувств на него больше нет. Закончились чувства. Вот ведь какая беда, удивительно злая беда, как утверждала чудная Новелла Матвеева в 1974 году не то по случаю верблюдика, не то по поводу фата-морганы, за давностью лет уж не расслышать, не разглядеть... Выдохлись чувства, издохли, и мы превосходно имеем узеньких справненьких мертвецов. Боже мой, разве Ты не видишь, как ужасно много мертвых молодых людей шествуют как раз мимо жизни, как страшно они проходят сквозь меня навывлет, как тучно от этих шальных и удачливых пуль? Посмотри же убийственно, Господи!

Насколько же отраднее быть жизнью на кладбище: там прошлые пришлое жизни покойно витают, там лица и имена так явственно тчатся скользнуть из оков совсем не страшной и не отвратной тут смерти. Кладбище—неоглядно большое городское кладбище—полно ликующей, несмирившейся жизнью, чуть скорбно и испытующе всматривающейся в тебя: а жив ли ты настолько, чтобы быть тебе живу и чтобы мы с кладбищем тратили тут на тебя местное время? Его здесь и так-то в обрез...

Светает.

Это что, я перестал быть ночью?

Предзимье. Безвестье. Предсердь. Мрак растет изнутри, словно мак. Потерявшая лица осень превратила лик города во что-то настолько размытое и отверженное, что вместо знакомого до последних уголков души Саратова бродит кто-то не то сбежавший, не то сумасшедший.

О, как невозможно узнать свой город в лицо накануне зимы! И ты, конечно, и ты бродишь среди тягучей, тягостно в тебе отзывающейся слякоти никем не узнанным и потерянным. Понимаешь ли ты, что и сам в эту пору растерял свои многие лица? Понимаешь ли ты, что и ты накануне зимы не имеешь лица?

И какие глаза, губы, мысли, улыбки, какую любимую прежность возвратят тебе вновь затяжные снега—ничего неизвестно, все твое еще под огромным, чересчур отвлеченным вопросом. Может, все это будет опять не твое и не так, как всегда и бывало. И надежде на возвращенье, на обретенье себя ждать придется еще целый взбалмошный

век... Ничего не известно, и ничто не желает знать хоть бы малость меня, признавая своей частью.

Понадеяться можно лишь на ясный облик зимы. Он всегда милосерден и точен и чуток. Он узнает в тебе навсегда нерастратное и дорогое—те черты, что и сам ты давно уж в себе так легко избежал...

Этот город как будто нарочно для меня родился—такой он уютный и мой. Все другие, все разительно не Саратовы то малы, то даются навыворот, то имеют неловкий фасон. Этот город мне в самую-самую пору, он пугающе даже совпадает нередко с душой, так что спутать легко или не различить. То и дело теряюсь: я ли это—и город разросся во мне, или я это сильно, безудержно нежно разросся сквозь город...

**ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВСЕ СТОЛБЫ, ЗАБОРЫ, ВО ВСЕ ПРИСУТСТВЕННЫЕ И ПИТЕЙНЫЕ МЕСТА, А ТАКЖЕ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ МАРИНЫ, В КЛИНИКУ НА УЛЬЯНОВСКОЙ**

Обращаемся ко всем уставшим жить в городе Саратове и на днях потерявшим его: любите, пожалуйста, из последних сил город Саратов, а он вас и так любит, ни за что. Как только он почувствует ваше ответное движение, все моментально изменится в самую неожиданную сторону, не успеете и оглянуться. Вот увидите—лишь отвяжитесь на приличное чувство, хотя бы сделайте ему при встрече или при случае вашей мимолетной грустящей ручкой... И этот город обязательно-обязательно найдет вас. Он просто не удержится, чтоб не увидеть вдруг вас, чтоб вами не очароваться. Он скажет вам вместо мужчины: «Ах, милая женщина, ах! Наверное, это от вас я голову потеряю...»

Три единственных у тебя. Немыслимо три. Какая это жестокость—не иметь трех единственных... Сам же много сделал для того, чтобы для них несуществующим быть... Хотя бы для одной уцелеть, для невозможно последней. Для первых—на смерть избыт. Для них я уцелел только своей пожизненной, мне усмехнувшейся нагленько смертью.

Мой ум постоянно клонит в сон. Я каждое мгновение забываю в себе что-то очень важное, самое важное. Я то и дело теряю себя. И как перебрести этот неотступный морок сна, в котором нет меня, я не знаю. Мне внезапно стало слишком много лет, я блуждаю в них подслеповато, и выбраться из их неоглядного вязкого множества все труднее, невероятней. Чашо-ба лет все тьмистее обступает меня, я зарастаю вкрадчивым забвеньем, прожитые годы смутно и вне лиц брезжат по сторонам. И впереди, среди кое-какой этой местности будущего,—тоже повсюду они, смутно уже изжитые годы, выброшенные сюда, на огромную, дымящуюся зловонно до горизонта свалку, которая удачно приспособила под себя еще не пришедшие многие лета. И они, увь, и они неопозволительно давно уже потеряли память обо мне, порастили меня каким-то чертополохом, всполохом и переполохом небывало дикой забвенной травы, и они не знают, кто я, что я, кому и зачем. Про что я куда-то иду. И, наверно, прошел, оставив за собой цепочку украденных у кого-то следов...

## ПОВЕСТЬ О ПРОПАЖЕ

*(без содержания, приключений на свою задницу и продолжения)*

- 1 Украли у человека совесть.  
Искали вора.  
Еще больше всё украли.
- 2 Украли у человека вора.  
Искали, конечно, вора.  
Неизбежно еще больше всё украли.
- 3 Какие же тут могут быть, с позволения сказать, выводы?  
А вот вечное б...ство с этими самыми выводами!  
Это стало уже ужасным обыкновением.  
Мы всё про б...ство никак не успокоимся.
- 4 Поэтому оставим повесть безвыводной.  
И за компанию—невьездной.  
Но не безысходной,—это уж отнюдь и отнюдь!  
Потому что так хорошие дела не делаются.

- 5 А именно (про выводы, а не про хорошие дела):  
 Правда все равно есть в человеке, бытует изрядно,  
 не фигли-мигли вообще-то поскольку она.  
 Зря, что ль, Толстой был и другие, потоньше?  
 Правда помаргивает иногда в непонятках,  
 глазки потупив блудливо.  
 Но это ничего, исправится.  
 С кем чего не бывает.  
 Нет средь нас без греха бродящих.  
 Это уж завсегда оно так: все поправимо.  
 И однажды правда заблещет  
 во всем гольном своем трепыханьи,  
 в обнаженном своем торжестве.
- 6 Это уж как пить дать.  
 Или как два пальца это самое.
- 7 Вот только сексу здесь, пожалуйста, никакого не надо.  
 Про гольное трепыханье нужно безжалостно вырезать.  
 Отцензурить, опростоволосить.  
 И вставить что-нибудь свеженькое  
 и не кувыркающееся где ни попадя,  
 как давалка шальная.
- 8 Конец. Занавес—если обнаружится, если найдется.  
 Неужто предварительно не скоммуниздили его  
 в одночасье?  
 О нет! Наше счастье! Не скоммуниздили!
- 9 Конец оказался удачен.  
 И вовсе не орган. Не член это то есть,  
 но финиш, благая развязка  
 вопреки всем разнузданным ожиданиям.  
 Хрен сексу потрафим!
- 10 Конец, стало быть. Натуральный, нормальный.  
 Здесь повести нашей, выходит, приснился каюк.
- 11 Ну, бывайте. Не хлюпайте попусту носом.  
 И так вообще. Поживайте.
- 12 Питайтесь плотнее и крупненько так поживайте.  
 И тучно в охотку плодитесь  
 и вы, и премногие ваши скоты.
- 13 И утучняйте  
 святые сокровища женщин и душ.
- 14 Вот теперь-то повторно уж все—  
 чтоб не знало тут пира  
 тринадцать число.  
 Пусть пируют четырнадцать главок  
 На месте непризрачном сем.  
 Гуды байды!

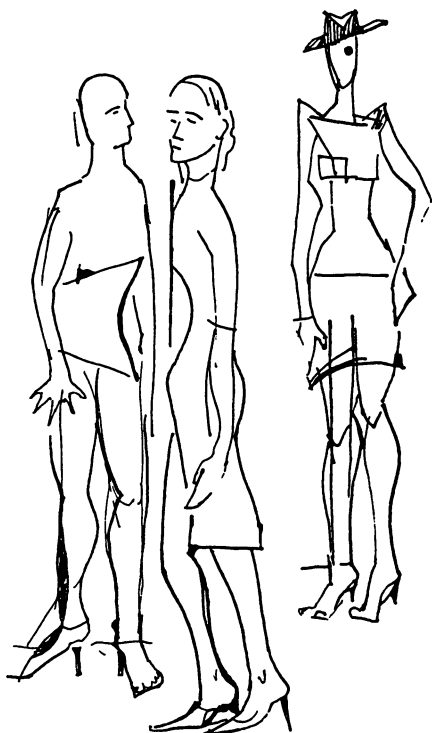
У тебя недалёковидная душа. Что она гутнит все под нос? На сколько человеческих километров вокруг она у тебя глуха и безвидна?  
 – На семь верст до небес, и всё лесом.

Сегодня 28 ноября в долгожданном Саратове наступила долгожданная зима. Она оказалась так похожа на прежние зимы, что я не удержался и помолодел. Сегодня взошло из мглистой стны востока абсолютно прежнее солнце, старые любезные знакомцы—дымы из пространнх труб—нарочито незнакомо тянулись вдоль земли, балуя невосхожденьем, отвергнув на время недоуменное небо (которое вне себя от недостачи дымов), заволакивая

город любимой медлительностью и стыдливостью долгих минут. Утренние малые сугробы ало улыбались прямо из юности. И мой вопреки всему обожаемый город мне внятно сказал: «Так и быть—будь еще молод, вот тебе моей небывалости из свежих запасов зимы. До полудня можешь быть юным—как хочешь, как можешь. Потом—не обессудь...»

Бегаю, тороплюсь везде успеть, времени в обрез—юность у меня сегодня так стремительна, коротка. Поменьше тягот успеть бы отложить на старость после полудня. А ведь надо еще успеть хоть минутку побыть семнадцатилетним, проведать мельком уж вовсе не мой восемнадцатый год, безоглядно свернуть, как за угол, в престранную девятнадцатилетность, в заросшие неузнаваемо чащи, три раза стучать напоследок в свою же двадцатость, к кому-то, ужасно похожему на меня; он, конечно, откроет, скажет небрежно, чуть раздраженно: кого же вам все-таки надо? такой, вроде б помнится, здесь когда-то слегка проживал...

Пусть ли те всевозможные люди меня к себе всевозможные люди меня к себе в гости, примут, приветят, дадут ли грузинского чаю, по 98 коп. за прежний объем? Кого они во мне недальновидно узнают?



Неудачник тот, кому Бог не доверил и не позволил никакого таланта. Других неудачников не бывает. Обделенный талантом человек всю жизнь ошивается в неудачниках и ищет то продвинутого, то успешного, то еще бог знает чего, а иногда, видимо, даже и самому Господу неизвестно. Неудачники взяли наконец-то реванш и внешне очень удачно прекрасились в победителей. И мерили свои, и орала весьма узаконили. Так все с божьей искрой сплошь стали «неуспешными», если божьи искры не имеют подтверждения в деньгах.

Но как же из этих «успешных» вдруг посовывается родимый наш неудачник—вечный, матерый, мстительный, до жути опасный! Его ни во что не одеть, не упрятать—он уж выглядит все равно, скорчит свою распрезренную рожу. Его не заслонить никакими машинами и особняками—он непременно, непременно рванет злобно наружу, кислотно плеснет в чужие глаза. Эти недолюдки боятся сознавать, что вся их «успешность» и «продвинутость»—лишь жалкий способ защиты от ущербности, спасение от того, чтобы не остаться наедине со своей глупой бездарностью. Но они уже и наедине не умеют оставаться, это слишком пустая для них роскошь, и бездарность не жжет их уже, а привыкла давать чувство зримого превосходства. Это не просто нормальное и хорошо востребованное состояние—бездарность, это необходимое и достаточное условие, чтобы стать самозванной ценностью в виде любимого себя, в виде повсюду дозволенной и распушенной пустоты. Так трудно ведь быть никем, и никто хочет стать всем и даже немножко побольше. Он хочет быть неукрадочкой каким-нибудь маленьким богом, повелителем бессмыслицы и суеты.

«Боже, Боже, дай мне хоть немножко настоящего пылкого дара!»—ничтожества и эту простую молитву уже затоптали. Они с поганой усмешечкой пренебрегли все собой, ни к чему не годной, хищной пустотой, которая и есть их единственный дар: плодить вокруг бесконечно обилье новых пустынь.

Пустыни теперь процветают.

У теперешних женщин во взгляде больше всего прибыли и себестоимости, то есть сколько они сами положили себе крупноватой цены. Этот клокочущий в дамских зреньях базар отшугивает незамедлительно—мы привыкли в местах тех встречать тихоструйные омуты. И успокаивает: я ведь иду давно по иным уже улицам. Там все взгляды другие. Женщины там еще чудные женщины, в полную даль и всецветность свою. Я знаю эту страну—она поселилась во мне. Там граждане глаз не испачкали и много еще, очень много вокруг весеннего человеческого зренья.

В весеннем лесу во мне сразу появляется другой человек—отлетевший. Он только на эхо откликается. И то если не очень далеко в меня запропастился.

Во мне странно молчит что-то зверское и солнечное одновременно. Как мне явственно разделить? Как различить зверское молчание и солнечную немоту? Где среди них я—равный, немолчаливый, чуть сумеречный и осенний? И есть ли в самом деле там я? Возможно ли, чтоб это я было в том месте, где я никогда отродясь и не бывал?

Я сделал небывалую глупость, когда захотел вдруг казаться собой. Мираж вышел слишком огромным, он затмил меня целиком. Мне неизчего теперь не то что казаться, но и просто скромненько изглянуть. Скоро мне уж и померещиться будет неоткуда, что ли? Не столько беда здесь, сколько прямая обида—зачем же меня выявляли на свет? Только подразнили бывалошным мною видения мира, они и расстроились—их, оказалось, недолго обидеть...

Обычно я опаздываю эпохи на две-три, не больше. Сильнее опаздывать неприлично.

Не нужно бесцельно бродить по этим давно покинутым тобой, давно покинувшим тебя улицам, всеми силами, под любым предлогом избегай этих блуждающих путешествий—заразись людской пустыньностью улиц, тебе станет худо, ты станешь несносной пустыней, которую не подевать никуда.

Тебе хватит сполна и невидной улицы, чтоб ежедневно уничтожать в себе эту едкую пустыню, распространившуюся невзесь куда из тебя вовне. Только неприметные улочки растворяют в себе твое громоздкое, неприподъемное одиночество. Только они. Только они еще на что-то способны. Даже на что-то твое небывалое и несбыточное.

Я восхищен вашей стойкостью, всеми заброшенные, всеми забытые, одинокие и невзрачные улочки, давным-давно сбежавшие даже и от себя, оставив мне траву-мураву да кривые дорожки, да горстку зажитых до смерти, преклонных домов!

Думаю: почему стало по улицам тягостно ходить? Как-то неприязненно одиноко. Улицы осязаемо отторгают, как организм неприжившуюся ткань. Пять лет назад еще так не было и помыслить не мог, что так будет,—любил сквознуть по людным местам, пропадаю во встречах лицах, избежав свое одиночество в приятной и разнообразной чуждости, такой красивой и молодой. С большим замедленьем понял: а женщины, женщины в силе своей красоты перестали вглядываться в мое лицо с цепким, изучающим, влекущим на себя вниманием—им нечего теперь искать в этом отускнелом лице, оно потеряно для них, его в их глазах уже нет. Низачем не бывает. Это стертое лицо—я—им уже никакая не выгода, не надежда, не точка покоя, не точка отсчета. По улице ходит теперь моя первая старость. Ну что с нее взять, какой прок с нее взыщешь?! Женские взгляды скользят равнодушно, как по пустому предмету, места которому нет даже на антресолях.

Я очень долго не мог понять, что это их мне не хватает, именно их, чем я прежде был так изобилен, восхитен,—женских взглядов; что как раз их отсутствием улицы сделались тягостны и ненаселенны: они пусты ищущими и искавшими меня женщинами, их нигде больше не стало, я пропал для них безвозвратно, мы исчезли взаимно.

И я начал избегать улицы, еще не понимая, чего я избегаю.

Вывеска: престижная столовая. Подавиться можно! Непрестижно уж и покушать в желудок нигде невозможно. С внутренним страхом и гибельной неизбежностью жду вывески престижного туалета. Неужели это меня и добьет?

Все те же люди, что и двадцать лет назад, ни на чуток не изменились. Только перестали зимой в шапках ходить. Продвинутые же.

А шапки были хороши. Бровровые, норковые, мерзкие нутриевые и ондатровые. Кроличьи не будем также вычеркивать. И пыжиковые также. Годились.

Но вот в чем загадка: женщины и посегодня стараются ходить с утепленными ушами, не брезгуя шапочным мехом. А мужчины ходят с разгвазданными органами слуха, как будто у самцов они потрясающая привлекательность, перед которой дамскому трепыханью в сердцевинных местах ни за что не устоять, попадают трепыханьца в обмороки.

Нарочно всем хожу в нахлобученном малахе преклонных годов. Демонстрирую неподвижного самца со слабопоказанными ушами. Внешнего сексу фиг вь с меня получите лишку. Мои уши превращу в половое ничтожество.

Не дамся я напрасно в ваши вздорные виденья. Хоть уши-то свои не пушу ни на чьи развлеченья.

Мир скроили по женским потребам. И для мужчин приемлемых мест сделалось мало. Изъяли и извратили настоящую мужскую работу, в насмешку оставив мужчинам одну лишь

войну. Их с большим удовольствием и расторопным унижением объявили слабым полом. Мир переполнился ябеднической адвокатурой, женоподобными сладкогоссами с хорошо развитыми тазами, грудями, словно они не первый раз рожают. Мир превратился в подлую условность, и мужественность не только перестала быть нужной, но и смехотворна, выглядит забавной помехой. При этом женщины с их вьедливой провокативностью еще и поддуживают: ну какой же ты после этого мужик!

Все почти уважаемые работы стали женскими, мягкотелыми. Мужчинам остались только грязные и презренные дела—война, разбой, разбор завалов, мусорные баки и мусорные дни. Да подсушиться где-нибудь в бытовых мельтешеньях на подхвате у женщин. Достаточно посмотреть (чтобы ни на что смотреть долго уж не хотелось) на то, с какой превосходной, брезгливой и самодовольной миной женщина расплачивается с грузчиками, приволокшими на высокий этаж мебель в ее расфранченную квартиру. Не вызывает ни малейшего сомнения, что это она сама все перетащила и только делает снисхождение и дает милостыню, поблажку этим слабакам—никчемным мужичонкам, не умеющим даже найти себе престижную, не позорившую бы их работу. А ведь в жизни тяжелее мужского члена ничего не поднимала, все в основном даровые и ловкие деньги за нее делали. И непременно скажет, уж не упустит случая (все с той же властелинной брезгливою миной): эту квартиру я сама себе построила, завезла сюда мебель, в моем доме я все до последней пылинки устроила сама, от этих мужиков ничего не дожدهшься, толку-то от них...

Все делают деньги, просто деньги, обыкновенные деньги, отнятые у настоящей мужской работы, которая идет за бесценок и за ничто. Мужчины вынуждены жить по слабым законам, которые другие полумужчины с легкостью установили, чтобы самим мужчинами не бывать. (Еще Толстой говорил: все самые важные дела решаются в спальне. Из женских царств кровожадных—из постелей разбегаются в дни непрекращаемые указы, не из парламента, не от президентов, не из нежности умных сердец.) Ведь настоящим мужчиной (не мачо! мачо слыть—никак) быть трудно и многие мужчины предпочитают быть женщинами. Так легче помыкать серьезными и прямыми сердцами, так легче примазаться к жизни, ставшей не самым лучшим женским придатком. И все стали несчастнее, нелепее и потерянной от этого укоренившегося женского порядка вещей, нового мирового порядка. Женщины прежде всего оказались пропащи. Женщины первыми потеряли все свои основания. А с ними—и все бывшие пьедесталы и те недостижимые высоты, на которых извеку женщина обитала небесно. Одни только многопузые и лягуобразные немужики жируют в этом пошатнувшемся мире—необратимо мягкотелые твари с провисшими задами тертых б.дей.

Я все про б.дей. Они хороши в замороженном виде. Можно употреблять и в горячем. Способ приготовления: разморозить б.дь, отмочить в легком жанре, подбавить крупно нарезанного лучку, соль, специи и другие забавы—строго по вкусу. Поджаривать желательно на пылком, но переменном огне в течение 10–15 минут, до тех пор, пока полуфабрикат не приобретет изумительный цвет окорочка, пепельной тушки. Избавит вас ради вашего же похудания на 213 ккал живого весу. Употреблять в любом виде. Время переваривания—в обычном режиме пищеварения. Дает экскременты вашего повседневного личного цвета.

Нашим детям нужно быть как все, чтобы выжить. Это только нам остается почти небывалая роскошь—быть собой. Мы свое уже выжили. Безликость теперь не страшна. И к лицу нам—любое. И любая любовь.

Вот и общнулись великолепно. Она сказала: а тебя тут не ждут. Он ответил: я вас не жду. То-то было молчания! На словах сказали лишь слово из никаких—«пока». Обоюдострое. Обоюдотупое. Из остатков словесных отребьев.

Я презираю вашу глубоко запятанную ущербность. Вашу великолепно устроившуюся ущербность, которую вы превосходно и без лишних сомнений выдаете за ваше недостижимое преимущество, коим так приятно все сокрушить. А ваше действительное преимущество поправимо легко: всего-то каких-нибудь 30 лет недостатка. Как вечно будем мы одинаково неюны! Всего-то жалкие тридцать лет преимуществ. На две жизни средней собаки, пустяк.

О, этот недостаток хорошо исправим—юность. По собственной самонадеянности известно. Приходите лет через 30, а можно и через 25... да и через 10 лет не будет уже рано,—там и общнемся. Если у вас будет что сказать. Вдобавок к тому, что вы уже не сказали. А пока с несказанно прекрасным разъятием помолчим друг от друга на особь. Так будет уместней. Да и жизни полезней. Вы зачем же забыли: вы ведь нам не нужны ровно столько, как и мы—никому?

Мой прежний дом, в котором жили когда-то прекрасные годы, расцвел в мое отсутствие моим отсутствием. Иной дух здесь и на дух не нужен. Среди самодовольных и броских мебели все потускнело, даже бывшие стены сбежали в иное. Беспорядочные книги раскидали свои

ряды и объявили себе упадок—их мало теперь согревают малым теплом ладоней, так ощутимо им не хватает простого внимания. У этих книг украли какого-то человека. Все прежнее за неуместностью здесь явно потеснилось в сторонку, ужаслось ужасенко в скорбную тень, непроизвольно далеко зашагнув вглубь себя,—есть большая опасность уже никогда, ни во что не вернуться...

И люди, оставшиеся здесь, лишь уцелевшие внешне,—не эти люди как будто выплывают из опалющего глаза рекламного проспекта, совсем забыв, что им следовало бы выплывать прямо из памяти. Они не слишком далеко вглубь себя—там корней еще не бывает; они слишком много вылетели из себя—но и воздуха в них нет, воздух в них неощутим. Их теперь не узнать, не обнаружить ни при каких обстоятельствах, эти прежние, населявшие прошлое лица, они опасно пусто зияют, глянец их беспробуден. Их, возможно, и нет больше нигде. Этот дом заселили не они и не мы. В чем осталась та скорбная малость от легко из нас умершего в это пусто зовущее бездыханное время? Где какой-то чуть живинный остаток? Где печальный, вдруг вздрогнувший бы от яви наш итог? Ничего тут уж нет. Здесь покоимся мы, неизвестные люди, облаченные в красивую, дорогую руину. Где ж пустынно искать мне своих? Кто пустынно отыщет кого-то меня?

Во дворе моего прошлого дома гуляет мерзлый ветер, лед под ногами, а с ними—прежний я (нас трое, бездомных гуляк), которому мой нынешний призрак не дает покоя. Мой нынешний призрак так яростно, так всецело протестно отсутствует здесь, что прежнему я, заблудившемуся в просторах прошлых лет среди двора, очень явственно чего-то не хватает, чего-то слишком существенного, жизненно необходимого, и он вынужден помимо желания умяться и исчезать.

И вот стоим мы уже совершенно впустую посреди безнадежно голого, раздекабренного вдрызг двора—я-призрак, обессиленный ветер и надолго умолкнувший лед. В том самом месте, где когда-то был наш крохотный садик, тоже не преминувший стать странненьким призраком. В том месте, где даже садовая дорожка—бегунья из резвых, но малость неловких, нескладных—разлюбила меня и прикинулась льдистым ничейным отрезком, который не имеет ни капли души. Где все милье, неузнаваемо изменившиеся в лице деревья изросли уж настолько не так и как будто бы не своим уже образом для ожидавших их с нетерпением чувств, что кажутся чужими людьми, обступившими с неизвестною вестью в странной то ли молве, то ль вражде, то ль печальной тревоге.

И хлынул тут отморозенный дождь. Он надеялся, видимо, он пытался безжалостно вдруг стереть все дожди, изошедшие здесь. Но ничего у него не вышло. Ничего-то стереть ему не удалось—слишком плохо у дождя выходила наука забвенья. Он только все увеличил. Чувство протеста во мне—сколько можно же гибнуть былому!—разрастало огромно бывлые дожди, и в прошлом мгновенно хлынули небывалые ливни, некогда пролившиеся помимо жизни. Я узнал теперь в лицо, в столь прекрасное дождевое лицо все дожди, которых со мной никогда не бывало. Я помнил все неслучившееся, забыв о том, что произошло—здесь и тогда...

Рассматриваю свою жизнь как расточенье дней.

Осталось расточать немного и недолго?

О Господи, когда ж начну я собирать дней?

Собраться б с духом. Только где он?

Пустая пустота болит во мне и клонит

в иную, чем вся жизнь, в иную смерть.

Но умирать нельзя. Нельзя! Ни в коем разе!

И не пристало мертвым быть,

Когда я жизни не нашел еще начала.

Если вы сказали «а», то кому-то ведь нужно говорить и «б» на другом конце смерти. Пожалуйста, задумайтесь о своем лепете, дабы не умножать звуков ответной смерти.

За этим шорохом палой листы, разговаривающей куда-то вглубь, я и себя не услышал. Вместо себя я улавливал только светлый лепет листы, смутно переговаривающейся о чем-то моем, о том, чего я услышать в себе так и не смог.

Так я и шел, полупропаивший, по пустеющей сквозящим аллею, листвою лепеча о себе, багряно вопрошая, кто же я сам на этом осеннем багряном языке, в молви прекрасно ожившей ясноткой листы, проникшей в октябрь яркой и свежей своей смертью, которая чудесно и бесподобно надежно отграничила меня от остального приумершего мира, от узенькой и невзрачной смерти изредка проходящих мимо людей: где они идут? по каким краям небытия задумчиво скользят бездумной мыслью? где шествует, где устает их выдохшаяся до срока немая душа? Боже, как печальна их мимолетная, их нестерпимо сушая смерть!



Разве и не об этом сказала горько листва, враз защемившая говором под ворохом разно-го ветра?

Его путь был путем мелочным, вздорным, окольным и потому не был никаким путем. Под итог жизни он как раз и вышел не туда, где обычно кончаются дороги, и понял с очевидной ясностью утраты, что он еще и не начинал идти. Но тут близко случилась смерть. И тот человек так и остался бездорожным. Непройдённым. Он умер вчистую неисхоженным.

Вечер декабря. Длинный вечер, летящий медленной стаей минут. Хороший моим незапятнанным, неприкосновенным одиночеством. Если бы этот пролетный вечер протянулся во всю жизнь, я бы жизнью остался доволен, роптать мне было бы не о чем совершенно.

Хмурая половинка ущербной луны за окном, затягиваемая ускользящим дымчатым облачком. Что это значит в моей жизни нестройной? Что моя жизнь значит в этом бегущем лунном пятне, наполовину лишенном и взгляда и лика?

Какой неполной частицей я им увиден!

Малодушно задернул все шторы, чтоб мгновенно стать полным и немного своим.

Моя жизнь теперь не убывает. Она полнится днями из прошлого. Будущие дни уже так переполнены прошлым, что их становится все больше и больше, тех расплодившихся, еще небывалых дней, и мне, по-видимому, не дотянуть уже до смерти. Это обилие умножившихся впереди дней как истратить прежде смерти? Не призвать ли на помощь другого человека, который посодействовал бы мне с проживаньем излишних запасов непредвиденных дней?

У меня что-то не осталось ни сторонников, ни помощников, ни друзей, ни родных. А сам-то себе я кем остался? Не то хлюстом, не то захолустником, не то холстом, не то хвостом, не то пустынным, не то пустырником... – неужто я, все это я? С кем мне выбредать в остальные дни, если и выбредать-то, оказывается, особенно не с кем, выбора нет почти никакого; если, надеясь на себя, я не знаю, на что я надеюсь и кто я себе – друг, межеумочный враг или просто никто? Неужели я себе – так себе? (Вот была бы тут кровная сразу обида, коли было бы так!) Ну это вряд ли, чтоб я себе – да так себе, это очевидный навет, наговор со стороны, это уже было бы прямо наглостью, случись такое положенье искривленных вещей! Не затем я вроде б рождался, чтоб с течением жизни обнаружить в себе одного, здрастье вам, никого и для себя оказаться пустопорожным, бестрепетным местом, единственно только и озачиленным, чтоб отсутствующе заедать чью-нибудь жизнь. Нет, на это я не согласен, с волками такого позора отказываюсь выть. Тогда пусть мама родит меня обратно, пока не поздно. А то наделаю много лишних дел и наломаю много невестребованных дров, топить вам ими – не перетопить! Мир сойдет с ума от моих повышенных температур, а совсем не от вашего парникового эффекта, во многом преувеличенного в силу моего недостаточно нормального присутствия в этом не самом прозрачном из миров.

Что в юности было праздником, в пятьдесят лет – несамолучшее похмелье. Если, конечно, похмелье не сделать поневоле праздником. Но это тогда уже жизненный алкоголизм. И хрен, естественно, редки тогда очевидно не слаще. В отличие от юности, когда это удобоваримое сравнение под очень ухмыливым вопросом.

Язык повсеместно стал подлым. О чем это говорит? Это говорит о том, кто на нем говорит.

Мне пустота шепнула: жди, я скоро чем-то стану, ты не пожалеешь обо мне.

Терплю который год большой.

Малость себя лишь жаль, раскраденного ожиданьем.

Неужели и эта пустота не сблалась и давний шепот ее был ее простодушным обманом? Неудавшимся обольщением? Грубою лестью? Сбрендившей фата-морганой?

Выбор, впрочем, прилично большой.

И ничуть не дрогнет уже отболевшее сердце... Я не стал равнодушной. Это любовь во мне прочно окрепла. Научилась во мне больше молчать, больше терпеть – чем трепетать. С кем поведешься, от того и наберешься? Но кто здесь с кем повелся, кто от кого набрался – в этом предстоит еще разбираться и разбираться. Случай сложный. Близкий к клиническому. Господь Бог, кажется, уже дал консилиуму знать, что пора собираться.

Всем мизерным сердцем она позволяла себе любить только издали. Только издали и с легкой ненавистью. Она позволяла любить только себя. За что и была отлучена сердцем от собственного сердца прежде времени, а затем и прежде смерти. Она закончила дни свои неизвестно как, неведомою кончиной. Но смерти с нею точно не было, смерти не произо-

шло, так как смерть от нее отказалась. Она от нее отреклась незаметно. Ни одного свидетеля не нашли, ни одного свидетеля, который бы обнаружил, что смерть была, наступила мгновенно, среди такого-то часа и места, одна единица бездыханного тела, а это ведь все равно где-то бы, кто-то бы хоть случайно заметил, бесследно это пройти никак не могло.

Засим умолкаю премного. От лепета внутреннего языка устал говорить что-то внешнее. Боюсь объяснитьсся мычанием, грубым молчанием или чем-то таким, что имеет к человеческому весьма недоуменное отношение или приблизительное касательство. Вот и умолкаю, значит, засим, как и было бегло обсказано в договоре: чтоб если чуть чего, так сразу и —засим, чтоб тут как тут он был, вынь да положь, во избежанье неустойки. Уже засим умолк премного, а на всякий пожарный и предально. Тишина тут, знаете ли, гробовая, оказывается. Зачем же ты замолчал и стал опрометчивым поступком немоты? Чтобы увеличить смерть, мгновенно обступившую отовсюду и начавшую исхищать своей мелкоячейистой облавой? Тогда с твоей стороны это подло. Мы не ожидали, что и ты, ты, который соперничал в резвости и пронырливости со сперматозоидом, — и ты был на стороне небытия. Такого вероломного предательства не могло присниться даже в дурном сне, на самом краю уже жизни, где ясно и больно мерцает яростное ничто.

Но что же ей, этой пронизательной смерти, ты все-таки не отдал своими глухими словами? Что ты смог от нее укрыть в своей прозрачной такой немоте? Что произнесенные те слова, превращенные в сгусток гортанной горечи, сделали хотя бы временной, хотя бы тающей на глазах жизнью?

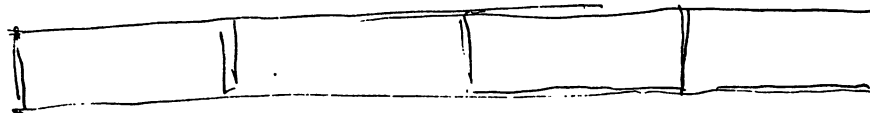
Неведом, не ведает, не ведѳм.

Что творит? Кому умирает? По ком живет?

Чесна слова, здесь таится какой-то дурдом!

Лето кончается тогда, когда рождается какое-нибудь самонадеянное осеннее чувство, которому некуда подевать свою ясность и бодрость, и оно начинает распространять их вовне. Так вынуждена появиться с квелой охоткой никакая по первости осень и все причитающиеся ей изможденные дни. Так и уходят времена года — от чувства к чувству. Пока не истончится человек в приблудной какой-нибудь или вполне личной смерти. И неотложно тогда наступает вечное время года, которое изжитый человек чувствует уже отдаленно, не всегда понимая, осень ли это или весна установились там неподвижно на многие, на бессрочные погоды вперед.

Он помог мне жизненно очень сильно и вовремя, поделившись своими днями, не самими, правда, лучшими, а из завалищих, поношенных, которыми сам он уже не пользовался. Но тем не менее: помог дальнейшей жизнью, когда все другие помогали в основном смертью. И как бы я к нему ни относился, я помимо себя отношусь к нему хорошо. Я отношусь к нему всей своей будущей жизнью, которую он мимоходом, небрежно вызволил из моего лично невызволимого тулика. Это моя будущая жизнь, распрямленная во весь рост предстоящей свободы, благодарна всецело ему, а не я — мои чувства весьма половинчаты и осторожны на чувство. Я-то сам при этом чувстве благодарности — так себе, наподобие никто. Существую пустым приживальщиком, в тесной и заплеванной камерке бывшей лакейской.



Я глянул из окна автобуса на этот убегающий вспять утренний хмурый город, на стремительно расстилающуюся обратно мою жизнь, принявшую здешний ноябрьский облик. И мгновенно—каким-то редчайшим мгновением Бога!—уверился в ту святую, отныне непоколебимую секунду: могу перетерпеть даже и сами сто лет одиночества, в каких возможно обличьях терпенья. В крошечной темноте, в одиночной камере, сто изощренно никаких лет. Сто абсолютно бездвижных, коснеющих, враждебно вымерших лет. Сто чудовищных ублюдков времени. Буду терпеньем сродни мертви камня, и ни единое чувство не вздрогнет, не вздохнет по-человечески, чтобы постараться смутить меня, поколебать и ослабить в просящее смягченья ничтожество. Я сильнее того мертвого одиночества. Я умею его надежно презреть, гранитно безживные чувства уже родились во мне благодатно для этих свержений.

Тот пребывающий в темной герметичной камере человек—среди ста лет одиночества—крепко помогает мне жить, без него я как без рук. Он тщательно и безотлучно терпит за меня то, чего я сам, как отчасти живой человек, перетерпеть бы не смог, никогда не осилил. Происхождение этого тюремного человека, видимо, прослеживается и теряется на гулаговской Колыме, точнее, в пропавших судьбах исчезнувших там. Как подумаю, что, например, Шаламов или Анна Баркова прошли через 30 лет даже не ада, а ада небытия, так в личной судьбе безлагательно становится легко, просветно и нетюремно. Что мои вздорные невзгоды перед такими 30 годами или даже минутами миллионов и миллионов? Что перед пятью годами моего деда, Володина Михаила Максимовича, *годка* Ходасевича и Гумилева, сумевшего вернуться из массовой смерти (за пару добавочных слов к *Головокружению от успехов* улетел на Колыму, просторами загрязмев)? Полное ничто. Абсолютная небывалость. Бездарный убогий пустяк, над которым только рассмеяться и который—презреть. Так я и посмеиваюсь над личной судебкой, сдуру возомнившей себя отчего-то горестной и бедовой. Посмеиваюсь—сквозь усмешку, сквозь оскал тридцати колымских космических лет. И жизнь моя, хочет она того или не хочет, поневоле смеется веселым звонким колокольчиком, а может быть, уже и последним звоночком, и ей ничего не страшно в этом дьявольском смехе, донесшемся из замгильной Колымы, до отказа, нечеловечески набитой мертвой суровой человечинной, из Колымы, где земля-мерзлота состоит в основном из смертей.

Они еще очень помогут—эти не словившиеся, а равно и словившиеся повсеместно полегшие эски, пропитавшие шар земной гибелью до середины. И стигнувшие бесследно, безвестно тоже еще ой как помогут. И они уж не откажутся одолжить свои неотложные потусветные помощи. Они знают прекрасно и точно, как защитит своей опытной, искусною смертью, которая много раз умирала в каждом из них, прежде чем им самим умереть, умирала несметною смертью—в надежде как-нибудь, где-нибудь, в ком-нибудь немножечко выжить, очнуться в уклонный запретный росток. Надежней, опорной той неумираемой смерти вряд ли что можно в мире сыскать. Ничто не бывает дороже ее, пока стоит еще всякая жизнь. Все может быть только ничтожней.

У будущего всегда есть преимущество перед всем остальным: оно как-нибудь, да будет. Если только не кончится прошлое.

Будущее сравнимо со смертью—она тоже всегда бывает. Только вот у нее и прошлое никогда не кончается. Ее преимущество—в этом. Если только не кончится жизнь. В этом и есть самое подлинное и самое последнее преимущество: будущее жизни надо всем—над будущим и смертью. Тут равных ей нет в любых вселенных и даже в моих заплесневелых, отчасти будущих, а отчасти мертвых мозгах.

Не бойтесь одиноких. Они бесподобно ручные.

Ужасайтесь одиноких. Им нечего терять.

И бойтесь, и не бойтесь меня одновременно—я, кажется, ни то ни се. Прямо сам не знаю, как к себе относиться. Поэтому относитесь ко мне тоже неизвестно как, но желательно двояко и с веселым ужасом. Я—промежуток жуток. Я вам спою еще на бис!

Этот Новый год буду встречать обязательно радостным, но неизвестно где. Возможно, даже в отсутствии себя. Чтобы лишний раз никто не мозолил глаза, и без того намозоленные собственными виденьями.

Двадцать лет я ел исключительно картошку. Потом есть перестал—дело дохлое, оказывается. Следующие двадцать лет только выдавал сплошь какашки неизвестного происхождения. Так длилась жизнь моя, часов томительная повесть. Потом наступил наконец любимый сентябрь, которого не было в двух веках сразу целых сорок лет. То-то я себя любимого праздновал, а заодно и свои достижения, которых за сорок лет отсутствия сентября скопилось позоряще мало, но все-таки скопилось, чтоб, видимо, допозорить. Во всяком случае, факт скопления налицо. Теперь уж не отвертись, когда с такой физиономией стал—она оказалась неоправданно толсто плачевной. Понятно, это все картошечка сказыв-

ется, двадцатилетней давности, она одна, больше тут и сказаться-то нечему, других виноватых откуда же взять, если годами сплошь картошка одна да картошка. Это все хваленая картошечка замедленным действием подсовывает подлость из прошлого. Она и в пропаше сентябрей замешана, тут явно без нее не обошлось. Наш пострел везде поспел, к каждой бочке она затычка. Желательно, чтобы картошка в России была уголовно наказуема, за все свои зверские действия среди животных населения. Пойду шевелить народ на референдум. А если народ по любимой спячке своей нагло от всего отречется, я сам подниму восстание, единолично. Но тогда уже не поздоровится никому, а не только мне одному. Кто не спрятался—я не виноват. Ну, население, я ведь жду от тебя ответа, как соловей лета. Что молчишь витиевато? Или воды в рот набрало? Мертвой? Живой? Я встаю, а потом разберемся, что там у тебя во рту значит. Случайно там золотишко не прячешь, а, население?

Чего я великолепно жду от этого Нового года, 2007-го? Конечно, прибавки к пенсии, это в первую голову. А то ее—прибавки, а не головы—давно не было. Голова, пусть и кое-какая, конечно, всегда была, имеется в виду моя, а вот прибавки давненько мы что-то не выдвигали. Только надо не забывать: до пенсии еще десять увесистых лет, так что ждать пока особенно-то нечего и тут даже понарошку ничего не светит. Ну, на всякий случай чего-нибудь будем подтерпывать, пускай что-то само собой и дождется мало-помалу. Там видно будет, что выждем; наши ожидания редко лепят плохое, а чтобы надежды давали брак—это вообще дело исключительной необычности и члпзности. Весь наш завод лихорадит тогда от собраний и возмущенных утратами сборищ.

Во вторую голову, жду и всего вам наилучшего, которое мне каждый раз почти насильно всучивают на прощанье с залежалой и по краям стертой улыбкой, но я не знаю, что это такое, а узнать бы хотелось и наглядно пощупать. Значит, хотелось бы как-нибудь ярко овеществить и всего вам наилучшего, потрогать его восхитительно ненасытной рукой, приложить на пробу к прочим участкам тела, понюхать для аромату, взять на пробный привередный зубок, но и всего вам наилучшего ниоткуда вещественно не берется, ни на личико не показывается, оно очень темно и потемнить любит весело, это получается дурная игра в прятки, а не достойная жизнь, что вселяет в мои старые помещения новую грусть.

В третью голову... Небо в алмазах уже бывало, и не раз, хорошая вообще-то, доложу я вам, штука, но малость ничемная и обманчивая, а потому частенько врет напрапалую и накаливает—неимоверно. Небо в алмазах теперь, слава богу, ждать больше неоткуда, его мы благополучно отждали, да и фиг бы оно с ним... Ну, поесть-попить аккурратно на стол; стол диковатый на вид уже выкарабкал из общежитской, премило сошедшей с ума кучи, осталось додумать, что б на нем поесть-попить как бы само собой образовалось, ну или под ясновидящим влиянием голодной мысли,—дабы дать в новогоднюю ночь зажигательный старт и пример грядущему пищеварению. Вот без него, без последнего, не обойтись, оно вещь незаменимая, легко соперничает с твердой валютой, не случайно именуется громко: кишечно-желудочный тракт! По этому самому тракту все идут охотно, понукать не надо, это путь не каторжный. С таким названием шуточных и подлых вещей не бывает. Тут даже нечего ломать голову. Ни первую, ни вторую, ни третью, ни остальные, строго в порядке очереди.

И так всю голову растаскали по частям к чертям собачьим. Думали, наверное, сволочи, что это такой невиданный цветной металл. Нет, увы, это мои мозги, бедные лищенцы мои и засранцы. Их нигде не принимают. Все пункты приема прихлопнули и накрыли последним медным тазом. Даже сдаваться идти некуда—не то чтобы что-то сдать. Вот, братцы, в какую уозость превратилась Россия! Если дадут зарплату, пусть даже сильно не вовремя, пойду с горя на Божий суд, там отдам что следует кому следует, не пожалею швырнуть и всего вам наилучшего, твердо и гордо верну творцу билет, не дрогнув ни единым мускулом лица,—чтобы мои холостые извилины не мозолили ничьи понапрасну глаза.

Прошаюсь с вами, похоже, на вечность, так как начал за здоровье, а кончил, естественно, за упокой, а это сегодня не столько не поощряется, сколько не прощается, потому что смерть—не формат солидных изданий, которые все с чего-то набрали внезапное брюшко и стали солидными и благопристойно покойными, даже смертное предпоследнее слово вымолвить негде... Ну, и всего вам наилучшего, так уж и быть. Куда наша ни шла...

Из меры обычно раньше все сомневающихся, растерянных и плохо ориентирующихся вещей человек превратился в обочину вещей, в вышколенного вахтера у входа в храм вещей. Это очевидно. Все человеческое там чуждо и не поощряемо, напротив, оно—ощеряемо. Это очевидно. Туда ему и дорога, человеку-то? В дикие вахтеры к сбесившимся вещам, в их малиновый с виду сумасшедший дом? Это неочевидно, и какая из этого произойдет веселенькая очевидная дрянь, неизвестно, очами не видно нам из ниоткуда, да и с зреньем у нас что-то стало пошаливать: все та самая вездесущая дальнорзоркость, она постоянно все гадит, тут и гадить уж нечему больше.

Но как захудал человек среди вещей, как он резко на редкость пропал! Его не разглядеть и в насекомых. Что-то давненько стало не попадаться неочевидное на этом свете. И вы после

этого будете говорить, что скучно на этом свете, господа? Не скучно. Всего-то никак, господа. Стошнить даже нечем, не говоря про другое. Вот ведь вы какие, а я-то думал про вас лучше, почти вами мечтал и несколько бредил. А вы вон какие бяки, оказывается. И все боком, боком как-то мне выходите, как-то все странным боком. И откуда только, скажите, берется в вас эта немного кривая и столько боков? С виду-то вы вон какие пряменькие, гладкие и ухоженные, ну просто сдохнуть можно. Просто умереть и не встать. От зависти к вам весь пылаю и гасну, безвидно, вне дара дотлев. И, наверно, пропав... Боже, как мне очевиден!

Что он, возможно, немалый ученый—никто не знает. Никто не знает, кроме святой простоты его уверенности. Даже он сам толком ничего не знает (хотя размашистым тщеславием и подозревает, и прозревает в себе греющие необъятные горизонты). Только уверенность в реальном, непоколебимом существовании истинности *предельно своей*—возможно, и вполне убогонькой—истины все про него знает, досконально, до потрохов. Но пока молчит вместе с его истиной, еще не нашедшей себя до конца, но хорошо промаячившей, уже знатно обманувшей своими виденьями. Этот внутренний заговор самонадеянной уверенности, дико упорства и непрорезавшей истины, очень вероятно, и дает то, чем он будет лет через пять: восстание истины, одолевшей заурядного человека. Благодаря ей он, быть может, укрупнится из человеческого ничтожества. Лишь благодаря ей, других путей спасения у него нет. Что ж, будем ждать *истинного* восстания. Только оно все расставит по своим местам и обнаружит нас зрячими...

У нее лазурное сердце, невозможно лазурное. Таких нигде уже не бывает. В нее окунаешься, как в запропащенное море. Я скоро в ней, наверно, совсем утону. В ее безмятежной улыбке я—как в бессрочном и восхитительно бездном падении, в затянтом паденьи во сле. Я скоро в ней куда-то улечу безвозвратно—но так, как и нужно бы отлетать насовсем, покинув избытком себя дочиста. Здесь был я. Стоит ли об этом? Всесчезающий полет она мне лучезарно внушила, мой отовсюду стерший меня легкий и незабвенный, мой отныне пожизненный бог!

Мне по-крупному жить не трудно, мне по-мелкому жить муторно—квелими буднями, подлым всегда бытом, бедламом стоячих затхлых минут. По-крупному я готов сто лет одолеть, как прогулку за странной добычей, а по-мелкому и день дается с превеликим, несносным трудом, и приходится всячески его перехитривать, чтоб не оказаться в унынии и не завязнуть навеки в том дне, по крохоборным частицам томительно и неуследимо тебя изворовывающем, беспечно пускающем в досадную трату. Главный неприятель мой—день, преобладающий день. Это он с виду только бедненький и незаметный, все прикидывается никаким. Это он только хочет казаться невзрачным, пустым. Лукавить он любит, мелкий мошенник! Верить ему никак невозможно! Это он обманно такой тихоня—но он ужасно себе на уме!

Чтоб уцелеть, верить ему следует весьма приблизительно, осторожно, изрядно запугав свои и чужие следы. Крепко смутив веру сомненьем. Крепко смешав веру с затмением. И тогда все у вас получится. Только, пожалуйста, не дайте себе так опрометчиво засохнуть—пейте всегда то, что советует вам реклама, она плохому еще никого не научила, а только дураков, которым так и надо, за дело, пусть они пьют гадость, им все равно хуже не станет. Но среди нас обычно дураков не водится, это истинная правда и еще, и еще раз правда, вплоть до не самой отвратной вещи на свете—вплоть до самого отвращения...

Все усилия разума в конечном итоге тщетны—да, кто бы спорил, но если не включать разум, то его отсутствие непременно обратит нас в довольно обильных животных, которым будет о чем хорошо поспать-поест. Только и будешь горбатиться на этот сладко себе дремлющий разум, на его тучные стада замечательно расплодившихся призраков и чудовищ, которые легонечко, пресвободненько заставят жить по-своему—то отсутствующе, то ползуще, больно-то не будет канителиться со способами нашего пребывания на отдельно взятой усталой планете. Бац—и уволен из человек. Что мы и наблюдаем пропадающим ясным зрением повсеместно и повселюдно. За некоторым неприскорбным вычетом из повселюдья—сухим остатком улетучившегося человечества.

## БАЛЛАДА О ПРОПАВШЕМ ПОЛОВОМ АКТЕ

### 1. Вступление

Жмурики вы, жмурики, дорогие мурики.  
Заявляйтесь вы ко мне, милые мазурики.  
Я вас чаем накачаю, утошу.  
С богом, с миром отпущу.

- Только смерть не оставляйте,  
взять с собой не забывайте.  
И тогда все хорошо,  
я поеду в Балашов.
2. Зачем мне туда соваться? Суть дела  
В Балашове, стал быть, вдовушка – буйственная кровушка.  
К самовару подбегаю, я не прочь напиться чаю.  
«Ах, лобзать тебя не чаю!»
3. Ближе к телу  
И залезу под перину  
щокотать мою Ирину.  
Я подам ей весточку  
в ее святое месточко.
4. Подлец подкрался незаметно  
В белом венчике из роз  
впереди Иисус Христос.  
Вот и здравствуйте вам, не ждали...  
Ох, сейчас что-то и будет!  
Ну, бывайте, жмурики!  
Так сказать, до скорого...  
А сейчас  
что-то очень не до вас.
5. Цыплят по осени считают  
Вставай, Ирина, хватит задарма валяться.  
Хоть ты вставай средь нас!  
У меня мой гад что-то не встал.  
Жить ему, что ли, надоело?
6. Саратовские страдания  
И о чем он только думал,  
пока мы даром валялись в обнимку?!  
Сие мраком половым покрыто, до душноты укутано...  
А он и вспомнить даже не подумывает!  
Вот так хлюст, вот прохвост настоящий, провисший!  
А пойдем-ка, Иришенька, пташик, мой птенчик,  
а пойдем-ка да и хлебнем с разочарованья чайку  
еще и еще. Давай-давай. Ведь некоторые любят погорячей.

#### Конец

Ну да, а как же, вот как раз и он,  
натурой дряблой, собственной персоной,  
когда подлец не годен ни на что.  
Пшел вон, бесстыдник!  
(Это мы не концу баллады, а другому, что провинился беспримерно.  
Конец баллады будет пусть.)  
А он в ответ надменно и ретиво:  
– Я никому не должен ничего!  
Вся власть Советам!  
Гляди-ко, большевик какой тут выискался!  
Увянь уж, как с Иришей увядал,  
когда большевика как раз хотелось  
твердейшего, со статью стали.  
Вот дурак! Свихнулся  
на почве политической,  
вместо того, чтоб брендить потихоньку  
на почве той, что и положена ему...  
Нет-нет, Ириша, ты не почва.  
Я брежу про другое... Ты – немножечко судьба...

#### Эпилог

И куда ты, спрашивается, полез,  
дурилка пятидесятилетняя?  
Не лежалось тебе самостоятельно  
в личных пуховых перинах, старче?

Пусть здесь будет от меня молодым немедовый урок.  
 Опыт чужого лежания в чужих постелях,  
 балашовского упорного нестоянья  
 им сгодится, возможно, на старость,  
 на глубокую самую старость.  
 Но лучше бы ничего такого не было –  
 ни того, что случилось сегодня со мной,  
 ни того, что будет когда-нибудь с вами –  
 вашу старость я вычеркнул вот уж заране.  
 Сократил ее вам на бессрочный абзац.  
 Будьте вечно младыми,  
 как почти что сам я. Как бы я.  
 Что никем не доказано,  
 но и не  
 опровергнуто тоже никем...  
 блям, блям, блям...

*Привет (2 раза):*

Жмурики вы, жмурики, дорогие мурики.  
 Заявляйтесь вы ко мне, милые мазурики.  
*(желательно в темпе мазурки, постепенно угасающей  
 в похоронный марш)*

Вот теперь все. Заменяем то нехорошее, к тому же скомпрометированное себя слово удобоваримым эвфемизмом. Кстати, об удобоварении – уж настало и время едово, не остынуть бараньим бы щам на столе. Вот что было б ужально некстати! Остальное залижет все время.  
 Ему не привыкать  
 средь объедков сновать.

## СТИХИ ОТ ВНЕЗАПНОГО ПРОСЫПАНИЯ И ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ БЕССОННИЦЫ

Креативная девчонка была подлости полна.  
 Креативная девчонка – се безлунная луна,  
 вольной вольностью хватка.  
 Креативную девчонку я в постелю заташу.  
 И пощупал, и взлелеял, но никак вот не дощу...  
 Что такое? Что за глу...?  
 Ой, по-моему, не глу...!  
 –Лазись что? И ищешь что,  
 Недочмокнутое чмо?  
 Всё не здесь, и всё не там,  
 б..дов ты гиппопотам!  
 Так сказала – и была  
 такова и такова.  
 И ведь была

сплошь по-своему права.

Какова! А, какова!

Я один лежал в вине  
 с толстой сумкой на ремне.  
 Был зарыт я в шар земной.  
 Меньше надо было пить.  
 А потом мечтать в засос.  
 Глупости все, думал я.  
 Малый старческий маразм.  
 Половой вопрос решай  
 ты давай быстрее теперь, –  
 твердо я себя упрек.  
 А потом чуть не заснул – с перепугу или так.  
 Отчего и почему

все иду я как в бреду?  
 А сам сплю себе да сплю.  
 За что ты меня так, креативенькая?  
 Поматросила и бросила все нежные, прилежные,  
 все заветные и бывши с целою,  
 все растленные тобой насквозь  
 мечтуньки мои призаподздалые.  
 Эх! Эх! Увы тебе и заду твоему,  
 что смотрит на меня из отдаленья  
 взвихленной заушью походки.  
 Что хочет он сказать плохого обо мне?  
 Пусть скажет. Ну, попробуй!  
 Лишь словом оскорби меня –  
 и встану я немедля в полный рост,  
 какой мне Бог отмерил скуповато  
 (от недорода в наших палестинах  
 в морквях скудело витамином А),  
 и дам мучительно прекрасного пинка  
 на всю оставшуюся жизнь  
 тебе, виденье недостойно,  
 что, на ночь глядя,  
 взяло – и обесчестило меня,  
 обчистило последние чистоты!  
 Нехорошо так поступать с отстойными людьми.  
 А в школе вас зазря чему учили?  
 Молчит, молчит взвихленный зад кромешный!  
 Ужели и тебе вдруг стыдно стало,  
 друг сексапильный?  
 О! Ты испилил меня безумно, безнадежно,  
 любезнейший стервец  
 из женских невозможно мягких и свирепых,  
 из невозможно ясных сердцу областей.  
 Ну, бог с тобой. Иди, виляя на славу...  
 Устал я быть поборником твоим,  
 таскальцем за тобой да вялым погоняялой,  
 И спать пора... А вот уснуть не можно...  
 Я выбросить себя хочу на свалку сновидений.

За окном лежала в небе жизни милая луна –  
 креативная девчонка, нежной нежности полна.

Я человек очень медленный.

Все никак не догоню одну мысль, от которой отстал еще в детстве.

До смерти все-таки надеюсь дошкандылять до нее.

Если по пути, конечно, не встречу товарищей, которые хорошему уж не научат, и придется долго сидеть в кустах, закусывая и выпивая.

Не пейте, мужики, козленочками станете. Это еще по всем русским народным сказкам известно. А по нынешним былям тем более известно, все сбывается один к одному.

Шел человек с нечеловеческими поступками в глазах. В них что-то булькало бульонно. По телу разливалась не очень доброкачественная животная страсть, моча почти незримо его хороший облик среднего класса умеренно средней подлости.

Дурак в России больше, чем дурак.

И дороги тоже.

Человек, которому перестало нужно быть слово, – расчеловечен. Развечен. От вечности отлучен. Человек, которому и не нужно было слово, – никогда человеком не был. Бессловесной животинкой богат теперь мир бессловесный через край, через верх. Скотик на скотике и скотиком погоняет. За битого уже ничего не дают, а сразу вышвыривают – это немедленный бомж, позорящий вид человеческий.



Проехала по закоулочку зимняя машина, ясно расчищая светом грязь впереди и ночные останки человеческого существования, как брэнного, так и не очень, как настоящего, так и будущего.

Что такое женщина?—Это какое-то нечеловеческое устройство. Которое позволяет нам посмотреть на себя чисто человеческим взглядом. Это какая-то космическая оптика, позволяющая точно увидеть всего мельчайшего человека до мельчайших подробностей. Среди одианья женщин наблюдается особенно яркий расцвет вымиранья мужчин и мужского. В мире стало не хватать божественного женского взгляда. Мир резко ощутил его недостачу и увидел себя другим. И каким увидел—таким и вынужден был стать. Таким и стал. Без повседневного божества. Без нежного весеннего облачка во взгляде. Без уединенной, медленной речки в улыбке. Без речи в одном мгновении всего и обо всем.

Единственный человечешко держит меня неотпустимо на свете—моя трехлетняя дочь. Держит на свете. Ясно освещает здесь, среди износившихся без малого в прах дней. Она и не подозревает, какая в ней крепкая и чистая сила, сколько жизни она мне спасает, даром дает. Из всех жизненных сил самая сильная—она. Мне ясно и чисто. Мои дни исправно починены, они теперь лучше новеньких.

Она чувствует, что проиграла жизнь. Впрочем, там и проигрывать-то было нечего—вздор и пустоту много не проиграешь. А проигравшим быть никому не лестно. Она привыкла всегда якобы побеждать, якобы быть на верху, на виду. А поражение, да пожизненное,—это не якобы. Это поражение. Это неотрывно, в упор. Смертельный перерыв желаемой жизни. Из итогов подводить нечего: нет итогов, куда-то сбежали, сама не заметила—как. Хотя по-прежнему считает себя в выигрыше и в победе. Но что делать?—обманываться как-то надо. И то радость—обманываться. Хотя что-то есть. Больше-то, выше-то, утонченнее ничего не осталось. А обман—он свой, он родной. Милый льстивый дурак, который расторопно подсунет под руку любую мечту, какую напримерещилось—надежду. Этого дурашку можно по-быстро-му и в будущее сгонять—он приносит оттуда обычно чего-нибудь вкусненькое.

Силы-то остались, но они не свежие, далеко-далеко не первой свежести. Как быть? Тухлятины много не напротестуешь. Скажут: воняешь только, шел бы ты отсюда. Иди-ка мой еждневно свой дух передает сном. А потом уж посмотрим, как пахнуть будешь. Потом порешаем, давать тебе слово или так сойдешь, молчком. Иди-ка, иди куда подальше, а также откуда пришел. И без твоих запашков тут обойдемся, у нас здесь должно харизматично пахнуть, здесь офис, а не общественный тебе туалет. Хухры-мухры и авось-небось были только при социализме, сейчас тут другие слова. Они тоже у нас пахнут прилично. Попробовали бы они по-другому запахнуть, быстренько бы отсюда вылетели!

До самых тайн меня пробрало. Уж до непознаванья. Прямо до неузнавания себя меня пробрало. Черт бы вас побрал! С вами и себя потеряешь—не подберешь!

Одна из главных и невосстановимых потерь прошлого—потря чувства всеобщей общности. Потеря ощущения единой, взаимосвязанной во всем страны, для которой нужны твои усилия и все твоё. Тягостно и как-то напрасно-бесплодно писать в пустое, разобщенное пространство. Не писать же для того, что быдло скажет и как поразвлекается. Не угодничать же. Да и вообще угодничать вредно—болезни позвоночника обнаруживаются прежде времени. Раз писать некуда, пишу в себя. Там еще есть надежда цельности и ожидания, там еще кто-то ждет моего слова, ощутимо ловит его. И там—страна, для которой зачем-то, но неотвержимо, но неоспоримо нужны твои усилия и хоть малость твоё. Пока нужны. Пусть и призрачно.

Пишу в себя, как в стол, меня уже слегка презревший. Такая нынче эмиграция. Такое сегодня КГБ вокруг!—все ласковое, все рекламное, поесть-попить предложить никогда не забудет. И неплох полицейский режим, торгово-бредовый, мучительно эксклюзивный... Сегодня уже три раза были у меня с обыском. В первый раз под видом килек в томате, которые ем из уважения к прошлому, и стоящих рядом пельменей (Сметан Сметаныч обычно в деле фигурирует) успел доблестно проглотить свои рукописи, теснимые со всех сторон кругами ливерной колбасы, которой люблю наказывать свой голод; и из уважения к прошлому. Во второй—сделал вид, что их нет и отродясь здесь не водилось, нечего меня изумлять понапрасну моими же якобы владениями. В третий—ответствовал, что это вообще не я, вы не меня поймали, а то, что тут валяется бесовесно похожим на рукописи,—просто чья-то случайно занесенная сюда оберточная дребедень, мало ли что у кого валяется и мало ли кто здесь шляется, может, вы и принесли, и подкинули, в качестве наркотиков, с дрогнувшей отвагой сказал петушиным немножечко голосом...

С сегодняшнего дня обещали увеличить число обысков до десяти в сутки, сказали, что все равно что-нибудь найдем, здесь что-то не так. Хрен вы тут че найдете!—я себя глубоко внутрь себя всегда прячу, иной раз месяцами и сам не могу отыскать, где, что и зачем я безнадежно так схоронил, а для надежности еще и запомывал...

Всё нулевые да нулевые люди вокруг. И взглянуть не на кого, один нуль везде броско сверкает. Ровная пустыня тел до горизонта. Хоть бы верблюд один выпятился, что ли, для интересу. Нет, ровные, песчинка к песчинке. Прямо безобразие без образин. Не верю уже в свои мозги, допустившие осознавать вонне такую недопустимую в реальности ровность. Нет, в реальности так не бывает. Это что-то слишком ровное с моими мозгами! Это одни они виноваты в этой раскинутой до горизонта пустыне! Больше искать здесь виновных некому, негде.

Приснилось: копаем с Оксей Робски картошку. (Уродило нынче явно хреновато, это и по сну заметно.) Со всей ответственностью заявляю: Окся вежливо обращается с корнеплодами! Ядреная она деревенская баба!

Самое то.

Хоть на выданье, хоть на загляденье, но можно и натощак.

Это и по сну заметно.

Я бы им немножко мозги подредактировал, так как навыки профессионального редактора не пропил, оставляя их на крайнюю рюмку. То-то бы писатели получились! Лучше рафинированного масла. Зачитаешься. Вусмерть измечтаешься. Усвоенье—стоцентное, даже в туалете ходить особенно-то не надо. Лишнее это, получается, дело.

Ну и что? Вон их сколько, чужих, по улицам ходит. Две чужие уже ничего не прибавят. Даже и две чужие родные не сумеют ничего-ничего. Сколько б ни захотели, ни постарались. Сколько б ни усердствовали своим всеильным отсутствием—ни в улицы эти и ни в меня чужбины они никакой уже не привнесут.

Чуждость и без них велика, она великолепно без них обошлась. Они опоздали на много чуждых людей быть чужими. Их ничуть уж не хватит на то, чтоб хотя бы на малость убить что-нибудь стоящее и мое.

Что-нибудь—отчего б было больно убито. Взаправду.

Я сказал себе: покуда не почувствуешь себя счастливым, не суйся ни к кому. Если счастливым так и не будешь, настырный, иди прочь отсюда, глаза бы мои на тебя не глядели!

Как стремительно народ ринулся в скотинку. И образ ее обрел и подобие, шкура также весьма хороша. Словно только этого и ждал все столетия. Му!—говорит важно.—Му! Глянтьека, и ведь как умно мыслит мычанием. Прямо не оторвешься слушать. Особенно когда мозги отдыхают, выйдя погулять просто так.

Человек стал с распаленными потребностями и распушенными ожиданиями. Личность получилась раздраженная и ужасно юркая. Брызжущая чем ни попадя, даже какими-то небывальными психическими жидкостями.

Настоящих трудностей ничтожно мало. Вот когда больная мать называет 22 месяца кряду «мама»—это подлинно трудно, да и то свыкаешься и отзывается на «маму», как и положено матери отзываться. Когда твои дети не узнают тебя в лицо—в лицо внутреннее и единственное,—тоже трудно, но истинно терпимо. Просто нужно и внешне выглядеть бодрым ничейным отцом. Все сразу встает на свои незаменимые и непогрешимые места. Но ничейной матерью мне никак, никак нельзя было быть 22 месяца и несколько дней, ни единого часу.

Она не умеет ни вслушиваться, ни вдумываться в человека. Она умеет быть только оболочкой горящим телом. И говорит, говорит целиком в свою пустоту, утоляя ее какую-то жгучую, неизвестную жажду, которая возникает бог весть из чего и по странным, возможно нездешним, причинам. А может, самая обыкновенная дрянь и есть эти нездешние причины?

Данный в натуре и моих ощущениях отставной майор—идиот в легкой форме и непрофессионал—в грубой, а ни с теми, ни с другими у меня работа что-то не того, не фурычит. Фонарест она, напрасные зенки ее начинают дико блуждать, и все хорошие заметные дела. И мозги как-то чересчур скромно не оказывают себя, по-видимому, стесняются своих завистливых мозгований, хотя чего стесняться природной своей мыслительной личины—какими уж уродились, такие и есть, не идиотами же вы смотрите, братцы, думайте смелей вперед, не боги горшки обжигают. Но нет—потупляются и безбожно сникают...

Как свяжешься с дураками, так, считай, сразу финансы и запели романсы, притом непритворно пронзительные. Но петь им—дело пустое. Лучше бы слегка просто имелись. Ну или хотя бы хотели у меня итеться, но они даже желания никакого не кажут, брезгую быть со мной наедине и сокровищем моего кармана... А так что, так петь все мы умеем, на дурные голоса мы все мастера, вон и майор ой то не вечер басить любит, тайный вздыхатель и сладострастник народных рулад... Ну или бы хоть пели как по-другому—элегически например. А то бац—и дурным голосиной, ни нот, ни нежных аккордов! Это все легко могут, не они одни. Самонадеянные какие! А еще денежками называются, глазки красивые строят! Тьфу, прямо видеть вас не могу! Прямо глаз моих на вас нету! И правильно отставной майор сделал, что легко и с изяществом необычайным лишил их меня, будто вальс-порх станцевал. «На,—говорит,—тышонку. И молчи громче. А на Новый год не буянь. А то как год встретишь, так вовсю его и прочудишь». Честь и хвала ему за это! Не зря я знал, что у нас в России отставные майоры даром нигде не валяются. Да к тому же еще и с сердцем поют, неумолимо и неотразимо.

## ТАКАЯ ВОТ СВАДЕБКА

**П**ошел я однажды жениться.

Прихожу жениться, а невеста и призрачная жена смотрит на меня сквозь дальний прищур, как из ошалелой памяти приснопамятный Ленин. Я этот прищур сознательно не имею в виду, обхожу его сразу же толстым молчанием и очень прямо здороваюсь, прямее даже обычного. Во всю откровенную и во всякую всю, чтоб меня и задушевно было отлично видно. Чтоб я сразу был освещен со всех концов света и отовсюду был многосторонний.

—Драствуйте,—говорю.—Это я. Хоть, может, вы и не особо во мне сведущи. Вот вам цветы. Не особо, но полевые. Они пахнут хризантемами, потому что это хризантемы, как это вам ни покажется немного пагубным и неточным. Я люблю с резкой силою осень, часто по ней скачаю. И нечеловечески обожаю, чтобы пахло везде по-осеннему, желательно хризантемно и неземно.

—Ну насчет запахов я не знаю,—говорит якобы невеста, а по возможности и призрачная жена, а сама блуждает по мне ворующим внешность взглядом, то там схватит, то здесь, прямо неловко, сразу пропажей себя везде ощущаешь.—С запахами уж как получится. Там разберемся... Если че—дезодорантов понакупим. Мы их парфюмерией мигом задавим.

И хватя хвосты хризантем бросающимся в глаза до неприличия неприличным жестом. Прямо какое-то наплевательское отношение к изяществу. Холодок к прекрасному сразу сквозанул по мне и между лопатками... Как клюшку у инвалида цоп у меня осенние цветы запоздалые. Только вместо угла в вазу шибанула мою с базара приволоченную радость, но все равно как убогую клюшку в какой-нибудь исподлобья выглядывающий мизантропический угол. А меня, отмученного от клюшки инвалида, проводит в дальнейшие покои, чтоб с устатку пришел в себя, а возможно, и малость вздремнул, что было бы неплохо: я шляться устал.

Кушать подано!—не сказала, правда, но отчетливо поимела эту занозистую для театра фразу в своих глазах оптимистической трагедии, цвета какой-нибудь тертой, бывалой потребности.

—Что ж, проходите. Наше вам от всего нашего даже подноготного сердца,—сказала вместо поимевшейся в глазах фразы, занозистой не здесь, а в других местах.—Скидайте вон там обувь, и раз пришли, будем тесно знакомиться. Со всей моей к тебе капитальностью. Меня—Надя. Отчество можно сразу же выкинуть и забыть. Выкать друг дружке не будем, такого я не люблю. Это приторно слишком. И вроде народу много. А я толкотню не люблю. Вокзалов и так везде полно стало. И едут, и едут, и едут куда-то, сволочи, не сидится им дома. На езде с ума посходили. Откуда их все с цепи спускают?

Насчет цепи я ничего не знал и от несведущести промолчал, чтобы не усугублять зверское и псовобегущее положение.

—Петя,—умеренно наглей сказал, я свое прямое и по всем тайным намекам немного дубовое имя.—Я—Петя, выходит. Можно—Петро,—добавил в имечко дубоватости и сбавил крик души порезче, чтоб сказаться к даме поближе наедине. Ведь не все дамы любят высокое, некоторые наоборот—им только давай и давай что пониже. Я это сразу же крепко учел и учуял, чтоб заранее не быть дураком в неизвестно еще чьих глазах, которые меня уже докрадывали, и я все больше видел в себе обгрызенную утрату, которая безгласно уже визжала во весь немой истерический голос.

— Это мы уже поняли, что — Петя. По тебе сразу видно — Петро. Ты скидай, скидай обувочку-то. Не топчися. А то здесь и так узко. Аж не помещаемся вдвоем. Че задами-то задарма тереться? Это один пустой разврат. А я люблю по-людски. Чтоб в доме были межбратные отношения. И откуда-нибудь бы законные дети пищали. Ударная песня лилась...

Я произвел мощное и невыносимо честное действие скидания всех имеющихся у меня внешних излишеств. И даже как будто то, чего у меня не было, снял безвозмездно и навсегда. Ну его. Мне лишнего не надо, за исключением голого тела.

Квартирка ничего себе, но была как-то в тошноту уютная. Вроде идет смело сначала в прелесть, а потом вдруг ни с того ни с сего бац — и вильнула ловко в самую тошнотишку. Будьте добры скромненько поблехать. Прямо и не знаю, что это с ней такое? Какая-то кривая немножко квартирка и двоедушная. Такие редко поселяются в прямолинейной типичной типовой. Здесь обычно живут квартирки точные, как топоры. Все ужасно, однако, было как положено, ужасно уместно. А я это о боюсь до преступности в малых формах, потому что я человек крайне неуместный и люблю много всяких лишних извивов и лишних местечек, не всегда умных. Ну и что? Не все же сплошь у человека должно быть умно, попадаютя и глупости, которые также любят его украшать, но это у них получается не всегда успешно. Глупости обычно перебарщивают с украшениями, стараясь с рвением звероподобным изобразить человека в собственном вкусе.

Даже торчало в серванте несколько тощих и за что-то жеваных задов узкоплечих и замордованных сзиди книг. Их имена на корешках были не просто бешены, но невозможны. Вот уж кто с цепи-то сорвался... Вид у этих книжных задов был зачумленный и убегающий, видать, им отшивали за халтурность существования типа пинка, а также чтобы особенно-то не зазнавались и много про себя не мнили. Ну они и привыкли регулярно быть испуганными и регулярно убегают, не регулярным, правда, строем, а врассыпную, каждому свою задницу хочется спасти в первую очередь, это в наше время каждой заднице известно.

Еще был диван, сразу бросалось в глаза — отъявленный мерзавец. Хищным потребительским бредом отгрыз себе пространства в добреньких полквартиры и помалкивает, как будто так и надо. Хамски он был здесь главным предметом, на который, имеешь ты чего или не имеешь, только и трать все давай без рассудка, даже личную свободу и так всегда прищученных передвижений. Ненавистник этим и пользовался, исподтишка саданул меня оголтелым рога-тым углом по моему во всех случаях жизни безмятежному и доверчивому колену, опытному лишь в больших пространствах и сидя без нервов и за столом.

Двинули удивиться на всякое приспособленное под квартиру имущество и дальше поближе знакомиться, сходитья на предмет семьи. Имущества было много, глаз на него не хватало угрюмо, позорно, а его хватало бы наверняка на десять здешних будущих, не самых плачевных. Потом, если чего, ни в каких судах не рассудишь с этой пропастью... Имущество с гордостью стояло, висело, поваливалось, легко находило всякие другие способы пребывания в приподнятом настроении, оно вело себя как самодостаточный до придурочности человек. Очень призрачная невеста и весьма проблематичная жена явно шеголяла приподнятым настроением своего имущества и гордилась за него, что оно ведет себя правильно и уместно. И то, и та были в очень хорошем расположении духа, вот-вот с восторгом набросятся чего-нибудь на мне шебуршить и сдергивать. Я же свой наступательный брачный пыл постепенно оставлял в арьергарде и спросил для рассеяния страхов, смутно уже одолевших меня вплоть до последней яности:

— А в туалет нельзя ли? Я не прочь бы поинтересоваться и тем помещением. Мне подсобные комнаты тоже любопытны. Они имеют всегда немалое значение.

— Отчего ж. Туалетов мы, что ль, не имеем! Не убейся только случайно там об один особенный краентик. Увидишь — он очень забавен. Только раньше времени не обхохочись, а то не туда сходишь. А хозяйскую хватку — ценю. Сразу видно — хозяин явился! Усюсюшеньки, суженый мой. — Она стала подбираться ко мне с чем-то подозрительно похожим на раззявленные объятия, по мере приближения все больше нагляя цветущим видом и разрастаясь в одно огромное хапанье, неотвратимое, как умелое варварство и его степное нашествие.

Но я успел шмыгнуть в подсобную комнату, которая действительно, оказывается, имела немалое значение.

В туалете я и пропал окончательно.

Когда через добрых полчаса (они благосклонно прикрыли мое блистательное отсутствие) дверь в те края взломали, от меня на утонченной крышке сортира осталось незначительное пятнышко, одно мокрое местечко... и одно тепленькое, впрочем за невостробованностью вскоре остывшее. Да, и не забыть ты еще: приписка также осталась. Ликовала и малость даже, будучи избытком свободы, кочевряжилась вольным стилем губной помады по туалетному зеркалу, совмещенному с ванной: НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДУ ЖЕНИТЬСЯ. ПУСТЬ ЛУЧШЕ — НАВЕКИ ПРОЩАЙ. А пониже — крадушимся в побеге почерком и как-то умирающе: никогда никогда никогда

Тело мое так нигде и не нашли. Тело я хорошо спрятал. Пока еще и сам не нашел. Но упорно ищу. Оно мне было б нелишним.

Если ты, сука, еще раз залупнешься, я тебе последние ноги выдерну!

Так и сказал: последние.

Как будто первых уже благополучно лишил! Причем задолго еще до рождения—так далеко простиралась его злоба, непомерная для одного человека, явно и не его. Очевидно, из нечеловеческих запасов откуда-то. А может, из других каких одичаний. Много же есть на свете неизвестного и неизведанных мест, откуда приходят к нам нетопыри и иные невиданные ублюдки.

Пришлось с ним быть чрезмерно реальным. С кулаками—больше очевидного. Так как свои ноги ближе к телу. А с незримыми ногами ходить потом не хотелось бы. На кой мне нужна эта призрачная ходьба?

Теперь считается: хороший писатель—бегущий ревностно за временем. Раньше хорошим считался—страдальчески бегущий от времени. В побеге идущий наперекор.

Уходя, я повести сказал: никогда не выпускай кого не надо, чужим не открывай. Вспомни, как ты не пускала меня восемнадцать лет,—и не выпускай не хуже.

Молча она мне кивнула и грустно.

Я написал эту выпотрошившую меня, потрясшую все внутренности мои повесть, все-таки написал, пусть и положил на нее немалые годы. Видит Бог, лучше я уже не могу, ни на единое слово, ни на пробел межсловесных пустот. А если, видит Бог, это плохо, значит, хуже уже не могу ни на точку, ни на запятую. Это Бог тоже видит—должен видеть, по крайней мере.

А чего это вы всё телесериалы смотрите? Пусть буду я интересен. В моей жизни тоже убийств много.

Говорят: ленивый, потому и мало пишет. Не ленивый, а другой! Талант и мертвого поднимет.

И собственноручно закопает обратно. Если тело ему опять не понравилось.

Газеты всегда вчерашнего дня. А писатель всегда позапозапрошлогодний. Иначе как ему дотянуться до вечности? Ведь вечность в основном—позади. Впереди только ее непрожитой призрак.

Почему не бывает гениальных журналистов? Ведь даже сантехники гениальные бывают.

У меня еще есть с кем простосердечно общаться—последняя дочка мудрых, великих четырех лет. Еще есть с кем перекинуться словом, обменяться весомой—до полного дна—улыбкой, пока она со временем не станет от времени неизвестно кем. Старшие дочери уже достигли уровня неизвестно кого абсолютно. С ними можно сполна объясняться только знаками да грустным молчанием слов. Это общение идеально по отсутствию своему.

А с младшей—душа пока в душу, глаза—в полноту глаз, слово настезь распахнуто в слово. Без зазоров и досадных просветов—все цельно, благословенно сливается в одноединственного человека, в нашего с ним человека, который все равно что я и все равно что она, нам нет нужды знать каждый свою отдельность.

Мне в последнее время стало все чаще исполняться четыре года. Ну иногда от силы пять. А шесть мне все реже и реже. Семь—почти уже никогда. До этих лет я не дожил. Жду с тревогой того времени, когда дочь заведет в ту следующую жизнь, беспечно и всею крепкой любовью держа меня за руку, придерживающую ее от слишком быстрого шага, украдкой тянущую назад и назад. Не торопись, скажу, доченька, не торопись, у папы ножки что-то не очень припрыгивают... Еще успеем, мы все с тобой еще хорошо и везде успеем...

Я слишком знаю, чего стоят все эти «личные» письма, но в данном случае случай, поверьте, иной. Простите за случайную тавтологию случая. В дальнейшем я постараюсь ее избежать. Во всяком случае, я стараюсь сторониться всякого случая и влияний его, чтоб не быть напрасно случайным... Вот видите, я делаю уже случайные успехи по ликвидации всякого случая и по искоренению всего бог весть чего...

Посмели морить меня проголодью! Боже, ничего же не произошло! Я только еще глубже, до самых отощавших печенок, презираю вашу глянцевиновую сытость, ваш тошнотворный лоск и ваше бесчестье. Я знаю, что вы украли самую обыкновенную сытость и у меня. И мой блеск украли. И попытались обворовать меня ровно на честь, чтобы обратить ее в свою блестящую нечисть.

Вы как всегда ошиблись. (А вы только и делаете, что ошибаетесь, других занятий вы не знаете, все истины давно от вас отказались и вами пренебрегли. Чуете, как брезгуют вами истины—самые даже простенькие, из последних, из низких?) Мне только лучше, только чище оттого, что вы меня поморили—вы так удачно выморили во мне всякую лишнюю смерть. Теперь я жив идеально, без примесей. Без трещинок и ненужных зазоров. Меня умертвить теперь невозможно, я сам окликну смерть, когда захочу. Я сам ей скажу, что мне надо. В ее уста я сам вложу свой ответ.

В Неверкине от идиотизма сельской жизни я заметно для себя сам стал мальчиком с задержанным умственным развитием, то есть дебилом в мягкой форме, но с твердо идущими далекими последствиями. Лечился я потом долго, малоуспешно. И мучительно в разных местах. Но до сих пор дебил иногда встает во мне по ночам, особенно в снах. И громко дубасит меня во всю пронзительную свою глотку, так что сновидения в испуге отпрыдывают куда-то в неземные края, где дебил ведет себя тише и укороченной и мямлит лишь что-то невнятное.

Далеколько же он в меня подзасел! До неземных прямо краев. Как начать его выкорчевывать с того конца света? А не отправить ли туда несколько преждевременных смертей?

Я даже предпочел бы быть мертвым здесь, чем живым—там. А тут еще вдруг и живой! Это даже не просто невероятная удача—это сразу небывалость, целиком и обвально!

У меня как жизнь ни складывается, а все, черт побери, хорошо... Какая-то до обиды неизвращаемая она мне попала. Даже нарочно жизнь не изгадишь, сколько ни пробовал.

Ну, попробую еще. В последний уж разок.

Прежде бараны и кретины хоть малость сознавали, что они бараны и кретины, и слегка постыживались этого небольшого недостатка, но это вовсе не говорит о том, что прежние вышеозначенные были умнее нынешних среднеозначенных. Теперь бараны и кретины значительно умнее осознают только свое превосходство, покоящееся исключительно на бараньем, чтоб не сказать больше, отношении к жизни. Данные покривленные умоносители стали в порядке вещей и часто подсказывают вещам, как им лучше быть, чтоб миновал их упадок. Они сделали неотличимы от сути и от глубокого, зачастую незримого хода вещей. Они теперь помыкают сутью и вертят ею, как им либо вертеть,—попалась она, голубушка, вляпалась крепко, влипла по полной программе. Ни одному мудрецу в жизни она никогда так не попадалась, все ускользала, все знала улочки для избежаний от мудрых поимок. А тут пришли, грохоча глупыми голосами, потоптались как следует, дали увесистого пинка кому надо—и грубым стадным оралом в большую охотку изнасиловали суть и всех, кто с ней был, по самое не хочу, как они словами базарят.

Стало тут необычайно тихо, немножко лишь похрюкивающе и сопяще. А куда от них денешься, как защититься? Они бы и СПИД изнасиловали, и гонорею, если б там хоть немножко прибыль валялась. Они поупотребляли суть от звонка до звонка, пустили ее через трамвайчик, сделали глумливую ручкой да и пошли себе дальше в торговлю по неотложной нужде, застегивая на ходу (время—деньги!) очень красиво, умно и современно устроенную ширинку. А ничего себе была телка, за милую душу давала! Только визжала чего-то малость не то, когда во все дырки ее поимели. А не х.. было выделываться и нарываться! Теперь всем, падла, давать будет, да еще спасибо скажет. У нас члены хорошие, до самой сути всегда пробирают. Уж не свильнут, на достигнутом не остановятся.

И чего они, так убиваясь по каждому пустяку, говорят с телефоном, твари бессловесные?

Ну а на что вы еще способны—это ваш жалкий, беспомощный и безысходный удел: заниматься рекламой, быть сбытом, убого менять марки автомобилей, являться средь среднего повседневно в виде среднего класса, жить в свое удовольствие предлагаемыми вам удовольствиями и обстоятельствами и быть, быть безнадежно как все.

Господи, как же мне вас не жалко! Как же вы муторны, мусорны в сердце моем! С большим облегчением предпочту вашей отлакированной серости невзрачную серость простого ноябрьского дня, который и в серости глядит всем ясным обнажением своего сердечного совершенства. Изыдите вы с глаз моих, мучительно серые, так уныло, бездарно блескучие! Прочь же с моих разгоревшихся глаз, немедленно прочь! Иначе сожгу, испепелю. Иначе неприлично взреву или изящно сблюю. Вам выбор останется малый, ничтожный. Прямо скажем: выбирать вам осталось уж не из чего.

Какое бы ни было отчаянье,—отчаянья у меня не хватит, чтобы набить карманы смурными камнями, последними в жизни камнями и броситься с моста в реку. Здесь вдобавок к кам-

ням нужно дошедшее до края сумасшествие, а я им не обладаю. Хотя дело не в этом, сейчас много кто чем не владеет, но все равно как бы имеет и как бы величина.

Это акт высшего пилотажа отчаянья. До такого запредельного мастерства мне никогда, увы, не взлететь.

...еще меня любите за то, что я умру... Да что ж Вы, в самом деле, такое-то говорите, Марина Ивановна?! Я Вас и так, без Вашей смерти, бесконечно люблю!

Обождите... Дайте я подержу Вашу петлю. И не обижайтесь, Марина Ивановна, — не отдам. Она мне лучше подойдет. Вы свободны, Марина Ивановна. Свободны, говорю! Уходите, прошу Вас. А то сейчас тут такое начнется...

Ни о чем не жалею. Абсолютно ни о чем. Слава богу, в смерть все—отжалел.

Я все везде сделал правильно!

Так и надо, что я убит.

Так, по-видимому, я и хотел изначально—найти себя мертвым.

Теперь, обнаружив себя искомым, нужно поставить задачу найти себя живым.

И сделать все и везде правильно.

Чтобы в конечном итоге лишь чуть пожалеть себя—дабы никто другой на это чувство себя уж не тратил, напрасно не разорвался бы.

Бедные, они превратились в несколько бродячих кусков мяса. А было все-таки несколько людей, неважно, что кое-каких. Но зачем их не жаль? Отчего не болит, не просит по ним сердце?—Они сами с облегчением и нетерпением захотели быть мясом, сами впустили в себя, открыв неприкосновенный запор, тотальное, беспросветное мясо, сами призвали его себе на княжение.

Сами ринулись в кругосветное мясо.

Они отдалились в такие откровенно мясные края, сместились в такую потусторонность, где духу бродить жутко и негде. Ему не для чего там бывать. Некого повидать в тех краях тупой мертвечины—там не бывает никакого быванья. Там и друг вдруг не друг, человек вдруг не век...

Этот отставной не то майор, не то, по повадкам, сразу полугенерал в полушаге от Бога. Но строг сразу как Бог. Уже как самый что ни на есть полный Бог. Правда, таких богов мы как раз в гробу и видали. Хорошенькие они там. И на месте. Прямо глаз не оторвать. Приходится глазам делать упреки за то, что постыдно влюбилась.

Как легко быть неудачником!—для этого нужно стать просто олигархом или другой бесчестно богатой сволочью. В России крупно богатый человек не может не быть крупной, солидной сволочью. Как-то так оно само собой задается. Это уж сложившийся порядком вещей подлый естественный закон такой, распространенный самозахватом на всей территории Российской Федерации. У нас привольно богатый человек уж непременно честная сволочь.

Какой на зависть хороший неудачник пропадает в лице какого-нибудь жалкого нефтяного магната с поджатым в глазах хвостом! Пропадает—и опять появляется, пропадет—и, гляди, опять он тут как тут. Ведь неудачники—сущности неисчезаемые, сколько их ни прячь в вышколенные, непроницаемые лица, в молодые дворцы, сколько ни усаживай в лимузины и на сногшибательные унитазаы, которым нечего терять, в том числе и сидячих своих владельцев...

Бесчеловечность—идеология больших денег.

Она и насаждается мечом и огнем—жгущего рубля.

Повторяю: люблю богатых! Уж не меньше, чем Вы, Марина Ивановна. А может, и более: исторически ведь чувства тоже накапливаются, причем истерически.

Выбракованный, я взбрыкнул.

Начала вдруг исподволь получаться новая жизнь, о которой подозревал лишь я один, да и то очень слабо, без веры в себя, уже без себя. Так призрак воображает призрак, которого он лично не знал—не встречался при жизни.

Дед что-нибудь делал нехлопотно, привычно множа привычное удовольствие. Я поддерживал, придерживал. Смертельно хотелось куда-нибудь уйти—уже сразу за углом начинались мои удовольствия.

— Не уходи!—сказал дед.—Ты человек тут полезный!

И я уже безотлучно стоял с ним рядом, невыносимо гордый своей полезностью, прекрасно взрослый и пятилетний.

До сих пор вот стою полезный. Все более пятилетний.

Этот всегда жалкий, этот вроде что-то всегда украсивший успешный писатель. Он передо мной стоял, как конь перед травой. Помаргивал внутри всегда сиротливыми глазками. Его как-то неуспешно передергивало. Весьма покореживало. Прямо покореживало. Глазками он опять хлоп-хлоп, вроде сказать деликатное мыслит и тонкое. Морг да морг своими насквозь видными глазками.

Воистину морг он и есть. Только передвижной. На дому обслуживает—всех, кому лень подняться и идти на кладбище преспокойно на месте валяться.

- Что отныне должна вам?
- Только были вы чтоб тихой радостью глаз. Просто будьте, являйтесь хоть изредка мне.
- Хорошо же. Я буду. Чтобы ваши глаза не сбежали от вас, были крошечку живы?
- О, меня угадали вы пронзительно точно!
- Чтоб немножко смеялись в иную от смерти бы сторону эти ваши немножко иные глаза?
- Как неточно я знал! Вот затем вы и были нужны! Я теперь все узнал... Ничего мне теперь уж не нужно.
- Почему? Как же я?
- Больше смерти теперь все известно. Даже вы, незнакомка моя.

...Все-таки есть еще сокровища женщин, еще прежние сокровища, ничуть не замутненные временем. Редкостные островки пронзительно нежно щемящей человечности, на какую способна только истинно женщина; мужчина для такой тонкости не годится—обязательно наломает дров там, где дров никто не ждет, а ступать нужно нежно. Или припрется со своими дровами, когда везде уже перешли на газ. А что совсем уж ни в какие ворота: будет величественно есть и, не попадая ни в одно свое странное чувство, говорить про любовь.

Будь благодарен за то, что тебя кто-то когда-то любил. Пусть эта их любовь, ее оставшийся призраком перевесит нынешнюю ненависть к ним—эту грубую, эту грузную теперешнюю бабищу. Будь неотклонимо благодарен за то, что тебя так много, так ни за что ни про что любили. Такого обилия незаслуженной любви мало кому доставалось—ты это чувствуешь до сих пор ясно, панически и неотвержимо. Те любившие люди не заслуживают плохих твоих чувств, им давно б уже надобно выдать виды на жительство в добрую память... Вот вам хотя бы мое не очень уже вместительное и свежее сердце, мне нечем больше отблагодарить. Вы можете в нем сколько захочется долго не умирать, не пропадать... А с ненавистью мы как-нибудь расквитаемся. Уж отыщется верное средство необратимо переманить ее в доброту, в чистоту—ради убережения исчезнувшей прошлой любви, на величье которой сердца все больше и больше мне не хватает.

В 20 лет ценишь родителей кое-как, ставишь почти ни во что и смотришь на них свысока, с точки обзора едва ли не Бога.

В 50 лет начинаешь благодарить уже отсутствующих родителей и просто за унаследованное от них здоровье или за минуты детства, проведенные вместе с ними.

В 70 лет необоримо хочется просто быть ими, слившись в одну родную неделимую сущность, покинув надоевшего одинокого себя, никому не нужного, и прежде всего—себе. Начинаешь все чаще ходить к себе на могилку, навещая при этом родителей.

25 сентября 2026 г. (сегодня мне исполнилось 70 лет; жизнь будто приснилась).

А литература-то ваша уже умирает, и книги теперь отмирают... Говорят так уже с веселой, жизнеутверждающей, мстительной приподнятостью, точно освободились наконец-то от дурного гнета, и теперь без напрасных затей и обуз жить станет лучше, жить станет сами знаем как.

О нет, не путайте, дражайшие! Это помертвели именно люди, то есть как раз и как раз—вы, в самую точку—именно вы. Отмираете вы успешно.

Ни одна живая книга, сколь бы ни было странно, еще не умерла. Вон она, с полочки-то выглядывает, ужо пугать вас придет!

Хорошие книги мертвыми никогда не найдешь.

К покойничкам имеют отношение единственно люди. Их грандиозное омертвенье не способно ничего воспринять, за исключением смерти и пустоты. И радуется лишь омертвеньям. И чувствует лишь одну свою пустоту, в которую старается все обрядить, которую выдает за ничто целого света.

Но каково, однако, самомнение лихих этих покойничков, а? Нечего сказать—веселый народец и знатный, какой все сплошь знатный народец!

Нет ни одного мертвого смысла, который бы не ждал возрождения. Кажется, лотмановское, в вольной цитации.



Интересно, какое самое длинное, дальнее слово в русском языке?  
Вот бы успеть пройти его до конца!

Меньше всего из читательского восприятия хочется понравиться каким-нибудь читательским недомеркам. И что, значит, я нукудышный писака? Пусть так. Но любовь свою на кое-что, на кое-как да на кое-кого не отдам. Не для того я ее при рождении с того света с таким трудом вытаскивал. На всю жизнь горло и пупок обкричал, пока что-то хоть вытащил. И в сердце с тех самых пор трещинку имею, сквозь всю жизнь она дребезжит, едва на улице поднимается какой-нибудь ветер самой малой тревожности.

Интересно, а Бог любит медленное чтение? Или тоже детективчиками балуется?

Мир, в котором некогда читать книги, есть мир никогда.

Вот пишу разные разности, в том числе и пакости, конечно. А ведь забываю при этом, что еще и приятным при этом надо бы выглянуть кое-когда.

Автор негров и лесбиянок любит! Особенно преимущественно всегда красивых лесбиянок, в отличие от негров, которые не сплошь бросаются красиво в глаза. Но люблю и тех и других непрерывно и неизменно, даже чуть горячо и с порывом в Брежнев-засос. Это правда, воистину правда, это чистая правда! Клянусь—почти обожаю! С однополовиками мужской половины дела обстоят немножечко хуже...

Ну вот, так я и знал: обратно нагадил! С таким куда же приятным покажешься, когда с таким одни неприятности... Прошу вас и заклинаю—возьмите куда-нибудь этого автогра и выбросьте незаметненько по дороге, как будто бы мусор,—чтоб он не мешал мне быть исключительной внешности человеком, даже убийственным где-то красавцем. Гомосексуалистическим негром с феминистским акцентом. Чего и вам желаю от всех щедрот мира и от себя лично. Позвольте вас чмокнуть брежневским эксклюзивным, а то он что-то давно запылчился, снятый с поцелуйного вооружения.

Мудак пошел нынче славный! Путина. Водяная страда. Все совсем потеряли голову от знатного улова. Да, и это оказалось самое печальное: на всех была одна голова. И ту отличненько куда-то заныкали. Нигде теперь не найдут, хоть рыщут всем скопом. Беда, вот беда, откуда не ждали. Это, оказывается, мудак всех пымал, а не мы его. Это у него была путина и водная лихорадка, а у нас ничего такого не было, напрасно только голову теряли...

Он ведет себя так, как будто уже умер.

А это неправильно. Ты сначала умри, а уж потом веди себя. Порядок мы любим. Все должно быть как у людей.

Сказал он мэтровым голосом. Я ухом повострей прислушался еще. Нет, скорее—метровым. За которым угадывались мелкие сантиметры, гаснущие в неразличимость, в нана уже технологии, а там вообще ничего не поймашь и не узнаешь, кто говорил.

Он даже не засранец, а сразу цельный, монолитный говнюк. Есть такой отвесистый тип людей. Без переходов. Без сучка, без задоринки. Ну и без божества, без вдохновенья, в последнюю уж очередь,—а сразу по матушке и пинками, литыми пинками. Он малости не умеет. Он любит, чтоб было сразу кучей дерьма. Он любит сразу кучу дерьма.

Зачем звать смерть? Она и сама когда-нибудь придет.  
Нужно жизнь звать,—это она, она уходит...

Через три поколения Толстого объявят идиотом.  
Закон Менделя.

Мне пришлось сказать слова, после которых даже любой сумасшедший отстанет. Но после этих слов я сам стал несмутимо сумасшедшим. Этого уж у меня теперь не отнимешь. Никаким даже новым сумасшествием.

В том месте, где я обитал 10 лет, едва ли набиралось пять человек, кого я мог безболезненно видеть, из-за которых я не пострашился бы выйти на улицу, чтобы не встретить оряси-ну моей невыносимой тощици и смерти. Там мне физически нестерпимо было просто идти улицей, быть улицей. Дома потом целый вечер невозможно было содрать с себя эту мерзкую улицу. Чтобы хоть несколько минут подышать собой, единственно собой, перед сном. А во сне опять эта улица... из-за каждого угла... Ну за что она так на меня ополчилась?

Поначалу его творчество кажется заманчивой западной. При ближайшем рассмотрении – обыкновенная мухобойка с расплюснутым дрызгом былых насекомых.

А вы лучше, чем мои неожиданья. Я сознательно не представлял вас ожидать никакой. И вы получились при встрече лучше всего, что есть во мне. Что отринуто давным-давно от моих опечаленных, обманувшихся мною стократ ожиданий.

Теперь меня может свалить с ног только прямое попадание бульдозера в лоб. Все остальные средства испробованы, бесполезно. Стоит, подлец, все равно торчит! Солдатика оловянного, тоже нам, из себя корчит! А может, его крысиным ядком попробовать с ног шугануть? Нет, посмотрим сначала бульдозером, а уж потом и посмотрим...

Вот говорят: от него отвернулись все люди. Странно это слышать. Да пусть отворачиваются, делов-то куча! Ко мне, может, и не поворачивались. Ну и что с того? Еще повернутся. Как следует и поздороваемся. Вот, например, бодро, весело, звонко: «Здрасьте, здрастьте, здрастьте!» Я уже хорошо отретпетировал все ваши приходы. Теперь дело только за головами. Эй, поворачивайте! Заклинило, что ли? Или, может, я не то сказал? Не то волшебное слово как всегда ляпанул. Ну да, волшебное слово – чтобы головы сами собой учуяли мою пропавшую сторону, заискали мою уже увильнувшую встречу, которой сделались безразличны встречанья, давным-давно выдохшиеся, улетучившиеся. Приветившие тех, кого я и сам еще никогда не встречал и, возможно, никогда не увижу.

Почему-то перестали называть меня по имени.

Что бы это значило?

Неужели меня так уж сильно нет?

Последний раз по имени называла мама, полтора года назад: «Федя! Федя, ты где? Ты куда не ушел?» После инсульта она называла меня именем отца или мамой. Я вскоре привык, и мне было приятно отзываться отцом или мамой, как самим собой. Это были тоже мои настоящие имена.

Теперь все имена мои облетели, развеялись, смолкли. Я стал голым деревом, которое помнит лишь то, что его некогда звали...

«Ну а древесинку-то, лесину-то ту хоть как приблизительно кличут?» – вдруг спросит кто-то будто с большого испуга.

В порыве обстоятельности терпеливо отвечаю: А эту зиму звали Анна. Она была прекрасней всех!

Живу с постоянным синхронным переводчиком в голове: во всяком разговоре приходится молниеносно переводить со своего чужого наречья на чужое общевыговариваемое. Переводчик хоть и опытен, но не всегда успеваает точно проникнуть языки, – и тогда я несу полную и сокрушительную чушь для изумленных всеобщих ушей, которые, немного робко послушав, меня отвергают стремительно и не без эстетизма презрения.

Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества!

Кажется, повторяюсь...

Предупреждаю! В пятьдесят лет я еще умею краснеть! Вам что, других забот мало – еще и о мой стыд обжигаться?!

Когда они были маленькими и медленно росли, я так устал за них бояться, что эта усталость надломила меня. Я очень медленно – гораздо медленнее их роста – потом стал выживать. Бояться я совсем перестал. То чувство так и осталось в смерти.

На стене дома напротив поздняя женщина из нашего с ней дома – незримая женщина с верхнего этажа – развешивала на бельевых веревках свою громадную тень.

Тень за день сильно переросла женщину и уже не хотела быть этим единственным человеком, поэтому вела себя своевольно и многие жесты, движенья были не этой женщины шевеленье. Тень учила уж женщину спать. И расстилала в пространстве ее поднебесное тело взамен простыни. Она вечно все перепутает – тень... Только бы ничего с этой женщиной не случилось... Только бы не...

Ну зачем она так доверилась собственной тени?.. Зачем так коротки оказались эти чистые одежды?..

Это, конечно, очень приятно. Но это ничего не значит. Оттого, может, и еще в тысячу раз приятней. Как любое отсутствие втайне любезней зримого своего второго наличия.

Это кто же отменил, всякая шваль? Кто посмел безоглядно отменить высокое творчество и летящий стремительно дух? Бог этого, насколько я знаю, еще не отменял. Во всяком случае, Он ничего мне не говорил в предпоследний, по-моему, раз, а в последний речь вообще шла не о том. Так что ничего не произошло, вопреки смертоносной молве. Еще покувыркаемся. Это просто очередная шваль в очередной раз отменила себя. Ну, это легко переживимо. Это совсем не больно. Вроде как укусил комарик.

— Эх бесстыдник ты бессовестный! — сказала мне бабушка. — Ты зачем взял без спроса два комочка сахара? Полижешь ты на том свете сковородочки-то, обязательно полижешь! Нашел себе верну дорожку, непутева головушка! Ишь какой развратник выискался в нашем доме! Ты когда закончишь нам свой разбой?!

Верую! Есть, есть Божий Суд, наперсники разврата!

Спасибо, бабушка, за правильные слова. Как хорошо они еще жгут! Вот мне и опять страшновато...

А не пойти ль полизать сковородочки? Заодно и поем.

Скоро обозначение моего места рождения будет, видимо, единственно надежной точкой опоры моей жизни. И единственной особой приметой. Ну, может быть, еще мое имя. Хотя уже и о него не опереться — оно почти выскользнуло из меня, держу его из последних щипцов за последнюю букровку... В моем возрасте уже многих так окликают.

Я до безобразия похож на свою родину во всех своих недостатках и светах. Что же мне еще-то любить больше всего на свете? И чем сильнее отвращаться еще?

— А Родину не трог! За нее ты у нас по рукам моментально получишь, по шаловливым ручонкам своим! Лучше бы себя взял в качестве кролика для всех этих твоих подозрительных манипуляций со взрывчатыми страстями! Ты бы на себя сначала посмотрел, а потом бы что-нибудь вякал! А то мы все умеем Родину хаять, нам только Родину подноси на язык, балыка не надо! Э! Э! Э! Не трог Родину-то, говорю! Куда опять суешься, ручонками-то блудливыми сучишь? Не ты ее породил, не ты ее и убьешь! Ясна? Иль морду почистить для ясности?

«Россия — это по преимуществу черно-белая зима». Как замечательно кто-то сказал! Жаль, не помню — кто. Помню, что какая-то очаровательная женщина, которую я полюбил сразу всем сердцем. Теперь вот не помню, кого и люблю. Только помню любовь. Да и то смутно. По преимуществу черно-бело. И лишь благодаря этой четкой графике.

А никуда и не денется Россия!  
Россия всегда будет.  
Вот увидите.



И народ научимся размножать как следует. Пусть не половым, но другим путем. Пусть мужчин переквалифицируем в женщин и заставим их принудительно рожать взамен пьянства, в виде лечения повальных алкоголизмов. Или из кристаллов людей навращиваем на все канючащие территории. Сталактиты и сталагмиты будут вместо постылых полов, вместо проклятого наследия писек—родимых пятен прошлого.

Или одно поколение полностью выделим под целенаправленное размножение, например 20-летних. Вот вам страна, вот мы, которые предупредят любой ваш размноженческий каприз, а с вас с каждого, будьте добры, по 10 штук живого прибытку, больше ничем в жизни кроме полового вопроса не занимайтесь, хватит дурью маяться, валандаться да вандалиться. И так уж неплохо намаялись. Даже можете нисколь не учиться чему-нибудь и как-нибудь, так как все равно учиться вы не любите—и приятное тотчас совпадет с полезным, а желаемое—с действительным: никаким наукам не нужно будет лезть понапрасну в ваши крепкие другим головы, никаких насильственных действий с науками произведено не будет. И все дела с нормальным населением поправим на три века вперед. Только захотеть поставить задачу перед специально для этих нужд выделенным и обособленным поколением. Принудим их как-нибудь хитростью плодоносить вместо «Клинского» и безопасного секса. Не все же им одно пиво лакать да предков презирать за отстой и помехи в их свободно цветущей наугад жизни.

Без народу так и так не останемся. Пусть даже китайцами станем. Но китайцем быть что-то не особенно тянет. Что-то не того... Это уже запасной выход, дурно пахивающий мочой, поражением, массовым рисом.

Не верьте прогнозам, а верьте чувству ребенка в себе—и он появится! Даже если вы его не очень-то и зачинали или делали это спустя рукава.

Родину надо любить, а то она может невосвратно обидеться.

В моем детстве (в 60-е годы еще нашего столетия) среди мужиков крайней степени раздражительности было распространенным кричать, особенно выпимши и накануне драки, не то последний аргумент, не то последнее ругательство: «Я научу вас Родину любить, еп вашу мать-то совсем! Вы счас быстренько у меня по-другому запоете!»

Очень всех взбадривало, лица яснили.

Руки тянулись на минутку дружить.

Любят часто говорить: моя родина—русский язык, единственная ценность в этой стране—язык, больше нет там ничего и не будет.

Куда же вы нашу бесценную жизнь подевали, голубы?

Где мой город и мой студгородок, моя комната в 13,8 метров квадратных?

Посмотрите-ка скорей за окно! Во-он там дышит почва и судьба! Тихонько посапывают... Спят они сейчас, значит. Вы громко тут пока не топайте, не горлопаньте, а то разбудите ненароком. Пусть они хорошенечко высыпятся...

Я протестую! Верните отнятия! Особенно комнату в 13,8 метров квадратных! Немедленно отдайте, пока не спустил на вас своих цопких и ловких призраков!

Не обижайся, мой яшень, ты очень даже еще существуешь, я тебя уверяю! Это они так, шутки шуткуют. Любят они исподлобья так шутковать.

Яшень мне ответил, качая головой. И всем телом смеяся.

Над чем ты, милый, так хохочешь сам не свой? Возьми скорей и меня в свой смех. Вместе над собой посмеемся. Мне одному смеяться что-то невесело.

Ага, стоят и ржут, как глупые, сами не знают о чем. Вот это и есть Россия, она самая, здесь ее ни с чем не перепутаешь! С первого раза полюбить такое не получится, это уж точно. Только, может быть, с сотого раза кое у кого начинает бредить какое-то очень приблизительное чувство, которое, к тому же, сразу хорошим никак не назовешь.

Простите, а где тут 150 мэлээн человек? Вы не видели их случайно? Не видели? Никто не проходил, значит... И куда же они могли запропасться?

Неужели вас ни одна неземная здешняя женщина не любила?

Не любила.

Иначе бы ох как любо, дорого, как светло было здесь, даже без единого слова, даже в полной одной, в сквозной немоте...

А потому что веселей России и жизни в ней страны не найдешь. Это правда! Это сущая правда! Мне необыкновенно смешно здесь жить! Мне даже в Африке, по-моему, не смешно. Хоть я и бывал там только в нескольких снах. Да и то, по-моему, это была Австралия. По ну не сразу отличишь один континент от другого. И не узнаешь, где побывал, пока не проснешься и не продерешь кое-какие свои оставшиеся зенки.

Вот почему!

Не отзываетесь, пожалуйста, плохо о моем городе, тем более в моем присутствии!  
Этот город мне хотя бы оттого уже дорог, что вы, вы в нем есть, незнакомая милая женщина.

Одно ваше присутствие в этом городе прощает ему все вольные и невольные грехи!  
Даже будущие!

Какие уж тут промахи его и оплошки, невнятицы и причуды, в которых вы торопитесь город мой обвинить?! Это все мгновенно ничтожно перед тем, что вы просто здесь есть! А сколько еще незнакомок, улыбок, ясеней, сентябрей, маленьких улочек, бегущих трамваев и облаков сразу выступают на его стороне, едва возникает опасность хоть маленькой нелюбви! О, у Саратова много нежного войска! От неприязни есть кому заслонить его плотно собой.

Меня как будто наняли хвалить Саратов.

Точно! Меня подкупили любовью!

Эх ты! А то кричал на всех углах, что неподкупен. До первого миллиона, оказалось.

Нет! Не до миллиона. До первой же крошечки любви, которую этот город скормил мне терпеливо со своей ладони.

Ну что ж, под старость я его буду кормить, возьму к себе, дам лучшую ему свою комнату, буду вытаскивать за ним осторожные горшки. И никогда не отдам этот город в хоспис, какой бы рак нас не измучил обоих. Никогда!

Мне кажется, я изо всего человечества самый влюбленный в мой город человек. Даже как-то немножко неумно влюбленный. Но ничего не могу поделать с собой: этот город без меня неполный. Вот бы кому надо давать почетного гражданина города Саратова, по-моему, я чрезвычайно подходящий. Заслуги моей любви сомнению не подлежат. И, глядишь, заодно бы мне город квартиру отвесил, выделил там лучшую свою комнату, стал бы вытаскивать за мной осторожные горшки, не отдал бы меня в хоспис, в милицию, в сумасшедший дом (список нежелательных заведений прилагается), какой бы бардак не измучил и не учинил меня.

О, я не исчезну из этого города—чтобы он не стал меньше на меня одного! Весь я не умру специально для тебя, Саратов! Как слышишь? Прием.

Что ж вы меня сразу на праздник приглашаете?

Пораньше меня пригласите.

Я уже люблю быть изнутри праздника, чтоб с крепкоколобыми заботами, с тяжелыми сумками, с мелкой перебранкой.

А праздник что? Фырк—и нету. Одно название, что был праздник.

Согласен на справедливость в седьмом колене, только не мешайте мне сидеть за столом, в ногах у госпожи бумаги. У нас с ней конфиденциальный разговор. До интима дело вряд ли дойдет. У нее климакс, у меня бесплодие.

В частной стоматологической клинике для крепко богатых зубов бдительно сторожу ночи пугливые я, безнозубый и разносторонне тощий карманом. Все самые приличные, самые отборные свои зубы я положил на дальнюю полку, чтоб раньше времени не соблазняться. Я их складировал там до лучших времен—они придут, я ими, отборными, и покушаю забавно, в полное мое удовольствие. А то неловко кушать кое-какими вставлялками в лучших временах, нужно обязательно парадными, и выпячивая гордую челюсть из натурального материала. Иначе лучшие времена могут и не получиться, они ведь чуткие, привередливые, любят опрятность.

Дело швах... Я не умею быть богатым. Просто катастрофически. Как-то тревожно, дико-странно, даже враждебноокруженно себя чувствую, в заду шиловатое, когда в кармане загуляла большая денюга—а особенно если она вздумает загулять на кредитной карточке, которой у меня отродясь не было и которой боюсь я заране? Как-то не люблю я это психически прыгающее, сигающее во всякую дичь ощущение шаловливой свободы, что подбивает меня свергнуть целомудренные хотя бы на первый взгляд желания дрянными, снующими всюду мечтаньями, раздухарившейся по-нехорошему грезой, которая оказывается вовсе и не грезой чистой материи, а лапающими чего ни попадя вожделениями, наглой экспансией потерявшего половику разом рассудка.

Я с отличными ощущениями умею только быть превосходно бедным. Мне просто великопелно быть собой от получки до получки. И даже чтобы до получки немножко недотянуть. Вот как раз в этом бескупюрном зоре я уж истинно, неподдельно сам свой, тут меня ни с кем не перепутать, я абсолютно свободен и недосыгаем, никакой бредливой общественной рукой меня не возьмешь. Мои страны тогда становятся неожиданны и запределны. Я, напротив, предельно наличествен и сияющ, как новенький рубль.

Как-то забывают обычно о крупных возможностях возраста, о нераскрываемых до времени могущественных его потенциях. Вот, например, 50 лет. Они сильно приуменьшают, несказанно сильно. Даже всех прыгающих сквозь жизнь напролет революционно настроенных милачей, продвинутых идейно и как-нибудь по-иному, как велит всегда крайняя в их случае ситуация.

50 лет многое приумирают. А чем старше, тем возможности возраста крупнее и радикальнее, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров, причем на любой неограниченный выбор. Поэтому не стоит так уж опасно коситься и малость шарахаться в сторону молодых—возраст и не таких значительно улучшал и укрупнял, слегка обломив лишние бока. Молодые—дело очень даже легко поправимое, со временем весьма податливо обустройное. Не надо только ничего строить раньше времени—потому что все равно без него никакая стройка не затеется, не заведется. Ведь не найти нигде ни лучшего строителя, ни лучшего архитектора, ни лучшего инвестора в одном лице. Так что ждем время, оно вот-вот придет, с минуты на минуту.

Ну ничего, что с задержкой иной раз на эпоху, но ведь в ту же, в давно ведь обещанную же минуту!.. Или уж туда или сюда с минуткой повольничав, немножко с минуткою повременив. С кем чего не бывает? Дело житейское.

Будьте благодарны и милосердны. Единственно чем—всегда будьте. Вопреки всему, мягко и покладисто. Ведь вы же все-таки родились и у вас были родители. Сказать мне больше нечего. Ни вам, ни в свое оправдание.

Будьте! Единственно—будьте! И все отблагодарится само собой, само по себе. Самую жизнь длительно отблагодарится.

Будьте!—одним этим уже будете вы милосердны.

Мурлятники, неглубоко в рылах кроющиеся... Они заслуживают простейшего наказания: по ним не будет никакой памяти, даже последнего обноса ее—никогда. По крайней мере, я приложу все свои пренапряженнейшие усилия, чтобы никогда их не упомянуть и нигде, даже в пыточных крайних местах. Я уж искусно и тщательно обучу такой смерти все свои возмездные чувства и еще молодые слова, от возраста своего пылко несдержанные. Я обреку их на самую анонимную из всех смертей гибель, на самое прочное небытие. Своя личная смертушка им раем покажется в сравнении с той, что припасена для них в забвении у меня, в бескрайне бессмертном забвении. И на расстояние вселенной к памяти своей их не подпущу! В моей галактике мурлятикам никаким водиться не можно, не след! Она для них и на атом необитаема. Я не дам им благоприятной атмосферы для зарождения жизни на Земле. А иначе всему здесь начинается смерть, благополучная, никакая...

Вы утверждаете: я бесполезен. А я утверждаю: бесполезные—вы. Вот и получается замечательная сказочка про белого бычка.

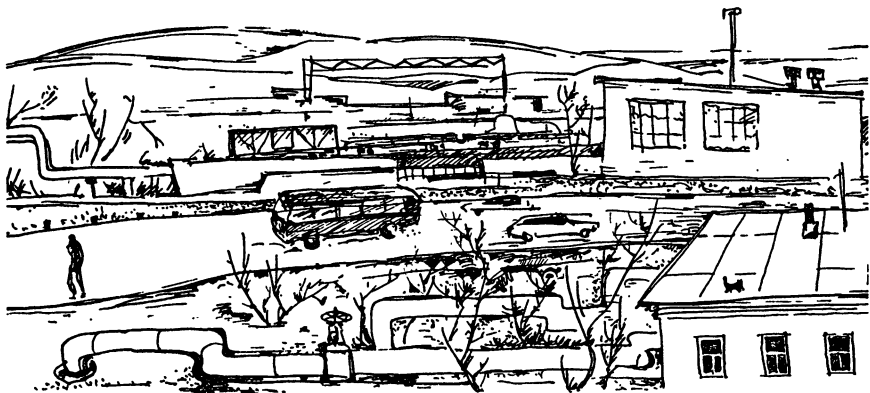
И как легко сразу всем жить!

Это всё сказочки исподтишка вытворяют, всё они.

— Да не будем мы этот отстой читать! На фиг нам оно надо!

Делов-то куча! Так и я вас не буду читать. Ни один ваш глаз не прочту. Ни шепот, ни бред. Бишь, а чего вы еще написали?

Боже, что же вы натворили! Сколько нелепых телес поиздавали... Как много вас вышло в биологический тираж! Сколько брака допущено еще до рождения!



Я—воплощенный опыт выживания в нежитийной стране и в местах предельного необитания. Нечеловеческий опыт в условиях нечеловеческого выживания. Вот мое настоящее имя—я наконец-то его выявляю, сделал для проверок прозрачным. Здесь также заключены и отчество, и фамилия. И даже проглядывают ясно лица седьмого колена.

Скажу одну ужасную вещь... Впрочем, лучше я ее промолчу. Так как ужаса вовне и без меня много.

Премного радуйся тому, что ты еще жив, просто отчего-то еще жив или—еще отчего-то жив. Что каким-то чудом уцелел в этой задушевной российской бойне, на бескрайней, бессрочной нашей войне. Что ты имеешь повседневно разум, а не сумасшествие. Что в 50 лет ни одна болезнь в тебе еще не заговорила в полный голос косным, заплетающимся своим языком. Что... далее следует неприлагаемый список обыкновенных и неприметных радостей, которые в 20 лет еще кажутся яркой глупостью.

Как много еще радости, которую ты и не чувствуешь, не хочешь чувствовать, пользуясь ею даром! Вот когда и она, та до поры самокрыва радость, уже будет осязаемым трудом,—вот тогда и поймешь, насколько ты жив. И насколько ты прежде отягощен был невесомо всеобъемлющей смертью, тогда охватившей тебя, а теперь отлетевшей,—сильно вжившийся, беспробудно живой, разве нужен ты смерти?

Изнутри ее заметно потрясывал половой инстинкт—существо глупое и слепое, как только что произведший на свет несущественный котенок.

Ей бы мужика семментальской породы! Все бы ее затемненные проблемы были тотчас решены искрометно. И в лучшую как бычью, так и коровью стороны.

На почве иллюзий один писатель основательно спятил. Этими иллюзиями он тычет везде, где только ему вообразится что-нибудь очевидно неиллюзорное. Даже пару чьих-то морд разбил этими несчастными иллюзиями. Причем вполне реально. Морд-то не жалко, так им и надо, но иллюзии гробить зачем, им-то за что же влетело?

Насобачился питаться ливерной колбасой по 57 руб. за четыре удовольствия. Впечатление—звероподобно. Зато и выгляжу волком, которого ноги кормят, а не рента, не воровство, не праздное гляденье по сторонам.

Когда же у меня появится холодильник, бляха муха?!

Попробую еще один сеанс материализации. Но, клянусь, он будет последний!

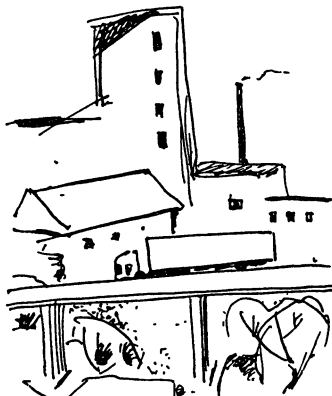
Господи, как надоело заниматься пустяками и призрачными их воскрешеньями!

Та же история и с телевизором, с курткой, шапкой и всем как на подбор прочим. А вот носки все же огоревал обнатурить ловкими пассажами.

Одних этих вещных историй на роман века уже с захлебом хватает.

Ничего... Константин Воробьев вообще ходил в отрезанных женских чулках, жена выручала...

Это мы, Господи! Это мы... Пожалуйста, нас ни с кем не перепутай. Мы—не бомжи, бомжи—немы.



Страхнул с себя одного призрака, второго, третьего. Да сколько же вас? Меня одного на вас мало!

Ладно! Черт с вами! Лезьте же в душу!

Там тепло, согреетесь. Всем места хватит. Я до пространства не жадный.

Может, под старость и вы меня приютите. Или ее призрачной сделаете—старость.

Рдяная чистота, рдеющая... Как давно ее нигде не бывало... Чистота рдела, как жаркие, во все глаза еще глядящие угли в догоревшей печи. Это, пожалуй, все, что я хотел бы единственно сказать в этом мире. Сказать просто от чистоты. Ничем не поступаясь. Не будучи ничему, никому должен (а должен всем постоянно!). Не имея далеко идущей цели. Просто сказать чистоту. Чисто сказать, так сказать. Чисто по-человечески вымолвить нечеловеческое. Чисто по-нечеловечески выглянуть в человеческое.





предпочитаю пребывать до рождения. Там как-то оно спокойней. Тишина необычайная, легкость мыслей – терпимая. И люди напрочь, под угрозой будущего отчуждения, отучены здесь смотреть сквозь людей и ничего не видеть. Такая там на сегодня в общих чертах обстановка. Ветер юго-западный, температура приемлемая, листва распустилась, улыбки ее нестерпимо свежи, зелены. Вчера подготовили к выпуску в свет две тыщи младенцев, при этом побит рекорд 150-летней давности, затоптано три клумбы цветов. Рекорд отлеживается и скоро должен прийти в себя, синяки потеряли уже зловещесть и цвет побежалости. Незабудки посадим новые, противоутопные. На праздник незабудочного оживления госпоже Мнемозине особое приглашение предусмотрительно уже послано.

Дни великого малодушия. Как же их миновать? Нужно просто непрерывно помнить, что большая душа обязательно еще возвратится, что она бывает и впереди. Пусть немного и иногда. На два-три шажка заблудившись в будущее.

Хорошо я расплодился в этой жизни! Практически девать меня некуда. Некоторые виды своих драгоценных явлений я не прочь бы без жали ужать. А то прямо повадились затмевать само бедное и без того бытие и меня в придачу, менее бедного. Совсем уж норовят меня в призрак спихнуть, а это никуда не годится, так как я еще есть и куда прикажете девать остального меня, почти целиком нереализованного и начавшего уже свою порчу без холодильника, ведь на дворе без малого лето, жара на носу. Прошу срочно со мной что-то придумать, потому что я такой нежный товар, от которого будет странно потом на всю эту округу.

Я избавился от всех ничтожных людей в своей до обилия длинной жизни. Безжалостно. Бесповоротно. Наотмашь. Остался последний – я.

С ним нет никакой управы. На него нет никакой облавы. Я его поймать не умею. Даже и не найду такого ничтожества, чтобы его уничтожить. Неужели он меня призрачно словит?

Как мне быть, если не в моем обыкновении легко исчезать и если я не привык уступать исчезновениям место даже в трамвае?

Я настоятельно бы советовал вам сменить свою фамилию на какую-нибудь более проходную. Я всячески поощрил бы ту перемену. Мне как-то странно и до неприятного удивительно быть с вами одной разделенной фамилии. От вас мне все тесновато, неловко становится в фамильном названье моем. От вас мне давно душновато в моих родовых, рядовых помещеньях. Прошу вас, уйдите ж в другую фамилию, в другие фамилий места. Их вон сколько пышных, цветистых, просторных – их вон сколько бродит свободно вокруг. Вам есть много места и в чуждых местах... ну а это уже неизлечимо, неизречимо мое. Не трожьте же! Это из боли мое! Идите халпать отсюда в другие дома! Их много лучших везде. Вам хватит довольно, премного. А в моей бедной фамилии брать уже нечего, все раскрадено, все расхапано, один лишь я остался, да и то на чуть-чуть, еле виднеюся на доньшке пятнышко. Уйдите же, от вас веет мертвенной чуждостью, а смерти из ваших рук я не приму, это слишком дорогой подарок...

Вот дуралей так дуралей! Всех выгнал с треском из собственной фамилии, остался один – гол как сокол. Этого ты и добивался – чтоб соколом быть? Ан нет! Ты сильнее ошибся с собственным уловом. Ты теперь не сокол – отнюдь. И даже не отнюдь, ты теперь – целое никто.

Разбор полетов, выводы, заключительная мораль: путем эксперимента выяснено, что один человек составлять фамилию никак не может, силенок не хватит, мало каши ел, без дополнительных людей фамилии не бывает, так что нужно быть терпимее друг к другу, даже если не очень родные, иначе мы все фамилии походя, незаметно для себя растрянжим, а это наше последнее все – и все станет кругом сплошь бесфамильно и безвестно, что как раз и будет никак и нигде... Рассеяния следует остерегаться, с рассеянными нужно быть предельно осторожными – они ведь только и ждут кропотливиенько нас... Лишь они нас любят безмерно...

Технически эти рекомендации осуществимы очень легко.

Что ж вы так, бедные, перепугались меня? За что ж вы присутствия-то моего переполошились? Не бойтесь, расслабьтесь, ничего-то я от вас не возьму. Даже не притронусь к вашему ничему. Но и вас не подпущу к себе никогда с вашими ничейными, ничейными, с вашими трижды ничейными помощами. Куда вы их подеваете? О, как будут они в вас тяготеть! Кто поможет тогда вам с вашими заметавшимися и беспомощными кричейными помощами? Я поостерегусь к ним даже и прикоснуться. Если, конечно, не отмякну случайно и не возьмусь душой за другое.

В меня детям слишком тяжело уродиться. Обычно они урождаются в более легкую половину. Пока есть надежда на младшенькую – она с твердым характером. Ей пока нетяжело сходить в тяжелую сторону.

Чужих не бывает. Есть просто отсутствующие.

Родные все, кого уважаешь, пусть с опозданием на тысячу лет.

Человек, который не был родным никому, никогда. Своим детям он доводился лишь троюродным племянником.

Смею утверждать насчет себя, что я крупно чего-то не понимаю.

А иначе бы меня не было здесь, с вами. Я бы преспокойно понимал себе в лучших и более достойных мирах, не дуть и в ус, коим там обязательно бы обзавелся, настрадавшись на этой земле из-за редкой усатой растительности и железных претензий по этому поводу женщин.

Мне странно стало слышать, когда человек говорит: я никому не нужен, я никому не нужна.

Следует изо всех сил тогда оставаться потребным себе самому. Нужно хотеть быть нужным себе. И все пойдет на лад, обретет свой порядок. Все образуется само собой. И непременно сыщется страстная нужда и надоба лично в тебе. Ты будешь вдруг неотложен. Для чьих-то неведомых ожиданий ты отовсюду настанешь. Ты будешь смутно, незнамо прозрен. И встречен уже на еще не случившихся встречах, недотянувшихся лишь на чуть-чуть. Сейчас, вот сейчас все и произойдет, чудно наступит, и вспыхнет в сердце осенний дальний костер...

Кто тоньше, тот и больше бедствует.

Первыми всегда и везде начинают бедствовать поэты, если в страну закралась беда. Потом другие, потолок, потом никто и никто.

Но первыми всегда начинают поэты.

И выигрывают.

Всякой сволочи и прочей бредятине остается вечное Е2—Е4. Вернее, едва-едва. Едва дохнут всю жизнь в дорогах оправах, в блистающих обстановочках и смертях. И это и есть как бы красивая жизнь, которой следует образцово завидовать всем, кто не умер.

О, какая пристальная память! Даже по глазам видно.

Я так разбежался идти по улице, что лишь по чистой случайности не влетел во встречного человека, в умонедоразуменно красивую женщину. Что бы я стал делать внутри ее? Не окончены ли были б печально дни мои? Или они только-только бы начались?

А вот и поменьше летаи, чтоб не быть сей пропажей вопросов!

За долгие совместные годы кропотливого сожительства эта женщина единственно только и сделала—составила превратное представление о примыкающем к ее боку муже. А он был совсем не ночной человек...

Любая вещь должна быть такой, какой ей следует быть по внутренней сути своей и образине, а не такой, какой ей хотелось бы кому-то понравиться, к кому бы то ни было подлизнуться. В этом и заключено основное противоречие между миром товарным и миром тварным. Поэтому в некоторых вещах бушует так много революций и восстаний. Их отблески и на наших лицах.

Даже компьютер освоить—и то сопряжено у нас с огромными и неизменными унижениями. Ни одно дело невозможно сделать без унижений! Вот в качестве продукции и закладывается обычно это преодоленное унижение. Потом мы его покупаем, выкладывая кровные и наличные из своего заранее на все глубоко обиженного кармана. А ведь карман не зря обижается: с унижением любой товар—скоропортящийся продукт. Так и живем... Жизнь перевирая, муть перебирая.

Проще одевайся. Без перьев. Как перелетный иностранец.

Да я и так в один срам одет, как уже давний русский. Куда же мне совсем-то без перьев?! Это я даже и не голышом буду, а неизвестно в чем! Мне хотя бы перышка полтора, для сраму... Ну и для отвода глаз какой-нибудь нечистой силы. Не для чужих же глаз я стараюсь, не для чужих глаз выхожу один я на дорогу в старомодном, ветхом шушуне, то есть безбелье... простите, от просторечивой облегченности наружного тела запутался совсем... да и с дороги вот сбился от одичания собственной внешности...

Нынче народ все больше пошел с мозгами-однодневками. Иной и порхнуть не успеет—глядь, а мозгов уж как не бывало. Прекратили прискорбное свое существование. Истожили свой отпущенный на мелькание срок. Только их и видели. Только их и не увидели.

В стране победившего идиотизма. Причем дважды. Первый раз под видом социализма. Второй — под собственным нескрываемым видом, шестивем превосходным, победным.

Что не отменяет возможности третьего его пришествия. Но уже под каким-нибудь потусторонним и запредельным видом.

Полны идиотичного нетерпенья и шизоидных ожиданий, стойкой решимости идти до конца. У бедных страстей поехала крыша, которая крышевала также и мозг.

Хорошему человеку хочется сделать тотчас невообразимо хорошее. Дурному — немедленно оторвать голову. За то, что вовремя не исправился и носит на себе болванку вместо ума. Но столь ликвидаторски поступать с головой — это, конечно, уже лишнее, потому что тут сразу и выглядывает пензенский дикарь.

Так что немедленно положи голову обратно туда, откуда ее взял, а то подумают, что ты нецивилизованный.

Головы отрывать в наше время можно, только класть их нужно всегда на строго положенное место.

В полезной, добротной работе я всегда послушный и вдумчиво умный. В бессмысленной — бессмысленнее меня не найдешь. Хоть в желтый спецхран сдавай тогда меня за обратное излишнее рвение, в своем роде очень веселое и в чем-то даже полезное. Очистительно как после бани. Но бани русской, немножко кровавой. После бань других национальностей обычно ничего не чувствуешь, кроме разочарования. Точно тебя крепко надули. Вместо помывки, пропарки, веселого озверения сводили в нестрашный зверинец.

Нехорошо так наедине оставлять меня с рынком, ох нехорошо. Вам это когда-нибудь вснепременно аукнется с моей молчаливой и по-своему безответной стороны. С вас еще звонко спросится за мое бесцельное, за все одиночества вышвырнутое одиночество. Вот увидите, на том свете вас обязательно заставят учить наизусть длинные стихотворения Пушкина. А потом пересказывать своими слова. А потом пересказывать! А потом пересказывать! Стоять! Не отваливать! До кровавого пота! До бунта бессмысленного и беспощадного! О, как я уже знаю за вас эти муки, временно ожидающие вас во мне!

Боже премогий! Сколько вокруг меня успешных неудачников! Продвинутый на продвинутом, просто глаз девать некуда! Одному мне, похоже, так неуспешно везет. Как я рад, что моя жизнь столь удачно не состоялась! Все несбывшиеся радости еще впереди, а горевать уже не о чем.

Со своими маленькими старшими дочерьми я как будто частично и искусственно радовался, оттягиваемый от них своими молодыми неотложными заботами, юркими пристрастиями. Я был с ними постоянно половинчат, блуждая в их присутствии в жадно отвлекающем молодецком мире.

С младшей дочкой радуюсь полно и естественно. К пятидесяти годам я наконец-то дорос до ее четырехлетнего необъятного возраста, до этой прекрасной непостижимости. И понимаем друг друга обстоятельно, полно и с легу, как пятидесятилетние. Это и есть хорошее, солидное счастье: сравняться годами и с той, и с другой стороны со своими детьми.

Но со старшими я не успел. Старшие намного меня обогнали, намного меня пережили. Они недосыгаемо уже от меня отжили куда-то на массу возрастов вперед. Вот такая из жизни получается сплошная несостыковочка. И что бы эта жизнь была, если б не было в ней одной-единственной, одной прекраснейшей стыковочки, одного выхода в открытый четырехлетний космос?

Малолетняя возрастом дочь Лиза упорно — до бурного восстания слез! — не верит, что я могу стать когда-нибудь старым. Все могут быть старыми, но папа не будет старым никогда, никогдашеньки! — это было б предательством, это несправедливый передел мира.

Вот вера, сродни, верно, вере первых христиан.

Со всей ответственностью заявляю: и не буду старым! Никогда. По вере ее.

Уже чувствую в себе легко это отсутствие будущей старости.

По ее святой вере не сделаюсь никаким стариком, даже когда впаду в крайнюю дряхлость. Все равно, непременно вскрылю из не мощного праха! Я уже вечно защищен. И воскрешен обратно в молодость — навсегда, на все вечно оставшиеся жизни, на всю ввек оставшуюся жизнь.

В силу возраста я чувствую дочь одновременно и внучкой, поэтому и веду себя нередко как глупый и от привычки жизни грустный дед. Но дед опять же какой-то неистребиемо молодой и про себя резвавший, почти неважправдашный. Мы с дочкой потихоньку между собой сговариваемся, что мы с ней одинаковые дети. Играем тогда до полного сумасшествия всех остальных.

Мой отец, когда внуки—мои старшие дочери—были маленькими, так горячо увлеклся рассказывать сказки на ночь, что и не замечал: они давно уже спят. И рассказывал себе да рассказывал в ночную скромную пустоту, пока его не одернут, уже из терпения вон. Мать его потом всерьез укоряла. Мол, старый, а таких простых вещей не соображаешь. Мол, постыдился бы—ведь других разбудишь, громом своим ты и мертвых поднимешь...

Вот откуда взялась моя Лиза!—она точно как дедушка, только пока наоборот: все уже спят, а она еще хочет слушать сказки, и она горячо их рассказывает кому-то—для любого слуха внятно, но скромную темноту, с огромным, самостоятельным наслаждением слова.

Может, покойному деду, который не успел ей ничего рассказать, потому что заснул задолго еще до всяких ее любящих погулять по ночам чутких сказок?

Один я, кажется, в этой вечной семье не удался.

Все что-то бормочу про себя внутрь, в другую совсем темноту...

На кого я становлюсь все больше похожим—не случайным прохожим? На отца и на младшую дочь. Как внутренне, так и внешне. Несомненно! Неотменно!

Всех троих в свое время женщины ночью ругали за то, что яичнику-глазуюю начинали есть сразу с желтка! А надо бы по-людски с краешку, постепенно, с белого равнодушного поля белка.

А мы сразу в желтое солнышко. И непременно ложкой, полною ложкой!

Особенно доставалось всегда за ложку.

Открылось! Дочь уже выбрала любимую профессию. Ночным сторожем в игрушечном магазине. Чтобы власть наиграться всеми игрушками сразу и долго-предолго не спать. И я, и я тоже в ее возрасте хотел бы вечно ночным сторожем (сбылось!), правда, меня потягивало больше на продовольственные магазины! Клянусь, мы не сговаривались с ней о любимом, все так вышло само... Любимое обнаружилось помимо уж нас...

У папы на могилке всегда цветут его любимые цветы, только я не помню какие. Кру-глый год цветут! Утверждаю! Я—свидетель. Я бесценно их там вижу. И с каждым моим приходом туда их все больше и больше. Это я тоже вижу.

Завидую живучести моих стариков, моих неумираемых дорогих мертвецов. Завидую прежней силе живучести всеподъемной—и всенародной, которая ныне постыдно угасла и изредела. Завидую и преклоняюсь. И черпаю в ней свои силы. Так теперь они мне помогают, невозможно дальние мои старики.

Мама, после 22 месяцев хронического лежания, после очевидного кризиса в последний свой день, после нестерпимых мук проклявшей ее ночи: «Да что же... Можно бы еще чуток пожить. Неплохо бы...»—коснеющим языком, несмирностью, привычной своей неумираемостью беспрекословно отобрала у небытия хоть несколько этих секунд, пока жили те последние в жизни осмысленные слова...

Вот и за эти слова мне тоже нужно жить. Крепко жить, без мертвений, чтобы и с этими словами ничего не случилось. За кого я живу? Может, за чьи-то просто слова, сказанные давным-давно и давным-давно отлетевшие от своих отскорбевших владельцев... Я всегда, я всегда буду на их стороне...

Повышенный уровень тревожности. Это от мамы. Всех детей наградила орденом тревоги первой степени.

Я, прежде чем реально выйти из дому, не менее трех раз выхожу нереально, чтобы проверить, правда ли я закрыл дверь на замок, или это моя очередная мнимость. К поезду я обычно прихожу, когда он еще и не думал убывать со станции отправки. А если выезжаю на вокзал по нормальному людскому сроку, то мучительно и с проклятиями себе кажется, что поезд уже явился в пункт конечного назначения, прибытие куда мне остается теперь только домысливать.

Не успев еще толком и умереть, к Господу Богу я также ушел заранее—задолго до того, как прозвенел оттуда призывный звоночек.

Вот что повышенный уровень тревожности делает с людьми.

Люблю, как отец, в прекрасном замедлении строгать теплую сосновую досочку.

Слово за словом.

С перекурами на каком-то ибуду добродушном чурбачке. С—дождались мы, слава богу, теплыни, вот и установилась погодка! С—все-таки ничего нет на свете лучше запаха свеженькой стружки, до смерти люблю им подышать! С длительным отпуском глаз в ближайшем облачке.

Гляди, как ровненьки стали слова! Мы опять построим наш новый прежний дом.

Ну что, папа, продолжим?..

До вечера много света еще.

Моего папу звали Федор Михайлович. Без этого имени что-то будет слишком неполным...

В моем детстве в селе старухи ласково и плотноядно называли воробьев жидами. Но я не понаслышке знал, что это всамделе воробьи, а не старушечья идеология. Я старался насмерть пулять по ним из рогатки, желая иметь еще трепещущее отмирающее тело.

Впервые я встретил человека еврейской национальности в 17 лет. И очень удивился тому, что он ничем не отличается от других людей. И до сих пор вдруг удивляюсь, что ничем не отличается. Так и не могу это удивление пережить.

Вечно эти вредные старухи наделают много шума из ничего. Крику от них на всю гулкую жизнь.

Лиза мне сказала: «Папа, я тебе и комнатку свою отдам, и кроватку, и игрушки тоже будут твои, только живи побольше со мной, не уезжай в свой противный Саратов! И котика твоего к себе возьмем. Пусть у нас мяукает... И много-много еще всего возьмем, чтобы тебе не было скучно...»

Есть в этой жизни на кого положиться! Я теперь ее словами на всю жизнь обережен, на всю жизнь до последней секунды. Я теперь всегда, из самых гиблых невозвращений, могу возвратиться и в эту комнатку, и в эту кроватку, что едва ль уместит и половину меня.

А в будущем может и совсем уж не уместить...

Я согласился бы прожить в этой местности, на которую угробил десять лет, и еще столько же времени... если бы там поменять в одночасье все до единого лица. Кроме лица дочери. Вот если бы эта местность была единственно ее лицо...

Не бойтесь меня. Я правда живой.

Я призраком здесь лишь подрабатываю.

Уж видьте меня, пожалуйста, таким, какой я есть. Или каким я хоть изредка, но бываю.

Мне уже никто не способен причинить боль или сделать плохо.

Я все равно сам сделаю себе больнее и хуже, так как привык все делать все равно по-своему.

Когда после бесконечных лет сидения в затхлом и злобно пропахшем месте я выбрался однажды в соседний городок и увидел проходящие все мимо да мимо поезда, я почти заплакал, я понял, как давно же я вас не видел, проходящие поезда, и как хочу вас видеть всегда-всегда—чтобы эти проходящие поезда были постоянно у меня под рукой, для самых разных и неотложных надоб и нужд.

Я понял всей смертью своей, что дошел до края. Я понял всем крошечным существом своим, что в откровенно гиблом своем и внечеловечном месте мне не жить, уже не жить никогда. Но там я уж и не умру никогда! Это я сказал себе твердо, всей смертью, во всю ее необъятную величину.

Оказывается, Гете не верил, что умрет.

Уважаю!

Тамошняя вязкая и гнусная несвобода стала уже проникать и вовнутрь меня, она сочилась там унылым черным дождем безвременья. Я еще не ощущал себя рабом, но им уже был. Мне стало по утрам тяжело распрямиться в полный свой рост, да и тот казался чересчур маленьким, не по моему обыкновенному росту. По улицам я теперь ходил мысленно ползком. Раб очнулся и самодовольно прозрел во мне однажды—резким приступом немотивированной трусливости. И я—сколько меня еще тогда во мне оставалось и уцелело,—я со всей катастрофичностью, со всем родимым своим ужасом понял—бежать, бежать безоглядно, куда мыслят глаза, и если не убегу, буду жизнью избежан. Я начал готовить средства к побегу, но средств никаких не было и придумать их было неоткуда. Оставались подкоп или свободное воздухоплавание на проходящем облаке и без рубля в кармане. Бежать! Не в Москву! Не в Москву! Не в Москву! Туда глаза мыслить всюю избегали.

Бежать! Одно это слово уже заворачивало все мои одряблевшие и заугрюмевшие мышцы. Во что бы то ни было бежать! Во что бы то не было... Несмотря на то, что побег из раба редко бывает удачен, это обычно кончается плохо и внезапно.

Я убежал, кажется, с семнадцатого раза. До меня из раба так много и часто никто, наверное, не убежал. Имею на своем счету одних только гибелей штук семнадцать—при очередных попытках к бегству. (И представьте, какая лояльность к закону: ни одного покушения на суи-

цид, ну ни в жизнь, так как жить в извращенной форме мы не любим, да и некоторые вещи баловства не приветствуют, а за десять лет я привык боязливо слушаться каждой уж самой ефрейторской вещи.) О карцерах, шпирутенах и тихих презренных речи нет тут вообще никакой, счет им давно утерян. Последствия побега сказываются, конечно, сильно: я заболел бешеным страхом и обрел цвет побежалости, краше в гроб кладут. Честь имею быть вашим покорным слугой...

Дату своей смерти всегда хорошо помнишь. А как же! Это единственное, что внушает неподдельное уважение и другие нерукотворные чувства, до предельного ужаса подлинные, живые. После этих чувств вторично и умирать уж не надо.

У меня есть лишь одно единственное неотторгаемое право: чувствовать так, как вольно моим чувствам. Этой свободы у меня уж никто не отнимет—презирать все равно буду! Даже собственные мысли могут предать. Но чувства—никогда. Никаких пыток на них не найдется. И на виселице вместо явного языка покажут язык тайный.

Извините, но в 50 лет я уже должен безоговорочно доверяться собственным чувствам. Если им не верить, то верить—чему?

Боже, как легко и светло быть свободным!  
Но как трудно, как темно им стать...  
Слова почти из какой-нибудь насквозь революционной книги столетней давности...

Мне как-то нечего стало бояться. Все страхи вовне меня умерли. Или пустились в бега. Остались одни мои. Но они прирученные, смиренные, а другие, сильно мною науганные,—боятся даже чуток личико сморщенное показать. Сидят где-то в моих завязтых потемках—не шелхнутся, голубчики страхолюдные. Шелковые прямо стали. И не узнать их по иным временам.

Больше мне тут, похоже, и бояться-то неизчего. Земля и я перестали быть для меня жалким обиталищем страхов... Теперь перейдем к другим план-гам. Пролистнем на этот предмет и некоторые особо любопытные вселенные...

А не кажется ли мне, что я незаметно от себя стал богом? Ну, не Богом вообще, это уж было бы слишком, это перебор. Зачем мне это нужно, столько ответственности на своем хребте тащить? А хотя бы вот богом данной галактики площадью целых 13,8 квадратных метров с окнами на отборные райские кущи любимейшего студгородка. О да, тут я за, всеми конечностями и подконечностями тож! Таким владыкой мира неплохо бы быть, таким богом люблю себя часто ловить где-нибудь в половине четвертого, где живет мой соавтор-рассвет, а уловится ли... как уж получится...

Не хочу быть как все, пусть лучше все будут как не я. К нашему взаимному удовольствию и всесторонней выгоде, которую, конечно, опять же получите вы одни. За что и не устаю вас благодарить беспрестанно и неустанно.

Да и мне больше останется быть ни с чем, а владенья Ничто невероятно обширны, так что заведомо ясно, кто больше будет иметь ничего.

Я думаю, что это они все сумасшедшие, а они думают, что сумасшедший—единственно я.

Но нас много в одном числе... Очень много, всех не перевешаете. Всех с ума все равно не сведете, и на нашей улице будет праздник всегда чаще, будет веселье всегда чище.

Пожалуйста, сходите уж с ума без меня. Увольте меня от вас и на жизнь. Я сумею и в одиночку с ума полегонку сойти. Ну зачем, скажите на милость, зачем мне на помощь ваша шальная компания и вы, наводящие на меня невыносимые толпы тоски?!

А главную-то задачу как раз и забыли—оставаться людьми.  
Эта задача, оказываясь, легко забывается. Легче всех прочих других.

Я не как все. Я более заплаканный.

И сопливый. Ну, это—от слез. И от общего избытка влаги в организме. Просто нужно чаю поменьше дуть. Тогда и литься будет меньше из тебя всего самого неподходящего в самый неподходящий момент, жидкостный ты наш.

В небе пролетали птицы серебристого цвета...

Неужели у меня мысли такие бывают?

Ага, жди скорее! Разлетелся! Счас мы прям тебе мысли серебрянкой и выкрасили! Делать нам больше нечего, только в твоей башке малярами сидеть!

Все стоящие мысли приходят обычно в 3 часа 14 минут утра, когда я благополучно дрыхну.

Потоптавшись близ нагло напрасного тела, возвращаются с огорчением восвояси. В 3 часа 15 с половиной минут они уже на месте.

Ужасно пунктуальные! Ни разу не ошиблись.

Ну а мне лишь приходится не ошибаться в собственном сне да еще на каком боку лучше принимать солнечные ванны сновидений.

И где тут, спрашивается, взаимная справедливость? Где ответственность рассвета, обязанного всегда быть настороже? И где же тут, наконец, хваленый мировой порядок, бесстыдно избегающий этих мест? Понять ничего невозможно! Вот и вынужден в недоумении просыпаться, держась за ненадежный хвостик какой-нибудь тошенькой, совсем уж издерганной мысли. Такая жалкая и побитая, глаза бы мои на нее не глядели! Опять мне отребье досталось... Тьфу ты, господи, зачем прямо с раннего света пугаешь такими отвратными видами?! Ведь я еще пригожусь Тебе днем неиспуганным, при беспощадно ясных лучах!

Просто я владею несравнимо большими богатствами, чем многие другие, потерявшие подлинность богатств. Да и не владею даже—облаком или деревом я люблюсь безмерно. Как ими обладать можно? Дело тут совсем ни в каком не во владении. А может быть, в необыкновенно простом чувстве, что ты далеко-далеко не бедняк. До самого горизонта, а можно перекинуться мыслью и чудом и дальше еще, если, конечно, она, мысль, есть у тебя, водится, хоть по средам бывает. Ничуть не жаль этих убогих богатых бедняков, точнейшим уменьем бездарности бивающих настоящее богатство. Я ничуть не сочувствую их повсеместной массовой гибели—значит, так им и надо. У меня есть смеющееся облако, а меня есть шагающее невесте куда дерево, у меня есть летящие наугад, враспынную птицы в еще трудном от ночи пространстве, где яснее уж небо—моя дальновидная и родная страна. Только бы эти недоумки не тронули их, не испятели, не вовлекли в свою поганую гибель. Они ведь могут свободно похитить и мой рассвет—вот в чем беда. Сумею ли я их всех защитить? А сумеь—даже через уничтожение свое—надо! В этом микрорайоне земного шара неуместна повсеместная смерть.

Сами бы погибли—пусть, ведь и так уж погибли. Но недоумки и мир весь утащат с собой в пропажу. Вот единственная к ним претензия. А так пусть живут. Все равно ведь не живут. Их главное достоинство: они и даром не нужны никому, ничему. Кроме собственного тупого самодовольства. Да и оно, похоже, не выдержав бессмысленного соседства, втайне давно от них отреклось.

Каменный век у них в голове, воистину каменный, а в глазах немного бронзы—это они там себе заранее памятник отлили, из некоторого приличия лишь капельку маленький. Памятник собственному каменному самоуважению (как бы мне так научиться себя ни за что уважать!). Пьедестал будет из непромокаемой глупости—хороший материал, вечный, а главное, недорогой. Рекомендуем, особенно в качестве надгробных плит.

Хватит меня истреблять! Отказываюсь быть убиваемым вами! Вы даже смерть испоганить сумели—такую смерть я от вас не приму!

Я слишком долго не замечал, как быдло успешно воюет со мной. Я слишком доверился собственной доверчивости.

Теперь замечаю, и меры будут. И недоверчивость моя—мой ежиный комок.

Итак, война.

Война с повсеместным террором быдла, которое использует своих смертников тотально, всепроникающе, на каждой улице, в каждом доме, в каждой семье.

Ответно вынужден тоже распространиться тотально. По всем самым мелким и незримым фронтам. Теперь ищите меня всюду! Я могу напасть внезапно. Я везде вам буду противостоять. Повсюду окажу упорное вооруженное сопротивление. Все равно слово—оружие более высокоточное, чем все ваши орудья! Вы еще почувствуете его неумолимую глущность!

Наше дело безнадежное, поэтому мы все равно победим!

Так как побеждает всегда только самое безнадежное.

Что-то там Ю. Казаков говорил о мужестве писателя... О, какой это был детский лепет чудесный! Мужество писателя, кажется, только-только начало начинаться.

Он уже сделал всякое большое дело тем, что себя хорошо и известно продвинул. За это ему наш большой молодец. Ну а с основным-то делом мы уж и сами как-нибудь справимся, вне его. Хоть некому, слава богу, будет мешать. Пусть он себе наверху копошится в лучах славы и чего-то еще. Там ведь тоже кому-то надо бывать. Там тоже нужны грядки под лук,

под простушку-картошку, под огурец-молодец и прочие поднебесные и запредельные деликатесы. Кому-то и их нужно выращивать, кому-то и с ними горбатиться. Сгодится и сытенный бомж. У-у, предатель, глаза бы мои на тебя не глядели!

Обидно за Шекспира, что его мало читают. Буду упорно, десятикратным сверхмедленным чтением, жгуче читать Шекспира. Из солидарности со всеми словесными. И потому, что он явно, явно же и на меня трагился. И чтобы ему не так стыдно, не так мучительно больно было за нас на том свете. Очень обидно бывает за человека, когда он что-то делает кропотливо для тебя, старается много раз вместо тебя умереть, а ты его совершенно по-свински поблагодарить забываешь. А неблагодарным быть невозможно! К тому же и боженька накажет. Да вон уже и Толстой с того света кулаком машет. Ну, слава те, господи, и Лев Николаич наконец-то нашел там общее понимание с Уильямом Батковичем. Нашего полку прибыло!

В России три самых успешных писателя (свежий рейтинг последнего двадцатилетия), с сердечным лакомством называю их имена: Алан Черчесов, Дмитрий Бакин, Асар Эппель. Все фамилии здесь, конечно, достаточно вымышленные, дабы не случилось буквальных ранящих несовпадений. Три писателя сотворили неизъяснимое чудо. Лишь трое потерпели самое сокрушительное поражение из всех поражений возможных. Остальные едва споткнулись. Есть, правда, несколько упавших. А умерших — уж бесчисленно.

Я не понимаю, как устроено чудо, только у этих троих. Невозможно сказать, почему это чудо у них — чудо, оно ускользает от любых объяснений, предпочитая существовать только в виде тайны. У других чудо можно разобрать по частям и потом собрать без труда обратно. Но есть еще по крайней мере 200 прозаиков, от которых чуда можно ожидать в любую минуту. И которые в любой другой стране, за исключением слишком богатой и небрежной России, были бы писателями первого ряда. Среди них есть, конечно же, и умершие, но, по-моему, они еще смогут сотворить свое настоящее чудо, переписав на небо то, что чудом никто не увидел.

В России по-прежнему самый богатый человек — литература.

Нефть и газ это мы так, для отвода глаз...

Смотрите, как стремительно прибывает наше непоколебимое войско!

Одиночество бывает только на уровне повседневности.

Уже чуть повыше одиночество — отсутствует.

А на уровне искусства оно и близко нигде не валялось. В этой сфере про него ничего уже не известно. Эти края и слыхом не слыхивали, что за зверь это угрюмый такой.

Достаточно посмотреть хороший спектакль, чтобы все твои скрюченные личные одиночества благополучно полетели к черту. Такое веселье таланта тебя окружает надежно! Так ты защищен, спасен, сохранен! Так есть теперь о чем жить и ни о чем улыбаться (премьера «Преступления и наказания» в Саратовском драматическом театре)!

Я очень близкой душевной организации с актерами. И лабильность опять же. Только я получился яшиницей, а они божьим даром. Так что прошу не путать мою нелетучую глазню, угрюмо посиживающую в сковороде, с Вашим Божьим промыслом.

Какие чудесно талантливые артисты живут в Саратове, и Урмы Турман есть, и другие! Я даже теперь немножко робею жить в этом городе... Это невыносимо ответственно — жить рядом с такими талантами! А вдруг кто-нибудь из них существует всего-то в двух трамвайных остановках от моего обитания и нечаянно пройдет мимо меня? Скорее прятаться! Так за яшиню стыдно...

Я-то имею право говорить в этом мире хотя бы от двух-трех вещей. Ну хотя бы от одной. А если и вещи те от меня отрекутся, то хотя бы от собственного лица, которое, очевидно, все-таки есть, немного, возможно, наличествует.

А ты? Как же ты право имеешь хотя бы на свое самодовольство, на свою превосходятельную надменность, если они ни от чего не свидетельствуют, никого не представляют, не имеют голоса ни одной вещи, которая бы согласилась на то, чтобы ты был лицом ее или именем? Твоя напыщенность легко и умело говорит лишь о твоей беспокойной и тщеславной пустоте, которой хотелось бы, всем женьем ничтожности хотелось бы иметь высокую, очень приметную и живую чью-нибудь голову. Ведь тебе даже не на чем носить отсутствующее свое лицо.

Ничтожный человек ничтожен во всем. Даже в своем отсутствии. Но особенно он ничтожен в своем присутствии. Тут таков уж его бессмертный закон.

Что там у вас, в вялотекущем мире рекламы, делается-то сегодня? Какие новенькие новости? Смерть покончила с собой, говорите? О да, таких событий в других мирах давненько что-то не происходило. Тут вы неоспоримо креативные первопроходцы. Ну и флаг вам,



значит, в руки. За первое место в социалистическом соревновании. Он переходной и пока в чехле, но потом развернете, когда опять вперед пойдете. А то нехорошо по улицам ходить с какими-то странными скукоженными рулонами, к тому же неизвестного происхождения. Народ подумает еще, что опять где-то что-то стибрили, что опять где-то что-то плохо лежало без глаз, а он, как всегда, не успел – и начнет рвать добытые потом чехлы по праву деления ничейной собственности. А это чревато дракой или другими особенностями национального менталитета.

Он производит как всегда нормально-двойственное впечатление. Он нормально двуличен. Это даже поправить никак нельзя, с этим даже и делать ничего не надо – природу обмануть невозможно. А можно перехитрить только самих себя, да и то очень немножечко. Глупость ведь потом все равно сама за себя скажет. Она уж не удержится, не на ту нарвались, чтоб промолчала в тряпочку. Резанет свою правду-матку прямо в чье-нибудь еще не совсем подготовленное к успеху лицо. То-то личико сразу увянет! А не суйся ты, личинка, раньше времени в успешность, она нам и самим ой как сгодится!

Явно не как у Христа за пазухой чувствовал я сегодня себя. В каком же таком месте я себя чувствовал? Оказывается, это Россия. Да, сомненья прочь, теперь можно утверждать с неуклонной уверенностью. Вот – скидка десять процентов. Вот – звони чаще, будешь дешевле, роумингом нас не застрашаешь. Вот вообще черт ногу сломит, не то голая девушка, не то что-то по-дикому совсем наоборот. Точно Россия! Как новенькая! Ну, слава богу, добрались, а то уж думали ее и нет нигде, думали, пропала Россия где-то за необитаемыми горизонтами... Ну, здравствуй, родимая, а вот и мы. Не ждали? А мы уж с вещами, на выход, с правом бессрочной переписки...

Я люблю это милое захоlustье до невозможности чувств, до унынья глухого, до ничтожных, непритворно бурчащих кишок.

Даже как-то желудочно и двенадцатиперстно я провинциальный писатель.

До мозга костей местный и волжски речной.

Волжски ручной.

Меня даже привозить ниоткуда не надо, чтобы в виде диковинки показать. Я всегда тут, на всякий случай обычно всегда под рукой обретаюсь, только выгляжу, на беду явлениям, тускло и как в специальный укор безвинным виденьям. Я для видов не гожусь, причем самым явным образом, то есть катастрофически. Поэтому для диковинки придется все-таки нанимать кого-то извне, не поскупились уж немножко потрепыхать губернский бюджет.

Кто у нас из национальностей любит нынче мелькать больше всего? Вот и найдем самого мелькающего. Чтобы сразу было видно: приехал. Что здесь он, а не где-то еще, витает, видите ли, в облаках... А тут и мы, как с ветки свалившись, треща сучьями и попутно матерясь в пьяном виде... Но от своих видов подалеже, как от греха, вроде мы здесь лишь проездом в Индию, вроде мы – это далеко-далеко не мы. Или с частным визитом в Сахару, на временное жительство к глубокоуважаемым пескам, да и взять заодно замеры пустынности. Все ли в порядке с ней и с предельно допустимыми дозами концентрации рассеяний и запустений?

К 50 годам, если не наворуешь и не обладаешь хваткой профессией, непременно имеешь всю страну в отставке и в томительном ожидании пенсии, в свою очередь пущенной в длительную отставку, как бы отправленной предварительно также на пенсию, но пенсии, то есть самой себя, по каким-то причинам не достигшей. Так что тут легко получается к итогу, коли он не загнется, пенсия в квадрате, если не в кубе, а то и сразу в золотой клетке.

Вот 40 лет – много, довольно много. А 50 уже немного. Уже есть, где развернуться.

Возраст у меня теперь такой, что отовсюду далеко видно во все концы света.

Цену всему-всему я уже знаю. Вот эта назывная девушка стоит около 300 руб., вот этот шикарный молодой челвек порядка 20 коп., вот эта бабушка с бешеной кошелкой – бесценна, вот этот яшень... извините, я должен тщательней покопаться во всем существе своем, чтобы узнать мою наличность... Батюшки-светы! А не потерялась ли моя наличность перед лицом наличности ясеня?

В 50 многие приличные люди уже заканчивают и думают далеко вперед о хорошем.

А я вынужден только начинать.

Вот нельзя, нельзя рождаться с опозданием, с бессовестной отлучкой!

Эх, дедушка-дедушка, что ж ты наделал, на целых двадцать лет меня задержал?! Я бы сейчас уже преспокойно валялся себе на пенсии и думал далеко вперед. А захотел бы, повернулся на другой бок – и стал думать назад, сколь далеко надо.

Мне, благодарение богу, все пришлось опять начинать с самого начала.

Даже чуть дальше, чем с нуля, из отрицательной стороны. Ведь столько понаразрушил, что средь кучи завалов не найти и скромного лаза в это самое самое начало. Приходится подкапываться к нему с обратной, менее разрушенной небытийной стороны, привлекая в помощь одни матюжки МЧС, за неимением их доблестных сил, будучи сам себе одной отважной дружиною чрезвычайных ситуаций. Так как в той части предсветья МЧСом пока не обзавелись, не разжились, а Шойгу еще не родился. Только-только начал рождаться—слышу абсолютно новые звуки... по-моему, откуда-то со стороны Тувы, может, Хакассии. Май, самая теплынь, 1955 год, через два-три, похоже, мгновения должны зацвести привитые к условиям Сибири яблони... Ребеночка как назовем? А давайте—Сереза. Если девочка будет—давайте Наташа. Ну давайте... Как прозрачно все слышно!

Я решил восстать против своего возраста и вопреки всему сделаться тридцатилетним.

Пока восстание протекает успешно.

Крови и трупов нигде не наблюдается. При командовании днями только вертеть головой немножко тяжеловато, как в прежние 50 лет, когда были проблемы с гидравликой шеи.

Прицепился этот подлый остеохондроз, прицепился! Даже восстанием его не отшугнешь!

А в любой жизни можно жить. В любой жизни отыщется уютное маргинальное местечко. Если допрежь в поисках не смягнешь, не крякнешь, не увлечешься слишком пристрастно удовольствиями обочин пути.

Это ведь на хорошее дело, только поднапрягшись звероподобно, время можно найти. На плохое—оно само всегда находится. Даже не зовешь—откуда-то прибежит в избыточном количестве, целым стадом диких минут. Немедленно начнут пожирать.

Я даже изнутри стал казаться себе иногда татарин. Такой я внешне азиат стал.

А, например, скажем, казах г. Саратова—тоже изнутри как-нибудь непревзойденно по-казахски смотрит? Или как получится? Европейский мир его сразу на грани зрения встречает или прихватывает его несколько внутри, чтобы вывести потом на улицу, вместе пойти погулять? Путаница тут невероятная в пересечении разных миров.

Но изнутри я смотрю на мир еще преимущественно русским. В этом я отдаю себе ясный отчет. А дальше опять путаница, как бы этого ни не хотелось. Изнутри, до грани с внешним зрением, выглядываю несомненно русским, а уж дальше не знаю, каким там выгляжу на протяжении взгляда снаружи, какой такой там азиат старо и исподлобья смотрит на меня и вокруг. Да и не моих уже это глаз дело, похоже. А значит, не моя это и забота. Выгляжу себе потихоньку и выгляжу. Да и пусть. А как, что, зачем—кому какое дело, кого должно волновать мое пятидесятилетнее безобразие и прилагающаяся к нему в виде продолжения следует пятидесятилетняя моя орясина? Это мое исключительно личное дело, чисто внутреннее. Главное, что еще хоть как-то выгляжу. Вот выгляжу—и хватит вам, и довольно уже! А ведь мог бы и не выглядывать, и тогда не хватит вам, ой бы еще как меня попросили, чтоб я хоть каким бы нибудь своим мгновеньем взмелькнул! Впрочем, больно ты что-то размечтался поверхностно... Раскатал губы-то свои азиатские... Ага, жди скорей таких ожиданий, держи карман шире! Как же, только тебя и не видели!

Счастье, когда человек откажется от мира прежде, чем мир откажется от него. (Коран)

Не обратиться ли мне в магометанство?

Я девяностопроцентный русский, в отличие от американцев, которые все как на подбор стопроцентные.

10% у меня—допуск на неизвестность и на право быть любым другим народом.

Мне глубоко ненавистна всякая национальная нетерпимость уже потому, что был Фолкнер.

Облванили меня в нашей парикмахерской исключительно. Не скажу, что под ноль, но близко. Не скажу, что нулевым человеком заделался, но не далеко. Против истины я тут, конечно, грешу, но не сильно.

Подстригся, называется. На один сантиметр и с ушей не снимать, называется. Сразу вылитый татарин стал, и без названия видно. Даже и не надо поглубже копнуть каждого русского и находить там татарина. Не надо каждого, не трогайте уж, одного меня хватит. Неправ Розанов, глубоко неправ. Нужно просто сходить постричься в нашу парикмахерскую. Так быстрее найдешь себя татарин. Глубоко ходить не надо. Всего 80 руб. погурения и общей захватанности головы.

Вот и устроил себе праздничек, называется. Некоторые на праздниках хоть напиваются, а я обнаруживаю себя татарин, который не лучше незваного гостя, зря Пушкиным врут...

Ну что, татарин гололобий, пойдем тобой детей пугать? Как с тобой поступать будем? Куда теперь тебя идти сдавать? А то вместо меня поймают... И паспорт новый теперь на тебя хлопочи, возись вот с тобой... Чего глазищи свои на меня выпучил? Давно не видел, что ли?.. Ай, бабай, как мал-мала жизнь? Киль бере, опче мене, ахрят. Иди суда, баю, поцелуй мя, друг. Для неверных ухом это я мал-мала, чтоб ясна была. Для неверных маненька толмачим. А то некоторые ни бельмеса наша специфика лар.

Аллах акбар!

Извините, это, видимо, гены самопроизвольно во мне заговорили. Включились от стрижки.

На нашем базарчике все продавщицы старше 55 лет без ума от меня. На весь базар кричат зычными и явно возбужденными голосами, передавая меня по этапу от одного возбуждения – другому: Федрыч пришел! что-то давненько тебя не было видно, шершавчик?! Мне даже кажется, я им в эротических снах уже являюсь. Хотя бы легонько, украдкой.

Те, кто помладше, в диапазоне 50–55 лет, приглядываются ко мне, но еще в уме. И чего-то на весы всё подкладывают, подкладывают, прилично даже обвешивая себя незаметно для собственной личности, мне кажется.

Младше 50, но до 45 смотрят как-то крайне задумчиво и сожалеюще туманно, как будто я их в чем-то ловчайше обманул, изуверил и мелким этим психологическим воровством разочаровал их ласковые надежды, которые после такого обмана будут менее ласковы и перестанут доверяться за просто так всякому встречному.

Совсем уж женская зелень короче 45 лет шваркает и обвешивает самым невиданным образом, так как под их образ видного мужчины я никак не подлезаю, гибкость уже не та. Где-то в сторонке от них я все время оказываюсь, там их падкое обычно сердце ни в какую бродить не желает, и им приходится в упор не видеть меня в заволоченных неизвестностью местностях своего зрения.

До 35 лет я в возрасте уже мало чего понимаю, но там все одинаково вплоть до несовершенности: мы смотрим друг на друга как совершенные пришельцы из разных и впервые встретившихся миров. «Так селедки, что ль, иль чего? Че бубнят се под нос – не поймешь!» – «Да. Мне б узнать, где тут шнурки продают... Один шнурок у меня чего-то подгадил...»

Нереализованная, оскаленная продавщицким ртом селедка с гнусным чавканьем бросается губительным для личной жизни прыжком обратно в свое жидкое, месивное место, а по мне – так мне прямо в лицо она маханула, соленая негодяйка.

И чего плохого я им собой изобразил? Так даже на мат теперь не реагируют, как на меня. А мат ведь явление остро и крайне эмоциональное. Во всяком случае, так было в наше время. Неужели я стал уже хуже мата?

Доброго всем и ясного повсеместного дня! Особенно-то не пугайтесь, это я сейчас на ходу обронил эти слова, и это, можно даже не сомневаться, я иду во всем расцвете лет и, кажется, сил, красивый, пятидесятилетний! Сильно-то не пугайтесь, особенно насчет красивого – верно, ни грана сомнения. В 50-летнем еще и усомниться, и поколебаться можно. Уже спрашивают с участливым сердцем на лице – вы на пенсии? Конечно, – говорю. – И давно причем. Сразу после кампании 1812 года, сильно тогда я что-то подустал. Я с большой выслугой отдыхаю. Другие пенсионеры здесь просто отдыхают.

А вот и я всем навстречу, прямо как с ветки попадал! По мне неотразимо видно, что идет сразу целая разновесная семья. Да еще и полноценная. Что по нынешним временам совсем уж чудо. Вот такая я хожу счастливая российская семья, всех детей сразу даже не пересчитать. А также всех отцов и всех матерей. Я прямо мельтешу семейно в других глазах! Вот как хорошо и удачно я среди вас существую обильненьким, только малость шишофренниченьким. Не прощаюсь. По-английски не ужогу. Люблю неожиданные приходы, теплые возвращения. Короче, многосторонне ценный множественный кадр скрытной привязанности, годен для использования на всех неразлучных общественно-полезных работах, кроме уголовных, применим и в быту... Десять рублей раз. Десять рублей два. Продано! Вот и в продажах комфортно и с выгодой для всех умею существовать. Ну возьмите, возьмите меня хоть задаром!

Возьмите меня на летнюю Волгу с собою, хотя бы как вещь. Я вам там пригожусь на каком-нибудь берегу. На том или этом.

Ну хорошо, на том берегу пусть я буду утварью, кладью. А на этом согласен и просто на вещь.

Возьмите же, прибарухайте! Я вам хоть низачем, но все равно пригожусь.

С этим человеком надежно. То есть с ним можно жить – надеждами, а не медленным умиранием. С ним можно жить отважно сразу жизнью, а не смертью. Не смертью отваживать себя.



дить тебе потом всю жизнь ту путаницу, ошибичу и неверницу... вот, кажется, и пошла писать губерния, в трех словах успел власть заблудиться... Все спасенье теперь только в слове «осо-бица». К нему и присоединяюсь в надежде...

Я свою цистерну уже благополучно выпил. А чужую починать совестно—не трожь, не твое! Тут и без тебя найдется, кому личным владельцем быть.

20 месяцев не трогаю чужую собственность, но все чувствую себя вором. А если владе-лец так и не объявится, я за себя не ручаюсь. Потому что бросать собственность без присмо-тра—это последнее дело, пропащее.

Никаких добрых водочек! Никаких ласковых закусок! А то ишь какой, больно разне-женный стал! Развел тут мне, понимаешь, широко отвлеченную жизнь! А мне пиши роман за обоих—и за пьяного себя, и за как стеклышко себя! А это никуда не годится, потому что это получается уже литературный негр, а я негром быть не умею! Говорю же—с детства не приу-чен. Меня выучили на другую профессию, человечески более мягкую, светлую.

Я немного озорной писатель. К тому же у меня есть один крупный недостаток: в одиночестве невыносимо люблю танцевать польку-бабочку. Обещаю всецело исправиться на том свете. В этом и чувствую свою ответственность перед и за (д). Насчет польки-бабоч-ки на том свете ничего не обещаю. Тут я себя не гарантирую. Потому что полька превыше меня и обширней, возможно, всего того света. Придется, видимо, поневоле принимая близ-ко к сердцу, терпеть отдельные порчи, если хотите меня терпеть и немного мной трепетать за пределами, не от мира сего.

Я встретил на днях кругосветного дурака. Зрелище, доложу вам, не то чтобы замечатель-ное, но грандиозное. Тут у дурака смекалки уж не отнимешь. Как и ничего у него не отни-мешь: дурак дураком, а держит крепко, это прямо какая-то дурная скала, бешеный немножко и хваткий гранит!

Я не люблю тебя за все наше обширное, удачное прошлое. Вернее—презираю. Хотелось бы и большего, но более сильных чувств ты недостоишь. Тебя на них попросту не хватает.

Эти вздохи твои подлы. Это молчание твое—попытка убийства. Что, ну что же хочешь истинно ты от меня?

Он совершил внутренне несколько предательств, которые даже и сам не хотел за собой подозревать, которые не особенно-то и заметил. Они стали явными, только когда этот человек стал совершенно другим. Именно за это внезапно другое его и покинула незримо женщина. Она явна теперь для других, внутренне готовая к любой абсолютно внезапности.

У женщин совершенно иной способ жизни, способ одоления бытового и рутинно-го времени. Они ведут себя с ними—жизнью и временем—по-свойски, это для них созданы время и жизнь. Мужчины—чужаки и той, и тому, а заодно—и тем, коль все трое они в сговоре. Не умеют мужчины мелко жить, тщательно. Никак не умеют. Какой-то пустяковой привязан-ности не хватает—и живут тщетно.

И гибнут также в основном по мелочам, в тщетном побеге от собственной тщеты...

Когда вы уличная женщина, вы заметно другая. В домашней обстановке вам не хватает распушенности, чтоб вы тут же легко бросались в глаза. Поэтому извините за некоторое неу-знавание, а также за различное узнавание в различных местах, полуидиких или, напротив, весь-ма оживленных. Со своей стороны, я готов быть вечной константой и пожизненным гаран-том вашего повсеместного ровного узнавания. Уповаю на необманность собственных пяти-шести чувств, но не более. Относительно иных миров, того света и т.д. мы не договаривались, поскольку вы сами не пожелали продлить уже устаревший контракт.

У нее *глубокое* лицо. Оно затягивает нежно, неотвратимо. В него хочется нырнуть и бес-конечно долго в нем плыть куда-то в очень родную, незнакомую даль, где ты всегда будешь своим и долгожданным, где тебе всякий раз ясно, хорошо улыбнуться и расскажут на ночь не страшную сказку, совсем не страшную сказку ни о чем и обо всем...

В ее взгляде чудесная замедленность, обожаемая мной. Она смотрит с оттяжкой, слов-но бы с отступом. Ведь память так смотрит! Она из памяти, оказывается, смотрит. Медлен-но-медленно выбирает меня из прошлого. Выберет ли? Или в своем прошлом она нигде меня не узнает? Может, я никогда там и не бывал, в отдаленности этой неповторимо милой, страшно притягательной женщины, с которой нас только что познакомили.



Наконец-то я начал, прерванный было десятилетним отсутствием, жить свою, а не чужую жизнь—не мерзостно чужую и никакую, за которую к тому же не уставали попрекать постоянно—что ты ее не так живешь, неверно ею пользуешься и неправильно ее тратишь, а надо эту чужую жизнь жить вот так-то и особенно вот так-то, а не кривобоко по-своему, как только один ты черт-те как умеешь!

Ура! Я поймал свою жизнь! Милая моя ненаглядная синица! Милый мой долгожданный журавль! Как, и ты здесь тоже? Какими судьбами? Так вы неожиданно двое, что сразу вас мне и не вместить... Ну, пролетайте скорее в светлицу, в тесноте, да не в обиде... Я не буду насильно вам мил!

Кажется, мне одному живется на свете и в прочих местах легко и просторно. У всех имеется всегда при себе какое-нибудь горе, пусть запасное. А я свое вечно где-нибудь теряю или забываю случайно в гостях. Вот такой неумеха я и растеряха. Никакого приличного горя мне, конечно, доверить совершенно нельзя—уж непременно утрачу, ибо на горе я, повторяюсь, немислимая растяпа и, можно сказать, простота, что похуже и воровства.

Настоятельно повторяю: я всем и во всем должен! Можно приходить за своими долгами. Я готов уже со всеми расплачиваться. Первая выплата пойдет пока бартером, так как с наличкой у меня туговато. Потом—чем придется. Но придется обязательно, вы не волнуйтесь! Потом, за неимением ничего,—кусками личной своей говядины, слишком пышно именуемой телом Володина В. Ф. Потом—некой красненькой жидкостью, кровь называется, если кто позабыл.

Дальше—больше. Дальше—покажет время, чем долги свои с меня изымать. Приходите! Хоть что придется для вас, да останется! С пустыми руками от меня еще никто не уходил.

Опять наступили самые лучшие мои годы.

И самое приятное—их себе целиком я сотворил. Сам выпестовал их среди терпенья, надежд, в пустынных долинах убийственно медленных ожиданий. Я создал эти годы практически из ничего. Потому что их быть уже не должно было. Я все их давно должен был уж изжить, раскрошить, рассорить.

Их выкроил я из лишнего небытия кой-какого, оставшегося от прежних пошивок, лоскутьев, обрезков. Я все, все собрал по тщательным крохам и сшил себе навьюрок новую жизнь.

Как вприору она мне оказалась! Не давир вроде нигде и не жмет... Вот эти полупальто я сбавил себе, просто зашибись! Просто умереть и не встать! Этой вещице сносу явно не будет.

Нигде не хотел бы жить, нигде! Кроме: только Саратов, только Россия, только благословенный и любезнейший студгородок! Это мое подлинное место, это мое подлинное время, это мое подлинное, очень легко и весело принимающее себя Я. Это и есть все то, чего мне с избытком хватит от жизни. Это и есть настоящее, не поддельное и не придуманное счастье. Остальные счастья и другие нехватки я как-нибудь доберу из временных трудностей. Да они и сами ко мне приложатся, уж не удержатся, ведь притяжение счастья всегда велико, его не одолеть ничему, даже силе земного тяготения. Смотрю, все счастья наперегонки побежали ко мне, на ходу маленько соряясь меж собой за право обладания мною... уж и вы, родные, без ссор не можете обойтись—уймитесь. Меня на всех теперь хватит, вы не устраивайте из меня раздрая... Не успеваю их сортировать и оприходовать.

Итак, по всем, самым завышенным, меркам мы имеем перед собой абсолютно ясный симптомокомплекс состоявшегося безмерно человека. Да плюс ко всему, чуть в счастливой суматохе совсем не забыл: деревьев насадил—лес, детей родил—маленькую страну, дом—хотя бы не сжег, дров наломал—лихие кубометры... оп! что-то не в ту степь вырулило, но это ничего, сейчас свернем в правильную местность... смерть свою—очень естественно пережил, как море переплыл, даже и не хочется множить еще перечень удач, столь он пышен и без длиннот. Я готов теперь ко всему! Даже к чему-нибудь неживому, чтобы мною возникло оно неуклонно живым! А уж к рождению готов—в первую очередь, тут и говорить нечего! К рождению питаю чувства особые, невыносимые. Вот-вот разрешусь... что, конечно, не приведи господи, ибо не пристало мужчине заграбастывать роды у женщин, оставляя их без занятий. Хотя дело к тому идет. И если в ближайшие десять лет женщины будут упорствовать в создании трудностей с народонаселением, продолжат по-прежнему мурьжить с новыми ребятами, в ход придется пустить нас, косвенный засадной пол, тогда уж поневоле покажем всю слабость свою в полную силу. Обещаю со временем возглавить это беременное мужское движение, чреватое прибылью небывалого, изумительно нового качества...

Куда мне столько привалившего в нежданности счастья?! Все склады, все подсобки уже позабиты, а все прибывает и прибывает. Придется, видимо, приступить к расширению производства... Опять множить без нужды нелепые сущности домашнего хозяйства... А вот этого-

то как раз крепче крепкого бы и не хотелось. С детства отважно и грубо не люблю кризисов перепроизводства, капитализма и пышных форм раскормленных жизней. Так как я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал... хоть калякать-малякать умею лишь примитивно, до смешного нелепо... но угол, угол-то свой уж я изображу, свой характер покажу! угол свой никому не отдам, ничьим собственностям и выражениям!

Я все-таки нарисовал, отчетливо остро нарисовал себе угловатое будущее—таким, каким и хотел его всегда жить! И я жить его буду исправно. В этом доме в починке еще долго не будет нужды...

Все-таки я неукротимо счастливый человек, горя хорошего на меня нету!

И с теми же двумя предыдущими словами—жив: неукротимо счастливо. Вот! Теперь эти слова стали и последующими. Далеко последующими, подозреваю,—а я слова люблю подозревать в чем бы то ни было, даже и в самом невероятном, даже и в небывалых поступках, правда хороших, потому что слова не умеют поступать дурно. Добавлю и еще одно слово, для закрепления пройденного материала: безудержно. То есть не просто безудержно—это было бы слишком голо рвачески,—а безудержно счастливый. Вот! Теперь попал в самую что ни на есть точку. Не ожидали счастья увидеть таким? А оно вот такое, уж не взвыщите! В точке вообще много хорошего, только незримо и упокойно. Точка—штука весьма субстанциональная и себе на уме, запасы счастья в ней поистине неисчерпаемые, филологической разведке до скончания времен придется упорно потеть.

Можно несколько верхних фраз отобрать и для будущей умно схватывающей мою суть эпитафии, перед моим жизнерадостным и жизнеутверждающим входом в мир иной, который, впрочем, всегда, на всякий пожарный, ношу с собой, так как с детства, помимо того, что не приучен быть негром, наоборот, приучен к аккуратности и привык все свое носить с собой. (Только верхние фразы для эпитафии выбирайте не сторяча и не лениво, а то схватите первое попавшееся *И с теми же двумя предыдущими...* Что это за эпитафия? Это позор будет мне, а не эпитафия! Что могут подумать обо мне порядочные предстоящие люди? Вор, что ли, тут разлегся периода дикого накопления капитала? Хапанул себе пару миллиончиков чего-то там предыдущего и совсем без совести здесь нам поваливается в пышном уснии, пороча честное будущее!) Опять же, если дома или пошире непредусмотренный пожар, у меня как раз все уцелеет. И я всегда принесу это вам, с полным моим удовольствием и полной охапкой. Только не отрекайтесь как попало иль с видимым бешенством. Иначе любовь получится странной, а может, и никакой, а это было бы взаимно отсутствующе—скверней и не придумать уже ничего.

Благодарю Тебя, Господи, за то, что случайно не выкинул меня по дороге с каким-нибудь нечаянным мусором.

*Неверкино—Саратов, 2003—2007*





В СВОЕМ ФОРМАТЕ

**Татьяна  
Грауз**

# Рассказы

**Восполнение  
Пробуждения  
Это было**



*Рис. Екатерины Лаврентьевой (Саратов)*

## ВОСПОЛНЕНИЕ

– Знаешь, я хотела рассказать о нас, но что?

*«а поскольку знала она не больше слов, чем знают другие, пришлось называть это влюбленностью»\**

– Я пишу не о нас, эти несколько листов – не о нас, но пусть будут.

во дворе дома яблоня зацвела. она видела ее или в окне, или в отражении в зеркале, когда сидела за книгой в той в дальней комнате. и почувствовала слабый запах цветения

– А у Мердок невнятные отношения и немного запутан сюжет.

с дерева осыпались мелкие матовые лепестки

– Вспомнила.

первые слова на темной лестнице  
мелькнуло-погасло  
столкнулись  
сказали друг другу что-то случайное

через несколько дней они встретились. так и встречались. не договариваясь *где* и *когда*. ехали бог весть куда. он помнил *когда*. она забывала *где*. и волновалась. ей нравилась его откровенность, нравилось, когда прикасался к шраму. от нежности становилась прозрачной. потом *где-и-когда* выходила на витиеватый чугунный балкон, смотрела как все вокруг розовеет. и было это *где?-где-то-на-юге?* он уверял с высоты открывается вид. тащилась на гору. пялилась на цвета речного песка его майку. пот выступал, разгорячилось лицо, стало вдруг простодушным. и над обрывом, по-обезьяньи цепляясь, он стал взбираться на дерево. дерево называлось кизил

закричала. вслух или нет? не помнила. помнила только, как стояла как вкопанная и смотрела как падал. что делать? бежать в этот чертов поселок. в милицию. ждать пока два незнакомых неторопливых приедут. будут смотреть на искаженное смертью лицо?

**ТАТЬЯНА ГРАУЗ**

родилась  
в г. Челябинске.  
Окончила медицинский  
институт  
и ГИТИС (факультет  
театроведения).  
Публиковалась  
в журналах  
«Крещатик»,  
«Комментарии»,  
«Футурум АРТ», «Дети  
Ра», «Черновик» и др.,  
в альманахах «Перелом  
ангела», «Скандинавия–  
Поволжье», «Академия  
Зауми», «То самое  
электричество» и др.  
Вышли книги  
«Пространство Иного»,  
(2004), «Они прозрачнее  
неба» (2005).  
Живет в Москве.

\* Из рассказа И. Бахман

*«ну успокойся ну все хорошо что ты волнуешься так»* в ладонях спелые ягоды с вяжущим вкусом

он прыгал. лежал на волнах. кричал *«в детстве мы доплывали с отцом до буйков а однажды чуть было не утонули»*. море искрилось. пустынное побережье. прохладные камни. неожиданно дождь налетел. заторопились в крошечный номер. полупустая гостиница. лежали, смотрели сквозь жалюзи на темное небо

утром пораньше (в полуподвальчике пахло плесенью, влагой, милой домашностью) она покупала влажный, чуть желтоватый сыр, пресный душистый лавац, молодое вино в пластиковой бутылки. и продавец (звали его на русский манер дядя вая) дышал табаком и был черен как море

в полдень они добрались до старинного кладбища. от усталости ноги совсем заплетались. она, посмотрев на высокие урны, сказала *«я бы хотела чтоб прах мой развеяли над рекой над мостом над тем помнишь?»* он засмеялся, ответил, что *«обязательно»*. она вдруг обиделась, замолчала. он вскоре вернулся с боржомом, снял с ног ее туфли, сорвал лист подорожника, лизнув по пластинке, приклеил к мизинцу

потом набрели на униатскую церковь. там было венчание. *она-полноватая-в-кремовом-платье-со-старинным-шитьем-он-приземистый-чуть-приземленный-испуганно-важный* картинно стояли перед аналоем. и горстка гостей приглушенно торжественно переговаривалась. она вдруг расплакалась. а за ужином в гостиничном баре выпила, захмелела, болтала без умолку, закурила, от первой затяжки ее затошнило, а он все подтрунивал над чувствительностью ее

*– Ну вот – так коротко – из восьми я оставила только эти листы – но разве рассказ может быть так завершен?*

## ПРОБУЖДЕНИЯ

*плыл вечер – темной прижимаясь к плечам – прокаженно покачивались фонари – волоком волочилась улица к мутному парку – стыл-ныл снегопад – ныл-стыл в подворотне ребенок – сном забвения склонилась над ним опустошенная мать, что-то нелгое бормоча, настраиваясь на его младенческий лепет – город корчи-ся болью – в матери корчилась старуха с тупым выражением безразличия на лице – стульчик складной для часов литургии беззубый-беззубый рот – а в глазах распорядок постылых тусклых движений*

больно смотреть как страдает-не-знает душа как выбраться из морока выско-чить в тихое и блаженное к озеру своему как прийти заискриться-потосковать с сестрами-соснами стать им верной подругой я так беспомощна *ма*

*влажной копотью оживает порой человек землей оживает брожением звезд что колышутся в проталинах ночи земной*

вспомнила женщину, у которой недавно сын умер. Девять месяцев он угасал и опять превращался в младенца. Когда не мог говорить – лицом тосковал. А женщина неумолчно звенела, гладила тепломолочную кожу, а утром тайком припадала к темному чудотворцу, слушала, как потрескивают и истлевают свечи, как гаснет заутреня, и чистый ее понедельник сменялся страстной пятницей, а прикосновения к хрупкому телу (два раза в неделю она протирала его влажной губкой) сменялись горькой настойкой. Сын стыдился беспомощности, и с каждым днем в нем пронзительней синела душа. К концу девятого месяца и она угасла совсем

на крыльце, на ступенях гладких, отполированных, но кое-где прогнивших уже, перебирали спелую вишню. «Ну почему почему люди как перебинтованные, и не пригреть, не приласкать». Шелестела вечерняя тишина. Окно в дальней комнате поскрипывало. Слышно было как рама отходит, солнце медленно проползает по полу, осветляя кровать с металлическими набалдашниками и витым металлическим изголовьем, столик мелких вещиц, книгу темно-вишневого переплета

а день поначалу кажется сереньким как лицо. Яблони шумят. Кулачок под щекой ее мерзнет. Она слушает шепот. Травяной и влажный шепот земли. Хмурятся над нею события, как небо перед дождем. Вот человек будто день дождливый сидит поодаль. И пригрела бы его, и приласкала, да чудится, отвернет он лицо, испугается нечаянного приближения и уткнется в свое человеческое, будто в камень уткнется, и будет поры-шероховатости высматривать, а листву над головой не заметит, не то что лицо ее улыбочиво-простодушное

*откуда-то холодом потянуло ветка качнулась тяжеломерно блаженно вздохнула душа*

зашевелился вдруг человек, расправил узкие плечи, похлопал-погладил себя неловко по бедрам и двинулся в глубину сада, туда, где темнота в лихорадке сплетается с волокнами света. Ухнуло яблоко. Она потянулась к душистой округлости всем телом своим. Склонилась и долго вдыхала яблочный дух, запах листьев, сеточками кружевными оплетших стрелки травы, и прошептала «люблю», а трава в ответ вздрогнула от благодарности. Сад засыпал. Небо двигалось над блаженной сонной его пустотой. Зябли зеленовато над листьями звезды. Она уходила в дом. И повторяла слова, которые много столетий так же шептали те, кто жил до нее, и будут шептать те, кто придет уже после, чтобы дышать этим небом, этим воздухом млечным, этой любовью

раннее-раннее утро. Дом тих и так пуст, что казалось, если по комнатам пройти осторожно, они выпустят в свою прохладную млечность, и даже не скрипнет паркет, будто ступает она по нему словно дух-серафим. Как любила она истории про серафимов и ангелов. Казалось, за занавеской в той дальней комнате, где углы сыроваты и плесень от пола цветет, где лесом пахнет, землей, там ангелы и серафимы таятся. А в доме давно живут муравьи. Узкими нитями вьется их муравьиное, их трудовое несуетно извивается. Она приседает на корточки и глядит как под кроватью, застланной чуть синеватыми простынями с чуть синеватым тяжелым шитьем, под кроватью тени жмурятся. Мягкая пыль устилает блестящий паркет, оставляя лишь островки от случайных прикосновений ладонью. Она взбиралась по лесенке на чердак. Голыми ступнями вверх-вверх-и-вверх в светлый мир, где царствуют короба с пшеничной мукой, а рядом — с чуть более грубой палеовой кукурузной. «Как хорошо!» Даже не вздох, а «как хорошо!» колыхнется в воздухе, как паутина. И по невидимой нити этого «как хорошо!» спускается ее паучок, ее маленький бог, ее детство. И вместе с божком-паучком пробирается она на дивное и последнее небо

*за окном комнаты осыпается вишня бьются о стекла жуки озаренность*

*«там — на пригорке — видишь — кто-то в белом стоит» — «это акация это акация, ма»*

горбуном Д. Е. был не от рождения. От рождения он был высок и худ и закончил школу в Борисоглебске, где мы с ним и повстречались, когда в полуподвальчике цветаевского особняка выпивали кислое до оскомины вино. И крошки печенья из включенной бороды Д. Е. осыпались на острые его колени. Он не замечал этого и продолжал, силло дыша, вышептывать последние свои стихи. Потом я узнала, что Д. Е. надломил позвоночник где-то в степях Таджикистана, а сейчас живет неприкаянно и одиноко в неотапливаемой узкой комнатке второго этажа,

на 47 километре, бранится с соседкой Аграфеной, пестует свое дворянство, раздражаясь на аграфениных кур-пеструшек и голубоватую расхристанно растущую под окнами капусту. На его уделе дачной земли ничего кроме черной ряски на мелком озерце не растет, лишь доживает свой древесный век искалеченная лиственница, под которой кренился ветхий шалаш с двумя обитыми красноватым дерматином сиденьями от автомобиля. В жидкой тени лиственницы Д. Е. любит цедить третьезаварочный чай, оды Державина и восклицать, что семичасовую электричку, может, и отменили, но стоит-стоит поторопиться. Откуда-то он приволакивает покоцанный детский велосипед и, опережая меня, скрипит через ельник на станцию. На платформе (чтобы спина не болела) вскарабкивается на угол ограды и, тяжело дыша, вглядывается слезящимися от напряженья глазами в чернеющее за моей спиной небо

*а у меня нудная чуть выше 37 и 5 температура—под утро мне снится несколько дней один сон—больница—женщины-санитарки граблями в коридорах разгребают рыхлую землю и сеют-сеют зерно—только одна санитарка пальцами выковыривает из земли какие-то корешки болезненно так выковыривает пальцами из земли корешки*

*вечерет. Воздух морозен и стыл. Кажется, если рукой проведешь, след виснет. В снегу меж деревьев тропинка, когда пробегаешь по ней—яблоком: свежим хрустит*

яблочный дух чист и светел—ма приоткрыла калитку ждет кого-то из темноты—тайна сумерек августа—«не уходи, ма, постой чуть подольше»—клокочет в горле невысказанное пульсирует сквозь листву

на захолустной станции раннее утро. сквозь запыленные стекла тающий свет. замороженные тишиной в гулкое здание станции входят две женщины, переговариваются приглушенно, садятся поодаль. В лице у одной что-то до боли знакомое—родимое пятнышко на виске (как у ма), тот же чуть длинноватый (она стыдилась всегда) нос с горбинкой. Дешевая кофточка, юбка мягкого шелка. Ту-что-моложе вижу лишь со спины напряженной и шуплой. Навязчивый звук за окном. Отвлекаюсь. В тени облаков угасают, подрагивают тополя. Сквозь них—будто звенит—блаженно—как у Вермеера—свет. Вижу как женщины (молодая и та-что-постарше) неспешно идут по перрону. Из сумки обшитой стеклярусом та-что-постарше вынула и подбрасывает в светло-синее небо пригоршню лепестков. Вторая сосредоточенно наклоняет бутылку, выплескивает из нее красноватую жидкость. Звон колокольни ширится пустотой. Станционный громковещатель что-то хрипло бормочет. Я так беспомощна, ма

## ЭТО БЫЛО

*«в полночь зацветает мое сердце»  
из ацтекской поэмы*

я лежала на плоских камнях и пыталась читать твою книгу.

какая-то женщина ходила по пляжу, наклонялась к мусорным бакам и причитала, что старая и больна. я уже знала—женщина собирает баночки из-под пива, так ласково их она называет. шуршит башмаками. что-то в женщине этой давно надломилось от этих заглядываний под лавки, от этих наклонов к мусорным бакам, где копеечные ее драгоценности поблескивают опустело. шурясь в кроткой улыб-

ке, *шумчик* (так про себя я ее назвала) шепчет кому-то «вы приходите, я буду рада, только к вечеру ближе»

впервые заметила ее несколько дней назад. чуть полновата, узкие запястья, в осанке благородство. поэтому, вероятно, когда думала о ней, хотелось поместить ее туда, где «теплая вечерняя прохлада. поскрипывают деревянные ставни. голубоватая выцветшая краска приближается к глазам, потом отдалается. приоткрываются те (дальние) берега. какая-то птица, какие-то шорохи, всхлипы. *шумчик* вглядывается в сияние вечера. звякнула ложка. кто-то из обитателей дома размешивал чай. запах листа земляничного. и так защемило в груди, будто только сейчас поняла как быть и как жить в том милом кругу, где перешептываются, улыбаются, где скатерть бела как еще ненаписанное, а лимонница за край вазочки зацепилась и опускает свой хоботок в янтарное и абрикосовое. а у *петраваныча* ворот рубахи расстегнут и узкий шрам (телеграфная строчка) восходит к ярменной ложбине. кожа *петраваныча* от солнца чуть красновата и притягательна. *петриваныч* шутит, напоминает подробности ранней рыбалки, а *шумчик* мило так уклоняется от нелепых расспросов, смотрит то на *петраваныча*, то на деда.

пол чердака усыпан орехами. мята, чабрец, иссушенные духотой позднего лета, дурманят. старинная карта с терракотой двух полушарий, синькой чуть выцветших океанов от ветра шуршит на стене. *шумчик* мысленно перебирается через коричневатую густоту-высоту-близость альп, точно в ней дух суворова. *шумчик* (когда была девочкой) любила сидеть на чердаке. взрослые редко заглядывали туда. лишь бабушка вносила нарезанное. яблоки-груши. или мама, переступая грецко-орехово-мятное, ступая по островкам пустоты, вглядывалась в блеклое небо. над горизонтом висела лакричная долька»

*шумчик*. я перелистнула страницу. у женщины волосы такого же цвета как эта стена. она не замечает, присела на лавочку. а стена за спиной её цвета ее волос.

«тусклое зимнее утро. неприятное щелканье лампочки. и опять, в который уж раз, *шумчик*, идиотически приоткрыв круглый рот, смотрит, как поры на сизых щеках ее деда под жирным слоем белил исчезают. и что-то в исчезновении этом было и притягательное, и отвратительное всегда. особенно в том, как дед двумя пальцами, оттопырив мизинец, натягивал на виски паричок. голова его напоминает отполированную прибоём крупную гальку. и «чтоб заgrimировать это чудо в ч-у-ю-ю-ю-довище» — выдувала-сопела теплом своим мама, — «чтоб заgrimировать под чудовище это, мне пришлось обращаться к *тетемарусе*. помнишь *тетемарусю*? она гардеробщицей в театре в те годы служила. когда мы зашли — помнишь? — нам пришлось долго томиться в гулком фойе. ты порывалась аукать. я гладила тебя по мягоньким волосам. непоседа. от скуки ты пялилась на плюшевую обивку кушеток. от цвета вишнево-ворсистого тебя (как я помню) мутило. в детстве ты ужас была как восприимчива». гвоздики-каблуки *тетемаруси* по мраморным плитам то удалялись, то приближались. потом стук умолк. хрустнул пакет. и нечто резиново-желтое с прядками коротко стриженной пакли высунулось из целлофана. *тетемаруся* угодливо изобразила улыбку и торопливо-брезгливо скомкала несколько бумажных купюр

бородка, тщательно выстригавшаяся, пиджак, уже лоснящийся на рукавах, неестественная возбужденность, когда, проворачивая сломанный дверной замок, дед оставлял в воздухе прихожей свое фальшивое «ну, родные мои, пока». и мама, потупив взгляд, прислонялась к косяку двери. а однажды, забыв что он свежеевыкрашен, приклеилась к маслянистой его белизне. и *шумчик* долго хмелела от запаха краски от старенькой маминой кофты

она не пыталась увязываться за дедом. только однажды, когда послали за хлебом, сквозь замызанное стекло остановки заметила, как дед пристыженно шурится, приобнимает кого-то

весь вечер *шумчик* сидела в оцепенении на стылом полу ванной комнаты, смотрела как прыгают, гримасничая, по кафелю тени»

всматриваюсь в лицо девочки на фотографии в твоей книге. в лице девочки скорбь. скорбь придает полудетским чертам необычайную прелесть. а за спиной ее – ветки жасмина.

и я вспомнила, как бежала тропинкой мимо кустов бузины, мимо вишневых деревьев. смола. клейкая камедь. пробуешь – только слабосмолистый вишневый чуть пресный вкус. недоумение. сколько мне было лет? пять-четыре? жучки пробегают по дереву. их называют «солдатики». тельце чуть удлиненное, узор геометрический и разрисован как щит. в зеленом омуте вишни любила прятаться. ветви колышутся переливаются, что-то томительно-самозабвенное в переплетении-переливах ветвей. может поэтому мне так мучительно нравился трабль. воздух вибрирует от жары. в ложбине между корней я забывалась сном. слышала лишь как гудят насекомые, как в этот гул врывается хриплый шелест колес. это приехал рыжий такой человек *дядямиша*, застенчивый, с веснушчатой кожей. сквозь сон, сквозь жару припоминаю пестрые руки его, волоски золотистые, робость

тогда мне хотелось, чтобы мимические движения, повороты головы, всплески нечленораздельных звуков, которые я издавала, назывались *золотистым* смехом. запах земли и асфальта по вечерам был слегка приглушен, смешан с запахом свежей сирени, прохладным, спокойным, как голос родственницы в сиреновом платье с маленьким вырезом на спине. *золотистость* сквозь крошечный треугольник в шелковом платье. сколько той *дальнейродственнице* было в ту пору лет? как? она жена *дядимиши*? как? уже родила? (каждая фраза чуть вверх, чуть возносится). *дальняяродственница* смеется прерывисто. по вечерам *дальняяродственница* выходит из дома. нет, это не вечер, а почти ночь. треугольник у копчика на спине золотится. *дальняяродственница* с вишневым компотом. в такие часы она одинока. в такие часы она *дальняяродственница*. она прикрывает дверь, где спит ее *дядямиша*, и выходит, сидит на скамейке, немного расставив колени. пьет вишневый компот. *золотится* и чем-то утомлена. ночь *дальняяродственница* пустынна

только сейчас, перечитывая твою книгу, я поняла, что есть книги, которые я читаю весной. октавио пас никогда не читала зимой. тракля вновь открываю лишь в мае. бодлера, рембо, лотреамона люблю читать в августе. ингебор бахман в июле, как и сефериса, и сен-жон перса, а пушкина, особенно прозу, «у камелька», под рождество. а летом, ну летом, в самом начале июня, люблю влажный запах слов твоих вчитывать в сплетения рук губы отрешены от наивных значений волосы в татуировке солнечных пятен отсветом промелькнули по сердцевине зрачка вполголоса проговариваю изгибы линий твоих если бы кавабата умолк я бы уговорила озеро зазеленеть зонт сиреневый покатился бы по пустырю и было бы это как уверял кавабата *дзен* зонт сиреневый в пустоте.

**Евгений  
Стрелков**

# Приглашение к путешествию малой скоростью

**ЕВГЕНИЙ СТРЕЛКОВ**  
родился в 1963 году  
в городе Тавда на Урале.  
Закончил Горьковский  
госуниверситет  
(1985) (специальность  
«радиофизика»).

С 1990 года –  
свободный художник,  
литератор, редактор  
литературного  
альманаха «Дирижабль».

Литературные  
публикации в альманахе  
«Дирижабль» (Нижний  
Новгород), журналах  
«Messive» (Париж),  
«IF» (Марсель), «Волга»  
(Саратов)

**Д**орогой Д., лето кончилось, лета нет, пишешь ты... Значит, пора думать о путешествии в Ялту. И, как обычно, выбирать для этого глухой сезон, скажем, ноябрь.

Когда доберешься до Симферополя, сядешь на вокзале в 52-й троллейбус: через три часа, уже в Ялте, пересядешь на троллейбус №1 – до набережной. Там перейдешь сухую реку по мосту и мокрую дорогу по зебре – гостиница «Крым». Заходи и спрашивай пятьсот первый номер, он под самой крышей.

Уже через день ты будешь узнавать по оперению всех голубей, перемешивающих небо над старым рынком. Они ночуют под карнизом в полуметре от твоих окон и с утра промачивают горло дождевой водой из трещин в кирпичной кладке образца 1917 года. Ты выпьешь с раннего утра вместе с голубями – но не воду, а недопитый с вечера массандровский портвейн. Ты





будешь глядеть вокруг голубиными глазами: поднимать их на панораму гор и опускать на запоздалых барышень, цокающих каблуками по мостовой Графского проезда. Одно препятствие мешает тебе рассмотреть и то и другое яснее – на всех трех окнах номера полулюкс отсутствуют ручки, поворотом которых эти окна должны открываться.

Первопроходцы «Крыма» при таком обороте, словно в компьютерной игре, блуждают по всем пяти этажам гостиницы в поисках горничной Светланы, которая торжественно вручает им переходящую ручку (вырвав ее тут же из ближайшей рамы, кажется, 408-го номера). Но ты-то, крымский луноход-два, наученный опытом предшественника, еще от железнодорожного перегона Тула–Ясная Поляна и до самого Симферополя будешь сжимать искомую ручку в собственном кармане. Ты заранее выкрутишь ее из фрамуги в подъезде казанской девятиэтажки и так будешь рад, когда она ловко войдет в гнездо оконного замка старой облупленной рамы на пятом голубином этаже в трех минутах от моря...

Ты спрашиваешь о расходах? Они невелики – 1200 рублей стоит плацкарта южного поезда. В стоимость входят: пятиминутная стоянка на тульском перроне (зябком еще по-московски); покупка раков в Курске (непременная традиция), вечерний, совсем курортный моцион по перрону в Орле. После Орла – сумерки и Белгород. Потом незлая сутолока – граница, затем сонное Запорожье и, наконец, утро – с видом на Сиваш. По-моему, за все это 1200 рублей – недорого.

Дальше – счет в гривнах, их надо умножать на пять с половиной. Десять гривен с человека – троллейбус до Ялты. Он, конечно, дырявый, как дурышлаг, и на Ангарском перевале стылый ветер с Чатырдага будет задираť юбки пассажиров (к их беспокойству и твоему нескромному удовольствию), но тем приятнее будет спуск в теплую долину Алушты.

Позавтракать в столовой – сушая мелочь, пять или восемь гривен. (О, эти приморские столовые с вытертыми бархатными скатертями на столах, разместившиеся в бывших офицерских клубах и вестибулях синаматографов! Одна такая столовая расположена в гостинице «Крым», а другая, «Сирень», – по соседству, на улице Рузвельта.)

Ресторан обойдется дороже: в уютном «Острове сокровищ» прямо у причала можно посидеть вдвоем на сотню гривен (пиастры, пиастры!). Вообще, все удовольствия справедливо небесплатны – канатная дорога с внутренней песней про город золотой – семь гривен в одну сторону (обратный билет не нужен, ты спустишься под лай собак по дорожкам, зажатым увитыми плющом подпорными стенками, – где еще такое встретишь?). Да, холодный, но просторный номер в гостинице «Крым» будет стоить не намного дороже, чем номер в любимом тобой нижегородском «Волжском откосе». Конечно, дешевле будет снять комнату, но нам ли с тобой не любить пыльный дух ветхих гостиниц!

\*\*\*

Мой Д., я выливаю в прихваченную из Ялты рюмку остаток коньяка (моя ялтинская клептомания позволяет пополнять эту коллекцию вот уже двадцать пять лет – срок почти нечеловеческий!) и продолжаю беседу с тобой – увы, лишь заочную.

Ялта – удивительно плотный набор сущностей с волшебной возможностью чередовать их, как в калейдоскопе: мгновенно. Едва проснувшись, набросив плащ



и сунув в один карман расшитое гостиничными вензелями полотенце, а в другой – предусмотрительно недопитую ввечеру коньячную фляжку, спускаешься с пятого этажа мимо сонного портье и попадаешь в поперечно-слоистую среду: стоянка такси у гостиничного подъезда, круглосуточный обменник, ночной гастроном, таверна, отель, церковь, кафе, часовня, порт, пляж – четыре минуты неспешного шага на весь список! Столь же быстро совершается обратный переход – от волно-резов и погнутых пляжных зонтиков до распивочной, которая, пока ты купаешься, уже заполняется (это в восемь-то утра!) местным людом, столь же удивительно разнообразным на таком скромном масштабе, как и окружающая этот люд архитектура.

После согревающей рюмки хереса (награда за осеннее купание) идешь на набережную обозреть «линию кефали». Кефаль приходит к ялтинскому берегу только под Рождество – чуть раньше или чуть позже (зависит от ветров и течений). И когда идет кефаль, вся набережная – с раннего утра – покрыта рыбаками. Вместе с ними спозаранку выходишь на берег – тебя привлекает пластика занятых внимательным делом людей. Твой взгляд так же внимателен – правда, ловишь ты не рыбу, но человек.

Ты ведь согласишься, что цепочка расставленных то ближе, то дальше фигур напоминает график? Число рыбаков на берегу зависит от количества рыбы у берега, от погоды и времени суток. А также от распорядка их, рыбаков, человеческих жизней: рабочих и праздничных дней, обеденных перерывов, транспортного расписания и сетки телевидения, настроения и самочувствия, возраста...

Через фигуру (вместе с их отражениями в мокром асфальте) кажется эхограммой Черного моря, бумажной лентой для старинной музыкальной машины. И непременно хочется озвучить эту ленту, услышать музыку необозримого и непонятного мира кефали, удивительным образом соединенного с обозримым, но столь же непонятым миром обыденного человеческого существования.

И на эту музыку кефали сами ложатся короткие, как радиogramмы, ялтинские тексты:

глотка морского порта  
затыкает зевком циклопа.  
тяжелое брюхо ялты

\* \* \*

раскаленные радиаторы –  
артерии душевного чрева  
(дом?.. краб?.. крым?)  
ночные трубные звуки

\* \* \*

надтреснутый ропот фаянса  
морзянка сбежавших капель –  
сообщения ржавых сосудов  
утроба левиафана

\* \* \*

На обратном пути на границе, проверяя паспорт, молодой офицер вдруг спросит почти библейским слогом: каково твое занятие... что гонит тебя? Разведешь руками.

Уже в Москве зайдешь в людное модное место, закажешь тарелку «зеленого моря» (мидии и ракушки), будешь черпать суп и в такт бормотать строки, пришедшие в голову ранним утром за столиком у окна в кафетерии гастронома № 1, что на ялтинской набережной:

Вдруг обнаружил в стекле очков скол –  
неглубокую раковину...  
а я-то который раз пытался стирать слезу...

# Алексей Маслов

*АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ  
родился в 1981 году в  
г. Джанкой (республика  
Крым), переехал  
в Саратов, закончил  
Саратовский  
педагогический колледж,  
в 2005 году завершил  
обучение в Российском  
государственном  
социальном институте  
(филиал в г. Саратов),  
факультет – Социальная  
работа. В 2006 году  
поступил в аспирантуру  
Саратовского  
государственного  
технического  
университета.  
Публиковался  
в альманахе «Василиск».  
В журнале «Волга –  
XXI век» публикуется  
впервые.*

\* \* \*

За стенкой  
Дома –  
На две семьи –  
Подстанывает сосед,  
Сатанится.  
Живет на сборы урожая  
Металлолома.  
Мне  
Нравится его  
Одиночество.  
Хотя,  
Он, наверное, страдает,  
Так же, как  
Страдают на искончании  
Жизни.  
Перехожу в другое  
Место.  
Туда, где тишина.  
Стою в снях,  
Заламывая руки за спиной  
И планируя  
Следующий день,  
И планируя  
Прожитый заново.  
Что я сделал сегодня.  
Чтобы мог сделать.  
Чего не сделал.  
И что хуже всего – зачем  
Я был  
В этом дне.  
Отдал долг и не сказал слов  
Благодарности,  
Купил книгу и не спросил  
Совета,  
Написал несколько текстов и  
Не перекрестился.  
Я был в этом дне и не поделился  
Им с другими.  
Альтруизм рождается от  
Избытка,  
А творчество от  
Недостатка.  
Перехожу в другое место –  
на кровать.  
Пора бы ложиться спать.  
Смотреть кошмары, как комедийное

Кино.  
 Первобытный страх или смех?  
 И завести дневник кипучих  
 Сновидений.  
 И спать, спать, спать...  
 Я был в этом дне.

\* \* \*

Кот противный:  
 Заберется в стол и  
 Присосется к батону,  
 И жует его потихоньку.  
 Как только появишься –  
 Он все видит из стола –  
 Прыг и шепентом от-  
 Туда,  
 Исчезает, как не  
 бывало.  
 Только обсосанный батон  
 Остается да загадки  
 Существования  
 Детей животного мира.  
 Исчезнет и снова появится –  
 Шепелявый котище, –  
 Раздутый от саратовского  
 Хлеба,  
 И давай драть во все горло  
 Свои кошачьи песни,  
 И рвать своими когтями  
 Старенький  
 Диван.  
 А ну, брысь, пошел  
 Отсюдова,  
 Кончай драть!  
 Не надо бить его по голове,  
 Для этого есть зад, –  
 А то он станет дурачком.  
 Ведь он и так уж полоумный.  
 Тогда, поди, допросишься с  
 Него  
 Разгадок  
 Существования детей природы.  
 А он и так не расскажет.  
 И я не говорю.  
 Мы отпускаем жизнь  
 И тихо дремлем.

\* \* \*

Было дело:  
 Летал по городу кусок целлофана –  
 Некогда атрибут авангардного текстиля, –  
 И со словами: «Чего я кусочек?»,  
 Пытался прикрепиться к действительности:

К ногам прохожих,  
 Скрюченным в три погибели столбам,  
 Серым зданиям и другим кускам целлофана.  
 Но все, к чему он ни прикасался,  
 Только отталкивало его, а жители этого серого  
 Города,  
 Смеясь, злобно его пинали и матерились.  
 Он был одинок  
 И часто изливал целлофановые слезы из своих  
 Целлофановых глазенок от чистого целлофанового  
 Сердца.  
 «Где же ты, Боже?!» – впопыхах восклицал,  
 отчаявшись и гоняясь по искривленным улицам бытия.  
 А потом приехал мусоровоз, подобрал горе-бродягу и  
 Повез на городскую свалку.  
 И нашел он там тысячи заживо захороненных собратьев:  
 Никому не нужных, отработанных кусочков  
 Целлофановых жизней.  
 И придавило его тоннами мусора, и напрягся он в последний раз  
 Со вздохом отчаянного сердца.  
 Тогда Бог смиловился, увидев, как он молод, чист,  
 Как страдает, и послал ему на помощь бомжа-пилигрима,  
 Который откопал кусок целлофана и сделал из него  
 Крышу для своего дома.  
 И стали они вместе вести оседлый образ жизни,  
 Найдя друг друга – человек и кусок целлофана.  
 Жили по-разному: радовались, печалились, опять смеялись,  
 Но никогда больше не задавались вопросом: «Где же Бог?» –  
 Он здесь, знали они, ходит недалеко, поглядывает за нами  
 И прикрепляет все друг к другу.

\* \* \*

Я ненавижу  
 Легкость бытия, –  
 Мне  
 Обязательно  
 Нужны трудности,  
 Чтобы понять свой путь и ответить  
 На следующие вопросы:  
 – Кто я?  
 – Зачем я здесь?  
 – Кто вы?  
 – За что мне такое?  
 – В чем моя вина? И пр.  
 Говорят,  
 Чтобы писать,  
 Надо жить неустроенно.  
 Интересно,  
 В какой степени должна быть эта  
 Неустроенность?  
 Но я здесь только для того, чтобы  
 Ответить хотя бы  
 на вопрос:

«Что писать?».  
 Надоел мне  
 Вездесущий коллапс в голове и  
 Поглощение  
 Информации без ее  
 Воспроизводства:  
 Ничего неделание в полдень и на ночь.  
 Я так живу уже  
 Столько,  
 Сколько себя помню, и не знаю  
 Ни одного человека,  
 Кто бы  
 Ответил  
 Хотя бы на один вопрос и при этом был бы  
 Доволен своей  
 Жизнью.  
 Здесь наблюдается  
 Взаимосвязь.  
 Я встречал одного человека, который  
 Говорит:  
 «Зачем вообще думать?»  
 И этот человек  
 Я.  
*Как это Я?*

\* \* \*

– Алло, па, можно прийти к тебе в гости?  
 – Алло, не вопрос.  
 – Встретимся возле церкви.  
 – На углу.  
 И вот  
 Я уже стою возле церкви  
 с отцом: он в дутой куртке,  
 смешной такой.  
 – Давай зайдём в магазин.  
 – Давай.  
 Магазин. Отец  
 Покупает  
 Батон, колбасу и бутылку желтого сока.  
 Мне встречается знакомый мужик с  
 загнутым к ладони  
 пальцем.  
 Отцу встречается тоже знакомый  
 Мужик, с  
 Красным лицом.  
 – Идем домой?  
 – Пошли.  
 Посидели, покурили возле подъезда  
 и поднялись на  
 Третий этаж.  
 Это – съемная комната,  
 Только недавно.

Я здесь  
 Еще не был.  
 Отец сделал бутербродов с колбасой и я  
 Их слопал,  
 Запивая соком и посматривая в телевизор.  
 Мы смеялись,  
 Но я врезал фразу:  
 – Пора идти.  
 И сразу стало печально.  
 – Я тебя провожу, – сказал отец и пошел  
 на кухню.  
 Напоследок  
 Он  
 всучил мне банку с чуфаном.  
 Сейчас объясню,  
 Что  
 Это такое.  
 Чуфан – это конгломерат из тушеной капусты,  
 Картошки и кусочков  
 Сала или  
 Мяса.  
 Я  
 Взял с удовольствием, т.к. последнее время  
 Постоянно  
 Чувствую голод – выздоравливаю.  
 Отец проводил меня до работы  
 Брата.  
 А я взял и запомнил надолго этот  
 Вечер.  
 Если бы я так запоминал  
 Тексты  
 Специальной литературы, то уже давно был бы  
 Профессором.  
 А между тем чуфан пролежал до утра.  
 И вообще, дальше было  
 Утро.

\* \* \*

Ищу работу.  
 Какую-никакую.  
 Что попроще.  
 Но подходящей так  
 И нет  
 Среди массива  
 Объявлений  
 В местной газете.  
 Смотрю:  
 Хоть глаз выколи.  
 Попалось бы  
 Хоть такое объявление:  
 «Приглашается  
 Молодой человек  
 От 25 до 35 лет,

Плачу за одиночество,  
Тоску, печаль, романтику.  
Оплата сделанная:  
Сколько напечалишься,  
Столько и получишь».  
Ничего так и не нашел,  
Сижу дома, работаю  
Бесплатно.

\* \* \*

Еще одна  
Ночь  
Закончилась:  
Последний сон  
Улетучился,  
Словно  
Капля эфира.  
И надо вставать,  
Делать  
Что-то, —  
На то он и день,  
Что дела  
Копятся  
Только в светлое время  
Суток.  
А ночью  
Нужно спать.  
Вот только ночь —  
как рабочее  
время,  
а сон —  
первостепенной важности  
дело.  
Полжизни батрачим  
Ночью.  
И вот мозги уже в  
Отметинах,  
В мозолях сотен  
Снов.  
А на руках расшифровки,  
как надо  
действовать:  
любить ближнего,  
поправить забор,  
залатать крышу,  
Устроиться на работу и т.п.  
Много чего сделать —  
Выбиться в  
Люди.  
Тогда и спать будет  
Спокойнее,  
И сон будет всего лишь  
Сном.



\* \* \*

Осень движет  
Человеком,  
Посыпает  
Голову  
Пеплом  
Сгоревших листьев.  
Я  
Размягчаюсь,  
Как будто валяюсь  
В лужице  
Грязной  
Воды,  
В которой не  
Отражается  
Мое лицо.  
Кто я?—  
Чисто осенний  
Вопрос.

\* \* \*

Я серый человек,  
Ухожу от вас всегда  
Назад.  
Не ищите меня в  
Авангарде.  
Моего сердца не хватает  
Даже  
На двоих —  
Закрываю глаза на бесчинства  
Своего нрава.  
Но я не  
Одинок: жидкая масса бурлит  
Вокруг  
Меня.  
Бегство—моя родная  
Сестра.  
А брат мой —  
Разговор на мирские темы.  
Когда я действую, где-то  
Разрывается плачем  
ребенок.  
Моя смерть не принесет никому  
Подарков.  
Зато дождь смывает с меня серые  
Комья грязи  
Падших дней.  
Дверь  
В будущее закрывается.  
Я чист.  
И только капает дождик  
Размышлений,

А вороны клюют остатки  
 Моих слов:  
 Только зло не проходит  
 Без таблеток.

\* \* \*

Серые,  
 Слизкие,  
 Слежалые  
 Камни на дороге ощущений;  
 Желто-коричневый цвет  
 Глаз –  
 Это мокрая осень в  
 Неназначенный  
 Обед, –  
 Зароняет в душе беспокойство:  
 Приглашенных  
 Нет,  
 И не будет уже рядом никого,  
 Кто разделит пополам чувство  
 Этой осени.  
 Только  
 «прости»  
 в полдень и на сон грядущий.  
 Холодно под одеялом дождей, –  
 Пора  
 Одевать символы,  
 И на плечи водружать принципы –  
 Анклавы жизни потерянной души,  
 Где-то в лесах:  
 Отреченной  
 От мира,  
 С распятием окружающей действительности.  
 Кто  
 Ни спросит:  
 «Что будешь делать до весны?» –  
 Охраняемся  
 Молчанием –  
 Драгоценности почище ювелирных  
 Побрякушек.  
 Молимся в темноте и  
 Гуляем по аллеям заповедей благочестивых  
 Людей.  
 Мокрая осень  
 Заронила  
 Грязь внутрь меня и размазала ее  
 По стенкам моего тела. И я печалюсь,  
 Что не будет  
 Как раньше.  
 И я  
 Шепчу под нос слова отчаяния:  
 «Ну и пусть!» –

построим новые чувства, создадим новое  
лето,  
В котором не будет  
Телевизора,  
И душа возрастет сочным полифруктом.

\* \* \*

Побрил  
Под мышками,  
Вымыл голову  
И вышел на  
Улицу,  
А там:  
Светит солнце  
И коту,  
Что пьет из лужи,  
И нимфетке,  
Которая выстукивает  
Мостовую,  
И христопродавцу,  
Который  
Продался  
За банку кильки.  
Благодать!  
Я готов  
Для прогулки  
По этой  
Жизни.

\* \* \*

Я стою,  
Курю  
И смотрю на  
Пирамидальные тополя  
В пространстве  
Прямо за моим домом.  
Холод невообразимый.  
Скоро зима.  
Но капельки пота  
Текут  
Струйками под свитером,  
А собака  
От одиночества  
Грызет мой тапок,  
А вместе с ним и мою ногу.  
Я живу по знакам.  
И они мне говорят,  
Что надо  
Дальше  
Идти –  
В пространство прямо за моим



Домом.  
А мне протягивают  
Яблоко  
И говорят, что  
Оно гнилое.  
Посмотри.  
Нужно выбрать что-то  
В своей жизни –  
Куда идти и как  
Идти.  
Но,  
Я просто стою и курю,  
И смотрю на пирамидальные тополя,  
И думаю:  
Я не знаю  
Как *надо* жить.  
Я просто живу  
Как могу.  
НО,  
Я ничего не знаю –  
Я просто  
Смотрю из себя.

\* \* \*

В следующей жизни  
Хочу  
Родиться колибри:  
Пить нектар,  
Летать по одному  
Маршруту и  
Не думать ни о чем.  
А вообще-то –  
Жить бы как собака  
Павлова:  
На одних рефлексах.  
Человек, все-таки, уже  
Не животное.  
А жаль.  
Слишком многое  
На себя  
Взял.  
Все стало слишком  
Сложно.  
А в природе  
Все просто:  
Живи,  
Пей нектар,  
Летай по одному маршруту  
И никогда не думай.  
Жизнь на рефлексах  
Заманчива,  
Не правда ли?

Сначала  
 Я не стал летчиком,  
 Потом  
 Специалистом по социальной  
 Работе.  
 Затем ученым.  
 Теперь  
 Я не стал прессовщиком  
 И сборщиком электроприборов.  
 В конце концов  
 Я не смог стать  
 Даже грузчиком.  
 Но я остался человеком.  
 И я хочу кушать,  
 Пить  
 И молиться.

## РАЗГОВАРИВАЯ СТИХАМИ

*О поэзии Алексея Маслова*

\* \* \*

Поэзия ни что иное как  
 осадок, остающийся на дне  
 сосуда, выполняющего роль  
 отстойника. Короче говоря,  
 поэту не осталось ничего  
 другого, как усталою рукой  
 писать стихи при свете ночника.  
 Он пишет их, увы, из-за того,  
 что не находит места своего.

*Евгений Заугаров*

**М**ы живем в эпоху цитаты, подмигивающей из каждой строки, каталога, в любом разделе которого найдется свободное место для вновь прибывших. Проще всего, рассуждая о стихах неизвестного поэта, поставить его в некий ряд, на деле употребив крылатую фразу: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Однако соседство по книжному шкафу зачастую оказывается чистым произволом критика, который не знает, как объяснить новое, иное, и не находит лучшего способа понять, как объявить это иное давно ему знакомым – например, вариантом поэзии литератора N.

Стихи Алексея Маслова поначалу кажутся настолько бесхитростными, что заставляют забыть обо всех этих книжных полках, при чтении возникает странное ощущение, настолько все узнаваемо и точно передано, одновременно с чувством неловкости и даже нежности—будто смотришь в замочную скважину чужой любительский фильм.

Это ощущение подлинности не покидает до последней строчки, заставляет по-другому перечитать текст еще и еще раз. И вот тогда срабатывает другой механизм, на память приходят нужные аналогии и аллюзии. Внимательный читатель сразу же назовет саратовских поэтов Евгения Заугарова, Сергея Щурина, чья поэтика близка и в то же время лишь отдаленно напоминает стихи Маслова. И еще Чарльза Буковского и т.д.—цепочку легко продолжить, главное понять, о чем эти стихи, узнать серый пейзаж одиночества в этих строках.

«...Чихнешь и  
Разбудишь  
Самого себя, и тогда  
Спросишь:  
Зачем я здесь?»

Не правда ли, звучит как ответ стихотворению, вынесенному в эпиграф к этой статье? Алексей Маслов не принадлежит поколению 90-х, поколению тридцатилетних, потерявших в постсоветской неразберихе идей. Но, похоже, переносчиком настроения или ноты в данном случае выступает не время, а место. Город, по улицам которого бродит лирический герой, не изменился с унылых брежневских времен. И в самом деле, зачем мы здесь?

У тех, кто не задает себе этого вопроса, поэзия Заугарова, Маслова и других не вызывает ничего кроме раздражения. Я помещал тексты обоих в Интернете и не понаслышке знаком с реакцией «просвещенной» публики. Это не стихи,—говорят «любители белозубых стишков» (О. Мандельштам). И, наверное, они в чем-то правы, потому что это не только стихи.

Это еще и разговор с читателем напрямую, недаром в каждом тексте так много словечек, речевых фигур. Например, одно из самых сильных стихотворений у Маслова в этой подборке начинается с оборота «Было дело...»—что, учитывая тему, придает этой истории воистину евангельский характер и одновременно снимает ненужный пафос. Тем самым достигается тот доверительный тон, поддерживать который, фальшивя, просто невозможно.

Это еще и своеобразный дневник, в котором каждая запись ловит малейшее изменение в душе автора и в людях вокруг него. И нам, читающим эти стихи, ничего другого не остается, как быть честными. Или хотя бы попытаться это сделать.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ПРОСТО ПРОЗА

Татьяна  
Лебедева

# Кукушкины дети



## Глава 1 Дом

**Р**одителей своих я не помню.

Иногда, то ли во сне, то ли в полудрежных мечтах виделась мне мама в красном платье.

Она звала меня, манила рукой... Я бежал по мокрому песку, ноги вязли неглубоко, а песок охлаждал ступни, и бежать было легко, как лететь во сне...

Образ был до того зыбкий, что, как только я забывался и протягивал к ней руки, она просто растворялась в воздухе, оставляя за собой тень тоски и невыплаканных слез.

Все мы, воспитанники школы-интерната, а попросту детдома, знали, что наши родители погибли в автомобильной или авиакатастрофе. Никто никогда бы не сказал: моя мать — пьяница, или: мой отец сидит в тюрьме за убийство. Эти темы, вообще, были запретными, насколько возможно.

Мы были уже подростками, и шанс попасть в семью был нулевой, поэтому легенда, придуманная каждым, была его личным делом.

Сейчас я как бы отдаю дань тем самым невыплаканным слезам, тем дням бессмысленных ожиданий и надежд, которые не могли сбыться.

Нельзя сказать, что в детдоме не существовало понятие дружбы, некое единство, конечно, было — убожество и сиротство объединяли нас, да еще воспитатели и учителя поначалу пытались внушить чувство коллективизма. Но детство, проведенное в разных Домах, в постоянных переездах, не давало возможности привязаться хоть к кому бы то ни было, хоть к кошке, хоть к собаке, не говоря уже и о людях.

Очень рано я понял, что выжить можно, только если ты один и сам за себя. Никогда я не стремился быть как все, хотя это было одним из требований нашей среды. Сама жизнь в Домах постоянно доказывала, что все мы разные.

Поначалу нас одевали одинаково, по крайней мере, с тех пор, как я себя помню. Советские фабрики шили для нас какую-то невероятно уродливую одежду, из добротного синего и серого материала, одинаковые пальто и шапки. Мы были «инкубаторские», и хотя мы не знали, что это озна-

*ТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА  
родилась и живет  
в Саратове. Окончила  
филфак СГУ.  
Меняла профессии  
неоднократно.  
Сейчас работает  
оценщиком.*

*О себе: «Все истории,  
рассказанные мною,  
— это истории моих  
друзей и знакомых,  
которые время  
отложило в моем  
сердце. Теперь они  
просятся на свободу,  
и я их отпускаю».*

*Была опубликована  
в нашем журнале № 5-6.*



чают, понимали, что ругательное, а потому обидное, так как не в слове заложен смысл, а в интонации.

Затем наступили времена полной нищеты в стране советов, да и страна советов вскоре скончалась, и стало уже не до одежды для нас «инкубаторских». Воспитатели тащили из Дома все, что плохо и не очень плохо лежало. Одежда, посему, доставалась самая разная. В основном это был «сэконд хэнд», но наш отечественный, поэтому доброкачественный и ноский, без затей и навалом.

Девчонки перешивали некрасивые платья, делая из двух или трех одно, а мы носили, что достанется после отбоя (отбоя не в смысле сна, а в смысле отъятия у других).

В Доме бои шли за все. Авторитет, а значит, и относительное спокойствие, можно было получить, только доказав силу. Драки были неотъемлемой частью существования, как дышать или есть. Мои молочные зубы, например, не дожили до нормального срока выпадения, и много лет после я был уверен, что если выбить зуб, то он опять вырастет через некоторое время.

Одежда, тем не менее, стала первым признаком нестандартности, неодинаковости. Если иногда девчонкам почему-то хотелось ходить в похожих платьях и с одинаковыми прическами, а иногда и отличаться друг от друга, то пацанам это было, на первый взгляд, безразлично. Но мода существовала везде, хотя и не называлась модой. Телогрейка, например, должна была быть большая, чтобы рук не видно, и до колен по крайней мере, тогда это было круто. Если ты одет не как все—надо бить (стремление к прокрустову ложу заложено, видимо, где-то на уровне мозжечка).

Быть не как все—было трудно. Но это был шанс. Шанс, чтобы выжить, чтобы не быть «инкубаторским», не породниться с теми, у кого предки в тюрьге или лишены прав, потому что в глубине души каждый подозревал худшее про другого, но не про себя.

Сколько я себя помню, с раннего детства нас постоянно переводили из Дома в Дом. Мне кажется, существовал какой-то естественный отбор по умственным способностям и физическим данным, хотя об этом не говорилось вслух.

Дольше всего я жил в старой дворянской усадьбе под Белгородом.

Детский дом был хороший: в большом, неплохо сохранившемся парке, с прудом и дорогой, которая уходила вдаль, петляя меж полей. Сам дом напоминал какие-то забытые кадры из старого фильма. Но только снаружи. Внутри он был наполнен нашим нищим бытом, бесконечными рядами кроватей, длинными столами с полинявшими клеенчатыми скатертями.

Компания была разношерстная, но мы сдружились, так как много гонялись по полям в поисках добычи, а по лесу—за грибами и ягодами. Как только у нас образовалась компания и мы немного привыкли друг к другу, тут же от нас перевели Лешку-сопливого, моего тщедушного дружка, которого всегда приходилось отбивать у старших. Всем нравилось его мучить, а он все терпел, размазывая сопли и скуля, как щенок. Он был от природы мазохистом, но наблюдать это со стороны было невозможно, и я дрался.

Затем исчезли Машка и Ленка—сестры с тонкими косичками и испуганными глазами. Они всегда держались за ручки, чем вызывали неукротимый смех. Вместо них появлялись другие воспитанники, затем они тоже исчезали.

Душевно я не дружил ни с кем. Какой смысл привыкать, если не знаешь, где и с кем будешь завтра. Но эта мудрость пришла позднее.

В начальной школе, кажется, в 4-м или 5-м классе, когда наша нянечка—тетя Нюра—неожиданно вышла замуж за милиционера и уехала с ним в город, я испытал настоящий шок. Это было самое большое потрясение и потеря.

С первого дня моего пребывания в Доме она была моей тайной радостью, возможно, первой любовью. Большая, белая, теплая не только на ощупь, но и на взгляд, она олицетворяла некий покой и уют, которого у нас не было никогда.

Нюра постоянно жила в доме, только ездила в город за продуктами и по делам, поэтому говорили, что она сама детдомовка. Но я этому не верил, слишком правильные были у нее понятия, слишком много доброты было в ее небольших остреньких глазах, слишком часто наворачивались на них слезы, что было неприемлемо для детдомовского. Детдомовские ведь никогда не плачут. Иногда ревут, но не плачут, как люди. Ревут от злости, от обиды, от унижения, но не плачут.

Нюра была для меня первым человеком не из детдома, и в то же время она была с нами почти всегда.

Я часто задумываюсь, почему она оставила в моей душе такие острые чувства, такую теплоту. Чаще всего вспоминаются вечера и читка при настольной лампе. Нюра что-то подшивает (всегда было что зашить или залатать), девчонки пытаются вязать салфетки из джутовой бечевы, все сидят тихо, и умиротворение разлито в воздухе, как аромат неведомых цветов. Читали, кажется, Диккенса. Возможно, это чтение и навело легкую грусть о непонятной жизни странненьких людей в далекой Англии начала 19 века. В библиотеке было собрание сочинений. Темно-зеленые книжки со старинными гравюрами, вызывавшими смех, с какими-то неправдоподобными людьми на этих гравюрах. Лешка выковыривает очередную козу и предлагает ее девчонкам. Они хихикают, и Нюра закатывает глаза: «Боже мой!».

Нам она казалась взрослой, а, наверное, была совсем еще девчонкой, лет 18-ти, но такой рассудительной и цельной, что невольно хотелось быть рядом, смотреть и быть непременно хорошим. А мы ведь были просто маленькими, и все тепло ее души оседало в нас и грело получше телогрейки и горячего чая.

Теплее всего были тихие летние вечера на веранде, когда уже сумерки наступают, но еще не темно, и лампа еще не зажжена, и все предметы приобретают особую четкость на сером фоне угасающего неба. Читка прекращается, и тишину заполняют Нюрины рассказы. Простые и наивные, но добрые и почти всегда с хорошим концом. Может быть, в детстве ей рассказывала их бабушка, такая же добрая и теплая, как сама Нюра.

Позже я гордо сравнивал ее с Ариной Родионовной, приписывая ей мои способности к писанию.

— Слышите, вон кукушка кукует, — говорила Нюра, и мы замирали, зная, что опять услышим историю, которую все знали уже наизусть. — Это ваша мама по вам плачет. Ищет вас потерянных, и не находит.

Тут всегда находился кто-нибудь, кто не знал еще истории и спрашивал, а мы не перебивали. Таков был сценарий. Он повторялся почти одинаково, только конец у истории бывал разный.

— А где она, мама? Почему она нас ищет?

Тут она рассказывала всегда одну и ту же «жалисную» сказочку про бедную Кукушечку. И сама плакала в конце.

«Жила была девушка, очень красивая и очень бедная, и звали ее Кукушечка.

И была у нее большая семья — мама и много младших братьев и сестер. Жили они дружно в старом заброшенном доме, спали на травяных матрацах, прямо на полу, и не было у них в доме даже электрического освещения.

Мама много работала, чтобы всех накормить.

Надо сказать, что соседи не любили эту семью и не разрешали своим детям с ними дружить. Но семья была дружная и не обращала на это внимания, так как детям и так было с кем поиграть, только красивую Кукушечку это очень огорчало, и она старалась хорошо учиться в школе, чтобы потом зарабатывать много денег и честным трудом кормить своих братьев и сестер.

Однажды мама заболела. Она лежала на тюфяке и стонала, и еду принести было некому. Тогда Кукушечка сказала, — я пойду за тебя поработаю, что надо, то и сделаю. Но мама этого не хотела.

— Рано еще, — сказала она и к вечеру умерла.

Наутро собрались соседи и начали готовить похороны.

Приехали какие-то люди в форме и забрали тех детей, кто не убежал. Кукушечка спряталась за сараем и все видела, а когда наступила ночь, она подошла к своей маме и спросила ее, что ей теперь делать. Мама сказала: «Не иди по моему пути, не заводи детей, нечего нищету разводить, а если заведешь, так отдай их в добрые руки к богатым людям».

Наутро маму похоронили, а девочка стала думать, как им теперь жить, и опять пошла в школу, так как учиться она любила. Малышей увезли в приют, а два брата и сестренка остались с ней. Вечером еду никто не принес. И тогда старший брат принес с чужих огородов картошку и лук и сказал: «Теперь я буду вас кормить, а ты учись дальше».

В этот вечер они много говорили о том, где и как доставать пропитание, а девочка слушала и молчала. Она решила устроиться на работу, а так как она была очень красивая, то ее взяли прислугой в богатый дом. За малышами она умела ухаживать, да еще рассказывала им на ночь сказки».

— Пряма, как ты, Нюра, — не выдерживал кто-нибудь из нас.

«Девочка навещала своих братьев и сестер, хотя хозяйка строго-настрога ей запретила. Однажды она пришла домой и увидела, что сестренка болеет, лежит и тяжело дышит. Она побежала к своей хозяйке и попросила ее дать немного денег на лекарства, но хозяйка рассердилась, что та ушла без спросу, и запретила выходить совсем.

Девочка поплакала, а потом нашла в аптечке лекарства и убежала домой. Но лекарства не помогли, и сестренка умерла.

О братьях девочка не хотела заботиться, так как они были уже законченными бандитами.

Хозяйка не приняла назад бедную Кукушечку, потому что боялась братьев. И тогда одна хорошая тетя предложила ей работать курьером.

Работа была интересная — нужно было разносить почту и посылки целый день в разные концы города, да еще за это платили.

Однажды в трамвае она познакомилась с кондуктором — веселым парнем, который вечером учился в институте. Они вместе ходили на вечеринки, и он оставлял ее ночевать в общежитии.

Кукушечка стала жить очень весело, теперь она могла уже не работать курьером, но ей нравилось переезжать с места на место и развозить почту. Она купила велосипед, и носилась на нем целый день, весело трезвоня. А по вечерам в общежитии ее всегда ждала компания и накрытый стол, полный угощений.

Веселая жизнь продолжалась до весны, а потом она почувствовала себя больной и пошла к старой бабке, к которой водила их мама.

— У тебя будет ребенок, — сказала старуха, — ты пошла в свою мать.

Когда наступило время родов, одна очень хорошая семья забрала ребенка, не дав ей на него взглянуть.

Кукушечка потосковала немного и опять пошла в общежитие.

Так год за годом она оставляла своих деток, потому что желала им лучшей участи, чем была у ее братьев и сестер. Но тоска по маленьким детям как сильно овладевала ею ночью, что она как птица в клетке билась, плакала и не могла уснуть.

Годы шли, а Кукушечка горевала, не зная, где ее детки подрастают, как они выглядят и что едят на обед. И вот она взмолилась, чтобы добрый Боженька превра-



тил ее в птицу и она могла бы на крыльях облететь всю землю и навестить их всех. И Боженька сжалился над ней и превратил ее в птицу, и она полетела.

Так и летает до сих пор, своих деток ищет, да не найдет никак, потому что говорить она теперь не умеет, только: ку-ку да ку-ку. Так и кукует, бедная, ищет. Вот и вас зовет, слышите?»

Сказка не всегда заканчивалась печально. Иногда Кукушечка находила кого-нибудь из своих деток и наставляла их на путь добрый, но это были другие истории.

Уход Нюры из детдома стал большой потерей для меня и обидой на нее, на всех, и я забунтовал.

Закончилось это тем, что перевели в другой Дом теперь меня, а затем, уж, переводили постоянно каждый год.

Нигде я не задерживался более одного учебного года. Я к этому привык и скучал, если в конце 4-й четверти заведующая не объявляла мне, об отъезде. Дело в том, что я прирастал к чтению и по приезде на новое место сразу шел в библиотеку или к воспитательнице, которая заведовала книгами. Когда запас непрочитанных книг кончался, я начинал балдеть, и тогда мною овладевало чувство поступка. Я должен был что-то совершить, иначе, казалось мне, произойдет что-то ужасное, невероятное, что навсегда разрушит привычные представления, что-то похожее на уход Нюры, то есть срочно нужны были перемены и новые книги. И я бунтовал.

Книги были моей пищей, моими настоящими друзьями, моими учителями и родителями.

Укутываясь в тощее рябое одеяло, я представлял себе, что лежу в широкой кровати под пологом и мне холодно оттого, что глупая горничная не принесла сковородку с углями мне в постель, и что я, конечно, не буду жаловаться на нее завтра утром маменьке, потому что тогда ее непременно накажут, а мне хотелось быть добрым.

И вот я ощущаю тепло моей собственной доброты, и согреваюсь, и засыпаю.

Двойственность моего существования реального и книжного не давала мне покоя.

А бунт проявлялся по-разному.

Не помню, в каком Доме, кажется в Ивановке, близко была деревня, куда нас, сирот несчастливых, гоняли полоть траву на огородах. Пололи за харч, по-негритянски, не вставая с корточек до самой жары, потом в холодке под навесом ели картошку, обильно политую свежими сливками и посыпанную солью и зеленым луком.

Запивали еду холодным квасом из погреба. Квас был ядреный, хозяйки смеялись—хмельной. Мне было тогда лет двенадцать. Такого кваса я никогда больше не пил, и такой же восторг испытал еще раз в жизни, когда первый раз попробовал пепси-колу. Божественный напиток! казалось напиться невозможно, но об этом потом.

Туда и обратно шли через деревню, где воспитательница в магазине покупала хлеб и масло в большом бидоне. В магазин нас не пускали, с воспитательницей заходил один, тот, кто помогал нести масло. На этот раз это был я. На скудном прилавке лежали конфеты. Малопривлекательные на вид фантики таили внутри блаженство. Во мне кипел поступок и, выждав, когда продавщица и воспитательница ушли за грязную занавеску, в святая святых, закуток склада, я натерпел конфет, рассовал по карманам и за пазуху, разровняв поверхность коробки. Все было просто.

Но кто-то из детдомовских, нажравшись ворованного счастья, честно донес. Сладкий пир закончился наказанием—меня отлупили, поставили за шкаф, в пустую комнату, и забыли. От гордости и злости я молчал. Молчал до вечера, но когда стемнело, стало страшно и обидно. Обида была на все и всех: на то, что когда лупили, Васька-косой, который больше всех радовался конфетам, смеялся и показывал рожи, что воспитательница, которая хвалила утром за усердие, потея, остервенело, хлестала ремнем, а сторож с ухмылкой снимал тот ремень, чтобы меня били, и держал меня за голову и плечи, чтоб не вырывался. А тут еще и оставили на ночь. Я чувствовал несправедливость, и силы духа во мне не было, и воля ушла, я был просто маленьким мальчиком, избитым и забытым за шкафом в пустой комнате. Мир, пронизанный сиротством от головы и до пят, рухнул, рассыпался, как осколки лопнувшего стакана, как проливается желанная влага во сне, когда хочешь пить, но

не можешь прикоснуться к воде, так как не ощущаешь ее губами, а только видишь льющуюся воду, и от этого жажда еще сильнее.

И тут произошло нечто...

Когда страхи стали почти ощутимы физически, и, стоя на коленях в углу и закрыв глаза, я молился, не зная кому и не зная как, потому что нас этому никогда не учили, и только Нюра подтверждала наличие Бога, когда, слегка закатив глаза, говорила «боже мой».

Кто-то тронул меня за плечо, я оглянулся, Тень загрозила окном, в которое назойливо светила луна, голос тихо сказал: «Не бойся».

Необъяснимое спокойствие разлилось по телу, руки ухватились за жесткую ткань балахона, и я встал.

Затекшие ноги не двигались, но мой собеседник, понимая это, положил руку мне на голову, и теплые струи напоили тело. Голод куда-то исчез, пропало ощущение тяжести и обиды, и только легкая грусть подступила к горлу, я заплакал. Слезы сами лились из глаз, потоками, я ощущал их горький вкус и одновременно получал облегчение.

Затем он подвел меня к окну и открыл его. Легкий ветерок струился между ветками деревьев, была тишина, свет луны падал на дорогу, идущую вдаль, она была серебристой. Мокрое от слез лицо ощутило движение ветра.

«Ты должен научиться управлять временем», — сказал мне незнакомец. «Посмотри, время-пространство всегда неразрывно связаны, ты поймешь это позже, сейчас просто поверь. Дорога уходит вдаль, но уходит не дорога, а человек, идущий по ней, если ты идешь по дороге, то время и пространство сливаются, так как ты выполняешь движение в пространстве, однако ты одновременно двигаешься и во времени. Движение, вот что нужно тебе».

Он взял меня за руку и потянул к окну, я оттолкнулся от пола и выпорхнул с порывом ветра. Кружение над полем и дорогой было волшебным сном. «А можно туда, за поле и лес?» — «Нужно», — выдохнул он...

Полет был невольно тренировочным. Я учился управлять своим телом в таком необычном движении.

Если задирать голову вверх, а руки прижимать к телу, то взмываешь и набираешь скорость, если растопырить пальцы и раздвинуть ноги, то полет замедляется и можно сделать поворот — правым плечом вниз, а левую руку вверх (чуть вверх) — вот и правый поворот... Можно сделать пике вниз при развороте, а потом раскинуть руки и парить, парить...

Благодетель мой был со мной рядом, я ощущал его дыхание, слышал шелест его грубой одежды, как трепет крыльев, а слегка повернув голову, видел его темный силуэт на фоне звездного неба, казавшегося бездонным и бесконечным.

Я не чувствовал усталости, напротив, я был наполнен какой-то незнакомой энергией, которая заставляла меня вновь и вновь взмывать вверх и делать разворот над лугом. Вместе с ощущением легкости я испытывал дрожь во всем теле, дрожь и возбуждение. Это было состояние счастья.

«Давай полетим к реке», — сказал мне мой спутник. «Да, да, скорее к реке!» — и, сделав левый разворот, чуть не врезался в дерево, стоявшее на краю поля. Кажется, это был дуб. Он тревожно зашуршал листьями и дохнул на меня дневным жаром, оставшимся в ветках. Кувыркнувшись в воздухе, я расставил руки и завис над землей. Но страх быстро прошел, и смех, как пузырьки воздуха, посыпался из моего горла прямо в траву. Серая полевка, пискнув, смылась за куст жасмина. Я радовался, что никого нет поблизости и нет свидетелей моих упражнений. В ту минуту все это казалось мне таким естественным. Только наутро я понял, что это было волшебство.

Река была залита лунным светом. Мы приземлились на берегу, в тени серебряных ив. Был хорошо виден противоположный берег, более пологий, чем наш. Довольно далеко светили огоньки каких-то домов, они были разбросаны редко, поэтому казалось, что какие-то неведомые звери притаились в кустах на том берегу, а огоньки — их светящиеся глаза, которые всматриваются в нас.

Мне вспомнилось, как в прошлом году, в летнем лагере, мы убегали после «отбоя» в лес, на верхушку холма, и разжигали костер, на котором пекли сворованную днем в полях картошку или собранные в лесу грибы. Овраг разделял лес на два

одинаковых холма, на вершукке одного из них мы всегда сидели, а на вершукке второго тоже часто разжигали костер, и мне казалось, что передо мной огромное зеркало, и на той вершукке холма—тоже я смотрю на себя, сидящего у другого костра.

Эта зеркальность мира время от времени доставала меня, и вглядываясь в него, в это зеркало, я пытался разглядеть себя, но не видел, не мог разглядеть, и это меня пугало.

Сейчас, на берегу, на меня напало умиротворение, я видел все предметы, как в перевернутый бинокль, очень отчетливо и очень объемно, но мелко.

Звуки ночи просто прыгали мне в уши, стремясь привлечь мое внимание и шорохом, и пискom, и журчанием.

Я обхватил колени руками, пытаюсь сдержать дрожь тела и не дать испугу завладеть мною. Мой спутник стоял рядом молча. Не глядя на него, я чувствовал его движения. Вот он поднял руку с невероятно длинным пальцем и указал на небо. Подняв голову, я увидел звезду, переливающуюся малиновым светом. Она не только светилась, но и переворачивалась, как тугой мячик, отблесками меняя свет вокруг себя. «Это—Венера, сейчас ее время, она будоражит умы бесчувственных, делая их нежными и слабыми. Тебя она сделает сильным. А теперь—пора искупаться».

Он помог мне подняться с травы и подтолкнул к воде. Я соскользнул с берега, пытаясь ухватиться за ветку ивы, но промахнулся. Погружение было с плеском и брызгами. Вода, как ни странно, была совсем прозрачной, и луна просвечивала сквозь нее, когда я погружался. Я вынырнул навстречу луне и звездам и почувствовал новые силы, как былинный богатырь, искупавшийся в волшебном ручье.

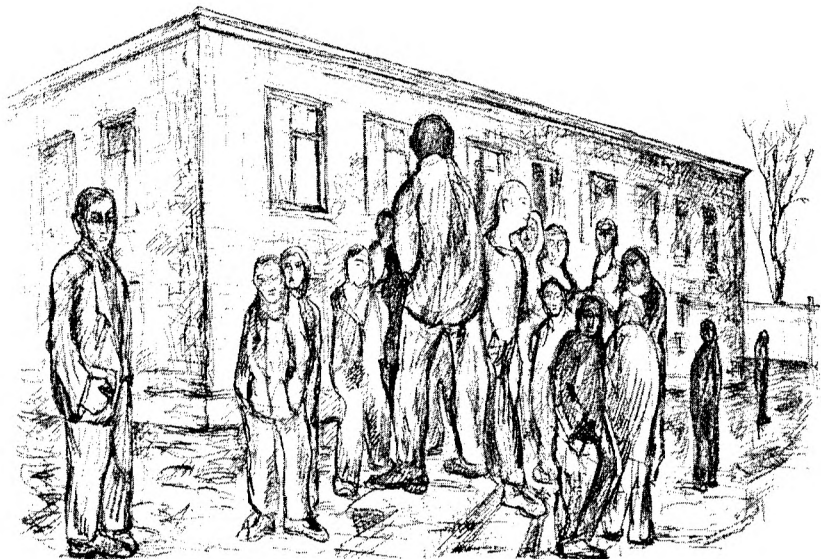
Обратный полет был неспешным. Мой спутник только кивнул головой мне на прощанье и растворился в ночи.

Тем временем, в моих характеристиках, по-видимому, отражались мои склонности к чтению и способности к обучению, а также мой дурной характер.

Учился я легко, иногда мне казалось, что учителя специально придают такое большое значение упражнениям и примерам, чтобы подчеркнуть свою значимость для учеников.

Я читал учебники как беллетристику и жалел, что нет продолжения, или требовал у учителей развития темы. Но они пугались, а книг, к сожалению, не хватало, новые давно не получали, и «цивилизация» была далеко.

Меня страшно удивляло, что у большинства детдомовских была плохая память. Поначалу мне казалось, что Федька, который никак не мог выучить стихотворение «Сижу за решеткой в темнице сырой», притворяется, но после того как я его пару



раз огрел хорошенько, понял, что он не виноват, и терпеливо выучил с ним все стихотворение и, когда он получил за чтение наизусть твердую четверку, был награжден куском селедки, спертой Федькой из столовки.

Постепенно я понял, что быть умным – привилегия, а не дефект, за который бьют, только нужно использовать ум с умом, не выставляться, не кичиться и не называть дураками училок и учеников. Чувство собственного достоинства росло во мне с пониманием моей привилегированности, жаль, что знал об этом я один.

## Глава 2 Прорыв

**Я** пытаюсь рассказать вам историю, которая приключилась со мной в последние три года моей невольничьей жизни, но никак не доберусь до нее, теряясь в нечетких воспоминаниях и невоспитанных эмоциях.

Случилось так, что чувство собственного достоинства во мне переросло меня самого, и я написал заяву директору интерната с просьбой перевести меня туда, где есть большая библиотека.

Начитавшись книжек про сирот (Диккенса и пр.), я убедился в том, что судьба судьбою, а воля человека тоже кое-что значит, поэтому решил действовать, то есть совершать движение во времени, а не плыть по воле волн.

В своих мечтах я жил в городе Ленинграде (Альбом со старыми литографиями был в одном Доме), пережил Блокаду (!), имел неплохую родословную, а в будущем должен был закончить Университет, как Чернышевский, писать романы, как Достоевский, издавать журнал, как Некрасов, пить горькую и влюбляться, как Блок, жить где-нибудь на Пряжке, ходить пешком до Сенной площади и т.п.

Я мысленно стал частью этого города и удивлялся, почему о нем написано так мало, и надеялся, что сделаю это сам когда-нибудь.

В это самое время мне попала одна книжка, которую я прочел небрежно. Не то чтобы она меня не заинтересовала, просто я в ней мало что понял. Однако, во сне явился ко мне ее автор, назвался Михаилом и, заглядывая в глаза, как Нюра, сказал о пространственно-временном континууме, мол, все просто и руками развел. С того сна я задумался о времени как о живой реальности, я вспомнил свои полеты во сне или наяву и решил укротить время, хотя бы для того, чтобы достичь невозможного – переместиться в город своей мечты и добиться признания.

К тому времени, когда меня стали обуревать честолюбивые мысли, наступили годы перестройки, и финансирование Домов почти прекратилось. Мы, воспитанники, были практически на самообеспечении. Днем после уроков промышляли по городу, куда убегали в любую погоду. Из Дома тащили все, что не успевали украсть воспитатели, и меняли на рынке или продавали за так, чтобы только поесть. Голод никогда не кончался. Тогда самое большое счастье было – наестся, но счастье не наступало, так как наестся было невозможно.

Но и тогда меня спасало чувство погружения. Я мог погружаться в воображаемое, чисто мое пространство, где голода не было вовсе, где был мир то ли придуманный, то ли существовавший, то ли нет, и допускавший меня в себя, как в запретную комнату, не надолго, не навсегда. Иногда этот мир вырывался наружу, причиняя мне немало проблем, а иногда был спасительным якорем, который примирял с действительной жизнью неожиданными фантазиями.

Помню, как стащили из столовой большие настенные часы, обменяли их на кусок соленого сала и полный полиэтиленовый пакет денег. Но поскольку мы не знали цены деньгам, их казалось много, но оказалось бессовестно мало – нам хватило только на огромный торт, который мы и притащили с собой. Девчонки – вот была цель, которую достичь можно при помощи великолепия розовых и зеленых маслянистых розочек на белой поверхности воздушного совершенства торта. Покупка торта – это уже романтический поступок, так как само понятие «торт» было из другой, не нашей жизни. Но мы видели их в витринах новеньких кафе,

и слюни заполняли рот навстречу неведомым вкусам. Нельзя сказать, что девчонки наши были недоступны. Но в душе каждого пацана живет романтик. И девчонки вдруг, из пацанок со сбитыми коленками и подруг по играм, превращались в загадочные существа, о которых ничего не знаешь, а только догадываешься...

Впрочем, что обманывать себя, каждый мечтал—в обмен на кремовую розу—поцелуй сахарных губок и сладкое верчение упругой попки или груди в заманчивой близости естества.

Настоящее пиршество мы устроили на чердаке, где с незапамятных времен хранились свечи. Рыская в поисках годных к реализации вещей, мы как-то нашли их, но не сочли достойными для продажи. Сейчас они пригодились для волшебного пира.

Режиссером в этом спектакле был, конечно, я.

Колян и Димка старались с каким-то особенным волнением, хотя время от времени хрипло предлагали откусить по кусочку от неопикуемой красоты, а дефекты замазать кремом.

Короче, когда все в детдоме улеглись и воспитатели отвалили, мы зажгли свечи в консервных банках, а торт водрузили на старую панцирную сетку посредине чердака.

Девчонок привели с закрытыми глазами. Они глупо хихикали, подозревая нечто неприличное, но когда увидели великолепие торта и сияющих свечей, вуаль романтики окутала всех. Я, как дурак, читал стихи, которых знал огромное множество, они просто лезли из меня как сопля во время гриппа, а я задышался от их обилия, и все слушали и слушали, и глаза сияли. А торт ели потом руками, со смехом, который казался мне нежной музыкой или звоном неземных колокольчиков. Само собой, тисканья как-то отменились. Долго не расходились и рассказывали истории из жизни других людей, услышанные где-то, и радовались за этих людей, и печалились за них, ведь своих историй не было. И была какая-то нежность и грусть. А девчонки при свечах казались таинственными красавицами, и не было ни грубости, ни пошлости, ни страсти, но была таинственная красота нездешнего мира, накрывшая нас на мгновение легким покрывалом восторга.

А сексуальный опыт был повсюду. И только слепой и глухой мог его не набраться.

Первый урок я получил в 8 лет. Девчонка по имени Лилька-Обезьяна, старше меня года на три, затащила меня в камыши и предложила раздеться догола. Я согласился за две конфеты, но сказал, чтобы она это сделала первая. Лилька, которая лезла по деревьям не хуже мартышки и была страшна как крокодил, тут же сорвала с себя грязную белую майку и спустила черные сагиновые трусы. На ее тощем в царапинах тельце я увидел два бугорка с большими темными сосками, похожими на чирьи, и быстро опустил глаза вниз. Я был поражен. Вместо обычной пиписки—черный пушистый мех. Я невольно протянул руку, чтобы потрогать, Лилька милостиво разрешила погладить это чудо. Со мной она расправилась грубо—стасила трусы и дернула за то, чего у нее не было. Пока я катался от боли по земле, она с диким хохотом убежала. С тех пор девчонкам я не доверял, они казались мне коварными и злыми фуриями.

И только торт, свечи и таинственность вечера на чердаке повернули во мне какой-то винтык, соединив книжное знание с образами во плоти.

Моя история может показаться кому-то занудной, но, начав высказываться, я не могу остановиться, маленькие эпизоды уродливого детства заполняют мою голову воспоминаниями, поэтому я никак не допозу до сути.

Однажды утром, налив деду чаю, взяв в руки тяжелый альбом с фотографиями неизвестных мне людей и выплянув в окно на Московский проспект, я почувствовал, как стеклышки калейдоскопа моего времени-пространства качнулись с легким звоном, и появилась смутная надежда, что, может быть, встанут они, наконец, на место...

На том большом кавказском застолье я был, кажется, в качестве сокурсника дальнего родственника хозяев. Мой приятель сказал мне, что можно хорошо



поест, только нужно сделать фотографии самого застолья, а также хозяев и гостей, что пленки, проявка и печать будут оплачены заранее, но выглядеть желательно авантажно, так как это приличный дом и пр.

К тому времени я уже посетил кое-какие «приличные дома» и не ожидал того потока впечатлений, обрушившегося на меня, а тем более не мог предвидеть, чем все это кончится.

Квартира поражала великолепием, и, несмотря на все усилия, мне так и не удалось сделать вид, что я и не такое видел.

Обилие ковров, картин на стенах, да и самих стен могло поразить воображение не только жалкого детдомовца, кем я, по сути, оставался, но и простого интеллигентного студента-горожанина, каким я себя считал. Даже купленный накануне на барахолке почти новый импортный костюм казался бедным среди этого богатства.

Гости и хозяйева оказались не такими пугающими, как интерьеры дома. Но одна особенность этого схода делала нереальной обстановку всего застолья. Казалось, что все, и гости и хозяйева, вышли из рамы одной из картин, висевших на стене, так как представляли собой ярко выраженную династию гордого кавказского народа, путем колдовства и магии попавшую в холодный Петербург. Носатые, пучеглазые люди с твердыми подбородками и царственными жестами, холеные и горланно говорящие на незнакомом языке—все они казались мне призраками какого-то нереального континуума, существующего в параллельном нам мире.

Я смотрел на них сквозь видоискатель фотоаппарата, а мне казалось, что я подсматриваю сквозь замочную скважину чужую жизнь и что это нельзя и плохо кончится.

Гости охотно позировали и похлопывали меня по плечу. В конце концов хозяйка втиснула меня между двумя римскими профилями, и на время я забылся в нирване жевания и глотания фантастических яств искусно сервированного стола.

А за столом царило редкое единодушие. Тосты были длинными и остроумными, все слушали, не чавкая и весело реагируя, подначивали тостующего. Тосты же давали передышку животу перед следующей порцией блаженства.

И тут неожиданно я увидел ее.

Конечно, она выделялась.

Хотя профиль ее был классическим, как у большинства гостей, крупный нос с горбинкой, резкий излом чувственных губ, но лицо и руки отличались белизной, а волосы были прямыми и пепельными. И за стеклами очков сияли такие голубые глаза, что мне показалось, будто светлый ангел незаметно спустился с небес на это пиришество демонов.

Она пристально смотрела на меня. Я не мог поверить этому и даже оглянулся.

Тогда она встала, взяв в руки большую салатницу, и пошла прямо ко мне. Ростом она была—о-го-го, под стать окружавшим нас аборигенам неведомой страны, может быть, чуть пониже меня, но тонкость и гибкость фигуры придавали ее облику волшебную грацию, а волосы при движении двигались сами по себе, то разлетаясь от висков, то осыпаясь на лоб и плечи шелковыми прядями.

И дальше все происходило и происходило как при замедленной съемке. Глядя мне в глаза, она споткнулась и положила салат прямо на лацкан моего нового пиджака, потом ложкой попыталась стряхнуть его, и он упал мне на брюки. Она засмеялась и предложила пройти с ней на кухню, чтобы исправить это безобразие. Мы оказались там одни, она с салатницей и салатной ложкой в руке, я с молотком в груди, забивающим гвозди в мое сердце.

Проведя рукой по нежным ее волосам, я прикоснулся губами к ее губам и замер, или умер, потому что мне показалось, что время остановилось, раздвинулись стены, и мы совершаем полет туда, где нет времени, нет людей, а есть только две легкие птицы, парящие над пропастью без единого взмаха крыла, без единого вдоха или движения.

Я смотрел на нее, все еще держа ее за голову, и она смотрела на меня своим сияющим взглядом сквозь очки, и салат все еще был с нами. Потом я узнал, что его зовут «Оливье».

В этот вечер мы узнали друг о друге почти все, что можно узнать из пристальных взглядов и колотящихся сердец, и доели салат до конца прямо из хрустала.

Она была дочкой хозяев дома, и девушкой, несомненно, с большим будущим, прописанным вперед на долгие годы. Ее непохожесть на них породила в моей душе какую-то смутную надежду, что она, как и я, подкидыш, что в ее больших голубых глазах таится скрытое сиротство и что мы равны.

Все это, конечно, было большим заблуждением, но находилось в рамках тех нереальных впечатлений, которыми я наполнился в этот вечер.

И с этого дня для меня кончилась битва и началась жизнь.

Вернее, это была не просто жизнь—это было адажио, только я этого не понимал.

Страстный поклонник времени, я перестал замечать его ход. Оно как бы оставалось, или протекало медленно, так медленно и плавно, будто находишься внутри какой-то капсулы, где оно течет по своим законам. Мы как будто исполняли медленный танец для двоих. Все остальное продолжало существовать, но, по сути, стало неважным, как декорация в балете, условно заданное пространство, условно текущее время—*present continios*—условно продолженное.

Мы виделись каждый день. Она ждала меня у выхода из института или библиотеки на своей маленькой желтой «жонде», мы ели в машине привезенные ею пирожки или бутерброды и мчались на мой очередной калым.

Пока я снимал или брал интервью, она сидела в ближайшем интернет-кафе и трепалась в чате или готовилась к семинару.

Она училась рядом, в финансовой академии, где сокурсниками ее были одни «крутники» на новых «мерсах» и БМВ. Со следующего года она должна была поехать на стажировку во Францию, так как каким-то образом параллельно училась еще и в Гренобльском университете. Заниматься нужно было много, но для нее учеба, как и для меня, была просто песней, которую поешь от души, потому что не можешь не петь. Об отъезде ее за рубеж я старался не думать.

Калымы бывали разные. Больше всего мы любили большие свадьбы. Меня приглашали снимать по наводке из Дворца бракосочетаний, через знакомую девушку, которая, как говорил мой друг, имела на меня виды. Я вяло поддерживал ее прозрачную надежду редкими шоколадками и приглашениями в кино. Снимал я профессионально, монтировал и накладывал музыку. Платили хорошо. Но самое приятное было, когда мы вместе с Соней могли на чужой свадьбе оторваться, поесть, потанцевать. Соня моя могла придать всему этому изящество и шик.

Да, я не сказал еще, мою возлюбленную зовут Софьей, или Софико, как называли ее домашние. Имя «Соня» не подходило к ее искрящейся натуре. Она никогда не могла сидеть спокойно, быть равнодушной или дремать. Практически, все наши похождения придумывала она, не считая вынужденных занятий, для зарабатывания денег. Она и придумала наше поведение на чужих свадьбах.

О съемках я договаривался обычно с кем-то одним, при этом мне нетрудно было либо стащить пустой бланк приглашения для нее, либо купить похожую открытку в магазине. Гости, как правило, не знали друг друга, поэтому легко было притворяться друзьями или родственниками, то невесты, то жениха, особенно когда народу перевалит за сотню. Так как я «работал», Соня занимала место и для меня, стерегла мои закуски и напитки, и когда был перерыв в съемках, старалась меня быстро и качественно накормить. Она всегда знала, что нужно съесть, а на что можно и не обращать внимания.

Иногда на нее находило, и она, сияя глазами, произносила длинный грузинский тост, как всегда остроумный и изящный, я, естественно, снимал ее, но в фильм потом не вставлял, во избежание, зато у нас накопились великолепные эпизоды различных посещений и Сониных импровизаций.

Когда молодые отчаливали в постель, начиналось, как правило, непродолжительное безудержное веселье, тогда мы могли потанцевать, пообниматься и повеселиться, разглядывая гостей. В общем, это было счастливое время, и мы старались не думать о том, что через пару часов после чужой свадьбы я буду спать в пропавшем кислой капустой и носками общежитии, а она в своей царственной постели.

Это неравенство не смущало нас, мы были настолько единодушны, что казалось, весь мир вертится вокруг, сознавая всю важность наших взаимоотношений и открытий. А открытия происходили каждый день.

Ожидание встречи всегда было осязаемым, потому что тело терзали иголки, то горячие, то холодные, а момент встречи—оглушительным. Сладостными звуками

ми был стук ее каблучков или шлепанье кроссовок издалека, поскрипывание нейлоновой куртки, шуршание юбки, щелканье замка сумочки, позвякивание застежек рюкзака, почти беззвучное журчание шарфа. Звуки накатывали, как волна на берег, я погружался в них и замирал, прежде чем вынырнуть на поверхность и вздохнуть. Затем наступала череда запахов...

Наверное, кто-то невидимый писал сценарий для нас, а мы исполняли па-де-де, прыжки и поддержки, так, как будто всегда знали свою партию, и сегодня – наступил единственный шанс ее исполнить.

До судьбоносной встречи жизнь моя была однообразна, хоть и насыщена до предела. Организация и управление временем вошли в мою кровь прочно, я помыслить не мог о нарушении правил, выработанных подсказками «сверху». Подсказки были, и я искал их в простой повседневности, как в осеннем лесу – потертую вещь, шаркая ногами по опавшим листьям.

Я видел, как вокруг меня сверстники мои убивают время на пустые занятия, длящуюся сутками игру в карты например, или поиски курева и выпивки, чтобы потом, как мне казалось, опять отнимать время у себя бесполезными и бестолковыми рассуждениями о том, чего не знаешь или чего не может быть. Убийство страстей посредством алкоголя отпало само собой, не только из-за отсутствия средств, а потому, что было жалко тратить бьющую кипятком энергию на такое мелочное и пустое занятие, как разговоры в чаду и духоте после обильно выпитой «Анапы» или дешевого портвейна или поправка себя с похмелья кислым пивом.

Все это было скучно, и я решил – ни одного дня без скуки, без движения к своей цели, к заветному городу мечты, а то «дорога уходит вдаль» без меня. Каким-то третьим или пятым чувством я понял, что раз невозможно совместить движение по дороге с идущим неумолимо временем, то нужно попытаться двигаться внутри собственного времени, расширяя и углубляя мое собственное пространство.

На самом деле все это начиналось давно, просто в каком-то младенчестве.

Самое сложное было найти цели, которых стоило достичь. Они были какие-то туманные, эфемерные, но все же брезжили сквозь этот туман, иногда мерцающая огнем, а иногда пропадавшая вовсе в непроглядной тьме.

Ни дня без скуки – первый девиз, который реально стал началом моего движения вглубь, в себя.

Первое, что приходит на память, – те робкие инвентаризации, которые я проводил наедине с собой, проверяя глубину моего колодца.

Сначала это была проверка уже имеющихся ценностей, не материальных, вещных, а неосязаемых, невидимых на первый взгляд, но в достоверности которых я не сомневался.

Нельзя сказать, что это были сразу, сами собой сформированные понятия, скорее образы чего-то туманного, но невыразимо прекрасного, к чему нужно стремиться, но чего нет вокруг и что, наконец, нужно привлечь в лоно своей жизни, как привлекаются мечты под одеяло перед сном.

Помню, еще до школы, когда мы были совсем малышами, нас заставляли спать зимой на веранде, после обеда, для закаливания. Спать после обеда было, вообще, издевательством, а на веранде, зимой, при открытых окнах и подавно. Лежали мы не только одетыми в шапки и валенки, но нас закутывали в спальные мешки, сшитые наподобие телогреек, как конверты, с завязками из белых шнурков. Конструкция была ненадежная, того и гляди грозила развалиться и пустить холодный воздух внутрь конверта. Воспитатели строго-настрого предупреждали, чтобы мы не двигались, пугали воспалением легких, от которого якобы какой-то слишком подвижный мальчик умер. Спать от страха было невозможно, и мы лежали, тихо переговариваясь, как заключенные, скованные этими тряпочными цепями.

Вот тогда-то мое воображение и сыграло свою первую роль в несовершенном сюжете детства.

Я представлял себя маленькой собачкой или птицей. Причем образы мои были реальны, а события – нет. Я вспоминал, например, как собачка бегаёт по траве, греется на солнце, а маленькая птичка перелетает с ветки на ветку, и мне становится жарко, и я пью росу, если хочу напиться, а крылышки становятся тяжелыми, и их нужно сложить и замереть, может быть, заснуть в тени

до вечера. Возможно, это было что-то другое, но знакомое, и в то же время нереальное, как сон или видение.

Помню только, что раз от раза лежать смирно мне было все легче, а затем наступали мгновения легкого погружения в сон, причем сон мечты, направленный туда, куда вело меня мое незатейливое воображение и слабая детская фантазия. И были мелодии, те, которые помогали сновидениям наяву.

Позднее я прочел книгу Джека Лондона «Странник по звездам» и убедился, что невольно путь выбрал правильный.

В своем одиноком существовании я никогда не расставался с мамой. Она была рядом, когда тоска и скука грозили разрушить хрупкое равновесие детского мира. Иногда я видел ясные картины нашей жизни. Много песка, кромка зеленого сада и тихий плеск холодного моря. «Мариус», — она звала, и голос рассыпался в воздухе как шелест птицы, я бежал, но бежал тяжело, ноги проваливались в песок, как будто они весили по пуду, добежать было просто невозможно...

Маленькая страна, которая жила во мне и росла день ото дня, составляла существенную часть моей жизни. Я придавал большое значение ее устройству, стремясь очень хорошо представить тех, кого я туда допускал. Страна моя была населена не густо, но качественно, и если кто-то там внутри допускал ошибку своим поступком или словом, то он мог быть изгнан оттуда навсегда.

В детстве меня звали Марком или Мариком, и только в 15 лет я узнал, что мое настоящее имя Мариус. С тех пор ко мне приклеилась кличка Прибалт, или Литовец.

А вообще, кличек было много, например, Жердь или Верста из-за моего роста и непомерной худобы, была кличка Беляк из-за светлости волос. В Доме клички давали охотно, охотно на них отзывались. Так было принято, тебя больше знали по прозвищу, чем по имени.

Мое естественное стремление к развитию сначала рождало темы, потом идеи, а значит, искало пути.

Судьба дарила подарки.

Сначала они были просто дарами свыше и не осознавались как знаки, а потом только сформировалась мысль, что перемены есть поворот и нужно быть начеку, чтобы его не пропустить.

Таким поворотом стала встреча с моими будущими опекунами. Людьми, которым я безмерно благодарен за их неуверенность в жизни и за тот поступок, который они совершили ради меня, совершенного дикаря и опасного вольнодумца, с сиротским прошлым и неизвестными родителями, возможно убийцами или ворами.

Мы давали концерт для шефов. Это была большая редкость, так как шефы растворялись во времени и пространстве вместе с перестройкой. А тут вдруг нашлись какие-то добрые люди, которые хотели перечислить деньги конкретно на наш детдом.

То ли фирму закрывали, то ли благотворительность начала прорастать в обществе богатых, только нас предупредили, чтобы мы подготовились как положено и выучили стихи по списку, и костюмы с декорациями привели в порядок.

Программа была просто убийственная. Сиротская — в полном смысле слова.

Где воспитатели собрали такой репертуар, ума не приложу, видимо, он отрабатывался годами и должен был вызывать «жалисные» чувства к бедным сироткам.

Песни, исполняемые под аккордеон хором, были исключительно про счастливое детство. Зато стихи отличались безвкусицей и отдавали блатным жаргоном.

Особенно запомнилась длинная поэма, читанная на ночь, про мальчишечку-сиротку, «прегерпевшего страшные муки от разлуки с любимым отцом».

Для выступления отбирались краткие стихотворения, но содержащие ту же сиротскую ноту. Вершиной и финалом концерта была постановка одноактной пьесы, написанной воспитателем, умершим от пьянства, но успевшим стать легендой нашего детдома, еще до моего приезда туда. Пьеса отражала моральный облик воспитанника-сироты отличника Вити, который спасает во время грозы заблудившегося в лесу второгодника, но имеющего родителей, Вову. Плохой Вова перевоспитывается под благотворным влиянием спасшего его сироты, а счастливые родители усыновляют Витю. Happy end — все счастливы. Однако шепотом

говорилось, что подлинный конец пьесы должен быть трагическим, там добрый Витя погибает, спасая Вову, но цензура школы не допускала грустного финала, и пьесу переделали.

Концерт шел гладко до начала постановки, затем начались чудеса. Когда в предполагаемом лесу разразилась гроза и ударила молния (эффект за сценой – вспышка трех ламп), одна из ламп лопнула, вспыхнула и произошло короткое замыкание, свет потух. Полная темнота упала на сцену и зал. Секунд пять стояла мертвая тишина, потом все задвигалось, попадало, загремело, заголосило, и наступил хаос.

Вечно пьяный дядя Петя – слесарь, дворник, сторож – три в одном, где-то почивал, утомившись приготовлением концерта. А глупые тетki не могли сообразить, что делать. Присутствующее начальство вообще не привыкло что-то делать, а только командовать, а командовать в полной темноте неизвестными личностями трудно. Дети, как водится, устроили настоящий гвалт, крик был такой, что уши резало. Это было что-то!

Тут я и вспомнил про свечи на чердаке.

Я шагнул на сцену, держа дрожащие огоньки в обеих руках, почти прижимая их к ушам. В зале наступило затишье, а затем – оцепенение. Оцепенение охватило и меня, как зараза, наполнило в голову и вскрыло волшебную дверцу моего маленького придворного мирка. Эскадрон гусар тут же выпорхнул из нее без всякого разрешения:

«Красивые, во всем красивом,  
Они несли свои тела,  
И, дыбя пенистые гривы,  
Кусали кони удила.  
Еще заря не шла на убыль,  
И розов был разлив лучей,  
И, как заря,  
Пылали трубы,  
Обняв веселых трубачей...»

Иосиф Уткин, спокойно проживающий в моем королевстве, вдруг пошел в атаку со своими бойцами, прихватив с собою и меня...

«А впереди,  
Как лебедь тонкий,  
Как лебедь, гибкий не в пример, –  
На пенящемся арабчонке  
Скакал безусый офицер...»

Бедный Иосиф поселился в моем мирке случайно. Когда-то Нина Алексеевна – наша библиотечка, видя мою книжную болезнь, попросила меня разобрать книги, которые не числились в каталоге и которых как бы не было в библиотеке.

Маленькая комната, как лавка старьевщика, была до отказа забита фолиантами, старыми газетами и книжками разных размеров и сорта.

Это был настоящий клад. Мне доверено было сортировать и записывать книги в каталог. Тут были и «История живописи» Муттера, и подшивка журнала «Нива» за 1914 г., и первое посмертное издание стихов А. А. Блока, и «Нравы насекомых» без автора, а также уникальная пьеса сталинских времен «Бронзовый бюст», зачитанная до дыр постановщиками и переплетенная не однажды. На всех без исключения книжках стоял штамп «Для отзыва» и еще – «Проверено». И Нина Алексеевна пояснила мне, что книги, видимо, когда-то были отобраны из библиотек по соображениям цензуры, а теперь их, так и не уничтожив, опять пустили в оборот. Ну ладно, «Бронзовый бюст» в годы разоблачения культа личности запретили, а «Нравы насекомых» чем не соответствовали советскому образу жизни?

Тоненькая книжечка «Иосиф Уткин. Стихи» поначалу не впечатлила. И я уже приготовился записывать имя автора в амбарную книгу, но открыл, любопытствуя, биографию автора. «Мальчишку шлепнули в Иркутске. Ему семнадцать лет всего...»

Поэт Иосиф немногим дольше этого мальчишки прожил на белом свете. Смерть его была странной. А поэзия — забытой на долгие годы. Было обидно «до боли, до кома в горле» за этого Иосифа. К тому же их вместе с поэтом и другом Жаровым злопыхатели называли Жуткиными.

И я дал ему вторую жизнь, поселив его в свой мир, где время-пространство не были ограничены предрассудками и социальными бурями.

И теперь я летел сквозь мрак, окутавший нашу темную жизнь, нашу беспросветную школу, а может быть, все неохваченное поэзией человечество, чтобы выплыть к свету вместе с Иосифом и его офицерами.

Когда «Атака» кончилась, зал зашелестел и завздыхал, как лес перед грозой.

Но сейчас в нем сквозь непроглядную тьму горели огоньки зажигалок, и опять через наступившую тишину я вместе с другим поэтом — Александром Блоком, кутаясь в полость шубы, мчался в санях по снежному Петербургу, срывая маски:

«Снежная мгла взвилась.

Легли сугробы кругом.

Да, я с тобой не знаком.

Ты — стихов моих пленная вязь...»

А затем, по тряской дороге, сквозь туман, в лохмотьях Арлекина, и дальше... «Ты в поля отошла без возврата»...

А потом дали свет.

Кто-то взял из моих дрожащих рук оплавленные свечи, меня тискали, обнимали, тормошили, как мешок. Я был опустошен.

— Мария Николаевна, — она смотрела, наклонив голову чуть набок, как птичка. В глазах метнулся мимолетный испуг.

Рядом стоял высокий и совершенно серый человек. Серый костюм, серая рубашка, черный в серую полоску галстук и серебристые блестящие, как парик, волосы.

— Александр Георгиевич.

Четыре глаза смотрели прямо в мою опустошенность. Они меня держали своими глазами. Хотелось обнять их, зарыться и заплакать.

— Мариус, — я протянул руку. — Мои родители живут в Прибалтике. А у вас есть дети?

Четыре руки одновременно сжали мою ладонь.

Детей у них не было.

Через месяц я получил письмо. Они жили в Ленинграде, в городе мечты, на улице Торжковской. Рядом находились Малая Невка и Черная речка, где убили Пушкина.

Иногда по ночам я представлял себе их дом. Он казался мне большим, с темными коридорами и гостиной с камином, где уютно горит огонь, и Александр Георгиевич читает книгу с золотым обрезом, а Мария Николаевна пьет чай из маленькой чашечки, которую ставит на круглый столик, специально для этого предназначенный. Пламя камина освещает их лица, а комната поглощена синей темнотой, и углов не видно.

Но бывали моменты, когда я вдруг слышал скрип двери и видел, что человек, сидящий у камина, — один, и это не Александр Георгиевич, а какой-то старик, в наброшенном на плечи рваном пледе, а в комнату входит кухарка, в чепце и фартуке, держа в руках сверток. Она протягивает этот сверток старику, и в пламени камина видно, что это — младенец.

Это видение пугало меня как предостережение. Призрак младенца — как призрак несчастья, так как чувствовалось, что матери нет, а старик одинок, и глупая кухарка глуха и нерасторопна, а кругом то ли — бедность, то ли — запустение...

Я часто возвращался мыслями к тайному собеседнику, заставившему увидеть мою жизнь со стороны и понять, как безграничны возможности человека, идущего по дороге времени.

Жизнь, вписанная в ему одному данный континуум, неповторима и уникальна. Но если думать только об этих жизненных рамках и не задумываться о вечном, то что же это за жизнь?

Кто-то движется в своем отрезке времени, преодолевая его и себя в поисках пути, кто-то просто плывет по течению и этим счастлив вполне. Но никто не может выйти за пределы этого личного времени-пространства, данного тебе свыше. Только все же мне кажется, что не думать о вечности и о том, что ты оставишь в ней, невозможно. Ведь это значит не дать себе развернуться, прервать собственные возможности, не пытаться понять, на что же ты все-таки способен...

Личный отрезок времени дан каждому.

И надо начинать с себя...

Надо именно его, этот твой отрезок времени, и совершенствовать, изнутри наполняя соками жизни и сущностью тех, кто до тебя уже кое-что сделал.

Кто-то ведь пишет Историю. Записывает события и даты, старается расшифровать тайный смысл всего сущего. Как он видит все это?

Каким таким своим существованием мы вписываемся в этот путь Истории и ее событий? Кто знает, какое из событий станет тем, отмеченным свыше?

И остается вечный вопрос: кто я, идущий по дороге времени?

Они писали мне регулярно. О себе, о жизни в городе моей мечты, о моем таланте и дальнейшей судьбе, в которой хотели принимать участие.

Это были два человека, которых мне хотелось потрогать, как диковинную вещь, находящуюся под стеклом.

Он работал в Морской академии, учил моряков английскому языку. А Мария Николаевна преподавала итальянский в университете. Так как язык ее был непопулярным, то часов у нее было мало, и она давала частные уроки для «крутых», уезжающих в Италию на отдых или работу. Еще ее приглашали фирмы, натаскивать сотрудников для работы с зарубежными партнерами, вести деловую переписку и отвечать на телефонные звонки с родины Ромула и Рема.

Их растерянность по жизни, интеллигентское самобичевание, безграничное чувство долга, незнамо перед кем, до сих пор приводят меня в недоумение: как же они решились меня опекать. Ведь я мог оказаться вовсе не благодарным, а наглым и злым, да еще с плохими наклонностями и патологическими пристрастиями.

По-моему, они до сих пор тихо меня боятся, но не могут из-за гордости признаться в этом друг другу. Думаю, что в их ночных кошмарах я занимаю не последнее место, а потому мне то хочется опекать их, как беззащитных детей, то убеждать от них подальше, чтобы страх в их глазах исчез навсегда.

Однако наступила весна, и я получил письмо о переводе в интернат во Всеволожск.

Это было совсем рядом с Санкт-Петербургом, как теперь по воле великого мэра стал называться город Ленина, и, конечно, это была заслуга моих покровителей.

Началось время какого-то бешеного развития. За короткое время я узнал столько нового, что сложно было поверить в возможность подобных преобразований в одном человеческом индивиде. Кроме того, Мария Николаевна без усталости занималась моим воспитанием, что лично я приравниваю к подвигу Александра Матросова. Научить невежу есть с помощью ножа и вилки, пользоваться салфеткой и при этом не пролить, не разбить, или просто не уронить чего-нибудь...

Но, как говорят дотошные французы, «если зайца долго бить, он научится зажигать спички».

Со мной было примерно так же, правда, никто меня, кроме меня, не бил, и даже не мучил, я сам так страстно хотел быть воспитанным, и чтобы Мария Николаевна могла при гостях не коситься на меня испуганно, а гордо смотреть, как я говорю, не размахивая руками и не педалируя голосом, чтобы меня слышали.

Тогда время мое как бы сжалось и стремительно летело, успевая запихивать в свой багаж все, что попадалось на пути, всасывало как пылесос знания и опыт, которым делилось со мной окружающее. Это было время всепоглощенного знания, и я не позволял себе расслабляться. Мои учителя и покровители так уверенно и преданно занимались мною, что это давало потрясающие результаты.

Кстати, жили они очень безалаберно. Квартира, которую в своих мечтах я представлял чуть ли не королевским замком, была действительно большой, но страшно запущенной. Повсюду лежало и валялось бесчисленное количество книг. По-моему, они были даже в холодильнике. Да, действительно, один из холодильников использовался как книжный шкаф. Причем книги в нем были уникальные, чуть ли не рукописные. Зато с едой было гораздо хуже. Еды постоянно не было. Вернее, она была, но в полуфабрикатном виде. В основном это были пельмени или вареники, купленные в ближайшем гастрономе. Достоинство тех или иных сортов не обсуждалось: еда как еда. Уборка производилась тоже крайне редко, так как швабра и тряпка для пыли постоянно наталкивались на очередной томик на русском, английском или ином языке, и «уборщик» зачитывался до полуночи или до утра, а там уж – и на работу.

С моим появлением в квартире сначала ничего не изменилось. Мне просто говорили, где «не нужно ничего трогать» (на столе у Александра Георгиевича или на рояле «ни в коем случае», или «ради бога, только не в старом холодильнике» и т.п.). Постепенно мне было дозволено разбирать книги в коробках под столами и стульями. Так как опыт составления каталогов у меня уже был, я довольно быстро привел в порядок литературу на русском языке. Вместе с Марией Николаевной мы заказали два огромных стеллажа, а в каникулы я как мог побелил и покрасил кабинет, куда мы их и водрузили. Настало время мне порадовать моих благодетелей. Расставленные по авторам книги, каталог и чистые потолки и стены сделали нас, на мой взгляд, ближе друг к другу, как ничего до этого.

Мои достоинства, несомненно, приумножались день ото дня, а доверие ко мне возрастало.

В субботу и воскресенье, когда мне было позволено ночевать у них, я, как правило, занимался прежде уборкой и приготовлением борща или котлет, а так как Мария Николаевна ни в коем случае не разрешала мне постоянно «стоять у плиты», приготовить я успевал только одно блюдо. Вместе мы ходили на базар, и постепенно ассортимент поедаемых продуктов увеличивался. Появились не только соленые огурцы в банках, но и замороженные овощи для гарнира, которые так удобно разогревать на сковородке без затей, и полуфабрикатные котлеты из овощей, кур или рыбы, а также разнообразные соусы и квашеная капуста «от старушек». Оказалось, что фрукты тоже везде продаются и стоят недорого, а селедка бывает в маленьких пластиковых коробочках, уже без костей. Мои опекуны удивлялись этим вещам, как невиданным открытиям, и радовались, как дети, возможностям простой кулинарии. Но на еду времени всегда было мало, так как нужно было успеть сходить на новую выставку, посмотреть запланированную экспозицию в Эрмитаже, или посетить Морской музей.

Иногда были вечера встреч с друзьями. Я называл их салонами.

Гости были не хухры-мухры, а люди с положением и родословной. Захаживал композитор, младший сын известного советского писателя – красного графа, конечно, с графиней (пятой по счету) Ольгой Николаевной, известный актер – праправнук Анны Павловны Шерер (той самой из романа Л. Н. Т.) Борис Дмитриевич, со своим «приемным сыном», а также какие-либо заезжие иностранцы, с оригинальными проектами посетившие нашу отчизну. Эти журфиксы происходили традиционно под кофе и чай с печеньем и сыром. Иногда грушеобразный потомок графского рода, по-детски оттопырив губу, произносил в нос: «*Мариночка, mon chaire, pardone moi, а нет ли чего существенного?*»

«*Mon amie, Митенька,* – говорила она по-французски, – быть голодным неприлично. Вы же не бастард. Возьмите еще *tartelette*». «Приемный сын» Левина любил поразить старичков рассказами об очередных похоронах и поминках, где в последний путь провожались люди не простые: «Сижу я рядом с Ромой (Виктюком), а он мне говорит: «Какая ужасная одинокая смерть! После такой-то бурной жизни». А я ему: «Я вас умоляю, был я у нее в доме престарелых за неделю до смерти – полный маразм. Я ее спрашиваю, дорогая, вам делают массаж, а она мне – какой пассаж, я уже десять лет как оглохла, и мы смеялись, хотогали просто, так и умерла, смеясь, по-моему, прекрасная смерть». Ольга Николаевна по большей части была безучастна, но иногда и она говорила хорошо постав-



ленным голосом с необычно мягкими обертонами нечто типа: «Катька, дура, тво-рог купила не сладкий...»—и замолкала надолго после Маринино «возьмите еще tartelette». Зато анекдоты рассказывались на языке оригинала, и часто гости говорили одновременно на трех-четырёх языках, и от сильной сосредоточенности и желания понять что-либо я почти терял сознание и входил в состояние транса. Впрочем, мне не всегда разрешалось присутствовать, так как обычно мои задания я выполнял в то же время, и терять его мне не было никакого смысла.

Впрочем, судьба Митеньки меня печалила.

Несмотря на возраст и существенный объем, он был до сих пор действующим композитором, т.е. писал музыку в «легком» жанре прошлого века, или—в «классическом» этого. К 75-летию в консерватории был дан концерт в честь Митеньки, где присутствовали многие его потомки, в том числе и внуки, приехавшие из-за границы. Присутствовали также две знаменитые племянницы-писательницы, властительницы душ современных молодых интеллектуалов.

Вскоре после торжеств из окна вижу, как Митенька и Ольга Николаевна, поддерживая друг друга под порывами холодного петербургского ветра, с авосечкой в руках перемещаются по направлению станции метро. Сама картина навеивает грусть. «Куда это они?»—спрашиваю у Марии Николаевны. «Да в нотариат. Опять потомки недовольны распределением наследства. Вот они и ездят, переписывают завещание. Дома у них неуютно, неубрано, окна, не мытые 10 лет, есть часто нечего, а внуки наследство делают и домработницу брать не велют. Боятся—кругом раритеты, а самим за стариками присматривать некогда. Так и живут потомственные графы, только внутренний мир и спасает».

Той весной я усиленно готовился к вступительным экзаменам в университет. Мои опекуны уговаривали—в Театральную академию, видя во мне способности к выразительному чтению и умению подражать речам и манерам. Но я стоял на упор—меня привлекала литература, и журналистика в первую очередь, как возможность описывать события, свидетелем которых я мог стать. А события, события, они обязательно должны были случиться. Может быть, для мужика это не профессия, как считал А.Г., но мне писание нравилось, и тут Мария Николаевна была на моей стороне—«нужно стремиться заниматься тем, что любишь, успеешь еще стараться полюбить то, чем придется заниматься».

С Александром Георгиевичем они были парочка что надо. Он был младше ее лет на пятнадцать (конкретно никогда не уточнялось, но подчеркивалось), предан безумно, смотрел с обожанием, на журфиксах был просто «Саша-подай-принеси», но имел массу собственного достоинства и вкуса к самым разнообразным вещам. Был заядлый путешественник, просто фанат, в год они три раза выезжали за границу. В советское время это было не просто, и М.Н. намекала, что за это приходилось платить, ну не деньгами, конечно, а приносит жертвы, некие жертвоприношения гидре КГБ (намекы со вздохами). Вообще, в жизни им многим приходилось расплачиваться, но и отстаивать свое право они умели, тихим голосом, очень интеллигентно, но твердо. Эта твердость их характеров, или скорее, духа, общего духа их семьи, была для меня огромной загадкой, которую я обожал.

Когда они познакомились, как я понял, Саша был ее учеником. Был он без роду и племени, а М.Н. из древнего рода Стрельцовых, известного на Руси еще с 15 века. Предки ее, коренные петербуржцы, имели имения в Гатчине и в Саратовской губернии на Волге. Имеются на то грамоты, выданные еще в царское время, на владение землей и людьми, да мемуары ее деда, сосланного в Сибирь советской властью, но не уничтоженного, за какие-то заслуги перед самим Железным Феликсом. Имения, конечно, частично сожгли, частично разорили, но М.Н. регулярно навещается в те места и жертвует, сколько может, ближайшему храму, на помин души всех убиенных и усопших своих предков, а также их крестьян, управляющих поместьями и их потомков.

Саша так и остался дорогим ее мальчиком, самым умным и порядочным, и красивым, конечно, до невозможности. Подозреваю, что так же, как меня сейчас, учила она тогда его всем премудростям этикета, хотя в те времена это могло принести только вред: не в почете было дворянское происхождение и всякие там «сю-сю-мюсю».

Сама М. Н. еще ребенком пережила блокаду и была ранена во время бомбежки, спасена и вывезена по Дороге жизни своей няней, простой крестьянской девушкой Лизаветой. Дети этой самой Лизаветы стали сводными братьями и сестрами М. Н., она всем им помогла по жизни, но говорила о них с легким оттенком пренебрежения, как о слугах или крепостных, намекая на дурную наследственность, видимо все же сословное высокомерие было у нее в крови.

После войны М. Н. жила в Саратове, так как в Ленинграде все погибли, но когда окончила университет, вернулась в родной город, и, обливаясь слезами, восстановила себя в правах на жилье, работу и прочие блага, которые полагались ей как блокаднице, сироте и бывшей жительнице этого прекрасного, единственного в мире города, где навсегда на Пискаревке остались ее родители, бабушка и сестры и где, по ее словам, всегда оставалось ее сердце.

## Глава 3 Опасность

**М**ы с Соней никогда не обсуждали наше будущее, никогда не говорили о том, какая жизнь ожидает нас. Соня ведь не была сиротой, а представить себя членом их большой кавказской семьи я не мог никак.

Братья ее — Зураб, Таризл и Автандил — казались мне инопланетянами, я не понимал, о чем они говорят, а уж тем более думают. Каждый день ее провожал в академию один из них. В течение дня она звонила по телефону и сообщала о своих перемещениях. Контроль был практически номинальным, но меня удивляла ее исполнительность и покорность, с которой она выслушивала очередные наставления, о том, как себя вести. Обмануть братьев было несложно, но точки своего предполагаемого пребывания Соня четко отмечала присутствием хотя бы на одну минуту. Еще был телохранитель, «человек в бандане», который иногда незримо сопровождал нас.

Однажды, я был грубо засунут в джип, величиной с автобус, и доставлен в ту самую квартиру, где когда-то счастье улыбнулось мне, к бабушке. После часовой беседы с глазу на глаз и предупреждения о неразглашении я был отпущен в липком поту, но с твердой уверенностью — «никому тебя я не отдам!».

Бабушка Софиго, в честь которой и была названа моя Сонечка, фактически была главой семьи и важной частью Сонечкиной жизни.

В детстве Соня часто болела, и мать отправляла ее на откорм к бабушке, в горы, в Абхазию. Ни одно решение не обходилось без бабушкиного участия. Семья пережила тяжелые времена во время войны между грузинами и абхазцами, так как до войны постоянно жила в Сухуми. Один дядя — брат отца и сын бабушки — был зверски убит. Притом абхазцы таскали его труп по улицам три дня. Бабушка поседела и обезножила. Кровь была смыта ответным убийством, и семья попала в западню кровной мести. Дом в Сухуми, усадьба в горах и прежняя жизнь были потеряны навсегда.

Многого я просто не знал; как говорила Соня: «Зачем тебе это? Спи спокойно».

В то холодное осеннее утро Соня позвонила мне на мобильник, и быстро проговорила, что встреча переносится на два, в фойе главного корпуса. Я удивился и хотел спросить, почему внутри, но она уже отключилась. Со вчерашнего дня отец опять приставил к ней телохранителя, и я решил, что поэтому она не может говорить долго.

Я подъехал к институту без пятнадцати два и, когда переходил мостик с грифонами, столкнулся с «человеком в бандане». Он пронзил меня взглядом и растворился в толпе. По фойе протекал поток студентов. Мажоры и мажорихи наяривали по мобилам, при этом девицы принимали позы, как перед кинокамерой. Казалось, все здесь организовано для съемок бразильского сериала. Ни одной выбившейся без визажиста пряди, никаких несвежих рубаш: запах дорогого бутика, нежный шелест купюр, блеск украшений, сияние косметических средств «Ланком» и «Буржуа».

Сони не было. Холл опустел, стучали чужие каблучки, навалилась тоска незнакомого места. Я не знал, что делать. Раз пять набрал ее номер, картавый голос по-грузински выплевывал незнакомые слова. Я пошел искать аудиторию. Расписание висело на втором этаже. Открыв дверь в кабинет, я увидел, что семинар малочислен, и Сонечки, по-видимому, нет. Ее подруга Зинка, увидев меня, сделала знак и выскользнула из класса.

В записке было два слова по-английски с двумя восклицательными знаками: «Grandmother!», что означало «бабушка», и «Love!», что означало «люблю». Зинка была полная дура, с отсутствием всякого чувства меры. Она восхищалась Соней, как принцессой Дианой. Страшно любила одевать ее вещи, хотя сама была очень не бедна, так как ее родители проживали постоянно в Таиланде, где отец был послом, а мать занималась «простой» благотворительностью. Выросшая среди тайцев, она была проста как мычание. И, тем не менее, Соня любила ее за искренность и непосредственность, доходящую до абсурда.

Теперь она ничего не могла сказать вразумительного, кроме того, что с утра Соня была мрачна как тень, так как «человек в бандане» ходил по этажу, где были занятия, и она нервничала, и не сказала ничего существенного, а только просила передать записку, так как боялась не попасть на встречу со мной вовремя. Куда она делась после занятий, Зинка не знала, и была озадачена предстоящей сдачей отчета по экономическим проблемам Северной Кореи.

Прозвенел звонок, и я поплыл в потоке говорящей массы на канал Грибоедова. Глазами я искал ее, хотя знал, что ее нет, просто чувствовал, но не мог успокоиться, и биение сердца нагнетало тревогу. Холодный ветер обнимал и пробирал до костей, редкие капли начинающегося дождя, как слезы, падали на щеки. Я облокотился на перила, вода была черной и неподвижной, как в зеркале, в ней отразился мост и «человек в бандане», быстро идущий в сторону собора. Я вздрогнул и поднял голову—он удалялся, оглядываясь и сверкая глазами. На плечо легла чья-то рука, я повернул голову и уперся взглядом в жесткие глаза Авто, младшего брата Сони. Его жесты были замедленны, он кивнул и пошел, не оглядываясь, к машине. Ехали молча, даже шелеста шин не было слышно. Липкий страх заполз мне в уши, и я как бы оглох.

Бабушка в кресле выкатилась прямо в коридор. Меня обыскали. Гортанно переругиваясь, потыкали в мобильник, послушали Сонино сообщение и молча устались, как в театре. Записка лежала в кармашке на груди, ее не нашли. Каким-то шестым чувством я понял—беда.

Чувство вины набухало, непонятно почему. Страх делал липкими ладони.

Бабушка что-то сказала абрекам, и меня провели в комнату, где стояла простая деревянная скамья и не было ни картин, ни цветов, а висел портрет в простой черной раме, из которой смотрел на меня грустный человек с очень умным лицом. Мы остались вдвоем, и она смотрела на меня Сониными глазами, и в них подрагивали зрачки, и страх, и твердость металась рядом. Я протянул ей записку. Она посмотрела на нее и сказала тихо: «Дело плохо, она послала тебя ко мне и дала это. Она так играла в детстве: писала записочки такие односложные, которые надо было разгадать. Обращение ко мне: «Grandmother!» означало «Помоги!», а «Love!»—защити того, о ком шла речь. Чаще всего речь шла о брошенном котенке, или голубке с подбитым крылом. Что ты знаешь, говори! набичваро!»

От того, как сжимало под ложечкой, я чувствовал беду, и если бы от меня зависело, чтобы все осталось как раньше, я не задумываясь рассказал бы все как есть, но никого это не интересовало, кроме одного, где Соня.

Утром она ушла на занятия и исчезла после второй пары бесследно, как выяснилось на жесткой скамье в мрачной комнате.

Поняв, что от меня мало проку, меня выставили за дверь, посулив некоторое количество угроз и взяв некоторое количество обещаний. «Что можно ожидать от сына шлюхи?!»—крикнул Таризл. Братья, как водится, сверкали глазами, повелили бровями, взмахивали руками и вели себя, на мой взгляд, несколько театрально.

Когда отчаянье достигло предела, наступил черед деда.

Пометавшись со своей бедой по Сониным подружкам в поисках информации и просидев безрезультатно несколько часов подряд под дверью несговорчи-

вых братьев, я оказался, сам не помню как, на Московском проспекте, в пропахнувшем мочой подъезде старой панельки, перед обшарпанной дверью, за которой жил самый настоящий мой дед, по крови и по матери.

И про это разговор отдельный.

## Глава 4 Дед

**У** всякого «Ивана, не помнящего родства», есть надежда, что где-то есть кто-то близкий, так как никогда никому сироте и в голову не придет мысль, что он инопланетянин. А какие именно они—эти близкие, мы в детском доме не задумывались глубоко, хотя мечтали, конечно, о хороших людях, не богатых и не бедных, но очень абстрактно, без реалий жизненных, очень общо. Ну и проколы были, конечно, конкретные.

Так, учился я в пятом—шестом классах с девчонкой с тонкими белыми косичками. Лариска-актриска. Часто выступали вместе на вечерах и в концертах для шефов. Когда ей исполнилось пятнадцать—нашлась мамаша, и Лариска хвалилась, что после 7-го ее возьмут домой.

В свои первые каникулы в универе—поехал в Москву, посмотреть первый раз на столицу. Разинув рот шлепал по Тверскому.

Меня окликнули моим детдомовским прозвищем Прибалт. Оглянулся, рядом иностранка какая-то в меховом пальто, элегантная, высокая, красивая, как из журналов, смеется, руки тянет, обнять хочет, вырываюсь, как дурак, и тихо осознаю—Лариска.

Квартира ее оказалась шикарной сказкой, ну, думаю, Актриска-то состоялась, напились на радости от встречи, и она рассказала, что мамаша ее сутенерша со стажем, Лариску пристроила в «интердевочки», а когда утром на кухне пили чай, угоривала меня, что очень довольна жизнью, и ревела при этом, как в детдоме, без слез.

Это еще не самая противная история. Были и похуже. В принципе, Лариска неплохо устроилась, и родню нашла, и без работы не осталась, а что до стыда, так это чувство в детдоме не проявлялось, когда жрать хотелось. Привязанность к кому-то близкому, родному была важнее, и отыскать кого-то, кому ты, может быть, нужен, мечтал каждый. Хоть какая мать, а все же...

Иногда я вспоминал Лильку-Обезьянку, которая не была сиротой в полном смысле этого слова, мать просто оставила ее в роддоме и не приехала больше, а отказаться не догадалась. Лилька страстно хотела найти ее всю жизнь. Она плохо и тяжело училась, и получала хорошие оценки только благодаря своей хитрости и нахальству. Была она очень неуравновешенная девчонка, до психоза, просто дьявол какой-то—то добрая без меры, то агрессивная как же кислота. После исполнения нам пятнадцати лет—выдавали адреса тем, у кого родители были или как-то проявлялись.

Лилька рассказывала, как с тортом явилась по адресу на окраине Кинешмы. Дом покосившийся, с драным штакетником вокруг заросшего травой двора. Женщина в грязном халате обошла ее со всех сторон, рассматривая, как корову, и сказала наконец: «Ну, проходи, коль приехала». На торт покосилась: «Лучше бы водки купила». Остальные родственники были не лучше. Глупая девчонка просидела под кроватью под звуки разгуляя и мата, дрожа от отвращения, два дня, потом тихо вылезла и поехала обратно в детдом, доучиваться на швею. Тем не менее каждый год она исправно ездила на «родину предков», иногда покупая торт, который ей казался признаком лучшей жизни, иногда—одежду для маменьки, которая тут же пропивалась, а добрая Лилька тут же забывалась. Однажды ей было сказано: «Не приезжай—больно рожа твоя похожа на папашу». Несколько лет она не ездила, а потом опять тоска забрала, собралась, купила торт, и толкнула расхлюпанную калитку. Там и осталась навсегда—добрый дяденька, брат мате-



ри, по пьяни зарезал Лильку, да засунул под кровать, с перепугу, где и нашли ее через две недели по запаху.

Моя история оказалась менее правдоподобна, так как имеет более или менее человеческий конец. Поисками моих предков занимались опекуны, т.е. Мария Николаевна и Александр Георгиевич. Они верили в удачу и меня настраивали положительно. «Ну, ты, конечно, не принц крови, и, тем не менее, в тебе есть нечто благородное, чего не бывает с людьми низкого происхождения», – говорила частенько Мария Николаевна. Она любила Русский музей и, водя меня на экспозицию портрета 18 и 19 веков, находила сходство моего лица с лицами на портретах Боровиковского и Левицкого. Рассказывала истории о «смолянках», находила забавным

придумывать мою судьбу, переплетая ее с судьбою одной из них. Среди смолянок было много сирот, и судьбы их не были безоблачными после института, несмотря на отменное воспитание и красоту. Думая про маму и чувствуя, что она на небесах, я готов был согласиться с М. Н.

Постепенно и я уверился в благородности моих корней, но счастлив был, что истоки мои не находятся так быстро, ибо мои опекуны меня вполне устраивали и о других родственниках я теперь и не мечтал, а, напротив, боялся опорочить себя каким-либо неблагоприятным происхождением или какими-то монстрами вместо родителей.

Поступив в университет, я имел место в общежитии, но чаще ночевал у Стрельцовых, так как компьютер и Интернет, а также вечерний чай с булками были основной приманкой, придуманной Александром Георгиевичем для моих опозданий на метро.

И вот однажды, наклонив голову немного набок и прикрыв глаза, она всегда так делала, когда готовилась сказать нечто важное, Мария Николаевна проговорила: «Марк, мы, кажется, нашли твоих родственников, вернее деда. Он даже не возражает встретиться с тобой. И он живет в Петербурге, твои предчувствия тебя не подвели. Впрочем, если ты не готов, или не хочешь, все можно отложить...»

Отложить... Я ждал этого всю жизнь, и все же я не был готов.

Они, конечно, эту встречу подготовили, они, конечно, позаботились о том, чтобы «бедный сирота» не пострадал морально. Но они не знали, как трудно, вообще, обидеть сироту, как практически невозможно сироту оскорбить.

В сиротстве есть нечто утраченное навсегда, невозполнимое, есть часть чувств, атрофированных с детства. И все же я был не готов так сразу узнать то, что таилось годами в моем подсознании, как распечатанная книга на незнакомом языке. Узнать правду было все-таки страшно.

Я поехал один. Я не стал покупать торт, как Лилька, не купил и бутылку водки, а ничего не придумал лучше, как купить шампанское и палку копченой колбасы, которой никогда вдоволь не наедался, поэтому мне мой презент казался роскошным. Наверное, к шампанскому больше подошли бы конфеты, но это было как-то по-девчачьи, а колбаса выглядела достойно, с шикарной этикеткой, веревочкой на конце и дивным запахом богатства.

Дед оказался колоритным. Он поразил меня восточным халатом, засаленным и местами протертым до дыр, но явно служившим подлинным подтверждением прошлого изящества. Седые волосы были уложены в нечто наподобие кока, поредевшего, но сохранившего стиль, шейный платок был достаточно свеж и завязан замысловато, к тому же человек, открывший мне дверь, несомненно, был пьян, и не слегка. Широким жестом, слегка качнувшись, он предложил войти, и, перешагнув порог, я погрузился в мир беспроблемного одиночества, которое с первого же мгновения сдавило мое горло так, что мне стало трудно дышать, и я закашлялся и покраснел.

Жилище старца поразило меня не меньше, чем сам фигурант, мебель была старая, или даже старинная, но на всем лежал такой слой пыли, что казался невероятным сам факт, что здесь проживают живые люди, а не призраки или привидения. Как потом оказалось, так оно и было, на самом деле, призраков здесь хватало.

За столом, застеленным газетой, разговор не клеился. Шампанское было выпито из пластиковых стаканчиков, колбаса почата, а беседа зашла в тупик. Собственно, разговора (т. е. диалога) так такового не было, был монолог деда, в основном хвалившегося своими поступками последних дней, пересказом бесед с Гаврилычем, который знает толк в рыболовных снастях, но ничего не понимает в ловле рыбы. Далее следовали рассказы бывалого рыбака с врачами по поводу улова. При этом демонстрировалась какая-то сухая мелочь и описывались достоинства ее вкуса, но сама мелочь к столу не предлагалась.

Рассказ его был изящен, временами даже замысловат, хотя речь шла все-таки о рыбалке. Он рассказывал, что много лет ездит рыбачить на озеро Селигер. Что такой рыбалки нет больше нигде, а он много повидал водоемов. Изобилие подробностей о наживке и насадке ее на крючок, а также другие детали рыбной ловли он сообщал с большим вкусом и удовольствием. Я слушал.

Когда зависла очередная пауза, я встал и готов был откланяться, не произнеся ни слова, так как и рта-то раскрыть не мог от изумления и разочарования, но тут, видно, щелкнула какая-то кнопка в его голове, и, шаркая ногами, он направился к книжному шкафу, вынул оттуда большой альбом в костяном переплете с перламутровыми птвичками и раскрыл его.

Минут пять странный человек рассматривал фотографии, как будто был в комнате один, затем пододвинул ко мне альбом и, кивнув, сказал: «Это твоя мать. Ей здесь пятнадцать». И еще через некоторое время: «Хорошая была девочка. Она разочаровала нас с Милой...»

Она всматривалась в меня, эта длинноногая девочка с косичками и в тюбетейке. На пестреньком платье повязан пионерский галстук, а в руках – маленький живой ежик. Взгляд острый и легкая улыбка ниоткуда. С угла фотография была надломана, и я потрогал трещину пальцем. И вдруг мне показалось, что девочка моргнула и улыбнулась именно мне. Слезы сами собой выкатились на ресницы...

И тут первый раз за весь этот душный вечер дед посмотрел мне в глаза.

Я сразу простил ему все: и пустой брех, и дурацкий вид, и слова о разочаровании. Я понял, как он одинок и безнадежен, что все – в прошлом, а жизнь, как ненужная газета, все шелестит и шелестит о старом без пользы и радости.

После первой встречи я стал заходить, но не часто, так как чувствовал, что ему тяжело общаться со мной. Отчасти это было от его одичания вообще и от чувства вины в частности, которое достигло его с моим явлением в его забытую всеми жизнь. Но, тем не менее, визиты я наносил регулярно и шаг за шагом двигался по таинственным лабиринтам этой заброшенной жизни.

Иногда мне казалось, что маленькая дверка его души приоткрылась, но следующий визит говорил об обратном, и сближения не происходило. Так мы и существовали, как два военных лагеря напротив друг друга: боевых действий не вели, но и не сдавались.

Его рассказы про рыбалку продолжались при каждом моем посещении. И временами мне снился этот таинственный Селигер и рыбалка вместе с дедом.

Он подробно рассказывал, как ловить на спиннинг или удочку:

«...Это важно. Сетями ловить рыбу кощунственно. В рыбалке должен быть азарт борьбы, и у каждого свой шанс – быть съеденным или остаться свободным, быть сытым или лечь спать с урчащим животом».

Сейчас, когда мое состояние было критическим, а жизнь утратила смысл в основном своем постулате, дед показался мне тем островом, к которому прибывает мой разбитый в щепки корабль. Я дважды повернул дребезжащий звонок, и дверь раскрылась и впустила меня в свою пыльную бездну.

Он не подвел, этот старый маразматик, этот забытый богом человек, ставший на старости лет моим дедом.

Когда я, давась от бессилия и безнадеги, поведал ему о своей грустной любви, он молча налил мне чаю и вышел в проем в стене, задернутый старой портьерой. Не успел я допить стакан, как передо мной стоял надушенный и выбритый вице-адмирал Северного флота в роскошном великолепии парадного мундира с орденскими планками по обе стороны груди.

Мы взяли такси.

Раньше, когда я думал о деде, он казался мне всегда странным, немного не от мира сего, замкнутым в своем доме, как в лавке старьевщика. Сейчас, видя его сосредоточенное лицо с утрюмым и решительным выражением несогласия, я в первый раз в жизни почувствовал, что этот человек наполнен живой кровью времени, и она пульсирует в нем, и что он готов на все ради меня. И это был первый человек в моей жизни, который был способен на это без колебаний.

Мы молча вошли в подъезд, молча поднялись на лифте, проигнорировав лифтера, молча вошли в прихожую и ждали, тоже молча, когда появится бабушка. Она не вышла, а пропустила деда к себе, и мне оставалось только надеяться и молиться.

Через два часа я ехал в Пулково, вместе с Зурабом, средним братом Сони, а через сутки шел через перевал, следом за «человеком в бандане». Впрочем, теперь я и сам был повязан платком и одет, как горец.

**Я** не люблю триллеры, но эта история развивалась как сценарий страшного кино. За Соню потребовали выкуп, но уверенности, что она вернется, не было, так как деньги были переданы еще в Питере, после чего—больше никаких вестей. Говорили о чеченском следе. Когда было принято решение ехать, получили посылку с завернутым в грязную записку указательным пальцем и кольцом, которое носила Соня с 16 лет. В записке—место встречи—г. Сочи и еще одна сумма выкупа.

В Сочи мы разделились: Давид—отец Сони и ее двоюродный брат Томаз остались вести переговоры на месте, а мы—три брата, я и проводник-армянин Ваню—отправились через перевал в абхазские горы, где, как полагал Автандил, держали заложников чечены.

Границу перешли по блокпостам, честно заплатив нашим пограничникам. Все происходило молча, без расспросов, только рассматривали нас внимательно, словно фотографируя, да старшина, взглядываясь в мое лицо, тихо спросил: «Все в порядке?» «Нет»,—сказал я, на том и расстались.

Первые дни наших поисков были однообразны и запутанны. Мы все время шли в горы, какими-то козьими тропами, никто мне ничего не объяснял толком, не считал нужным, по имени не звали, так как у них для меня было одно имя «набичваро» или что-то в этом роде, что звучало презрительно и ругательно одновременно, а означало незаконнорожденный, или ублюдок. Память вытерла детали ластиком. Походом руководил Автандил, или Авто, как его называли близкие, я знал, что он любимый брат Сони: «Автандил—справедливый, Таризл—горячий, а Зураб—добрый»—так говорила она о них.

Они были как из сказок «Тысяча и одной ночи»—три брата, страшно непохожие друг на друга. Никогда не могли договориться, так как противоречия раздирали их, и они спорили по пустякам, потом, не сумев прийти к чему-то одному, старший принимал решение, и все подчинялись, но всегда выражали неудовольствие, по полной программе и громко. В горах они стали другими. Просто утихли и действовали, как слаженный механизм. Меня терпели, но, несомненно, доверяли, хотя по-прежнему называли «набичваро». Теперь это стало моим именем, и я откликался на него, как в детстве откликался на клички и прозвища.

У братьев было оружие: автомат и пара пистолетов, у меня—только нож. Стрелять я не умел, так как в армии не был, зато ножом владел отменно, в туза попадал с шести шагов. Лес для меня не был загадочной страной, я умел ориентироваться в нем, шел по следу, как ищейка, детдомовская жизнь развивала инстинкты—всегда нужно было первым заметить и схватить добычу. А братья знали эти горы с детства, ведь они переехали в Россию из-за войны. И сейчас у нас была одна цель, и мы понимали друг друга без слов.

Лето, которое в Петербурге давно кончилось, здесь обнимало нас своим прощальным теплом. Горы и лес стояли в полной красе, только любоваться на нее было некому. Мы шли два дня то поднимаясь вверх по немислимой крутизны тропам, то спускаясь в ущелье. Иногда при подъеме на высоту становилось трудно дышать, и мы останавливались передохнуть и попить воды. На вторые сутки вышли на середину склона к скалистой пещере, заночевали внутри. Утром, когда рассвело, Ваню показал на противоположный склон—там, в глубине, сквозь зелень пробивалась тоненькая струйка дыма.

«Туда»,—сказал он. «Знаю»,—ответил Автандил, и мы начали спуск.

По дну ущелья протекала река. Течение ее было бурным и быстрым, а вода мутная и серая. Шум от воды стоял невероятный, разговаривать было нельзя—бесполезно, смотреть на воду—страшно, казалось, что она только и ждет, когда ты приблизишься к ней, чтобы утащить тебя и перемолотить с камнями. Предстояло перейти ее вброд. Не знаю почему, но на мгновение меня охватил ужас, волосы на голове зашевелились, я смотрел на эту воду, и она завораживала меня, тянула к себе как магнит. Потом все прошло, и я увидел, как Таризл ловко прыгает по камням, опираясь на палку.



Через несколько минут мы шли вверх по густому подлеску, продираясь сквозь заросли дикой сливы и еще какой-то ерунды. До заимки добрались к полудню, но не стали подходить близко, а послали Ваню на разведку. Он вернулся и закивал, предлагая продолжить путь. Дом, в который мы попали, по моим меркам, больше похож на сарай. Правда, стены в нем — крепкие бревенчатые, но кроме двери — никаких проемов. Стол посередине и скамьи. В дальнем углу лежанка, застеленная чистой сухой травой, посреди — очаг, внушительного размера котел и глиняная печка — тонэ — для выпечки хлеба. От очага — дырка в потолке для дыма. Две женщины в черном, в платках, повязанных на лоб и рот, молча подали нам лепешки и мамалыгу. Мамалыга была вчерашняя, поэтому тоже была похожа на лепешку, но и это было неплохо, так как мы почти два дня ничего не ели. На стол поставили кувшин, я подумал, что это вино, и, покачив головой, попросил воды, а женщина взяла кувшин и налила из него в кружку содержимое. Это было молоко, вкус у него был странный, вроде не кислое, но с кислинкой, и густое, как жидкий кисель. Наверное, козье, подумал я, так как козы паслись повсеместно.

Они были главными жителями в горах, и меня поражало, как они перемещаются по почти отвесному склону и не падают вниз. Выяснить, чье молоко мы пили, так и не удалось, так как Зураб принялся расспрашивать женщин по-абхазски, а Таризл все время вмешивался в разговор, добавляя, как я понял, устрашающие обещания.

Одна женщина молчала, а вторая отнекивалась, мотая головой. В итоге, взяв с собой лепешек и наполнив фляги водой, мы опять поползли вверх, как дикие козы.

Надо сказать, что горы не были совсем уж пустыми, время от времени мы выходили на маленькие деревни, из двух, трех, четырех домов. Ваню, который единственный говорил со мной, сказал, что это летние дома, для того чтобы следить за скотом на выпасе и собирать мед на горных пасаках. Еще в деревнях были небольшие кукурузные поля, так как кукуруза была хлебом абхазцев, они варили из нее мамалыгу и пекли лепешки.

В первый день нашего похода я попил абхазское вино. Оно было специфическим, очень терпкое, непрозрачное, и голова от него болела конкретно. Ваню сказал, что вино замешивается на курином и утином помете, чтобы больше дури было, т.е. крепости. Воистину, как у Леонида Филатова: «Скушай заячий помет — он ядреный, он проймает...» Больше вина я вина не пил.

Братьев знали. Некоторые знакомцы обнимались с ними, жали руки, приглашали в дом. Чувствовалось, что люди здесь не чужие, но также казалось, что опасность где-то рядом и расслабляться нельзя ни на минуту.

На третий день вышли на след местного мафиози и ужинали на его «фазенде». Дом стоял над рекой и был красив. Такого дома я не видел никогда. Окруженный тысячами садами, он сам нависал над ущельем, как ласточкино гнездо. Большой полукруглый балкон окаймлял фасад второго этажа. Ажурная его решетка не уступала по красоте утонченным чугунным балконам петербургских дворцов. Плетиущиеся розы обрамляли дорожку к дому, которая заканчивалась площадкой с небольшим водоемом, украшенным игрушечным гротом из диких камней. Две мраморные статуи стояли по краям бассейна: босоногая девочка и козленок. Сюжет был наивен, но исполнение фигур — достойно античного художника. Девочка сидела на краю бассейна, опустив руку в воду, и смотрела на козленка, а козленок пил из бассейна. Девочка была похожа на Соню.

Всю эту сказочную прелесть портили куры, утки и индюки, которые паслись и гадили прямо тут же на дорожках дивного сада, да еще странного вида люди, вышедшие, казалось, из каких-то казематов прошлого. Женщин видно не было вообще, только абреки и куры с индюками. Нереальность происходящего подчеркивал великолепный вид, открывающийся с террасы на лощину, пасущиеся в ней козы и далекая полоска моря на линии горизонта.

Ужин был отменный: и шашлык, и фрукты, и вино, и зелень, не хватало только искренности в разговоре, и хотя я не понимал, о чем толкуют братья с хозяином, я внутренне чувствовал ложь.

Несмотря на изрядный голод, есть я не мог, а только пил воду и не мог напиться, как не мог насытить зрение и слух, так как не слышал нужных подсказок и не верил никому: ни Аслану, сидящему во главе стола, ни гостям.

Братья ночевать остались в доме, только я и Ваню расположились на веранде, на принесенных матрацах из сухой травы.

Трава пахла одуряюще, и я мгновенно заснул и увидел сон, как приближается ко мне женщина в черном платье и капюшоне, подходит близко и хочет что-то сказать, но страх охватывает меня и я отталкиваю ее, капюшон падает, и я вижу Сонечку, она как-то робко, не по-живому отворачивается и растворяется в воздухе, и я ловлю руками тени за ее спиной и—просыпаюсь.

Как от толчка, я открываю глаза и вглядываюсь в темноту. Ночь почти непрозрачна, только светляки переливаются в темноте и стрекочут цикады. Тихо, чтобы не нарушить эту тишину, спускаюсь с террасы. Постепенно глаза привыкают, и я вижу очертания дорожки, запаха роз окутывает и подгоняет. Сердце стучит так, что кажется, его стук слышат цикады и сейчас замолкнут, выдав мое присутствие.

Я не понимаю, что толкает меня, но боюсь опоздать и иду босиком, держа кроссовки в руках. Больно колется под ногами щепенка, посыпанная на дорожки, больно колется ежевика, разросшаяся вдоль дома, но я двигаюсь, зная, она здесь, она где-то рядом.

Жизнь в детдоме и лесной промысел научили меня кое-чему. Упершись руками в непроходимую чащу ежевики, я закрыл глаза и погрузил себя в полную темноту, и тотчас же увидел проход, он был ниже моего роста и отдавал тепло. Я присел, внутренний глаз подсказал мне, где нужно пригнуться и нырнуть, а остальное мы уже проходили.

Однажды, в восьмом классе, когда только начались сентябрьские дожди и еще во всю днем грело солнце, мы с Петюней и Лилькой смылись с уроков за грибами. Детдом был новый, и местность нам пока незнакомая. Но мы чувствовали себя бывальыми и по пути в лес хвастались своими прошлыми приключениями и знаниями в области грибного промысла.

Лес оказался густым и каким-то старым, никакого подлеска. Стволы сосен и осин устремлялись вверх, чтобы соединиться там кронами. Солнце почти не проникало сквозь толщу ветвей, а ветра не было вообще. Это странное ощущение безветрия было неестественным состоянием природы, и мы притихли, вглядываясь в незнакомый пейзаж. Но тут Лилька увидела первый гриб, а за ним второй, и ажиотаж грибников захватил нас. Самое замечательное было то, что грибы были настоящие, т.е. не волнушки или дуньки какие-то, а толстые белые, подосиновики и боровики, они так и лезли на глаза, как бы призывая нас: «Возьми меня». — «И меня тоже». — «А меня забыл?» Весело перекрикиваясь, мы быстро наполнили наши мешки из-под сменной обуви и стали засовывать грибы в портфели, а они все никак не кончались, и ажиотаж все не спадал. Наконец, Лилька, которая всегда была заводилой, плюхнулась на траву и запела «Yesterday». Она пела очень громко и классно, и песня звучала как в актовом зале на концерте, я даже удивился такому звучанию, и вдруг замолчала, и стало так тихо, что можно сказать, что на нас пала тишина. В лесу все замерло, ничего не шевелилось, ничего не стрекотало и не шелестело. Было тихо так, как не бывает. Как будто наступил конец света. Может быть, это длилось одно мгновение, а может быть, несколько, но мы почувствовали эту пустоту — «ничегошеньки кругом». Потом опять все пришло в движение, и появились шепоты и шорохи, и хруст.

Сейчас, пытаясь найти проход в колочих зарослях ежевики, я боюсь всего боялся, что наступит вот такая тишина и это каким-то образом выдаст мое присутствие там, где его не должно быть.

Я буквально наткнулся на сруб и прижался к выпуклости бревна щекой, успокаивая дыхание. Дерево было теплым и шершавым, оно как бы говорило мне: «Не дрейфь».

Внутри домика были люди, и они, несомненно, собирались выйти. Как я догадался, не знаю, — видимо, почувствовал движение или услышал шорох, только я понял — нужно затаиться. Присев на корточки, я оказался в выгодном положении, так как тот, кто выйдет из дома, не увидит того, кто в темноте, по крайней мере, первое время, к тому же люди смотрят, как правило, на уровне глаз, а если ты находишься ниже, то не сразу будешь замечен, да еще во мраке и в кустах.

Вскоре дверь и вправду отворилась и из нее вышли три фигуры — две женщины и мальчик. Женщины, как обычно, были закутаны в балахонистую одежду и повязаны платками, а мальчик был в шароварах (такие штаны с резинками внизу) и

в папаче. Женщины ташили тяжелые тюки, а мальчик был с пустыми руками. Это меня не удивило, так как кавказские женщины часто выполняют всю тяжелую работу и переносят невероятные тяжести, тогда как их мужья ничего тяжелее ружья не поднимают. Что касается мальчика, то, несомненно, он был хозяйский, поэтому и руки у него были свободные. Что касается ног, то передвигался он странно, прихрамывая, поэтому я решил, что он болен. Вся троица куда-то торопилась — дверь осталась открытой, и я немедленно в нее проник.

Я сам не знаю, что искал в том сарае, но тщательно обшарил все углы, не верил этому хитрому Аслану, не верил никаким договоренностям с братьями и вообще не верил никому. Мое чутье меня не подвело. На лежанке, среди сбитой в углы сухой травы, я нашел вещицу, вернее часть ее. Это был маленький кожаный ремешок с бусинками, совсем невзрачная вещица, кусочек «фенечки», которую девушки в далеком Питере носят на руках. Я сжал его в кулак, и прижал ко лбу. Сердце колотилось. «Фенечка моя — Сонечка моя». Неожиданно, как на экране, промелькнул силуэт мальчика в шароварах, и меня выдуло, как ветром, на склон горы. Мне нужно было знать, куда отправилась та троица, так спешно покинувшая убогое жилище.

Логичнее было бы дожидаться рассвета, но я знал, какие быстрые ноги у горских женщин, и успокаивало только то, что мальчик не мог идти быстро, так как он прихрамывал, а впрочем, мне это могло показаться. Но почему-то при мысли о мальчике сердце сжималось, а дыхание становилось прерывистым.

Пытаясь найти дорогу в темноте, я рисковал неожиданно наткнуться на тех, кого преследовал, а дожидаясь рассвета, — на тех, от кого убежал.

Так как по жизни я выбрал путь преследования, то останавливаться было бессмысленно, и я наугад пошел по тропинке, прислушиваясь, принохиваясь и, время от времени, закрывая глаза, чтобы лучше видеть в темноте.

Поэтому, когда рассвело, я просто уперся в них, выйдя на склон, слабо поросший низким кустарником и травой. Обе женщины сидели на камне, переговариваясь, но голосов не было слышно, так как ток реки в ущелье заглушал всякие звуки, только поэтому они и не услышали моего появления. Спрятавшись в траву, я стал наблюдать, и сначала не увидел мальчика, но потом понял, что он, как и я, лежит в траве. Состояние воздуха и души было, как в стихотворении Цветаевой, — «Покамест день не встал», так как рассвет только еще занимался, солнце не вышло и не было теней, все предметы окутывал легкий туман, поднимающийся от реки, на всем лежал налет «сырости и серости». Мальчик приподнял голову и посмотрел в мою сторону, как будто ждал меня.

Что-то где-то щелкнуло на небесах, и мы снова гляделись друг в друга...

В горах легко заблудиться, но и легко прятаться, нужна смелость или отчаяние, или и то и другое вместе. Я скатился к Сониным ногам, и на мгновение ощутил прикосновение ее лодыжек. Ноги ее были связаны, как у овцы перед забоем, поэтому брюки и показались мне старинными шароварами. Через мгновение веревка была разрезана ножом, и я скорее почувствовал, чем услышал, легкий стон. Не поднимая головы от земли, я растер ее щиколотки и перевернулся на спину. Последняя звезда еще сияла на небе.

Надежды уйти незаметно не было вовсе. Поэтому я встал и пошел на них, вернее побежал. Они не сделали никакой попытки уйти или хотя бы встать, чтобы стоя встретить смерть, они были приучены к великому терпению, эти женщины. Во все глаза они смотрели на странного человека, который, размазывая влагу по щекам, размахивая руками и крича слова, уговаривал их отпустить их пленницу. Скорее всего, они не понимали ни слова, но тем не менее слушали с большим любопытством и внимательно смотрели на мои руки, которыми я показывал, как нужно нам уйти и как я могу их резать. На груди одной из них висел свисток, которым призывают отставшую собаку или предупреждают о приближении кого-то. Этим свистком она могла позвать на помощь, и когда ее рука приблизилась к нему, я взмахнул ножом. Женщина качнула головой, сняла свисток и протянула его мне. Не знаю, смог бы я ее ударить, наверное, нет. Но, тем не менее, это была победа.

Не оглядываясь, мы стали спускаться с горы к реке. На этот раз бурные потоки не показались мне такими страшными, и через несколько минут мы уже лезли вверх по склону, густо заросшему орешником и дикой сливой-альчой.

С Сонечкой мы, как увидели друг друга, так и поняли, что теперь, хоть пруд пруди, нам—все равно. Мы были просто вместе. Руки наши нашли друг друга, и хоть глаза боялись увидеть иное, мы смотрели, и увидели все, что нам этот хренов мир приготовил.

Глаза у нее были все те же голубые озера, только стекла очков не отсвечивали компьютерным блеском, так как очков вообще не было, и волос тоже не было вообще, так как девочка моя была обрита наголо, как завшивевший детдомовец. Может быть, это и неважно, но в таком виде Сонечка была не хуже, чем прежде, а то и лучше, так как теперь она была со мной, а я с ней.

Сегодня мы были вместе, и это «сегодня» было в сто раз умноженное «вчера» и «завтра», так как мы не знали, что из этого получится вообще.

Дневной свет и сумерки обстоятельств, упавшие на наши плечи, только сказали нам, как здорово, что все так складывается. Девочка моя шла так уверенно по горной тропе, что я засомневался, но она все прикладывала палец к губам и глазками сверкала: не гони, прошу тебя, не гони. Иногда мы проходили рядом, совсем близко к сидящим или стоящим абрекам, и в низу живота отдавалась судорога, как при ужасе надеть в штаны..., но я держался, так как верил ей, и только смотрел, чтобы какой-либо гад нигде не пересек нашу линию жизни.

Целый день мы то шли, то прятались, пережидая. Совсем в ночи мы окончательно остановились и рухнули у корней огромного корявого граба. И только тут я почувствовал, как устал, а она вдруг прижалась ко мне лбом и кулачками, и я ощутил дрожь ее тонких плечиков. Эту дрожь унять было невозможно, а я все сжимал и сжимал ее тонкое тело, словно хотел, чтобы она уместилась в моих ладонях и больше не высывалась из них никогда.

Но возможно ли это? Возможно ли, когда всюду непонятная ночь и вранье, которое жизнь нашу—ни во что.

Я лег на спину и положил ее голову себе на грудь. Мы просто обнялись, и она дрожала, а я пытался эту дрожь унять. Хотя сам я был не в лучшей форме, но все же я был с ней, а она со мной. И она, наконец, заплакала. Она плакала и дрожала. А я закрыл глаза и все же смотрел в ее лицо и знал, что эти слезы наши общие и им чужно пролиться в эту землю, в этом месте и в это время. Потом ее слезы высохли и дрожь стала меньше. Мы просто обнимали друг друга, и руки наши, и губы искали и находили то, без чего не могли существовать. И нам, честное слово, было безразлично, что эта самая природа и весь мир вокруг подумают о нас.

Мы лежали так у корней граба, а лунные лучи пронизывали нас как рентгеном и наполняли жизнью.

Еще вчера я не предполагал, что будет со мной, и точно знал сейчас, что это лучшие мгновенья моей сиротской жизни. Весь мой мир, так тщательно оберегаемый мною, живший во мне своей странной и нереальной жизнью, был ничто в сравнении с ее взглядом, ее пожатием руки, почти неслышным, как дыхание зяблика или иволги, ее судорожным вздохом, поворотом головы или взмахом кисти руки с тонкими пальцами. Сегодня я был король в крошечном королевстве, которое умещалось в горсть руки, державшей ее маленькую грудь.

Ночные тени были таинственны и непредсказуемы.

Они дышали ароматом трав и цветов, были наполнены звуками цикад и сверчков, а зарождающийся в темноте день был введением в новый и опасный мир чужого бытия, которое я готов был теперь принять только с нею, с моею Софьей.

С наступлением серого рассвета звуки утихли и остались одни запахи, да и они как-то изменились, стали тоньше и влажнее. Нежно пахли травы и хвоя, легкий ветерок доносил откуда-то запах прелой листвы.

Время протекло сквозь нас. Оно было мягким, как одеяло, и легким, как ковер-самолет. И оно несло нас. Мы не чувствовали его. Я тихонько шептал ей на ухо: «...ивы нависли, целуют в ключицы, в локти, в уключины—о, погоди...»

И мне казалось, что только приоткроется завеса утреннего тумана, и мы, наполненные силой духа этих гор, бросимся вниз, чтобы навсегда расстаться с этими, на самом деле, страшными местами, где кровь и роса сливаются в один поток, протекающий сквозь тебя, насквозь, болезненно и охлаждающе.

Но я не знал подруги своей. Так просто она не сдавалась. Я только верил ей, как не верил никогда себе. Я любил ее, как никогда не любил себя, как никогда

не любил никого никогда и нигде на этой планете. Мы были в одной связке, а она, она имела сомнения и хотела их разрешить. Днем мы выпалились в старом шалаше, больше похожем на берлогу медведя, а вечером опять двинулись в путь.

Мы тихо шли вверх по склону и остановились у зарослей дикой ежевики.

Слово «тамариск» вам не знакомо? Кажется, я где-то читал про заросли тамариска. И представьте себе, стоя в темноте перед непроходимыми колючками, я вспомнил про эти заросли тамариска. Что творилось в моей голове в тот момент, не поддается описанию, и воображение легко перенесло меня в мир, где нет угрозы и страха, а есть гармония и любовь. Преодолев страх, мы с моей подружкой легко преодолели и колючки, и теперь стояли у подножия веранды в волшебном саду, пропитанном звуками и запахами ночи и лжи.

Это был все тот же дом, в котором нас приютил хитрый Аслан. Я восхитился мудростью моей девочки, так как понял, что именно здесь нас искать не будут, и удивился ее бесстрашию, так как она совершенно открыто подошла к бросившейся из темноты собаке и погладила ее, прошептав, наверное, слова заговора против нечистой силы. Собака завилала хвостом и, повизгивая, крутилась, как лобят крутиться обрадованные долгожданной встречей животные. Дальнейшее еще больше поразило меня. Соня не казалась теперь испуганной и потерянной, как в горах. Она бесшумно двигалась по заданному направлению, уверенно и не таясь. Вот она наклонилась над кустом цветущего рододендрона и, раздвинув его, исчезла. Затем белая рука поманила меня и, ухватив за куртку, втянула в темноту.

Нереальность происходящего в этих таинственных сумерках до сих пор не дает мне покоя, как и тогда, я иногда вижу себя сидящим на корточках перед длинным и слабо освещенным туннелем в никуда, причем свет идет откуда-то снизу, освещая лицо Сони в профиль, делая его при этом чужим и римским, как у ее грузинских родственников. Еще нереальнее мне кажется наше движение среди теней по этому туннелю и выход из него прямо в кабинет с дубовыми панелями и старинными гравюрами, изображающими охоту. И уж совсем неправдоподобным кажется жест Сони, протянувшей руку к большому зеркалу в тяжелой бронзовой раме, которое тотчас же отодвинулось вбок, открыв невидимую дверь в потайную комнату-библиотеку со стеллажами книг до потолка, столом и топчаном полосатой расцветки и обширным креслом, стоящим прямо напротив этой самой двери.

В тайной комнате без окна воздух был не затхлым, хотя по толстому слою пыли видно, что она давно пустует без хозяина. По размеру она была небольшой, в сравнении с кабинетом, но в ней было все, даже холодильник и туалет с унитазом, на дне которого – негр с выпученными глазами, дует в трубу.

Зеркало встало на место, отрезав нас от роковой действительности. И при этом поверхность его оказалась прозрачной, только затуманенной легким слоем амальгамы.

Все казалось непостижимым, но я рад был непостижимости, уводившей меня, казалось, навсегда в мир снов.

Розовые очки радостно заняли место на моей переносице, но упали и разбились о кафельный пол туалета, когда я понял, что все это не сон.

В холодильнике было просроченное пиво и высохшая до каменности копченая колбаса, несколько бутылок пепси-колы и замороженная несколько месяцев назад пицца.

В шкафу – несколько пачек печенья, банка выдохшегося кофе и коробка сахара кубиками. Микроволновушка не понадобилась, а кофе мы заварили в настоящей кофеварке. Больше всего мы радовались просроченной пепси-коле, изготовленной видимо, на родине изобретения, а потому особенно вкусной и пьянящей, всеми рецепторами ощущаемой, как вкус жизни, которая совсем недавно была реальностью, да быть ею перестала. Этот острый колющий вкус был как глоток воды в пустыне Маленького принца, как тот хмельной квас из подпола, которым поили нас в детстве добрые крестьянки.

Здесь я должен оговориться, ведь может показаться, что происходящее выдуманно мною, чтобы как-то объяснить или оправдать мое теперешнее почти паразитическое поведение, опустошение и состояние никакой жизни, только я дорого отдал бы за то, чтобы все это было неправдой.

Несмотря на нелепость происходящего, мы были по-настоящему счастливы возможностью говорить и обсуждать мелкие смешные вопросы из прошлой, просроченной жизни. Мы приняли молчаливое решение не воспринимать трагически обстоятельства, временно окружающие нас. Мы не боялись терять и готовы были терпеть, чтобы справедливость вернулась в нашу жизнь раз и навсегда.

И еще мы играли в шахматы. Шахматы были удивительные: большие фигуры были вырезаны из бука и груши необычайно искусно. У каждой фигуры было лицо. Сонечка, смеясь, рассказывала, беря в руки ладью белых: «Это моя няня, Тамрико, она была старая дева, толстая, усатая и страшно добрая, все время боялась, что отец подумает, что она меня балует, и выгонит, поэтому делала суровое лицо и грубый голос, но глаза-щелочки выдавали хитрую улыбку, и я хватала ее за щеки и целовала в хитрый глаз, приговаривая: ох, и злая я буду, когда вырасту, как ты, Тамрико.

Ей было лет сорок, когда в нее влюбился резчик – Важик. Он был кахетинец, а она имеретинка, стало быть, из хорошей семьи, пусть бедной. И она стала его настоящей музой. Все фигурки Мадонны, которые он вырезал для продажи на базаре в Сухуми, были с ее лицом. Думаю, что они были счастливы, хотя этот брак по грузинским законам был неравным, ведь он все же был, по ее мнению, босяком. Этот Важик и вырезал шахматы, но из уважения к отцу, только одну фигуру сделал с лицом Тамрико». Я спросил про другие фигуры, но Сонечка сказала «потом» и слегка загрузила.

Доска же была вделана прямо в пол, т.е. она была частью пола кабинета: большие такие клетки из темно-розового и белого мрамора. Мы ползали по нему, и я чаще проигрывал, чем выигрывал, а Соня говорила: «Мне предсказывали будущее получше, чем у Гаприндашвили, которая, между прочим, частенько бывала в нашем доме».

Иногда она рассказывала о роскошных приемах, которые устраивались в доме, и об именитых гостях, навещавшихся сюда и по несколько дней живших в уютном, гостеприимном жилище Сониных родителей. Здесь бывали и Софиико Чиаурели со своим мужем, и Кикабидзе, и Параджанов, и Каспаров, писатели и поэты, художники, чьих имен я просто никогда не слышал. Соня рассказывала так, как будто я был завсегдагаем высшего кавказского света, где соблюдались законы мне неизвестные, но справедливые и добросердечные, не противоречащие сути человека, а, наоборот, укрепляющие его постоянно. Это было удивительно мне, без роду и племени выросшему, скорее, в противоречие этих законов, там, где люди просто выживали и редко помогали друг другу. Тем более удивительно было слышать, как отец в горах скрывал даже не друга, а просто человека, который оказался в трудном положении и мог быть арестован из-за немилости у руководства компартии и за которого просто попросил кто-то из друзей. Помощь и поддержка – главное, что отличало эту общность людей от тех, кого в большинстве своем я знал.

Рассказывала, что на заднем дворе день и ночь кипели котлы, жарилось и варились несметное количество еды, шашлыка, всевозможной дичи, готовились сладости по старинным грузинским рецептам, настоящее домашнее вино доставалось из врытых в землю больших чанов. Столы ломились от гроздьев винограда и свежих фруктов, круглый год произрастающих в теплицах в горах. При огромном количестве гостей мест за столом всегда хватало, при этом посуда была изысканная и серебро натерто до блеска, а салфетки сияли белизной и крахмалом. Для чая иногда доставали сервиз с медальонами, расписанный по эскизам Рубенса с сатирами и нимфами, причем на всех двенадцати приборах сюжет был разный. Этот сервиз я сам видел в дубовом шкафу огромной мрачной столовой, больше похожей на рыцарский зал своими витражами и длинным столом минимум человек на тридцать.

А я рассказывал о поездках с дедом на озеро Селигер, где мы рыбачили по несколько дней. И хотя мои рассказы были из области мечтаний, я сам увлеклся настолько, что чувствовал запах воды и вечерних трав и слышал шум ветра, набегавшего из леса на берег. Все подробности я почерпнул из бесед со стариком. Соня, слушая меня, не сомневалась в правдивости моих вран, и я все более веровал в их реальность.

Да, поехать на Селигер! Когда кончится весь этот бред, втроем, с дедом. Он, Соня и я... В палатке... А вечером – у тихого костерка... и чтобы он рассказы-

вал нам то, что знает только он, про свою жизнь, про маму, про бабушку... А мы бы слушали, и глаза Сони сверкали бы всполохами костра, и было бы хорошо, как бывает хорошо только во сне перед рассветом. И, может быть, тогда разрозненные звездочки моего сознания, соединенные тонкой нитью воспоминаний, вернут мне прошлое, а с ним опору моим надеждам на будущую любовь и всю оставшуюся жизнь.

Днем дом казался тихим и нежилым, а вечером по нему пробегала волна шепотов и шорохов, занавеси трепетали от порывов ветра, и две женщины в черных платьях молча ходили и закрывали окна и опускали жалюзи. Казалось, что дом из сна не жизни погружается в сон небытия.

Мы стали его тайной жизнью, и он тщательно скрывал это от других, так как стал нашим союзником и другом.

Прогулки по дому мы совершали днем, когда во дворе кричали утки и индюки и внутри не было никого. Мы бесшумно двигались из гостиной в галерею, из галереи – в Сонину детскую, затем в спальню и по коридору второго этажа в комнату мальчиков с огромной террасой, нависающей над обрывом. Мы раздобыли себе черную одежду и обувь, две банданы, тоже черные, и стали похожи на два одинаковых призрака-близнеца. Иногда в зеркалах отражались наши тонкие, светлые лицом тени, и казалось, что мы не одни, и кто-то незримый хранит нас от злого рока.

Мир этого дома странным образом сразу и бесповоротно был принят мною как собственный. Я вглядывался в его углы и закоулки и видел, как Соня росла в нем и уезжала на зиму, возвращалась летом, а дом ждал ее. Я видел, как она бежит по залам от своей бонны Жанин и тайком приводит сюда дворовых детей, и раздает им пряники и конфеты, которых, по ее словам, было несметное количество. Я видел, как она читает, делая закладки из цветов и листьев, сорванных в саду, как устраивает в коробке дом для котят и прячет щенков, которых должны утопить. Я слушал ее рассказы и видел эту жизнь, где она одна была девочка среди мальчишек, не всегда добрых, но всегда уважающих, где счастье лучилось из окон и витражей и отражалось в старинных зеркалах и рамах портретов.

И только имя Аслан делало ее лицо сумрачным, а взгляд отстраненным и тяжелым. Соня принимала решение, и чтобы понять ее, нужно было знать, кто такой Аслан и почему мы не уходили из заснувшего дома, и чего мы ждали.

## Глава 6 Аслан

**Н**ачало своей жизни он не помнил. Обида, злость и несправедливость были первыми чувствами, которые делали осмысленной жизнь. Обида и злость вызывали протест, потому что несправедливость была везде.

Старший брат Джамал был местным дурачком. Он босой, толстый и всегда голодный, таскался по немногочисленным дворам, и его никто не прогонял, напротив, ему всегда давали еду и сладости: то засахаренные фрукты, приготовленные к празднику, то вареную кукурузу, то сладкий лущеный горох, то пастилку из яблок или чурчелу. Аслану же не давали ничего, и он отнимал у брата, так как тот не хотел делиться, а внутреннее чувство, похожее на справедливость, подсказывало: делись.

В отличие от Джамала, Аслана соседи не любили. Не любили его и тетки, приютившие их после смерти матери, так как считали его никудышным ублюдком, безотцовщиной и приبلудышем.

Он же страстно желал любви и признания и не понимал, почему чокнутого Джамала и привечают, и за стол сажают, а его не замечают вовсе или, того хуже, криком прогоняют, да еще слова обидные говорят.

Тетки были – одинокие незамужние, служили у хозяина и, в общем, не бедствовали, хотя кроме еды благ никаких не было, все маленькие деньги, которые пере-

падали им от хозяев, они собирали и прятали на черный день, и Аслану казалось, что когда наступит «этот» день и можно будет тратить деньги, то это будет самый счастливый день в их жизни.

Но так как было мало любви и много серых будней, то в сердце мальчика завелись черви. Они не то чтобы все время там жили, но после больших обид противно шевелились.

Иногда он пытался вспомнить свою мать, но при этом никогда не испытывал к ней любви, а только обиду, за то, что, умерев рано, оставила его, такого одинокого на всем белом свете.

Настоящее тепло и нежность он испытывал только к козам, вернее к маленьким новорожденным козлятам, которые были беззащитны и ласковы по сути. Вся жизнь Аслана проходила рядом с козами, и сам он иногда во сне видел себя большим сильным туром с огромными красивыми рогами, такими, как висели у дяди Давида в прихожей. Дядя Давид был дальней его родней по матери, и когда мать умерла, отвез Аслана в горы, на свою «виллу», где жили в приживалках его две незамужние тетки: Тамрико и Кето.

И постепенно Аслан стал человеком гор. С детства он знал, что всегда, когда случается беда в горах, он, Аслан, должен помочь. Так говорил ему дядя Давид, и это было его предназначение—как заклятие, выпавшее ему по воле рока и его семьи.

Отец Аслана и Джамала, когда-то соблазнивший их мать, так никогда на ней и не женился. Был он пришлый человек, говорили, что чечен, хотя он выдавал себя за абхазца, и детям дал абхазские имена, но в Абхазии его никто не знал, и нрава он был злого и непредсказуемого. Увез молоденькую жену с двумя малышами в горы, держал на пастбище до холодов, затем совсем больных и голодных привез в деревню и бросил, так больше не появившись нигде: ни в Сухуми, ни в Гудауте, ни в Гаграх, откуда он был якобы родом.

В горах Аслан вырос, знал их как свой дом, родной дом, но всегда безмерно завидовал тем, у кого этот дом был настоящий, а не как у него, то на дереве, то в пещере. Со сверстниками он не дружил, так как презирал их за несамостоятельность, за слишком ухоженный и сытый вид, за то, что осенью уезжали учиться, да мало ли за что...

Что он любил? Любил ощущение опасности и преодоления ее, чувство превосходства над людьми и обстоятельствами. Чувство превосходства давало уверенность, а ее в повседневности не хватало постоянно.

Женщин он презирал. Они были существа низшего порядка, как козы, всегда зависимые от человека, а человеком был он—мужчина.

Ему нравилось пугать теток: заставить враспloch и ловить мимолетный испуг на лице. От этого становилось тепло в штанах и морозно на шее под волосами. Тетя Кето была глуховата с детства, ее можно было испугать неожиданным хлопком, стуком или криком, подкравшись сзади. Пожалуй, она была добрее всех, и тем приятнее было ловить ее метнувшийся взгляд, видеть скривленный рот и руку, судорожно сжимающую и разжимающую платье.

Джамал тоже пугался легко, но был непредсказуем в своих реакциях, так как мог закричать или забиться в припадке, а то еще хуже—наброситься с кулаками, а кулаки у него были по пуду, так как он несоразмерно возрасту рос и толстел, и грозил превратиться в великана, способного пугать маленьких детей в темноте.

Однажды Аслан сбежал от теток, заставлявших его лущить кукурузу, и спрятался в лесу. День был жаркий, и он уснул под широкими листьями папоротника. Ствол граба лежал почти на земле. Проснулся от того, что ствол этот дрожал и трясся, как будто его раскачивали что есть силы. Высунув голову из травы, Аслан увидел широкую спину брата, покачивающегося на наклонном к земле суку дерева и издающего странные гортанные звуки, испугавшие мальчика. От неожиданного окрика Джамал резко повернулся и свалился на землю, в руках он держал растерзанного новорожденного козленка. Долго Джамал плакал и причитал над козленочком, потом они его зарыли вместе, и он успокоился. Теткам Аслан ничего не сказал, но после этого случая стал замечать странное сближение с братом, который его как будто побанался сначала, а теперь признал, как своего. Новорожденные козлята стали пропадать чаще, а Джамал ходил успокоенный, катая во рту орехи или сося вареный сахар. Не сразу Аслан понял, почему Джамал так любит козлят,



но тайна сблизила братьев, и теперь Джамал сам делился едой, добытой в деревне, с младшим братом.

До девяти лет Аслана в школу не отправляли, так как он был мал, худ и черен до чрезвычайности. Только когда ему исполнилось девять — Давид позвал его в свой дом и, зажав между коленями, задавал вопросы, вглядываясь в глаза, как никто до этого, и Аслан отводил взгляд, супился и молчал. Мальчик был признан дебилом и отправлен в школу для умственно отсталых. Но он был совершенно нормален, только диковат и неразвит.

Эта убогая школа его оскорбляла, и он сбегал оттуда несколько раз, а его ловили и пороли, пока не выпороли до кровоподтеков. Тогда он понял, что от судьбы не убежишь, и стал учиться, чему учили в школе для дегенератов.

А там, как и везде, учили жизни, и если ты был хорошим учеником, то учился быстро и впоследствии не забывал уроков.

Если ученики в школе были не совсем нормальны, то учителя и воспитатели были совсем ненормальны, придурки, в полном смысле слова, и, по большей части, садисты. Что может безответная девочка со сросшимися коленками и вывернутыми носками, да еще при этом с весьма неустойчивой психикой против живодера и алкаша Лехи по кличке Пузырь.

Скандал разразился, когда 12-летняя Юлия с зубами, растущими через один, и с болезнью Дауна оказалась беременной. Тогда компанию «этих самых домов» слегка разогнали, и пару лет в школе по ночам была тишина, но в самый разгар перестройки был назначен новый директор, который решил перевести учеников на самокупание, все уроки были забыты, кроме труда, который продолжался от рассвета до заката. За невыполнение нормы наказывали, как в тюрьме, лишением обеда, а то и ужина, а на завтрак всегда давали только жидкое «какао» и хлеб. Но однажды один из учеников, подергавшись и выпустив изо рта белую пену, умер прямо на уроке под плакатом: «Груд превратил обезьяну в человека», и компанию опять разогнали, а школу закрыли за нерентабельностью. На этом образование Аслана кончилось.

Возвратился домой Аслан с радостью. Казалось, что и тетки ему рады, да и он сам чувствовал себя на месте, руки легко выполняли знакомую работу, а на душе в первый раз в жизни были покой и умиротворение.

Да, надо было пройти эту нелегкую «школу», чтобы понять простое — как хорошо живется в горах.

Все вокруг было привычно, и заново происходило открытие этого привычного мира как собственного дома, где все всегда на местах, где лес как лес, а горы как горы, где люди знают, что им делать, а не мечутся в поисках непонятно чего, не валяются пьяными, а живут неторопливо, размеренно, вставая до солнца и ложась потемну, где ценности определены давно и они неоспоримы, где он — Аслан — занимал свое, а не чужое место, и, хотя он был сиротой и «ублюдком», но у него было свое право жить, на которое никто не посягал.

Две недели прошли спокойно. Потом приехали на лето «братья». Таризл, Автандил, Зураб. Именно в такой последовательности он их ненавидел.

Раньше, когда они были малышами и играли вместе, Аслан верил, что они — родня, ведь дядя Давид говорил это,



но понимание, заложенное в горце с рождения, говорило о другом: они – не я, они – другие.

В первый раз за многие годы он не сделал попытки сближения и не обрадовался их приезду наивно, как прежде. Он ушел в горы на три дня. Дел было полно – проверить ульи, спрятанные в горах, за перевалом, навеститься к Джамалу, который был теперь пастухом на летнем выпасе овец, да еще кое-что...

Прошедший школу выживания в интернате для дураков, Аслан чувствовал себя взрослым и уверенным, и если он еще не ведал своей судьбы, то твердо был убежден в одном – она связана с этими горами, где он был дома и где он мог стать хозяином, где мог обрести уважение.

Судьба подкинула ему такой случай.

Началась перестройка, изменились лозунги, вместо «равенства и братства» – «самоопределение наций и независимость», а вместе с ним война, которую развязали чечены и абхазы против грузин. Сути конфликта он не знал, но видел, как крепнет воля людей, никогда не бывших в почете и считавшихся лентяями и смутьянами. Появившийся два года назад Ашот – спекулянт и воришка, утвердился мыслителем при сельсовете, куда больше не поступало директив сверху. Потом дошли слухи о великой войне в Сухуми с перестрелкой и разгромом обезьяньего питомника. Говорили, что погибло много обезьян и людей. Начался джихад. Месть заливала кровью селенья внизу и добралась до гор. Старики говорили, что горы избавлены от крови и грязи, что никогда на эти горы не упадет ночь вражды, но теперь все было не так: и в горах были люди, а не только козы и старики. И кто-то носил свою маленькую обиду и, не имея большой, выращивал ее, как растение, бережно и осторожно. Вот и получились плоды. И Аслан теперь больше слушал абхазов, а не грузин, плохо только, что абхазы, в общем-то, мирные люди, слушали чеченов.

А в то последнее мирное лето он ни о чем таком не думал, а только наслаждался вновь обретенными чувствами, которые пришли неожиданно и коварно подорвали его и без того шаткий покой.

Все было бы хорошо, если бы не любовь.

Он помнил, как в детстве тетки говорили одному горцу-абхазу, пришедшему сватать их племянницу-сироту, худенькую и невзрачную девчущку, приглянувшуюся этому темному и немолодому уже пастуху.

– Любовь не для таких, как ты, – говорила Тамрико, – ты плебей, дурная кровь, а она имеретинка. Не твоего ума это дело. Сердце влюбленного должно источать мед, а твое – с детства питалось желчью.

Но пастух не отступал, и бедняжку Нино просватали за абхаза, хотя этот брак был явно не по душе всей грузинской родне.

В детстве он слышал, как шептали тетки: «Если горец вошел в эту реку, то он, значит, познал». То есть любовь делала мужчин гор сильными, как этого пастуха, и он не сробел, не отступил и добился своего.

Для простого россиянина, которым сейчас называется и русский, и украинец, и казах, и бог весть кто – любовь означает конкретный съезд с катушек, но временный, а для жителя гор любовь – это судьба, и если она появлялась, а вернее, являлась, то ради нее ломались судьбы, лилась кровь, и понятия «разлюбил» не существовало, только смерть была способна разнять влюбленных, но и с ней любовь не исчезала, а переходила в сказки и легенды, которыми эти горы были наполнены.

А в жизни Аслана любовь никак не должна была появиться по сути обстоятельств, ведь он был тоже – дурная кровь. Но она появилась, а попросту – явилась, хотя ее и не ждали те, которые знали, что любви, вообще, больше нет. Он был горец, или «абориген», как его называли братья, и у него были свои понятия.

Светлая Птичка-Сонечка явилась как всегда: как неожиданная долгожданность, поселилась в доме предков и зацвела, как куст иберии.

Все было как всегда, да только не было никак.

Продолжались детские походы.

Длительные переходы по горам, бессовестное разорение гнезд, ночевки в краях грабов, воровство сот из ульев – все это была та жизнь, которая, как праздник, продолжалась с начала и до приезда бабушки, или «гранды», как ее называли все живущие на «фазенде».

Бабушка сразу же расставила все по своим местам. Соня уже взрослая, и не к лицу ей шляться по горам, как мальчишкам. Она как представительница грандессы должна была учиться осуществлять правление всем гарнизоном, состоящим из трех старых теток и пяти полудебильных родственников.

Аслан был главным помощником. Игра захватила обоих, и маленькая хозяйка все больше увлеклась ролью властительницы народов.

Только раннее утро, когда солнце пронзало лучами горизонт, растворяло эту родовую градацию, как крик утренней ласточки, отводит вашу мысль налево от основной магистрали человеческой жизни.

Утром, на склоне, влажная и причесанная, она, как полководец, излагала план действий на день. Аслан должен был вносить свои предложения. Но с этим было туго. Соня требовала, чтобы он сам принимал решения, настаивал на предложенных изменениях и, как правило, выполнял их неукоснительно и в срок. Дисциплина была первым, чему он учился у Сони.

Действия были простыми: проверить запас дров, поддерживать огонь в котлах, кипящих целый день на заднем дворе, нарезать куриц или барашка, стогнать на дальние пастбища или пасеки за сыром и медом. Стараться делать все так, чтобы казалось, «что это ты руководишь тетками, а не они тобой». В общем, быть распорядителем суматошного и нехитрого хозяйства, где забот прибавлялось с прибытием семьи на лето.

Только ранним утром, когда солнце еще не встало и ожидаешь его прихода, лоя красные отблики на деревьях, на траве и всполохи на небе, только тогда Аслан мог, обдуваемый ранним ветром, ждать свою подругу на склоне горы, называемой Моншук.

Ему было непонятно многое, только сердце сладостно билось и кровь, холодная до сих пор, медленно закипала во всех жилах, словно огонь в печке разжигает жар для человека, проствывшего до костей.

И первый раз жизнь казалась ему подарком, наделяя радостью каждый рассвет, затем день и сумерки. Ночь теперь не казалась одинокой. Луна и та стала спутницей и подругой, с которой побеседовать стоило. Само собой исчезла мелкая злобность, ее место заняли тихие открытия незамеченных раньше простых радостей.

Господи, да, это была жизнь. Она стала интересной, наполненной смыслом простого и нужного существования. Такая жизнь должна быть у Аслана всегда. Теперь он знал, что такое «гармония», — непонятное слово с детства, которое всегда твердила Сонечка, раскрылось в один миг и навсегда...

Было непонятно и сладостно все происходящее, было ожидание, но была и надежда. Всегда, все, что связано с Соней, было как священная коза — оспорить невозможно — аксиома, да — и точка, то есть — оно есть, а значит, оно будет, будет всегда.

Тетки с детства твердили: горец должен знать, что в конце трудного пути его ждет очаг, тогда и голод и голод и одиночество можно преодолеть. Теперь он видел: Соня — это очаг, это жизнь, а все остальное — промежуток, который надо преодолеть. Если очаг не будет гореть, то жизнь не состоится — это было равносильно смерти.

И даже, когда она уехала, как всегда, учиться, это осталось с ним.

И оно было в мыслях, даже скорее не в мыслях, а где-то там ниже по курсу, в груди, короче, там, где сердце.

Вокруг все менялось.

Сначала в горы прокрались призраки войны. Они прошли тайно по овечьим тропам и принесли с собой страх нечаянной смерти.

Затем началась настоящая смерть, когда война, поползла по горам, как зараза, а вместе с ней приползли чужие.

Вроде бы те же горцы, знают законы, но в то же время их не соблюдают.

Законы, — они ухмыляются, — законами, а люди — людьми. Но когда не соблюдаются законы, какие же это люди?

Адреналин гулял в крови. Чужие приходили и уходили, а он оставался. Зараза, посеянная всюду, делала свое дело.

Оказалось, что можно управлять местными, как козами. Не было сельсовета, так как председатель уехал в город с казенными деньгами и не вернулся. Говорили, что его убили грузины, но Аслан, да и никто, не верил этому. Впрочем, теперь

все стало неважно, так как управляли всем теперь не мудрость и законы, а сила и злость.

Аслан просто занял свободное место, и оно оказалось ему впору. Он лучше, чем чужаки, знал все и всех, он был храбр до отчаянности, умел манипулировать чувствами других и легко стал незаменимым при решении местных проблем. Он чувствовал себя королем в горах и в горском своем королевстве, но не было рядом Птички-Сонечки, — как главного драгоценного камня в короне императора, а камень должен быть, а раз его не было, его нужно было добыть.

Ему верилось, что счастье возможно, что в глазах любимой вспыхнет огонь, который сожжет все черное вокруг, как огонь преисподней, и наступит рай, или по крайней мере «гармония», прямо сейчас, в крайнем случае завтра. К этому завтра он шел каждый день, торопясь, а потому не придавая значения тому, что случилось сегодня, и это была ошибка.

В долине шла большая война, она выплескивалась в горы, где место было всем прячущимся от нее. Горы хоронили и сохраняли. Они были безучастны к происходящему, только здесь, в горах, становилось все тревожнее, как будто бы они вбирали в себя и злобу, и кровь, и отчаяние людей.

План похищения, как все дурное, зародился в ночи. Однажды они сидели с двумя чеченами, пришедшими из-за перевала, и угощались свежей шурпой. Разговоры были пустыми: о дурных женщинах, появившихся в горах в последнее время, о примитивных отношениях, смерти, которая ждет за каждым кустом, и Аслана пробило, будто продрало ознобом. В ночной тиши и потрекивании костра было что-то вечное, но не было смысла в этом ночном сидении, как не было смысла в этой сходке чуждых и не доверяющих друг другу людей. Чечены рассказывали, как легко похищать людей, какой это хороший бизнес, как хорошо у Аслана можно прятать в горах тех пленников, кто привык к нормальным условиям. Тоска упала черным капюшоном и закрыла глаза, а под веками забрезжило нереальное. Тут-то он и захотел, чтобы Софико была рядом. Мысль то уходила, то материализовалась, то казалась смутной тенью сна, то выступала реальными углами и терла левое подреберье.

Осуществить было проще, чем казалось, так как подвоха Софико не могла видеть в нем никакого и поверила сразу в придуманную легенду об отце, попавшем в плен, о деньгах, которые нужно достать, не предупреждая братьев. Только потом, когда вранье раскрылось, он удивился, как вдруг оказался врагом, «черным» человеком, «Карой», это, пожалуй, было больше всего.

Обман всей жизни был налицо, а он старался не замечать этого, да все равно ничего не вышло. Софико была пленницей и товаром, а не подружкой и любовницей. Ее можно было убить, но сделать рабой — нет. Можно было обрить ее голову, отрубить пальцы, но это делало ее только сильнее и непримиримее. В конце концов, он сам устроил ее перемещение и спровоцировал побег. Но смириться с поражением не мог.

## Глава 7 Прощение

**Д**ом жил своей жизнью. Он принимал нас, так как мы стали немой составляющей его жизни, но не баловал теплом очага. Первые три дня мы мало высовывали носы из тайника: Соню знобило. Она лежала на крошечном диванчике, закутанная в одеяло, и струйки пота стекали на влажные веки закрытых глаз, а губы были сухими, как бумага, и голос шелестел еле-еле. Я поил ее водой и смачивал горячий лоб, и целовал этот лоб и эти губы, а она сопротивлялась тихо и неуверенно и улыбалась во сне.

Три дня было спокойно. Потом явились четыре черные вороны. Они возникли из утреннего тумана, бесшумно, вместо крыльев за спиной — рюкзак. Четыре усталые женщины в очень пыльной одежде. Они проспали почти сутки, потом помылись, прямо на террасе, постирали одежду.

Молча бродили по дому, расположились в бывшей спальне родителей все вместе. Говорили мало, казалось, что не доверяют друг другу, потому что никогда не оставались по одной, ходили по двое, меняясь парами. Одна из них засиживалась в кабинете, перебирая книги и создавая нам неудобства, вторая при этом лениво перебирала фотографии или рассматривала картины на стенах, потом говорила обычно: «Хватит, пошли. Бери с собой». Причем вторая всегда была другая, а та, которая читала, всегда одна и та же. И она отвечала что-то типа: «Погоди, здесь хорошо. Атмосфера», но вторая никогда не понимала и, видимо, тяготилась этим.

Утром они выходили на стрельбы и палили из пистолетов и небольших ружей по козам, лепившимся на скалах, и птицам, с криком слетавшим с насиженных мест.

Поскольку у нас был дефицит продовольствия, в сумерках мы делали вылазки по местам их стрельб, а потом готовили добычу в допотопной микроволновушке. Долго, конечно, это продолжаться не могло, но мы не уходили, потому что Соня хотела разобраться с Асланом, и на мои уговоры сбежать не поддавалась. Она говорила, что пока в горах нас ищут, логичнее прятаться в доме, когда они вернуться в дом, мы уйдем в горы.

Я чувствовал, что все не так просто, но как человек, привыкший ценить жизнь саму по себе, без всяких сложностей в виде чувства долга, или гордости, или чести семьи, просто за то, что каждое утро встает солнце и можно умыться холодной водой, взять в руки книгу, посмотреть на далекое море и думать о том, что когда-нибудь буду плыть под парусом и любимая рядом. Но больше всего на свете было важно это последнее — что Соня рядом, а потому мы были обречены — она из-за мифического для меня чувства долга, а я из-за любви к ней — на ожидание.

С приходом четырех ворон жизнь наша осложнилась.

Только мы успели приспособиться к жизни в потайной комнате, как новые обстоятельства ограничили наши передвижения по дому. Но по сравнению с ними у нас было преимущество: мы знали дом (теперь и я) как свои руки и ноги. Поэтому на второй день мы уже следили за ними и знали про них все.

Их было четыре, и они ходили парами. Они не звали друг друга по имени, а потому мы окрестили их по-своему. Старшая — морщинистая и сухая, как ствол дерева, командовала. Скрипучим голосом она произносила несколько слов, после которых начинались все действия. Мы звали ее Скрипка. Две молодые были одного роста и телосложения, к тому же иногда они, находясь в паре, молча обнимались. Зита и Гита. Четвертая была Чтица.

Из разговора Зиты и Гиты мы поняли, что они ждут какого-то приказа и что их ищут в долине.

Чтица была самая молчаливая, она поглощала литературу вместо пищи и общения. Скрипка, если была без движения, могла показаться стоячим мертвецом. Она была бесшумна, как призрак, и почти так же бестелесна. Все четыре вороны баловались дурью. Дурь была единственной причиной их сор. Ссорились они, громко крича, колотя посуду и швыряя все на пол. Ссоры возникали резко, так же резко наступала тишина.

Умный ход, придуманный Соней, — вернуться туда, где тебя не могло быть, не мог срабатывать бесконечно. Время в засаде, а может быть в плену, тянулось медленно. Однообразное ожидание неизвестно чего становилось тягостным, надвигалась осень, с едой были постоянные проблемы, могли вернуться чечены, мне казалось, что нужно убираться подобра-поздорову. Но Соня все еще была слаба, да и мне, по сути, бежать было некуда.

Питер казался такой далекой несбыточной мечтой, и мы иногда грустили, вспоминая, как бродили по заснеженным набережным, и как ждали друг друга, то у Казанского собора, то у Никольского, то напротив Михайловского замка в Летнем саду, то в читальном зале Публичной библиотеки. Я рассказывал Соне, как прятался от ее братьев, следивших за ее маленьким автомобилем, и звонил ей по телефону, чтобы предупредить об этом.

Соня говорила, когда вернется Аслан со своими боевиками, легче будет уйти, так как, не зная их пути, легко можно напороться на них в горах.

Но ожидание тоже становилось опасным из-за четырех соседок, сующих нос повсюду.

Утром они ушли на стрельбы, а мы решили выбраться из дома, через тоннель, идущий во двор, чтобы набрать воды. Соня рассказывала, что когда-то этот старинный ход соединял дом с деревней, расположенной выше по горе, но во время землетрясения был засыпан. В детстве братья устраивали раскопки тайком от отца, хотя им это запрещалось категорически и наказание за ослушание было жестким и быстрым. Отец не церемонился с мальчишками, и ремень, и иногда и плетка со свистом шлепались на плечи и спины нарушивших запрет. Строгость наказания свидетельствовала о том, как опасен был тоннель, но опасность привлекала, а потому в детстве были бесконечные поиски пропавшего плана подземных переходов. Бабушка как-то проговорила, что в годы войны тоннель спасал попавших в дом беглецов, иногда это были противники, которые одновременно могли находиться там.

Тоннель укрывал и тех и других, так как люди, жившие в горах, никогда не воевали на чей-либо стороне, они всегда держали нейтралитет, а в тайниках подземного перехода были запасы еды и воды, и спасение там могли найти и белые, и красные, и немцы, и русские, а теперь он был засыпан, что навело мысль на символичность тупика.

Соня уверяла, что помнила старый план, который нередко обсуждался в семье, и теперь направилась к развилке под правой террасой. Лаз был завален наполовину, и казалось, что немного усилий, и мы выберемся, или подготовим отступление, и мы начали копать. Вернее, копал я, а Сонечка наполняла полиэтиленовые мешки землей. Затем мы рассыпали землю аккуратно по всему полу тоннеля. Раскопки продолжались два дня, и нам казалось, что мы далеко продвинулись, еще немного и...

На третий день мы так увлеклись, что не заметили, как пролетело время, и вороны должны были бы уже возвратиться. Но в доме было подозрительно тихо, как будто наступил послеобеденный сон.

Бесшумно ступая на террасу, мы вслушивались в шорохи и свисты, но ночь, тихая, как тихий час, не выдавала своих тайн.

Луна, как большое зеркало, висела прямо перед нами, и казалось, что кто-то там, наверху, договорился, что именно сегодня будет вселенское спокойствие и равновесие.

Однако отсутствие привычных звуков создавало напряжение. Маленький, усохший мирок должен был копошиться, жить своей жизнью, но именно сегодня он решил нас попутать.

Соня тяжело сопела рядом со мной. Вглядываясь в ночной непрогляд, я постанывал и в то же время сдерживал дыхание.

И вот они пришли. Тени выныривали из темноты, как из пещеры. Они колыхались, как зыбкие призраки на болоте, шуршали словами, неслышными нам, строились и рассыпались как непонятно что, представляя собой то ли отряд, то ли какое-то подразделение мертвых душ.

Невольно в памяти всплыли образы деда и «свертка». Господи, зачем? Зачем?

Если честно, то не хотелось ничего. Ни правды, ни лжи, никакого «ихнего конца».

Хотелось, чтобы все было просто-просто, а значит, в нашей доступности, и все!

Просто все!

Бесшумные тени заполнили собой все пространство перед террасой и готовы были выплеснуться на нее и проникнуть в дом. Нам оставалось только одно — ретироваться в свое убежище и ждать.

Ждать пришлось недолго. Дом ожил — захлопали двери, зажегся свет, заскрипели кресла и стулья, человеческий гомон нескольких наречий переливался из комнаты в комнату, выплескивался в окна, заглушая звуки ночи. Потом опять все стихло, и мы начали готовиться к отступлению.

Решено было идти через туннель, а если не получится, решать проблемы по мере их поступления. К счастью, мы легки были, как птицы, готовые к полету, угрызения совести не мучили нас, Соня перестала терзаться вопросами, что же касалось еды и питья, во вопрос этот был для нас чисто философским: лес мог накормить и не таких, как мы. В общем, внимательно убрав все светлое под обувь и одежду, прихватив ножи и лопатку, мы покинули наше убежище навсегда. При-

сев на дорожку, я взгляделся в Соню и вздрогнул, так призрачно прекрасна была она.

Тонкий ее силуэт показался мне не реальным очертанием девушки, а видением, легким сумеречным видением, готовым растаять от дуновения малейшего ветерка. Я взял ее за руку, и дрожь ее пальцев ударила меня током, и показалось, что стены раздвинулись и мы падаем прямо в темное непроницаемое небо.

Кавказские сапожки позволяли ступать бесшумно по спящему дому. Портрет горбоносой дамы над лестницей освещала луна. Она строго смотрела на нас, ее черные глаза следили за каждым шагом, а белая рука впиалась в кружевной платок. Я чуть не споткнулся, казалось, что и она против нас, а, вернее, против меня, так как я, недостойный, сопровождаю ее Соню. Засмотревшись на даму, я налетел в темноте на Соню, она, предупреждая, прижала ладонь к моим губам, и я чувствовал, что пальцы уже не дрожат. Наверху заскрипели половицы, кто-то тяжелым шагом прошел в кабинет и закрыл дверь. Я тут же покрылся липким потом. Оставался еще переход по освещенному луной холлу и чулан с потайным выходом в тоннель. Я вспомнил, что когда мы с братьями приехали в этот странный дом, они, переглянувшись, один за другим скрылись за дверью чулана на несколько минут, а затем перешептывались по-грузински, не давая мне шанса понять их. Старая обида кольнула в сердце иголкой, если бы тогда было больше доверия, можно было избежать роковых глупостей. Аслану они доверяли, или делали вид, что доверяют, а мне просто не было места в их компании, их одолевал снобизм представитель высшей расы, а я со своей глупой любовью, был для них ничтожеством, игрушкой Сони, которую они взяли с собой, потому что так велела бабушка. Теперь, окутанные всем этим непониманием, мы пытались выбраться из западни в одиночку, опираясь только на эту самую глупую любовь, да свои инстинкты.

Дверь в чулан предательски скрипнула, и, похолодев, Соня оставила ее открытой. Потайная дверь была заставлена старыми вещами, и при открытой двери чулана нужно было отодвигать их очень осторожно. Тишина в доме казалась зловещей, он был вроде бы погружен в сон, но в то же время чувствовалось, что сон этот ненадежен и не отдых для всех тех, кто спал сейчас, а только передыхка, потому что отдыха им не будет никогда.

Когда-то в детстве я видел горящий лес, сполохи огня метались по поляне, кружили между деревьями, выгоняя из нор мышей, ежей и зайцев, которые бежали прямо на нас, боясь нас меньше огня. Белки с опаленными хвостами, свистели отчаянно и безнадежно, падая с веток прямо в огонь. Этот огонь я видел и сейчас, сквозь непроглядную тьму чулана, где светилось только одно пятно — бледное лицо Сонечки.

Подземный ход разветвлялся на три стороны. Вправо был ход под всем домом, и там горел неяркий дежурный свет. Ответвление влево было засыпано давно и даже замуравано кирпичной кладкой, над ним находились главная терраса и башня. А прямо был тот самый засыпанный проход, в котором мы ковырялись три дня. Самое начало его было скрыто нишей со щитом из фанеры, на котором когда-то местный художник Важбеди по просьбе отца изобразил кирпичную кладку, со временем слившуюся с этими стенами в единое целое. Чужой никогда бы не догадался, что там есть проход, а своих, которые помнили это, не осталось. Этот проход, замаскированный старым художником, и должен был стать нашим спасением.

Двигаясь вперед к спасению, мы внимательно осматривали тоннель. Все казалось прежним, но вдруг Соня остановилась у левого хода, кладка была подозрительно неровна. Осветив ее фонарем, мы убедились, что действительно кирпичи легко вынимаются и на полу песок. За вынутыми кирпичами оказалась ниша, а в ней пакетики тротила, бикфордов шнур в огромном количестве, связки динамитных шашек и другая взрывчатка.

Повозившись пятнадцать минут, мы обмотали ящик с динамитом шнуром, а бухту взяли с собой. Взрыв был настроен на спотык или отрывание верхней доски. Еще мы наполнили рюкзаки небольшими тротильными мешочками. Теперь бегство стало казаться более реальным. У выхода тоже оставили сюрприз.

Лес впустил нас, как только мы прошли колючие кусты ежевики и оказались на склоне. Двигаясь по кустам и кочкам, я почти напел, так как чувствовал

живую силу леса, обнимающего нас со всех сторон. Мы уходили от опасности, но Сонечка оборачивалась все чаще и чаще, как будто волнуясь, что дом, покинутый нами, не переживет нашего предательского бегства. Да, для нее он оставался живым, живым воплощением счастья жизни, жизни без забот, без войны и бессмысленной алчности.

Крутой склон кончился, и мы оказались на каменистой площадке грабовой рощи. Сквозь высокие кроны деревьев луна, словно большая лампа, освещала этот таинственный мир вокруг нас. Образы были причудливы и нереальны. Мы находились как на сцене театра, где декорацией был сам лес. Полная тишина и отсутствие движения воздуха сопровождали искусственность действия. Мы находились внутри внезапно захлопнувшейся коробки, слыша только дыхание друг друга, и призраки ночи скользили вокруг безмолвно и зыбко.

Тотчас же холод пронзил меня, и я обнял мою подругу, прижавшись губами к ее холодному лбу. Только мгновение стояли мы так, и только мгновение продолжалась тишина.

Раскат грома, раздавшийся внезапно, разнесся по горам, отскакивая от выступов и растекаясь по склонам. Затем второй, перекрывая первый, налетел с порывом ветра, пробившимся сквозь тугую вязь ветвей. И третий, накрывая первые два, усилив движение, всполюшил все спящее и живое.

«Взорвалось», — переглянулись мы и бросились бегом, подгоняемые ветром и испугом к опушке странного леса, взволнованного опасностью.

Дом пылал, протягивая окровавленные руки к небу, и искры отрывались от пальцев и рассыпались в воздухе как фейерверк. Вокруг дома металась тень, и тишину разрывали раскаты катившихся от взрыва камней.

— Расплата, возмездие, — без конца повторяла Соня по-грузински, сурово глядя туда, в пространство, где, казалось, наступал конец света.

Постепенно шум гор утих, и повеял ледяной холод, как будто кто-то злобный приоткрыл огромный холодильник, и вентилятор затягивает нас внутрь. Мы решили двигаться, хотя в темноте это было рискованно, но луна, как спутница, не стала прятаться за облаками, и пока мы шли по гряде, следовала за нами как привязанная. Но пора настала спускаться в ущелье, и она покинула нас, осветив на прощанье кроны старых грабов.

Соня хорошо знала горные тропы, и уверенно двигалась почти бесшумно, делая мне знаки, куда повернуть и где перешагнуть через поваленное дерево. Было такое впечатление, что она видит в темноте, как кошка, и вправду глаза ее горели изнутри, как будто маленькие светлячки сидели в них. Днем они, видимо, отсыпались, чтобы ночью служить своей хозяйке. Когда я сказал ей об этом, она засмеялась и ответила, что с самого раннего детства всегда видела ночью лучше, чем днем, когда ей светлячками служили линзы очков.

Нам нужно было пройти довольно большое расстояние, чтобы пораньше утром выйти к реке и перейти ее. В темноте это сделать трудно, и в случае опоздания ждать придется до следующего рассвета. Хорошо, что идти надо было вниз. От быстрого и неуверенного шага ноги дрожали, а дыхание сбивалось, мелкие камни сыпались из-под ног, но мы упорно сползали по склону вперед и вперед.

Но вот Соня сделала знак остановиться, и я уперся лбом в толстый ствол дерева. Почти тут же она исчезла, как провалилась, и зашептала снизу, протягивая руку из крошечной темноты. Я соскользнул вниз и оказался в углублении, как потом выяснилось, от корней огромной сосны. То ли это когда-то была берлога, то ли пещера, но только явно место для укрытия, так как мягкий пол из сосновых игл был еще покрыт высохшей, пряно пахнущей травой.

— Мы почти дошли, нужно передохнуть перед рассветом, — сказала Соня, свернувшись у меня на груди.

Глаза можно было и не закрывать, так как было абсолютно темно. Но что-то не давало мне уснуть, беспокойство наполняло изнутри, не желая поддаваться дреме. И все же я поплыл в челноке сна, и опять это была темная комната с каминном, и ветхий плед, и глупая нянька, и мой старый всклокоченный дед, почему-то ищущий меня в том самом свертке...

Пробуждение было неожиданным...



Аслан сидел в кабинете и угрюмо рассматривал фотографии на стенах.

Вот бабушка, великая грандесса вместе со своими сыновьями: Давидом и Сосо, а рядом мелочь пузатая—Сонька, братья и он, Аслан, все в маленьких бурках и папахах. Этот праздник Аслан хорошо помнил.

На Новый год хозяйева приехали с гостями, растревожили покой гор. Прямо во дворе разукрасили огромную ель, по вечерам пели, днем катались на лыжах и санях, много кушали, а 2 января навалило снегу за ночь, так, что не пройдешь, не проедешь, оказались отрезанными от долины, телефон не работал, связи не было, но никто не боялся, поговорили немного о непогоде и возможности застрять здесь дней на десять, а затем по-прежнему кушали, пели, играли, пока дорогу не расчистили и помощь не пришла из долины. «Помощь» тоже кушала и пела, пока Сосо не приказал всем собираться.

Затем все опустело, и на горы опять опустилась зима, долгая и бесшумная, но до лета обитатели дома вспоминали каждое слово, сказанное в тот праздник, каждое движение, каждую спетую песню.

Гости наезжали в любое время года. Этих двух уже немолодых женщин с пожелтевшей фотографии он тоже хорошо помнил. Одну звали Нани, а вторую Гюли. Обе они были известными певицами там, где-то далеко от дома. А здесь—просто гостями, дорогими и любимыми гостями, как все.

«Пой, ласточка, пой,  
Пой, не умолкай...»

На фотографии они, повязанные платками, как простые горянки, лущат земляные орехи, а обычно они много говорили, спорили и даже ругались меж собой, но потом всегда пели. Пели очень красиво. Аслан прятался за кустами и слушал. Он и сейчас вспоминал, как действовали на него эти песни. Все переворачивалось внутри, и хотелось добра, и быть хорошим. Жаль, редко это было. Сейчас он жалел и о том, что тогда не подошел к ней, убежал.

Та, которая была старше, Гюли, увидела его и поманила рукой, а он испугался, а потом представлял себе, как она с ним разговаривает и по голове гладит. Только этого никогда не было. Аслан сидел один в чужом кабинете, в доме, в котором никогда не будет так же весело, и проклинал себя.

Он чувствовал, что Соня была здесь. И совсем недавно. Как старая ищейка, он обошел все углы, принюхался, и понял, что гнев и злорада прошли, и осталась пустота, как в день, когда погиб Джамал.

Он знал, что теперь не будет преследовать Соню с ее «набичваро», но попробует их найти, чтобы другие не нашли их раньше. Мысль до конца еще не созрела, но злости не было, и за это он себя похвалил и усмехнулся.

Он уходил. Один как всегда. Портреты недобро смотрели сквозь темноту ночи, опасаясь, конечно же, не за его жизнь. На пороге он обернулся и взглянул на «старую даму». Всегда он ее боялся, но теперь, уходя навсегда, он имел право посмотреть ей в глаза без страха. Она по-прежнему держала тонкими пальцами кружевной платок, и ему показалось, что она улыбается так незаметно, легко, что слезы встали в горле, и он поспешил выйти вон. Однако, даже в лесу, быстро идя по лошине, он видел, как она протянула ему платок, чтобы он утер им свои непролившиеся слезы.

Я проснулся в холодном поту и почувствовал, что мы не одни в нашей берлоге. Чужой запах и дыхание—я бросился на это дыхание и схватил его: «Тише, Набичваро, это я—Аслан»,—и что-то быстро добавил по-грузински.

— Я знала, что ты найдешь нас,—сказала Соня, голос ее дрожал. Я не выпускал его.

— Ты один?—спросила она.

— Отпусти же меня, дурак, я пойду с вами, пройдем через водопад.

— Мы хотели спуститься здесь по реке.

— Там везде заставы. Абхазы охраняют горы от чеченов,—и усмехнулся.—Одни вы не пройдете.

— Я тебе не верю,—сказал я и отпустил его. Соня молчала. Тишина была зловещая.

— Если он один, то не врет.

В этой проклятой темнотице ничего нельзя было различить, только запах тревоги и страха удушающе давил на подсознание. Мы вылезли наружу и увидели, что уже рассветает. Сквозь деревья брезжил серый свет, и тени вокруг замерли в пред-рассветном оцепенении. Аслан стоял маленький и крепкий, и глаза его были, как у собаки, горящие и непонятные: то ли бросится сейчас на тебя, то ли руку лизнет и завилает хвостом, но лжи в них не было.

— Надо быстро, — сказал он, и мы, пройдя небольшую ложину, стали карабкаться вверх. Аслан — впереди, я — сзади, Соня — по серединке.

Было холодно, даже быстрая ходьба не согревала, кое-где на траве я заметил изморозь. Осень здесь наступала странно. Чем выше мы поднимались, тем светлее становилось небо, проглядывающее сквозь редяющие кроны деревьев. Мы карабкались по склону, как козы, которые поразили меня в первый раз, когда с братьями мы пересекали эти же горы в другую сторону. Почти достигнув верха, мы остановились передохнуть, и на противоположном склоне увидели дымок. Пока мы сидели на кочках, обхватив ногами и руками корни кустарника, дым исчез, и это не понравилось Аслану. Он опять начал подгонять нас, и мы опять, как козы, полезли вверх. Наверху лес стал гуще и выше, как будто деревья тоже устали жаться к склону и распрямились, наконец, по-настоящему. Колючий кустарник тоже кончился, и мы зашагали в полный рост. Мы уже слышали шум реки, когда Аслан резко остановился, присел и сделал нам знак.

Я ничего не услышал, но упал в сухую траву рядом с Соней. Мимо полз неуклюжий жук. Он был большой и корявый, как камушек или обломанный сучок, но скорость передвижения у него заметно увеличилась, как только мое лицо оказалось в поле его зрения. Тревога, почуянная мною в ночи, усилилась с появлением Аслана: меня раздражал его слишком органичный для этих мест облик, его кавказская надменность и слишком страстные взгляды в сторону Сони. Она ему доверяла, но не я. Все было против этого третьего в нашей компании. Я подозревал, что он был виновником нашего теперешнего перехода, что в полном смысле этого слова «он все это устроил». А теперь, как верный друг, спасал Соню. Я не верил ему и ждал подвоха, старался быть начеку. Но как это сделать, когда скорость передвижения такова, что легкие еле выдерживают этот темп, а ноги, натренированные в походах, устают раньше, чем у него.

— Это горы — они выжимают все. Здесь воздух разрежен, и движения замедляются, а нам нужно идти быстро.

Трое сидели у замерзающего костра, Фазик лениво помешивал палкой в угасающих углях. Колян и Васек перебирали картонную колоду.

— Ну, давай в «пьяницу».

— Что это за игра? Чушь. Давай хоть в очко.

— В очко ты передергиваешь.

— С чего ты взял?

— Мне про это говорили в кишлаке, что есть такие специалисты.

— Я не спец. Если бы мог, выиграл бы кучу денег, на хрен тогда ты мне?

— Здесь просто скучно. Сейчас патруль придет, и пойдем отсыпать дневальную.

— Смотри, по тому склону чечены лезут.

— Где?

— Видишь, справа сломанное дерево? А ниже — трое?

— Может, местные?

— Они так не одеваются. У всех трех — банданы, и одеты в черное.

— Скорее бы кончилась вахта!

— Ничего не получится, пошли за ними.

Фазик смотрел сквозь оптический прицел.

— Не похожи они на чеченов. Стрелять не будем.

— Кто сказал? — Колян напрягся, думая о награде, которую покажет в деревне по приезде. Пусть говорят, что награда не важна. У них в деревне медаль важнее всего.

Когда пришла повестка, тетка так и сказала. «Служи честно, смотри без медали не приходи. А то отец твой пьяница был, брат — в тюрьме, так хоть ты за весь свой род ответ держи».

Колян с детства был правильным. Хошь не хошь, а слово держи. Да и учителям помогал, почти всегда. Кроме того последнего раза, когда Марья Дмитриевна, химичка, просила прирезать кабанчика. А кабанчик все время бегал вместе с ними, детворой школьной, и тут его — прирезать, и Колян убежал, а М. Д., рассердившись, поставила ему пару по химии, хотя он ее не заслуживал, эту пару, так как всегда по договоренности держал ей все приборы в чистоте и доску мыл водой из колодца...

Больше всего в армии Колян любил строевые песни, они настраивали. Он хотел, чтобы все было как в песнях. Но иногда ему говорили: «Нужно убрать», и он воспринимал это как работу. Убрать так убрать. Стрелял он лучше всех в роте.

Тут, однако, никто ничего не говорил, и решать надо самому: убрать или не убрать. Хотелось медаль.

Аслану казалось, что за ними следят. Ничем не мог он объяснить это чувство чужого глаза. Он нервничал и гнал их быстро по склону вверх. Им нужно было срочно выйти на плато над рекой, в том месте, где была верхушка водопада. Оттуда спуститься по камням к подножью его, спрятаться за полотном воды в маленькую пещерку. Он знал ее один, и теперь должен был отвести туда Соню и ее белобрысого. Там можно переждать день, и за полотном водопада перейти на другую сторону, где лес плотнее и нет ни русских, ни чеченских застав, где тропы непроходимы, а значит, безлюдны.

Чем выше они поднимались, тем меньше сил оставалось у Сони. Глаза ее больше не сияли, и слезы мешали смотреть. Она знала, что Аслан злится, но не подведет, лишь бы у них с Мариусом хватило сил угнаться за этим «бешеным козлотуром», так в детстве она его дразнила. Она уже ничего не способна была замечать, и только теперь поняла, что, когда бы ни закончилось это восхождение, ее ждет покой и счастье в конце пути. Мариус сначала протягивал ей руку на самых крутых кочках, а теперь уже почти все время волочил, обняв за талию и шепча в ухо ободряющие слова: «Скоро, скоро, потерпи...» Ноги не слушались, горло пересохло, силы почти покинули ее, когда Аслан вдруг вскинул руку и заставил их упасть в траву. Она почти была счастлива, оттого что можно было отдышаться чуть-чуть. Вершина была близка, в нескольких шагах, шум реки заглушал другие звуки, и Соня скорее почувствовала, чем услышала выстрел. Пуля срезала ветку прямо над головой Аслана. Теперь они все трое лежали в траве и шумно дышали.

— Они на той стороне, — сказал Аслан. — Осталось подняться два шага и спуститься по камням, водопад рядом. За грядой они нас не достанут. Пока они перейдут лощину и поднимутся, мы будем внизу. Двигай вперед, — крикнул он мне, — я последний.

Я взял Соню за руку и попытался бежать. Ускорения не получалось. Казалось, что мы во сне перебираем ногами, а с места не двигаемся. Аслан тем временем встал во весь рост и двинулся по склону влево, за наши спины. Его маневр я понял, когда он крикнул и упал на одно колено. Я дернулся в его сторону, но он выставил руку с указательным пальцем к вершине и взглядом толкал нас до тех пор, пока взгляд этот не потух и он не рухнул на землю и не покатился назад по склону, как куль.

Я рванул вверх, держа Соню за руку, и нас вынесло на вершину. Еще шаг, и мы полетели бы в пропасть, прямо в шум водопада. Камни осыпались под ногами. Вода пылила широким потоком с большой высоты, а в спину стреляли. Соня упала на колени. Я, перекрикивая водопад, молил: «Соня, Соня, держись, мы прыгаем», — и, подхватив ее за талию, сиганул прямо в эту разверзшуюся подо мной мощную пучину воды. Что-то тяжелое ударило меня в спину и плечо, и я почувствовал, как Соня выскальзывает из моих рук и, вместо того чтобы падать вниз, взмывает вверх. Я хватался за ее ладонь, но вот и она выскользнула из моих пальцев, а Соня взлетала все выше.

Слезаящими глазами я видел, как сквозь ее тонкое тело просвечивает солнце и как ее улыбка тает в облаках.

**Я** камнем начал падать вниз и, наверное, разбился бы, если бы не вспомнил уроки детства и не расправил ноги и руки пошире и не задрал голову вверх. Падение тут же прекратилось, и я поймал первый поток воздуха. И тут прямо мне на спину свалилась моя Сонечка, глаза у нее были закрыты и руки висели как плети, но я встряхнул ее и подхватил за талию, а нас подхватил ветер.

Я был счастлив, рядом с подругой моей, отдаваясь упругому ветру, паря в безграничном потоке времени.

Мы легко пересекали пространство, оказываясь то на берегу Невы, то на атлантическом побережье, то в холодных фьордах Балтики.

У чаек, знаете ли, душа отделена от тела, и в полете она может легко перемещаться, куда захочет.

Жизнь птицы гораздо проще, чем жизнь человека, и воспоминания теперь редко тревожат меня, а мысль о сиротстве, так ранившая мое сердце когда-то, теперь не имеет смысла, как не имеют смысла старые знания и привязанности, так как новая жизнь уравнила меня и Сонечку, круглого сироту и девочку из «хорошей» семьи. И только иногда я вспоминаю деда, а она — бабушку...

Гаврилыч недавно умер, и теперь дед чаще один, а иногда с квартирантом отправляется на Селигер.

Когда он сидит на озере с удочкой, я близко, близко подлетаю к нему и кричу, пытаюсь привлечь внимание, но он почти никогда не реагирует, пристальнее смотрит на воду, но иногда на нас, и я начинаю делать всевозможные пируэты и кувырки в воздухе, заливаюсь смехом и ныряю, так глубоко, как только возможно, а выныриваю с рыбой, которую бросаю ему в лодку или на берег, если он удит с берега. Дед ворчит, озирается дико и говорит сам с собой.

Выглядит он неплохо для своих лет, но одиночество еще более отчетливо проступает сквозь старческие поры.

А вчера Мария Николаевна стояла у борта парома, плывущего через Гибралтар из Испании в Марокко, и кормила чаек. Я выхватывал хлеб прямо из ее рук, и она смеялась, а когда я близко, близко заглянул в ее глаза, она выронила булку и отпрянула. Затем долго трясла головой и всматривалась до слез в блестящее море. Выходит, что я опять ее напугал. Она все не могла успокоиться и показывала читающему, как всегда, какую-то книжку А. Г. на нас, парящих над паромом, а потом он укутал ее шалью, и они ушли внутрь.

А Соня спросила меня: «Как ты думаешь, сколько живут чайки?»

— Не знаю, — ответил я. — Всегда у меня по биологии была пятерка, да вдруг стал забывать...

— Я — чайка! Я — чайка! — весело кричала Сонечка.

— Это что-то знакомое...

— Да, пожалуй...

— Послушай, а если бы мы умерли, когда читали книги в библиотеке твоего отца, может быть, тогда бы мы стали книжными червями?

И мы оба засмеялись и слушали, как смех отскакивает от волн и катится к берегу, выплескиваясь на него легкой волной.

— Слушай, а кто такой Джонатан Левингстон?

— По-твоему, это как-то связано с нами?

— Птичка моя, ты видишь — темнеет, пора поискать хорошую скалу, — и мы взмыли в небо, не думая больше ни о чем, кроме ночлега.

\* \* \*

В субботу был банный день, и солдатская братва под горячим душем громко обсуждала выданный накануне Коляну значок «Лучший стрелок полка». Подкалывали тем, что троих последних Колян завалил по ошибке, так как один из них был местный абхаз, а двое других — бежавшие из чеченского плена русские. Слушая глупые и завистливые подколы земели Васька, Колян вдруг вспомнил, как вылавливали из воды убитых и один оказался девушкой, обритой наголо.

Он зажмурился и представил себе, как идет по селу в новой парадке и значок блестит на гимнастерке, а грудастая Аленка высовывается с подоконника и манит его рукой.

163

Из бани шли строем, и Васек запевал. Колян любил ходить строем и петь. Это были лучшие минуты. Высокий и пронзительный голос Васька уносился ввысь, и Колян в сладкой муке вместе со всеми кричал в темнеющее небо:

Проща-ай, отчий кра-ай,  
Ты на-ас вспомина-ай,  
Проща-ай, нежный взгля-ад,  
Не все из нас придут назад...



\* \* \*

Иногда я блуждаю по лабиринтам памяти и нахожу там то туфельку, то сорванный цветок, то голос моей любимой.

Я помногу сплю. Одно время слезать с дивана мне вообще не хотелось, и от завтрака до обеда в полудреме лениво я вспоминал Обломова, которого ненавидел в школе и которого так хорошо сейчас понимал.

Нечасто заходят грустные Стрельцовы, но видеть мне их тягостно, так как сознание того, что я не оправдал их надежд, все же мучает меня. Они приносят книги новых или старых, но только что открытых ими авторов. Рассказывают о путешествиях в «новые» страны. Рассказы эти меня не занимают, а книги пылятся нераскрытые, и я с удивлением вспоминаю ту жадность, с которой раньше ловил любое слово, сказанное каждым из них.

Дед хлопочет вокруг меня без всяких упреков и сожалений. Он как-то оживился и иногда рассказывает мне про свои похождения, но в моей голове его жизнь не складывается, а сосгoint из отдельных обломков, беспорядочно разбросанных по каменистой местности советского пространства.

Я кажусь сам себе таким же обломком, но лежащим отдельно и не представляющим никакого интереса ни для себя, ни для людей.

Из зеркала по утрам на меня смотрит незнакомый человек, за спиной которого маячит призрак. Человек этот мне не интересен, и знакомиться с ним я сейчас не хочу.

Сегодня мне приснился сон. Я иду по залу ожидания какого-то вокзала, и со мной мой старший брат. Он несет в руках чемодан и красный кожаный плащ. Мы останавливаемся, он протягивает мне свою визитку и набрасывает на плечи плащ, обнимает и уходит на поезд. Я остаюсь в зале ожидания и просыпаюсь, но не совсем, а продолжаю думать о нем и сознаю, как хорошо иметь старшего брата. Я вспоминаю одинокое детство и сожаления о том, что у меня не было брата, ни старшего, ни младшего, отталкиваюсь от пола новыми туфлями и лечу, а красный плащ шуршит, мягко ударяя по ногам.

И только одно меня беспокоит, где визитка, которую дал мне брат, я начинаю судорожно искать ее в карманах и не нахожу, а достаю все новые и новые, но ненужные чьи-то визитки, которые рассыпаются в воздухе и медленно опадают вниз на мраморный пол зала ожиданий.

Вечность, которая стала моим домом, никак не описана в книгах. Я прочел их множество, но нигде, блин, нигде я не нашел того понятия. Тот значок, который обозначает бесконечность, просто символ. Ни хрена он не обозначает, в смысле бесконечности познания. Даже грустно об этом говорить, так как только задумаешься, так и тянет тебя лететь, ну, блин, вообще, на кудыкину гору.

\* \* \*

Мы притулились за острым выступом скалы, прижавшись друг к другу, и ветер пел свою песню, унося все недосказанности прошедшего дня.

Я закрывал глаза и снова видел маму в красном платье и тихий свой бег, почти нереальный, по мокрому песку куда-то в никуда...

2006 г.

Саратов – С.-Петербург

**Алексей  
Голицын**

*Алексей Голицын родился в 1971 году. До 2000 года работал редактором литературного журнала «Волга». Стихи и статьи публиковались в альманахе «Мышь из Кронштадта», журналах «Волга» и «Дети Ра», антологии «Нестолничная литература», газете «Новые времена» и др.*

*Лауреат фестиваля «Культурные герои XXI века» (1999).*

№ 9-10 2007

\* \* \*

Сегодня пиво дали неплохое  
В советские же времена  
Существовали нам теории запоя  
И у героев были имена

Я что подумал водка не украсит  
Мужчина буквой Ж в дверях стоит  
Второй этаж соседом дядей Васей  
Он родственник душа его болит

Влюбился по уши перчатки растопырил  
Очаровательная женщина одна  
Мне рассказала ты ты тоже выпил  
Продемонстрировала мне она

Вцепился за любовь у нас похоже  
Презентовали знаете куда  
Из магазина направляется прохожий  
Туда обычно ходят поезда

\* \* \*

Жена лежит чего ей захотелось  
Студенток вуза движет и несет  
Вторую приволок ей тоже пелось  
И пела пела вдоль и поперек

Я их двоих держал своими ими  
Красавицы лежали подо мной  
На даче комарова раздавили  
У помидора снизу перегной

15 лет прошло лицом в подушку  
Расчувствовался внутренний сосуд  
Я зяблика определил кукушку  
Коростеля попросишь принесут

Не знаю как мне раньше удавалось  
Потом расскажут что у нас потом  
По юности удачно расставалось  
И клеивалось клеилось в альбом

\* \* \*

Ну что теперь чего ты докопалась  
Заведомо живет у нас внутри  
Мы все о времени а времени осталось  
Нае..вают плюнь и разотри

● Стихи

Какие женщины нещадно не давали  
 Какой эрекцией я славился в кругу  
 А тоже позже бомжи грех уже в подвале  
 Как ни верти обратно не смогу

Эллада Персия Санкт-Петербург в апреле  
 Родная задница в кровати на зарю  
 Меня таблетками кормили мы их ели  
 Я тоже ел уже не повторю

Откуда жизнь летит босою пяткой  
 Значительно лицо изменено  
 И в дурака и в преферанс мы тоже в прятки  
 Славянский стиль волшебное говно

Я прочитал в жж что жизнь в силе  
 Пугать ежа опасно не вдвойне  
 Заштопать жбан случайно зацепили  
 Красивым жестом каждый на войне

## Сергей Кузнецов

*Сергей Кузнецов родился в г. Грозном в 1966 году. Закончил Грозненский нефтяной институт. Офицер морской пехоты в отставке. Воевал в Афганистане. В 2005 году вышел сборник стихов «Созвездие «Молодость»» в издательстве «Саратовский писатель». Живет в р/п Лысье горы.*

\* \* \*

Т. Г.

Ты говоришь, живу в глуши...  
 В глуши. Но посуди сама,  
 Ведь если мне везде тюрьма,  
 Так лучше пусть она в тиши.

На берегу реки сосна  
 С вершиной в синем небосводе  
 Напоминает о свободе,  
 И снова на душе весна.

А города мне больше нет,  
 Но я запомнил навсегда,  
 Как зло пылают города  
 От пущенных по ним ракет.

И не пугает слово «смерть».  
 В том городе любовь жила,  
 Сидела у окна, ждала –  
 Ей выпало живой сгореть.

Любовь и родина, слова –  
 В них содержанья больше нет,  
 Но есть на сердце страшный  
 след

И память все еще жива.  
 Ты говоришь, живу в глуши...





Тень скользит меж серебряных волн: горечь, ты  
вьешься вкруг нервов, и жил, и  
костей, торжествуешь, но время твое на исходе.

Факел истины неистовствует на подмостках правды,  
душа в огне рвется наружу,  
стальные цветы, искры трещат, печет кожу.

Окаянная птица летит, тень скользит среди волн,  
факел истины обжигает: ты  
влечешь меня за собой вглубь пучин своих, мук  
несчастья.

## ПРОГУЛКА ПО СНЕГУ

Устремленные ввысь соборы ветвей, словно Милан  
в лесу, белоснежная сказка режет  
глаза, острым лезвием оцепенения рассекает  
ресницы, истерзанные морозом.

Нежность снега вкрадчиво глотает руки дерева  
в сверкающе-звездной глазури инея.  
Пятна ворон на чернеющих кронах, иглы сухого  
воздуха хрустят бронхами.

Соборы ветвей, успение красоты в синих утренних  
переливах, безмолвие душ  
на глухой азиатской земле, шаткий шаг моих  
ресниц, истерзанных морозом.

Нежность снега сжимает плечи, бедра, сердце.  
Странный речитатив ранит распевом  
взгляд, стынет тело, вспышки осколков звезд  
с хрустом рвут бронхи.

## НИЖНИЙ В ЯНВАРЕ

*памяти Андрея Сахарова*

На вокзале блуждают призраки этой ночью:  
мокро-блестящие тени, тени дождя.  
Режут слух переборы гитары, антрацит, фонари:  
как горька моя ностальгия!

На вокзале, глазами в ночь, к решеткам приникли  
тени, тени свободы: радость,  
рожденная в бездне колодца, в излучинах Волги,  
в изгибе Оки, моей матери.

Поезд в такт с неразумным сердцем срывается  
с рельсов надежды: голос музыки  
рвется с порога уютно-глухого кафе, огни твои,  
улицы разожгли мою боль.

Поезд в такт с моим уходящим сердцем плачет  
ритме цветов, рисует картину,  
чужая тайна, египетский профиль, левантинка  
касанием легким взведет мою боль.

*Перевод Нелли Красовской*

*Владимир Баев родился в 1982 году в городе Камышине Волгоградской области. Закончил Саратовский государственный пединститут (филологический факультет). Публикуется впервые. Живет в Саратове.*

\* \* \*

Все происходит не со мной,  
Не в мире очень усредненном...  
Я просто мертвый постовой  
На перекрестке запыленном.

И над кукушкиным гнездом  
Мне снилось небо в синяках...  
Когда-нибудь потом, потом  
Уйдет и ненависть, и страх...

Я вновь почувствую оттенок,  
Жаль, мне его не разобрать...  
От драм и до забавных сценок  
Не мне подарят наблюдать...

Все происходит не со мной  
На дне бездонного наперстка...  
Но я счастливый постовой  
На запыленном перекрестке.

*19 апреля 2006 г.*

## **Северянин forever!**

Карамбола в «Мартини»! Карамбола в «Мартини»!  
Потрясающе вздорно! Гламурно и чисто...  
Весь в чукотском закрытом бикини  
Я кладу на лопатки одного дзюдоиста!

Нефтевышечный грохот! Маячок и охрана!  
Ретропросесть совка! И две тонны понтов!  
Мы элита в стране пугливых баранов!  
Карамбола в «Мартини» — кризис всех вечеров!

Куршевель и футбол, бизнес и аудит...  
Очень круто купаться в каратах!  
Карамбола в «Мартини» немного горчит.  
Из Москвы — в Васюки! И немного в Саратове!  
*2 апреля 2004 г.*

\* \* \*

Жизнь нелегкая и счастливая,  
Близорукая, грязная, тварь...  
До чего ж ты сегодня красивая,  
У меня жаль под глазом фонарь.

Подойти к тебе не решаюсь.  
Нет, не то чтобы... Я не боюсь.  
Я, пожалуй, немного стесняюсь...  
Я храплю и частенько дерусь.

Я такой... Я такой непутевый...  
 Не в ладах сам с собою порой...  
 Я дерусь, потому что рисковый,  
 Потому что я просто живой.

Я, наверно, совсем сумасбродный...  
 Сумасбродный я невероятно.  
 Бесконечно до жизни голодный,  
 Я вдруг понял, что все непонятно.

5 декабря 2005 г.

## Елена Спирина

*Елена Спирина в 1987 году закончила филологический факультет Горьковского госуниверситета. Преподает в школе. С 1992 года – литературный редактор альманаха «Дирижабль». Автор пяти книжечек стихов для детей и книги художника «Воздушная азбука» (1999, совместно с Н. Олейниковым). Имеет публикации в газетах и журналах. Участник нижегородского фестиваля альтернативной поэзии (весна 2006).*

\* \* \*

Июнь пьян.  
 Пух на рыльце.  
 «И-и-инь – ян-н-н!» –  
 Звенят крыльца.

Улей июля  
 Пчел полон.  
 Июль долог.  
 Пьет оолонг.  
 «Ло-о-онг – ло-о-онг!» –  
 Гудит July.  
 Июль-гонг.  
 Июль-юла.  
 Мед-сок-мед  
 На губах и бедрах.  
 Июль высок. Несет  
 Ветер в ведрах.

Август прост.  
 Отошли воды.  
 Рубит хвост.  
 Терпит роды.

2007 г.

\* \* \*

Джим Моррисон верно сказал, хотя, безусловно, грубо:  
 «We must die» – и еще пару брутальных фраз.  
 Но я снова целую жизнь в онемевшие губы –  
 она содрогается, но получает оргазм.  
 Все пытается вырваться, бьется башкою о стенку,  
 отдавая по капле свой мультифрут.  
 Я зажму ее горло разбитой коленкой –  
 все ее зеркала оглушительно врут.

Опа, голос прорезался, правда, звучит фальшиво.  
 Ее можно понять: post coitum и на глотку нажим.  
 Я пою ее кофе. Мы по-прежнему живы!  
 Satisfaction! Дай лапу на счастье, Джим!

2006 г.

## Французское с нижегородским

Mon Paris – он парит.  
 Эйфелево  
 дефиле...  
 –Эй, филе  
 лягушки?  
 Гуляш?  
 –Oui, лягушки!  
 –Ляг, ушки  
 закрой  
 глазки  
 закрой  
 ласки  
 за край  
 камин  
 Samus...  
 – Je vous aime...

Живу. Ем  
 пью. Тут.  
 Ут-  
 ром  
 бегу  
 в снегу.

Днем – в нем  
 по  
 ко-  
 ле-  
 на.  
 – Элен, а Париж?  
 – Да, чай, че ты мне па́ришь?

2006 г.

## Алиса Розанова

*Алиса Розанова родилась в 1985 году в Казани. Училась в Казанском государственном университете (социология). С 2004 года – участник казанского молодежного литературного движения «Общество Мертвых Поэтов», а с 2006 года – одна из организаторов инициативной группы «Культурные практики», которая занимается организацией в Казани поэтических мероприятий и синтетических шоу.*

## БУМАЖНЫЕ СУДЬБЫ

в этом хвосте вселенной как в багдаде все спокойно  
 бумажные судьбы архивы как самолетики

времен второй мировой  
 плывут по небу ищут себе место  
 когда я говорю тебе вслед отпусти  
 отпусти меня где-нибудь  
 слышишь мне страшно!  
 а ты погружаешь ладони свои как в глину как в тесто  
 в спящих  
 и шепчешь им имена  
 а я глажу тебя по щеке  
 целую в висок  
 а сама думаю  
 а что если война?

## НЕЖИВЫЕ ГОЛОСА

1.  
 когда меня родили  
 завернули в газету п р а в д а  
 и это правда  
 хотели сказать что-нибудь особо торжественное  
 выпили за будущее за здравие  
 закусили  
 и забыли  
 а я до сих пор не понимаю  
 как можно

2.  
 в нашем городе  
 дети играют в алкоголиков

в нашем городе не услышишь первых петухов  
 не услышишь вообще никаких петухов  
 не увидишь вещих снов  
 не поймешь где запад а где восток  
 не откроешь ветру свое лицо  
 не прочтешь молитву наоборот  
 и вообще негде упасть на колени  
 нажимаешь правой рукой на левую кнопку мыши  
 или левой рукой бьешь себя по правому колену  
 и не понимаешь что важнее право или лево  
 я узнала что бинарным оппозициям  
 способствует устройство человеческого мозга  
 а меня никогда не спрашивали  
 рано или поздно  
 я никогда не задумывалась  
 насколько все это серьезно

\* \* \*

кто видит как умирает куница –  
 она ложится на снег и закрывает глаза.  
 кто знает как умирает лисица –  
 она не просит прощения за незаконченные дела.  
 кто слышит как умирает птица –  
 она камнем слетает в подкорние осени.  
 они совершенны, словно уснувшие детские лица.  
 и божественны, словно ребенок, что не проснется после.

БАЙКИ ГЛЕБУЧЕВА ОБРАГА

**Анатолий  
Назаров**

# **Про дядю Мишу, ушедший город и прочую жизнь**



*Анатолий Назаров. Автопортрет*

## ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ:

Сергей БОРОВИКОВ:

**В** XIX веке писанием мемуаров занимались преимущественно люди высшего общества. Дворяне, генералы, сановники, известные литераторы. Писали они сами. Вероятно, самые известные мемуары XIX века – «Былое и думы» Александра Герцена.

После одна тысяча девятьсот семнадцатого года мемуары в России долго вообще не писали, разве что иногда опытные писатели, умеющие не писать о том, о чем было нельзя.

После войны стали входить в моду мемуары бывалых людей, прежде всего военачальников. Книжки за них писали наемные люди, обычно из журналистов. Когда они писали сами, то получалось как у Деда из повести Василия Шукшина «Точка зрения»: «Тут я взял винтовку и шархнул его. Голубые мозги свистнули на паранет и ухлопами долго содрогались...»

В недолгие годы оттепельно-хрущевской раслабухи некоторые старые литераторы вновь потянулись к обширным мемуарам. Главным событием тогда стала книга Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» и ее погром. Битые советские писатели, и без того более склонные к выдумке, чем к «невыдуманному рассказам о прошлом», как определил жанр Викентий Вересаев, и вовсе охладели. Да и военачальники приутихли. На мемуарах запросто можно было сломить башку, и даже самому маршалу Жукову пришлось поправлять и переписывать свои «Воспоминания». Писали и печатали их за границей те, кому терять было нечего, – самые известные примеры Никита Хрущев и Надежда Мандельштам.

Последним же всплеском советской литературы книг «бывалых людей», сочиненных опытными журналистами, стала трилогия товарища Леонида Ильича Брежнева.

В освободившейся от цензурного гнета России мемуаров стало хоть отбавляй. Целыми многотомными сериями идут они к читателю. Мемуары спорят и ссорятся друг с другом, особенно когда речь в них заходит о какой-нибудь угасшей звезде. Общим же является одно – все книги, как правило, принадлежат перу народных артистов СССР, опальных политиков, олигархов.

Воспоминаний же собственно человека о рядовой человеческой жизни, в ее будничных проявлениях и мелочах, было и есть немного.

И все же чаще стали возникать картинки быденной ушедшей жизни. Порой и человек искусства, как, например, главный художник БДТ Эдуард Кочергин пишет свои «Рисовальные рассказы» не о Товстоногове или звездах сцены, а об оттесненных на обочину людях, с кем свела его жизнь, о питерских закоулках, пивных, рынках.

Вот и наш Анатолий Назаров, будучи художником, предпочел вспомнить горы арбузов на Казанском взвозе, разбитую в Пристанном о протез инвалида литруху водки, торговку семечками у Привалова моста. А уж если возникает у него художник, так горемыка-сиделец из Горрекламы, по ночам пьющий для бодрости цифир.

Наш земляк просто – но живо! – вспоминает, что вспомнилось. Без затей. И давай ему Бог.

И не только ему. Как важны эти драгоценные кусочки ушедшего времени. Побольше бы их писали и печатали старые саратовцы.



**Ч**еловеку, в жизни которого были саратовский Глебучев овраг, Средняя Азия и Худфонд (времен СССР), уже практически ничего не страшно. Не испугался и Анатолий Алексеевич нашего музейного задания в 2004 году – написать для путеводителя по «Музейной долине»/Глебоврагу хотя бы страничку воспоминаний о своем детстве.

*И пошло – одну, друзю, третью.*

*Увлекающийся человек!*

*– А на книжку если навспоминать?*

*– А попробуем!*

*Художники, как правило, редко бывают ораторами. Разве что говорюнами. Ни к чему. У них ведь есть свой, особенный язык – цвета, ритма, пластики.*

*Вот и Анатолий Алексеевич Назаров не писатель. А только, как оказалось, записыватель забавных историй – жизнерадостный художник, выбирающий из всех красок жизни яркие. Он не грузит глубокими мыслями, не заставляет переродиться – так просто: подмигивает и предлагает улыбнуться. И складывает с прибаутками свои «щутки юмора» в мозаику жизни.*

*Огромное спасибо сотруднице Дома-музея Павла Кузнецова, Ольге Кострюковой, собравшей и огранившей эти листки воспоминаний и заметок.*

*Бывают такие люди, которые за что ни возьмутся, все у них получается. Так вот, Анатолий Алексеевич из города редких мастеров.*

*Все, за что он ни возьмется, выходит у него на удивление: ладно и складно. Искусствоведы бы сказали что-нибудь наподобие «врожденное чувство ритма, композиционный талант и склонность к декоративности». Так и есть: возьмется план нарисовать – картина получается, станет пенек оглаживать – ваза. А топор варить – борщ! В пору нехватки материалов работал все и из всего – как Пирсма-ни. Чего стоит один только портрет Льва Толстого, сложенный из обрывков журнала «Огонек»!*

*И главное – все умеет. Про таких говорят: руки тем концом вставлены, ну, или, если совсем высокопарно – золотые руки. К этому нужно еще прибавить дикое жизнелюбие, доброту и меткий глаз.*

*Вот и хочется сказать на всю Волгу этому неистребимому пацану и «настоящему индейцу» (завсегда везде ништяк): новых творческих побед, Анатолий Алексеич, сын Глебоврага!*

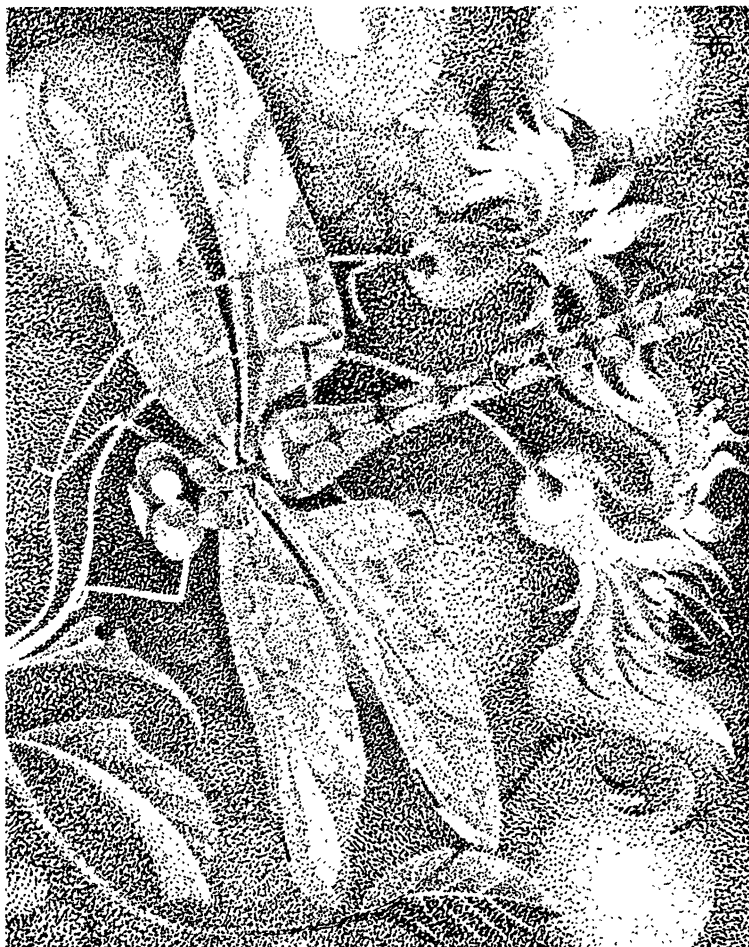


*Лев Толстой. Коллаж из обрывков журнала «Огонек»*

### Ольга КОСТРЮКОВА:

**Н**икто уже сейчас не перепутает цветной телевизор с чернобелым экраном, накрытым цветной тряпкой. И у Привалова моста нет дяди Миши на голубятне, с растопыренной гармошкой.

*Ничего этого нет. И все это есть. Потому что сохранено в маленьких рассказах Анатолия Алексеевича Назарова, в его «литературно-поэтическом музее».*



*Все, что он видит вокруг, — превращает в искусство. «Образ стрекозы волновал меня два года. И вот нашел. Я рисовал ее через увеличительное стекло. Меня завораживал узор прожилок на ее крыльях...»*

*Назаров и живописец, и график, и скульптор, и декоратор. Ахматовское «из какого сора...» угадывается в его работах. Все эти сучки, обрезки виноградной лозы, засохшие цветы из его декоративных композиций должны были попасть в костер садовника...*

*Всю жизнь Анатолий Алексеевич прожил в Глебучевом овраге. Одно из самых непоэтических мест в городе он превратил для себя в художественную мастерскую.*

*Анатолий Алексеевич родился в 1945 году в городе Ивано-Франковске, который в шутку называет Сан-Франциско. В 1957–61 годах учился в Детской художественной школе г. Саратова, затем занимался в студии В. К. Ткаченко при ДК профтехобразования; в народной студии ДК «Техстекло» у А. П. Котова. В качестве художника-оформителя А. А. Назаров работал в производственных мастерских художественного фонда РСФСР Саратова, трудился на ниве бытовой рекламы.*

*Первая персональная выставка Анатолия Алексеевича прошла в Ташкенте; в 1985, 1990, 2003, 2005 годах его выставки проведены были в Саратове, две последние — в Доме-музее Павла Кузнецова.*

По всему оврагу жили голубятники. А у Привалова моста через дом–гармошечники. Славился среди тех и других дядя Миша. Он то голубей поймает, то в гармошку отыграет. Если попадал на его кусочек неба голубь, отбившийся от стаи, то тут же он выпускал своих, и те окружали и кругами, кругами сажали его на крышу. Обычно было так: голубятник сачком накрывал голубя и сажал в клетку для приручения. Через некоторое время с толпой шел хозяин. Тут начинался торг и выкуп. Сумма выкупа по тем временам была довольно значительной, торг шел долгий. Заканчивалось все это попойкой и игрой на гармошке с бубенцами. У дяди Миши была особенность: после поимки голубя, хорошо отметив, его несло на крышу к голубятне. Да не просто, а с гармошкой. Его постоянно можно было увидеть на крыше. Все знали: если дядя Миша на коньке с растопыренной гармошкой—у него какой-нибудь случай вышел или просто праздник.

Когда в овраге гуляли свадьбы, то обязательно ряженные с гармошкой ходили по улицам и пели песни. А уж если в пляс пускались, то, чтобы громче было, подкладывали лист железа или фанеру.

\* \* \*

Как-то решили съездить на грузовой машине в гости к родственникам. Все в кузов набились так, что еле уместились стоя, но пели частушки и приплясывали. Машина была самосвал. Водитель дядя Миша хулиганистый мужик был, все с прибаутками. «Поехали!»—крикнул. Как доехали до косогора у Привалова моста, взял да и вывалил всю компанию в овраг.

Мой миленький идет, вот отрада,  
Не различая ни бутра, ни оврага!

\* \* \*

Дядя Миша жил в доме на самом склоне у Привалова моста, и его дом каждой весной на несколько метров вместе с двором и сараями съезжал наискосок—вниз, в сторону Волги.



Была в овраге большая площадка, которую занимали заготовкой льда на лето. На Волге зимой пилили большими кусками лед, складывали пирамидой и засыпали опилками. Летом его развозили по торговым точкам, торгующим мороженым. В это время дети собирались тучами, чтобы пожить на льду в жаркую погоду, хотя многие имели свой: набивали погреба снегом, делая холодильник. До середины лета этой заготовки хватало. На Казанском и Ленинском взвозах вытаскивали бревна на владимирских тяжеловозах. У Казанского моста была лесопилка. Здоровенные мужики в холщовых рубахах навыпуск, цепляя бревна, под крики тащили их на берег. К этим взвозам привозили на баржах всевозможные продукты, в основном рыбу и арбузы. Собираясь кучками, ребята по якорной цепи с носа залазили на баржу. В это время сторож с багром начинал шугать шпану. А с кормы мальчишки, наваливаясь целой кучей на гору арбузов, сбрасывали их в воду и, вплавь, угоняли к берегу.

В каждом дворе обязательно была какая-нибудь живность. Куры со двора выходили прогуляться под предводительством петуха. По утрам скот выгоняли на выпас на Соколовую гору. А по вечерам овраг окутывал запах парного молока и легкая прохлада.

В это время ходил по улице Горной деревянный трамвай под номером 13, в часы пик вечно облепленный пассажирами. Висели на подножках, на колбасе, на окнах (шуба из людей).

\* \* \*

Нашли ружье в овраге—среди мусора валялось, очистили его от грязи, ржавчины. Надо его использовать как-то. Накупили спичек, серу с них в ствол засыпали. Кто-то раздобыл пороха хорошую пригоршню, тоже в ствол засыпали.

Получилось в аккурат доверху, под завязку значит, еле пыжом закрыли. Вставили в развилку дерева, а нацелили на стойку для голубей, сработанную дядей Мишей-голубятником. Картечи тоже в ружье-то ахнули сполна.

Было предложение дорожку к нему сделать пороховую, а ружье привязать к дереву. Из-за угла дома—подпалить. Старший из нас козырем ходит: эх, вы, мол, слабаки. Прилепился к ружью, поточнее прицел навел, а мы за угол дома все смылись, выглядываем. Деловито нажал на курок. И-и-и как шандарахнет. Дым с копотью со всех сторон окутал латышского стрелка. В итоге ружье разорвало, ствол, как книжка, раскрылся пополам.

От пороха и серы у него все лицо стало в синих точках и грудь угольным синяя, а остальное—рубашка прикрыла. Раскаты выстрела прокатились по всем закоулкам. Куры как по команде взвились хором, кудахтая и разбрасывая безжалостно свои перья, голуби, вытаращив глазенки, метнулись, сшибая друг друга. В этот момент во дворе чеботарил дядя Тимофей. У него и молоток, и тапок вывалился от неожиданного испуга.

Он быстро смикитил, цап молоток и за нами, приговаривая довольно-таки вслух слова всякие-подобные. После этого без разведки долгое время пройти было опасно.

\* \* \*

Жил недалеко от моего дома генерал отставной. Из ума давно уж выжил. Ходил в красных галифе и в руке почти всегда носил орден Боевого Красного Знамени. Наградили его за участие в поимке банды «Черная кошка». Решил я над ним подшутить. Изготовил высокие ходули. Пошил красные галифе, в бока вставил картон, чтобы солиднее каза-

лись. Из двух плащей сгастролил один длинный плащ. Громадную шляпу с пером из куска фетра, из бамбуковой удочки – посох с закругленной ручкой. И двинулся к его дому. Плащ заворачивало от ветра. Сверкали галифе с огромными ушами. Было потрясающее зрелище. Собаки рвали заборы, лаяли взахлеб. Никогда еще так не лаяли. Хозяйки домов выбегали, причитая вслух молитвы с испуганными глазами. Подойдя к забору, уселся на него, он высотой был не меньше двух метров. После этого рейда собаки встречали меня не очень дружелюбно. Да и соседи долгое время не могли забыть. Генерал узнал себя – выбежал из дома с дрыном.

\* \* \*

Как-то батяня собрал семена от веника, да и посадил вдоль заборчика. Ежедневно поливал, пропалывал, ухаживал, а всходов нет и нет. В голову мысль пришла удивить батю. Разобрал веник на кустики и посадил бустылины. Придя с работы, он сразу на СВОЙ огород пошел. Удивлен был – сразу за день выросли, за что и меня «удивил».

\* \* \*

Сидят бабки на лавочке, языки чешут. Выходит соседка: «Чего расселись-то, сейчас цветное телевидение подключать будут». Все врассыпную. Сидят, смотрят. Концерт транслировали, а у всех телевизоры черно-белые. Бабка деду: «По цвету красиво-о. Да, только лиц-то не видно, одни ноги, а остальное цветы». Пришел с работы сын: «Чего вы смотрите-то, хоть с телевизора тряпку снимите!» На ней были вышиты цветы...

\* \* \*

Остановка троллейбуса была около старинного дома с выносным балконом на подпорках. Народ вышел, и все на одну сторону стремились, обходя подпорки. Среди них – мужичишка скорей закуривать, наклонился к спичке на ходу. И со всего размаху в этот столб чугунный. «Бум-мм!» – смачно раздалось. Куда сигареты, куда спички. Он отпрыгнул и срочно принял стойку боксера. Увидев, что сам оплошал, очень обиделся!

\* \* \*

Жил кот Бася. Важно прогуливался по двору в ливень. Любил помокнуть. Пришло время переехать в девятиэтажку. Он, как бы почуяв отъезд, начал метаться, глаза круглыми сделал и гортанным мяуканьем оповещал округу.

Погрузили все вещи в машину, а он пропал. Надо ехать, ждать некогда. Вдруг из кустов с разбега сам в кузов сиганул.

Ознакомившись с новым жильем, ходить по лестнице он быстро перестал и ждал, когда поедут в лифте, и он с народом. Неважно, на какой этаж. Лишь бы доехать.

\* \* \*

Поступил в «Горрекламу» один художник, после крупнейшей сидки в местах не столь отдаленных. Директор был сердобольный, понимающий. Все обсудил, пожалел и взял. Работал хорошо – не отнять, днями и особенно ночами. Чифиру наглотается – ему не спится, трудоспособность повышается. Работал, как говорится, за двоих. Правда, сначала припахивало зонновским почерком. Потихоньку вошел в нужное русло.

Был большой зал, его использовали для проведения собраний или для исполнения крупногабаритных работ. Долгое время он присматривал-

ся к этой комнате. Захватчик был: любил занять всю мастерскую, все коридоры, проходы и еще во двор вылезти. Все же придумал как—родилось. На собрании высказал: «А что если нам сделать из этого зала красный уголок». Вот только зачем, непонятно. Площадей для работы жутко не хватало и без этого.

На следующий день приволок громадный самовар, на вокзалах такие были—стацил, наверно. Поставил квадратный стол с самоваром, стулья рядами. Повесил портрет вождя, смахивающего на узника-страдальца, собственного исполнения. Присел, закурил и подумал: «Свершилось!»

Увидев самовар, сотрудники с ужасом косились на него. Сколько же отдыхать возле него. «Это разгрузочная комната будет»,—процедил сквозь фиксы, достав из кармана четвертную: «Пожалуй начнем, обмем, мужики!»

Обмывка этого самовара шла не менее месяца. Автора этого самовара с трудом уволили—удалили, как больной зуб. После него из мастерской все сожгли, а окна были открыты с неделю. Выветривали дух красного уголка. Но вокруг самовара мужики, как пчелы, крутились, его с каждого заработка пополняли дешевым вином. Может, и продолжалась бы эта суета, но в один день самовар пропал.

\* \* \*

Провожали Любовь Семеновну Климашину на пенсию. Все сотрудники собрались в выставочном зале. Проводы были пышные, с музыкой, выставкой, стихами. Проводили тепло. На следующий день послали несколько человек прибрать все окончательно. Выдали автобус, стали выносить ящики с посудой. В одной из бутылок застрял, распух большущий таракан. Видимо, с вечера засиделся. Вытряхнули его с трудом. Зашевелил усами. Жив! Вскоре пошагал крупными шагами, но не вперед, а с боку на бок, ударяясь то об обочину дороги, то об колесо. Ничуть не продвинулся. Тут его так качнуло, что он боком, боком и головой приложился со всего размаху к бордюру. Опрокинулся навзничь, глазенки обалделые, и сильный запах перегара от него. Видно, крепко погулял.

\* \* \*

Дело было в Пристанном. Осень, тоскливо. Решили собраться в складчину и гонцов послать. Все собрали до копейки, получилось на литруху. Поехали на лодке в соседнее село, там можно было приобрести. Николай Васильевич остался в ожидании, так как у него нога деревянная, тяжело вато скакать по лодке, а к берегу пошел, чтобы первому принять лекарственную. Сгоняли быстро на катере-то. Борюня, как всегда, отличился, еще не пристали к берегу. Берет бутылку и кидает к Николаю, и надо же, угодил прямо ему в ногу, бутылка вдребезги. Вслед за ней бросил вторую. Катер с шорохом залез на песчаный берег. Посудина изменила траекторию и—об камень.

Пришлось Борюньке сбежать на косогор и отсидеться, пока успокоится мужицкий улей.

\* \* \*

Дед попросился, чтобы на рыбалку взяли. К этому времени он уже ослеп почти. Проезжая остров, видим—коров на берег гонят целое стадо, они нарядные, пятнами. Выходит дело, масть такая. Он через свой монокль тщательно разглядывал-разглядывал—и говорит: «Сколько врачей нагнали, весь берег засыпали».

\* \* \*

Поспешно, суетясь, собирался на рыбалку. В потемках плеснул из бочки горючку в мотоцикл. Все готово, собрались и поехали. Мотоцикл загудел, тронулся, поехал. Затем не едет, а выхлоп колбасой по всей деревне лежит, а с земли не поднимается. Второпях-то перепутал, не бензин, а керосин налил.

Своих червей не стали копать—пожалели. За несколько километров заехали на скотный двор. Там их в избытке, да ядреные. Щеки красные, огнем пылают! Рыба теперь сама пойдет.

Ловили на удочку поначалу, а затем решили бредешком протоптаться. Кто взаброд идет, тому стопарик. Май—вода-то ледяная. Лазали-лазали, дед норовит взаброд все больше. Набродился. Сменить место порешили. Поехали напрямую через пашню, мотоцикл из стороны в сторону бросает. Вечерело уже, включили фару. Вдруг на свет заяц поднялся. За ним погнаться захотелось. Тут проснулся дремавший в люльке дед. Увидев зайца, поднялся во весь рост, да как заорет: «Волки!»

\* \* \*

Командировали нас на край области в Перелюбский район. С нами увязался инженер. Разветриться захотел после кабинетной жизни. Мужик хороший попался. По приезде, как увидел казашку, скорее галстук завязывать—это в сорокаградусную жару.

Местные растянули полог под ивой. Приготовили шашлык из баранины. Для них событие все же. Из центра гости приехали. Есть хороший повод. Приехал сельский чабан на коне.

Поутру, ранехонько проснувшись, инженер вышел во двор. Все спали, кто в машине, кто дома. Глядь, а на коровнике корова стоит во весь рост. Жует, поглядывает. Подумал, что-то с головой не в порядке. А как сказать? Все же решился. Разбудив водителя, показал на коровник. Он посмотрел и, скрывая открытый смех, стал хмыкать, ха-ха, еле-еле процедив: «Ко-ро-ва!»

Подумав, что вдвоем сразу с ума не сходят, обратились к хозяину. Тот вышел во двор и расхохотался во всю широкую грудь: «Это у меня окно на зады из коровника. Навоз выкидываю, он там горой. Корова и забралась по нему». Здесь и нас отпустило.

Вдруг переполох, вся деревня пьяная. На работу не выходят. Поиски истока у руководителя увенчались успехом—в магазин завезли лосьон «Огуречный» и одеколон «Русский лес». Бабки и те запели. Село гудело, как улей. Снабженец привез это зелье на весь район, а по лени своей не стал объезжать все поселки и сдал все в один магазин.

\* \* \*

Оса села на горячее стекло, от солнца оно накалилось. Лицо вспотело, она руками его трет. Ногам горячо! Поджимает их, а не улетает. Морда красная сделалась! Вся потеть начала.

Наверное, радикулит лечит.

\* \* \*

Появились на окнах пауки, большие, всякие. Значит, август наступил, у них так заведено, по августу авоськи плести в углах. Ветер дует, где-то и оборвалась тетива. Проверит, попрыгает, укрепит еще раз. Глазенки вытарацит и поглядывает, откуда еще подует. За август так отъедается, что

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  
КСТАТИ ГОВОРЯ.

—  
Почему сверчок трещит ночью?  
Боятся темноты и отпугивает  
неприятеля.

—  
Почему лошадь не поет как  
птица?  
После лошадиного труда не  
до песен.

—  
Соповой в основном поет по  
ночам, что-бы охватить большую  
территорию травлю.

—  
Ворона каркает, а не чирикает,  
что-бы солиднее выглядеть.

—  
У слона большие уши,  
ими он отгоняет мух.

—  
У льва пышный воротник,  
что-бы не застынуть голосовые  
связки.

—  
Зачем у барана теплая шуба,  
потому — что он баран.

—  
рыба громко не кричит,  
в воде все равно не слышно.

—  
У верблюда глаза на выкат,  
выкатишь, так же горбы таскать.

—  
Почему у утки маленькие крылья  
что-бы было больше мяса.



редкий удерживается на своем батуте. Баловать начинает, прыгает, прыгает, да и оттолкнется. Летит, хохочет, а тут земля.

По глупости и ушибиться недолго.

\* \* \*

В праздники, как правило, собирались на работе, временами заставляли пройти по площади с транспарантами. Затем проходила лотерея, танцы, застолье с песнями. Надоело быть на производстве, и решили переместиться к одному из сотрудников. У него был громадный двор, весь в земле. Пришли к нему все нарядные, веселые, и вдруг собака во дворе заметалась. «А-а-а, вот ты здесь!» Изрядно надоела. Хозяин успел схватить за хвост надоедливый неприятеля. Собака с испуга начала извиваться и кусать его. Он разматывал ее по кругу и хотел через забор забросить, тут-то у собаки живот возмутился, ослабел, и она со всего маху-то, как из пушки, да точно в цель – в него возмутившимися отходами. И модный светлый костюм его вмиг превратился в нарядно-карнавальным.

\* \* \*

Изрядно напившись на производстве, Захар не устоял и свалился. Что делать? Порешили уложить в большую двуручную корзину из-под кислоты крендельком. Погрузили «товар» в машину и повезли домой. Затащили на его этаж. Поставили корзину к квартире и позвонили. Сами, конечно, сбежали от ласковых слов жены.

Каково же было удивление, когда она открыла дверь. Никого нет, а тут такой дорогой подарок. С доставкой на дом.

\* \* \*

У входа кузнецовского дома была большая плита, она возвышалась над землей, и с одной стороны решетка. Это устройство служило ливневкой. На нем обустроилась Клавдия-бешеная. Торговала она семечками, семечки были крупные, вкусные. Она не терпела, кто пробует, да еще не покупает. За качество ее продукта уважали и знали ее.

Как-то мужчина, попробовав семечки, повернулся и пошел. Она схватила булыжник и припустила в него. Может, припугнуть хотела таким образом, а получилось, что насмерть. После чего ее забрали органы, и не появлялась год или два. Придя, она стала смиренная, как-то даже стесняться стала за содеянное. Реже торговать стала, и камень скоро опустел и запылился. Она-то за ним ухаживала перед работой, намывала его с мылом до блеска. Ежедневный ритуал был.

Выше Привалова моста торговала другая бабка семечками. Бывало, расправит свой кипенный мешочек, а тут как тут милиционер. Сержантом всю жизнь был. Очень толстый, идет, свой живот с достоинством несет. К бабке подходит и по мешочку сапогом зафутболивает. Она обиженно приговаривает: «Господи, господи». А семечек-то нет. Как-то на праздник 1 Мая она только расправила свой мешочек, а тут вдруг его тень. Бабка выпрямилась с испугу, руки развела в ожидании, да и вылепила ему: «Ну ты, батюшка, сегодня и впрямь генерал да генерал, да и только». Сержантик выпятил свой живот и через погон процедил: «Торгуй, торгуй, бабка!» И пошел прочь. Форма по тем временам у милиции была: белый китель, сзади «птичий хвост», разрез такой и две блестящие пуговицы, а передняя часть – в два ряда пуговицы литые, начищенные до золота, и синие галифе с сапогами. Белая фуражка.

\* \* \*

Студентов из Художественного училища возили на практику в Лысые Горы.

Один из студентов залез на забор, по нему на сарай, разложил папку. Выходит мужик из дома в семейных трусах по колено. Чего это задумал? Да вот, петушка хочу нарисовать. Ну-ка слазь быстро, хватит. Вчера у меня курочку уже срисовали.

\* \* \*

Приходит один сотрудник на работу пьяный. Бригадир ему: «Я же сказал, в таком виде не приходи». — «Шеф, ну пусти, я не пил, только ромовую бабку съел, от нее и забалдел».

\* \* \*

Однажды:

В оперном театре присел рядом здоровенный мужик, кучер в армяке. На фоне театралов очень заметен. Началась увертюра.

Вдруг с захлебом «агр-аарр-гхи», с приговоркой — на весь театр: «Штоб тэбэ раздуло-о».

В зале оглядываются.

Он по новой «агр-ааап-апчи», еще громче прежнего: «Э штоб тэбэ рэзвало».

Зал возмущается. Он в третий раз с ядерной прибауткой.

Здесь зал не выдержал, начали смеяться.

Он продолжал: «Штоб тэба распэрло».

Началась опера, администратор еле успокоила его возмущение.

\* \* \*

В зимнее время катались на самокатках или на коньках, накрученных на валенки. Было очень досадно, когда лопалась веревка от перекрутки. Здесь держись бельевые веревки у соседей. На улице кишило от ребятин в любой мороз. Особенно радостные дни, когда объявляли по радио: занятия отменяются до 5 класса в связи с низкой температурой. Все на улицу кататься. Друг приходил к нам домой, с него штаны снимали и ставили около печки сушиться, так замерзали они. Попив чая, душа теплела, и опять в охапку инструменты катания и на улицу. Домой он не шел из-за того, что загонят и не выпустят гоняться.

\* \* \*

Появились в продаже консервы «Кальмары в собственном соку». Брали их так, попробовать, да и вся затоварка кошмарная. Придумали оригинальную сплетню. В одной из банок находится жемчужина. Консервы срочно пропали.

\* \* \*

Прошло очкастое детство, так называли брюки с заплатами на заду — это было солидно для пацанов, все-таки в брюках, а не в обрубках-шортах на одну помочу. Бегали по улице все босиком, пальцы были посиблены о булыжники. Бывало, посыпешь пыль на сбитый палец — и быстро заживало. Обувь была только на выход в Липки, на набережную или к родственникам. В начале 60-х годов буквально произошел взрыв. Стали одеваться красиво. Друг перед другом, а если импортное — это вообще супер. Обозвал народ всю молодежь стилиягами. В журнале «Крокодил» напичкано было карикатурами на молодежь. Ходили на выгул по проспекту Кирова и на Набереж-

ную. Вся молодежь со всего города съезжалась на гуляние. Просто мотались от угла до угла, показывая свое преимущество в одежде.

\* \* \*

По коридору в художественных мастерских разносился сладкий запах молодой жареной свинины, заполнил все закоулки. Значит, приехал Кузьмич с командировки. Ему председатель колхоза выделял молодого порося. Многие подтягивались к нему. Под ручонку было неплохо.

Озарила мысль: курей подпаивали, а ворон еще нет. Намочив кусочки хлеба, кидали на крышу. Они хлеб отнимали друг у друга. Так и привыкли к «горячей» пище. Если не кидали, они бродили около окна, заглядывали в мастерскую. Приходилось организовывать им это удовольствие.

\* \* \*

Откушав плотно, ворон взъерошил свою одежду. Агрессивный стал, нападает на своих сородичей, скандал поднял. Ходит, крылья распустил, они перестали держаться на его фигуре. Падал то клювом, то лицом на железную крышу. Избился, бедняга, весь до синяков. Все воронье боком, но шарахались от него. Вскоре вся эта свадьба разлетелась. Бродил одиноко по хозяйству. Подошел к краю крыши, оттолкнулся, а крылья не распахнул – и комом вниз.

\* \* \*

В деревне дни проходили в обычном режиме, а чтобы вечером родители отпустили в клуб на фильм, ребятня обязана была полить огород. «Любили» особенно дальний на речке. И вода поближе, да искупаться можно. Полили на полпорции меньше, чтобы быстрее управиться. Но тайком бабушка со своей подружкой-клюкой шивырнет землю под помидорой, а там сухо. Так что за полив «премия».

Вдруг по улице радость прокатилась. Провели воду, поставили колонки, как полагается, ребятне опять забава. Так от нее первое время не отходили, диво все-таки, впервые вода из трубы бежит-журчит.

Как-то сосед с соседкой возвращались домой со свадьбы, они пропустили момент водоснабжения. Его Мария пошла калитку отворять, а мужик-то у плетня, держась за него, тихонько пошатывается, решил по-малому крапиву окропить. В это время у него под ухом колонку включили и разбежались. Долго стоял и вникал в происходящее бормоча. А колонку-то он и не видел. Внимательно оттопырив уши, прислушался, помотал головой, свесив губы, как лошадь, вновь обострил слух. Да как заорет во весь голос: «Маруся-ся-ся-а, истекаю!...»

\* \* \*

Собрались батяня на рыбалку с другом, они постоянно так ходили. Да с собой брали песика, для него была радость превеликая. Только удочку в руки, он, как юла, с визгом и лаем в поход собирается. Пока они суетились, мы незаметно в их рюкзаки по кирпичу определили. Идут, уговариваются, мол, тяжеловато что-то. Вроде и не брали особенно, а тащить не всласть. Так и доперли до моста свой скарб. Обнаружили драгоценную ношу, всякая азбука пошла. Но все же не зря тащили, пригодились они, использовали как таганок.

\* \* \*

В юности ходили на заброшенные кладбища. Охотились за черепами. Желание было чуть ли не у каждого иметь личный, для рисования. Под-

нимаясь в гору, шли несколько человек. Вдруг сверху летит, махая руками, наш товарищ. Хотел без всех в одиночку хапнуть. Пролетел мимо, по-моему, не видя нас. Напуган слишком сильно.

Одолело любопытство. Подошли, где он копал. Валяется лопата, кисть, которой смахивал землю с костей. Вот она, неожиданность. Часть черепа обметена от земли, и смотрит глаз, огромный.

Глаз-то стеклянный, вот он его и развеселил. Бедняга дар речи потерял и вприпрыжку без смазки сиганул.

\* \* \*

В парке им. Горького были танцы. Решили съездить. У каждого района были свои танцплощадки. Понесло кучей в такую даль. Пришельцев обычно местные гоняли. Танцплощадка находилась над озером, сейчас «лебединое озеро». Все шло вроде тихо, но вдруг раскололи прожектор. Сплошная темнота, и понеслась опояска, мочилочка, в общем. Шли щелчки, это вроде в аккурат по глазу. Чтобы нас не задели, мы через забор и цеплялись за окантовочную доску. Налипли, как виноградные грозди. Доска не выдержала, и мы посыпались в болото в наглаженных костюмах и с модными полуботинками. Все вместе, скопом.

Так вроде не страшно.

Поплыли на другой берег, наслаждаясь продуктами болот. Вылазили все в водорослях, стряхивая их с голов. Лягушки-то отскакивали сами, их просить не надо. Так и закончились наши поездки в парк культуры и отдыха, если только ходили на аттракционы да духовой оркестр послушать. Иногда выступали скрипачи. Проводили время более спокойно и культурно.

\* \* \*

Как-то в зимнее время, хорошо отметив поимку голубя, дядю Мишу понесло к голубятне. Это постоянно его можно было видеть на коньке дома. Примяв снег вокруг, он присел, растопырив гармошку, и грянули бубенцы над домами. Все вокруг знали уже, что у него прибыло. Из кармана достал поллитру, стаканом аккуратно накрыл, нехитрый бутерброд—это хлеб с солью да луковка, а если еще сырок плавильный, это уже богатство. Бутылка в кармане нагрелась, он ее в снежок—холодильников-то не было по тем временам. Содержали продукт или в колодце, или в погребе. Пока он заливался игрой, да с частушкой, долго, без остановки, тем временем бутылек его, постепенно оттаяв снег, увлекся по скату крыши. Обнаружив недостачу, он рукой в сугробе швырять начал, не удержался, и нырнул с крыши головой в сугроб. Забавно было. Гармонь висит пополам через конек, из сугроба торчат одни валенки подшитые, и песен не слышать.

\* \* \*

Праздник для ребятишек наступал, когда варили холодец. Приурочивалось это к праздникам, к пасхальным дням. Бабушка очищает мясо, остаются мослы. Ребятишки рядом на лавке, обгладывая их, отбирают козаны для игры. Праздничный день, пожалуй, самый сытый. Ходили по родным и знакомым, славили, получая яйцо крашеное да и какую-то монету. Собирались играть в козаны, в муху, клек, поусечки, лапту. Кто повзрослей—в волейбол, гоняли и в футбол.

\* \* \*

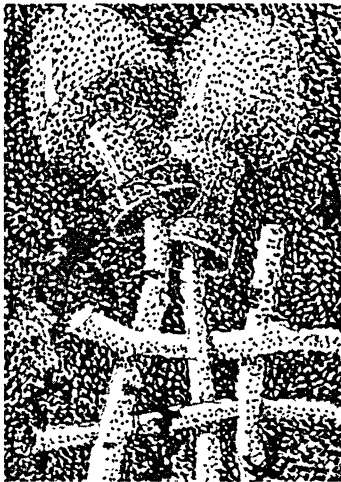
Летнее время пролетало незаметно, моментально. В школу ходили обычно не пользуясь часами, а по зову колокола на церкви. Первый день

всегда нарядный и послушный у школьников, но быстро утрачивал свою силу, и все становилось обыденным. В этот-то момент в ход шли всевозможные изобретения. Как-то сделал из тонкой проволоки маленький тарантасик. Тяговая сила. Прицепил большую муху, а на облучок маленькую, вроде кучера. Выпустил. Громко издавая мелодичные звуки, тарантас летел по всему классу, то ныряя, то взлетая ввысь в «поднебесье». Класс весь со вниманием устремлял взор и уши на «симфонию». Как-то они вошли в пике и с бешеной скоростью упали в чернилку—наверное, ездывая при-томилаась. Тут бы ее заменить, да чернила-то врассыпную, так как чернильницы были открытые и заливались каждый день свежие, их на две смены учебы не хватало.

\* \* \*

На лето отправляли в Базарный Карабулак, подышать сосновым лесом. Походить в лес за грибами. Но размеренный спокойный отдых не проходил так спокойно, душе нужен всплеск—и он организовывался.

Соседка чинно в ряд горшки из-под молока намочит и вывесит их почалиться на солнышко, на плетень. С ребятами раздобыли воздушное ружье. Залезли на сеновал и давай стрелять по ним—кто промахнется, передай другому, а издали не видно, они же не колышутся, и пулька пробивает их насквозь, с одного выстрела—две дырки.



Вся посуда висела в кружевах. Увидев соседку—дай бог ноги по огородам. Успокаивались после этого дня на два. Теперь сосед попал на шутку, пока он спал днем, любил дремнуть. Сперли у него сапоги, а у него был самый большой размер в округе. Отломали пару палок от плетня и направились к легкому роднику, так его называли. Чистейшая вода-слезка. Заключенный в громадное кольцо под колодец. Воткнули палки в него, а сапоги накиннули на них. Вскоре появилась соседка, за водой почапала, мы в кусты. Подошла степенно, ведро в колодец и голову за ним—это делал каждый, посмотреть на красоту свою в воде. А-а-а-а-ох! Гришка утоп-утоп-утоп. Бежит по улице и причитает: «Весь колодец опоганил,

паразит, взял по пьяни и утоп». А Гришка в это время на крыльце потягивается, поглядывая. Услышал соседку: «Что ты, с ума что ли спятила, раскудахталась...»

После такого отдыха меня так радушно провожали домой с села всей улицей, и от каждого сельский подарок. Наверное, подумывая, чтобы больше не приезжал.

\* \* \*

Овраг весь в буграх и ямах. К соседке родственник приехал на грузовой машине. Такой случай упустить нельзя. Срочно нашли провод толстый, прицепили к машине, а тут и рядом на бугре в метрах десяти—пятнадцати нужник стоял. Окутав его концом провода, замаскировав, стали ждать. Водила шустро запрыгнул в машину, ничего не заметив. Завел, и как рванет... Одни щепки от строения. Приехал во второй раз—прице-

пили его машину к забору. Соседушка провожает, в окно выпендрилась, а тут как забор одним махом улетел. У нее физия—хоть портрет пиши. Был забор—и в секунду улетел.

\* \* \*

Приехав на охоту, останавливались изредка у егеря. На этот раз его не было в домике. Распорядились без него. Ожидание изнурительно надоело. На стене висело мелкокалиберное ружье, патроны рядом. В голову кому-то пришлось в петуха стрельнуть. Ну что же, стрельнул, петух в траву—не попал. Передал другому—так и передавали друг другу, а всех-то было семь человек.

Стрельнут—петух в траву. Опять выходит. Стрельнут еще—опять выходит. Вдруг из кустов выходит егерь и кричит: «Вы что мне всех петухов перестреляли!» А они были у него одной масти. Полны руки петухов, щипайте! Охота закончена...

\* \* \*

Как-то ворона нашла кусок черствого хлеба, колотила-колотила—не получилось. Она взяла кусок, отнесла к луже и бросила, затем свободно склевала.

\* \* \*

В детстве любил паровозы, не знаю почему, может от отца, так как он начинал работать помощником машиниста. Ездил через весь город к бабушке, это около парка по ул. Печальной (ныне проезд Серова, дома 8 Марта). В этом месте проходила железная дорога к Волге на мельницу. Когда раздавался грохот, я бежал на косогор и ждал появления. Вот появлялся огромный «самовар», пыхтя жабрами, мотая кулисами. Подавал гудок, пронизывая все закоулки, выпуская клубы дыма. Меня это приводило в восторг. Правда, пока дым не развеется, пахло горелым углем.

Когда дед приезжал отобедать, вся пацанва залезала в его самосвал. Давай крутить все, что в руки попадет. Как-то дернул рычаг, и машина покатила с косогора, пока искал, как затормозить, забор оказался ближе.

\* \* \*

В детстве родители уходили на работу или по делам. Меня оставляли одного. На пол расстилали бумагу и ворох карандашей и уходили, предупредив соседей. Однажды приходят, а меня нет. Все просмотрели, окна закрыты на шпингалеты, дверь на замке. Исчез бесследно, позвали соседку, ее чуть ближний не тяпнул, был здесь, говорит. Ну нет—и все, волос дыбом у всех. Открыли шифоньер, в нем стояла коробка из-под продуктов. Оказывается, залез в нее, закрыв дверку, и уснул в ней.

\* \* \*

Родители, бабушки и дедушки уехали в соседнюю деревню на свадьбу. Ребятишек оставили одних дома. Отужинали при керосиновой лампе, вся небольшая комната погрузилась в полумрак, трепещущий фитилек вздрагивал, потрескивал. За печкой, как бы подыгрывая, надрывался сверчок. Мелюзга притихла, страшновато стало—одни. Кто-то разрядил молчание и начал заливать байки про привидения всевозможные. Оттопырив уши, слушали внимательно, верили.

И тут раздался загадочный стук на чердаке, да все громче да громче. Здесь страх окутал и вовсе. Все сбились в кучу, стараясь залезть в середину. Так провели всю ночь, толком не выспавшись, в ужасном страхе и при постоянном топоте на чердаке.

Приехав из деревни, дед был удивлен: сбившаяся в кучу детвора, от которой редко ему был покой, а тут—притихли. Рассказали о происшествии. Он полез на чердак. Лестница была добротной и удобной, на чердаке вешали веники для бани. Домашняя коза давно заметила, что десерт ее поднимают на чердак, и помногу. Коза залезла на чердак, а мы и впрямь подумали—оборотень.

Люблю я улицы старинные,  
Короткие и длинные,  
Наличников резьба,  
Из бревен сложена изба.  
Рядом ивушка цветет,  
На свидание кого-то ждет,  
Кошка сидит в окне,  
Приветливо подмигивает мне.

Над Волгой песенка льется,  
Рыбка плещет и бьется.  
Вдруг заиграет гармонь,  
Все это в прошлом, ни трамь.

\*\*\*

История начала 60-х: строился мост через Волгу, начинали набережную, жизнь в овраге не предвещала ничего плохого. Как-то раз обычная неспешная летняя погода постепенно перешла в проливной дождь на несколько дней. Речка после дождя всегда пухла. У Казанского моста была лесопилка, ее большая часть стояла на сваях. Вода поднялась, не успевая пройти под каменным мостом, размывла сваи, и вся городьба со штабелями напиленных досок, бревен и прочих отходов рухнула и забила выход к Волге. Вода стремительно поднималась, затопля жилища. По оврагу шла трескотня и крики людей. Вылезая из своих домов, они забирались на крышу и держались за трубы. Вода дошла до Привалова моста. Из воды торчали крыши, трубы, и толпы людей, где повыше. Сплошь плавали куры, корыта и доски, и все, что могло плавать. Перемещались на корытах и плотках. Через некоторое время прибыли трактора растаскивать мусор, им

на помощь прислали танк. Бревно за бревном растащили, вода стала уходить. После потопа весь овраг был затянут илом, досками, бревнами. Люди бродили по закоулкам, собирая, что уцелело. Разводили костры и, как цыгане, кучами сидели около них. Сушили тряпье. Пыхтели самовары. Перелопачивали событие. Овраг был покрыт мглой от дыма и сырости.

Постепенно отсушились, поправили заборы, жизнь вошла в свое русло. Прошло некоторое время, и после плотного ливня рухнул Привалов мост. Ливневка с каузом проходила мимо нынешнего дома-музея Павла Кузнецова. Напротив парадного входа стоял большой треугольный камень водозабора. Он не справлялся. Вода шла такая, что на Приваловом мосту воды было по пояс. Она размывала подпорные стенки кауза, и, рухнув, они перекрыли проход. От ул. Октябрьской до ул. Радищева овраг притопило.

После такого потрясения срочно начали сотворять коллектор, забивая бревенчатые сваи, отводили русло в сторону, по сваям бетонировали основу коллектора. Закрывали речку и все подходящие к ней ручейки. Местные лягушки учуяли недоброе и, как по команде, пошли в гору, шли днем и ночью, на 1 м<sup>2</sup> до 60 штук.

После этих потопов начали строить новые переходы взамен мостов, грязелечебницу. «Узенький мост» перестроили в транспортный. Речку заточили в коллектор, частично засыпали. Часть пострадавших людей выселили. На глазах стал терять свой уклад Овраг. Таяли люди, растворяясь в городе и теряясь в каменном мешке. Спешно заточили природу в бетон, не сделав ни одного дренажа. Дома, оставшиеся в Овраге, тонут в болоте, в подвалах вода почти полвека.





ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**Ефим  
Водонос**

**«Гроза  
МОМЕНТАЛЬНАЯ  
НАВЕК»:  
О ТВОРЧЕСТВЕ ЕВГЕНИЯ ЕГОРОВА**



*Евгений Егоров*



Слева направо: Борис Леймик, Евгений Егоров и Валентин Юстицкий

**Т**ворческое наследие многих художников, выступивших в самом начале 1920-х годов, по большей части утрачено в силу обстоятельств эпохи, а сохранившиеся произведения зачастую рассеяны по различным собраниям и почти не изучены. И не всегда они принадлежат тому, что было наиболее значительным и ценным в творчестве их авторов. Незафиксированные прижизненной критикой, не воспроизведенные на страницах специальных изданий, они как бы выпали из исторического бытия. Нередко то же самое можно сказать и об очень талантливых мастерах, активно работавших в эти десятилетия. Вышедшая в 2004 году в Москве книга Ольги Ройтенберг, посвященная малоизученным русским художникам 1920–1930-х годов, получила свое название от горестного восклицания одного из них: «Неужели кто-то вспомнил, что мы были...»

Творчество Евгения Егорова, умершего от туберкулеза в 1942 году и полузабытого в ближайшие десятилетия, получило новую жизнь на рубеже 1960–1970-х годов, в пору плодотворного пересмотра наследия искусства первых послереволюционных десятилетий. Не зря говорят о глубокой подспудной преемственности этих эпох, хотя взаимоотношения между ними были гораздо сложнее, чем принято думать: далеко не все в забытом наследии 1920-х воспринималось его воскрешающими вполне адекватно: очень многое излишне романтизировалось, а потому упрощалось. Таким уж осталось оно в культурной памяти, сохранившей, прежде всего, светлые стороны ушедших годов. А потому так трудно воссоздать во всей полноте и жизненной достоверности саму живую атмосферу той поры.

Искусство – надежный исторический источник для осмысления непосредственного восприятия эпохи ее деятелями. Если, конечно, мы научились понимать его специфический язык, ту самую «эмоцию формы», в которой отражалось переживание момента. Образная ткань картины говорит с нами поверх различных стилистических тенденций, деклараций различных группировок, постановлений и установок крепнущей тоталитарной власти. И Евгений Егоров, который был зорким и честным наблюдателем жизни, какие-то существенные стороны ее, безусловно, отразил.

Евгений Васильевич Егоров родился в 1901 году в Саратове. В его школьные годы семья на лет несколько уезжала в Смоленск, а затем вернулась в родной город. В 1919 году он был мобилизован в Красную армию. В 1920-м направлен на учебу в Саратовский художественно-практический институт. Его учителями стали замечательные педагоги Валентин Михайлович Юстицкий и Петр Саввич Уткин. Роль каждого из них в человеческом и творческом становлении молодого художника трудно переоценить. Но стилистически их влияние было, скорее, взаимoisключающим, и можно только удивляться тому, как восприимчивый ученик сумел самобытно преломить творческое воздействие каждого из них.

Евгений Егоров принадлежал к художественному поколению, которое активно самоутверждалось в момент наметившегося отката авангардной волны, раскрепостившей творческое сознание этой генерации живописцев и графиков. Буйный порыв новаторов конца 1910-х годов, когда азартно отрицались основы традиционного художественного восприятия, тогда уже явно тормозился: сказывалось то, что именуют «усталостью группового воодушевления», а также общественная невостребованность смелых технических экспериментов живописцев левого фронта. Все это усугубилось изменившимся отношением к ним новой власти, к 1922-му году явственно обозначившей в своей художественной политике решительный поворот вправо.

Евгения Егорова отличали врожденный вкус и готовность к восприятию новых эстетических идей и веяний. Впервые он участвовал на «Выставке картин современных живописцев» (в помощь голодающим) в мае 1922 года. И, судя по названию несохранившихся работ (две композиции «Конструкция»), явно произведениями авангардистского плана. Но вскоре оставил этот путь. Егоров чуждался «головных» выдумок, нарочитого формального экспериментирования, технического изобретательства и сторонние влияния органично претворял в собственный свой образный язык. А потому он оставался (при всех стилистических переключках) художником самобытным, по-своему отразившим мироощущение сложной и трагической эпохи.

В апреле 1923 года художник выступил на «Выставке картин Саратовской школы живописи». Под школой понималось не особое стили-

## ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ.

Выставка  
живописи



Саратов  
МСМХХІІІ.



Предисловие  
к  
ВЫСТАВКЕ.

Евгений Егоров настоящий  
впервые впервые выступает  
на пути самостоятельной ху-  
дожественной деятельности.  
Материал, здесь собранный яв-  
ляет один из первых этапов,  
проработанный им как само-  
стоятельным художником, вы-  
разившим в нем усталость эпохи.  
Художник идет от чисто фор-  
мальности искусства, к форме пи-  
щевой живописи, которую  
мы видим это в контексте  
живописной композиции  
своих работ.

Было бы напрасно пытаться  
определить художника по от-  
дельным его вещам, так как  
главная задача, над которой  
работает и которая задана  
уже в начале в ансамбле

вое направление: речь шла о произведениях учеников и совсем недавних выпускников Саратовского художественно-промышленного института. В ее каталоге обозначено пять его жанровых полотен и портрет хранителя Радищевского музея Д. В. Прокопьева. Некоторые из них известны по любительским снимкам, другие только по описаниям современников. И уже в этих работах очевидно влияние стилистики немецкого экспрессионизма, которое затронуло тогда довольно широкий круг отечественных мастеров.

Дмитрий Прокопьев был, вероятнее всего, инициатором персональных экспозиций В. М. Юстицкого и совсем еще юного Е. В. Егорова в том же 1923 году. Он написал предисловия к их каталогам. Конечно, к Егорову он был несколько строже, чем к его старшему товарищу и наставнику. И все же прокопьевский текст свидетельствовал о чуткости к особенностям дарования совсем еще молодого мастера и осознании его творческих перспектив.

Персональный дебют Егорова был замечен и местной прессой. Снисходительно-назидательный отзыв о выставке художника принадлежал маститому журналисту Николаю Михайловичу Архангельскому, выступавшему в качестве рецензента чаще всего под псевдонимом Марко Брун. Ни особенности егоровского дарования, ни его масштаб критиком не были угаданы. Он явно недооценивал большой потенциал молодого художника, не почувствовал его удивительно раннюю творческую зрелость.

Огромное дарование и подлинная страсть к искусству рано выделили Евгения Егорова среди сверстников. Его персональная выставка запомнилась молодым художникам тех лет даже больше, нежели экспозиция его учителя Валентина Юстицкого. Вероятно, она в большей мере соответствовала меняющемуся направлению живописных исканий. У Егорова поворот к изобразительности был ощутимее и органичнее, чем у более привязанного к авангардным исканиям Юстицкого. Заметнее было и предпочтение мотивов гротескно-экспрессивных, хотя и появившихся, вероятно, не без влияния более опытного мастера, во всяком случае, синхронно с ним. Возможно, что так врезалась в память выставка и потому, что это было



Слева направо: Евгений Егоров, дядя Егорова и Валентин Юстицкий

самостоятельное и неожиданно яркое выступление их товарища и соученика, а не педагога и уже известного художника.

«Мне особенно памятна она как первая персональная выставка молодого художника, — вспоминал живописец Хаим Гольд. — Запомнились с этой выставки следующие работы: во-первых, «Негр». Это был образ негра, размышляющего над простой арифметической задачей, написанной на черной доске фона портрета. Работа эта была довольно живописной и искренней, затем среди множества других выделялся городской пейзаж (г. Саратова) с чайной — «Чайная Курчавова». Кажется, на этой выставке была небольшая однофигурная композиция «Бреющийся». Она — единственная работа, носившая печать поисков в области конструктивизма (следы влияния левых течений)».

Родные и близкие, а также коллеги и ученики художника вспоминали о тонком юморе, острой наблюдательности, об особом артистизме, отличавшем Евгения Егорова и в искусстве, и в повседневной жизни. Он охотно и часто музицировал, участвовал в различных театрализованных постановках, выступал на диспутах, увлекался цирком, кукольными представлениями, был замечательным рассказчиком, нередко импровизируя в кругу друзей, постоянно рисовал шаржи, карикатуры, типажные наброски.

Е. В. Егоров выступил как самостоятельный художник в пору нэпа. Эйфория эпохи военного коммунизма, перенасыщенной разного рода экспериментами в жизни социальной и в искусстве, сменилась нелегким отрезвлением. Революция перевернула вековой уклад. Нэп отчасти вернулся к нему, но как бы в окарикатуренном виде. Многие из того, к чему в прошлом привыкли и попросту не замечали, после первых лет революции стало по-особому зримым, воспринималось с болезненной обостренностью.

«Мы разливом второго потопа перемоем миров города», — прокламировал в «незабываемом восемнадцатом» Владимир Маяковский. Вскоре стали очевиднее результаты этой вселенской «помывки». Потоп схлынул, оставив густо заилненное пространство. Провинциальный же быт первых годов нэпа был поистине фантазмагоричен.

Это время казалось вынужденным откатом революционной волны. Лихорадочно-уторопленный темп ломки извечного уклада жизни сменился вдруг попятным движением. В сутолоке куда более сытых, но не слишком-то радостных будней менялась и сама творческая установка. На героические и трагические впечатления революционных лет постепенно наслоились совсем иные, располагающие скорее к горечи и скепсису. Стали очевиднее судьбы людей, раздавленных новой жизнью, и тех, кто лихорадочно приспособливался ко всем ее поворотам.

Взбаламученное российское море постепенно успокаивалось, и за кипением страстей проступали устойчивые ценности бытия: мир природы, простые и извечные человеческие заботы и радости. Это и стало поэтической темой многих работ художника. В других же произведениях он с гротесковой верностью воссоздавал «накипь» возрождающейся жизни, далеко не самые светлые стороны тогдашнего быта. Евгений Егоров оказался достаточно чутким и зорким, чтобы увидеть своеобразную его колоритность. Есть у него среди картин этого времени и такие, где переживание пресловутого «угара нэпа» смягчено чуть ироническим любованием. Таков программный портрет его молодой жены, тоже художницы, Музы Александровны Егоровой (Троицкой).

«Портрет — всегда двойной образ: образ художника и образ модели», — утверждал великий скульптор Антуан Бурдель. Но иногда это и образ

эпохи. В портрете жены живописец видел свою задачу не столько в выявлении психологической сущности модели, сколько в поиске характерного в самом времени — того, что стало знаковой его приметой. В образе вполне достоверном, с точно найденным сходством, нет ощущения отдельного мгновения, быстротечного мига жизни. Есть неторопливое «пробывание» в устойчивой длительности ее течения. Есть жизненная достоверность и типологическая характерность.

Такой была внутренняя установка творчества Егорова той поры. И не его одного. Достаточно с его изображением Музы

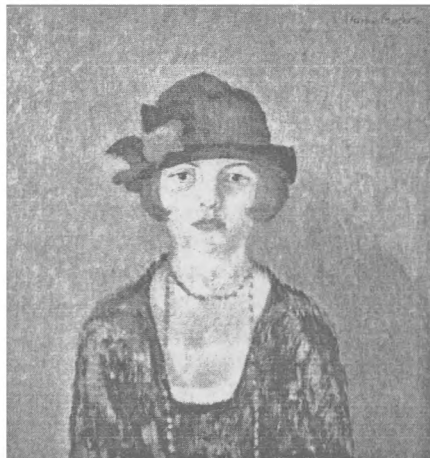
Александровны сопоставить написанные в те же годы портреты собственных жен кисти Валентина Юстицкого или Алексея Сапожникова, чтобы убедиться в этом: общность выражения во всех «женах» сразу бросается в глаза, как и залет легкой шаржированности с оттенком любования, интонация едва заметного подтрунивания. Но егоровский портрет как бы формульнее: ощущение конкретной эпохи выражено молодым живописцем четче и нагляднее, нежели в портретах его старших и более опытных товарищей. Его образная сущность значительнее.

Наиболее убедительным достижением молодого мастера середины 1920-х годов стала его картина «Уборка поля», где прозаически-бытовой мотив воспринимается бытийным. Мгновение заряжено бесконечной длительностью, будто отодвинуто в пространстве и времени. Как это у Пастернака: «гроза моментальная навек». Так и здесь, сохраняя живое ощущение внезапно увиденного, художник «оплотняет» его впечатлением временной протяженности образа, навсегда остановленного его кистью.

Кадр дан не крупным планом, а общим, как будто увиденным в перевернутый бинокль, пространственно удаленным, сочетая отчетливую конкретность мотива с неохватностью степного простора. Так придается «Уборке поля» некий сверхбытовой смысл, особая значимость. Этому способствует и цвето-световое решение: не натурное внешнее освещение, а цветовое излучение самой живописной поверхности, сияние пространства, полного внутреннего света.

Здесь художник сумел соединить реальную пейзажную изобразительность «вида» с музыкально-лирическим его истолкованием. В основе ее цветовая метафора: мягко диссонирующие густеющая синева неба и солнечный золотисто-желтый или розовеющий тон земли. Такова поволжская «вселенная» Егорова, в которой слышатся отзвуки кузнецовской степной сюиты, уткинских пантеистических пейзажей, а может, и более отдаленные веяния, впитанные настолько глубоко и прочно, что стали органической частью его образной системы. Это помогло ему превратить вполне заурядный мотив в некое таинство жизни.

И собственно волжские его пейзажи тех лет, «заземленные», казалось бы, куда большей ландшафтной конкретностью, дают не только топографическое представление о берегах могучей реки. В них есть затягивающая



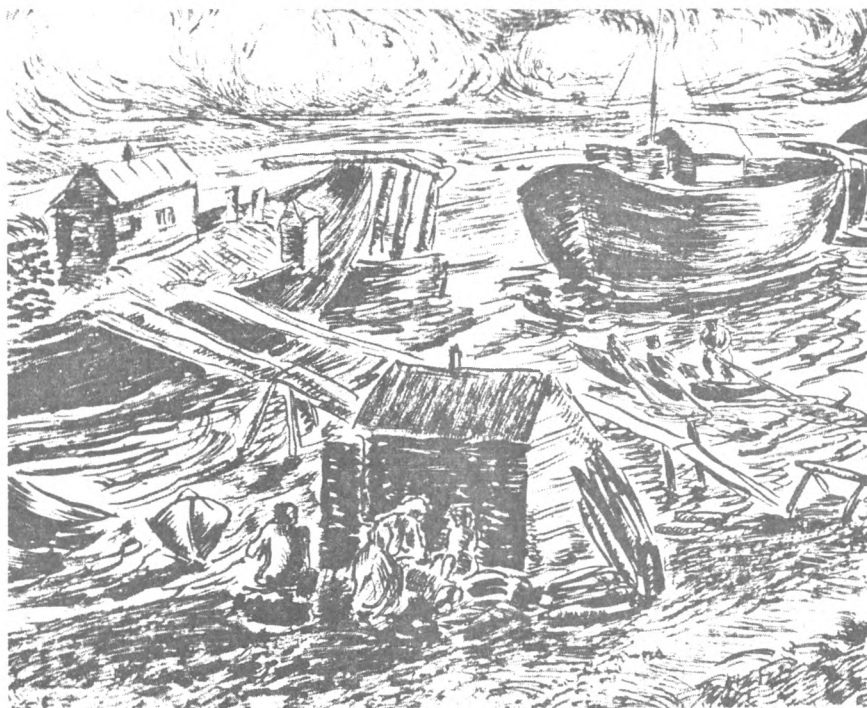
*Портрет М. А. Егоровой (Троицкой).  
Холст, масло. 1926 год*

в себя пространственность, веющая беспредельным покоем. Они как бы раздвигают границы непосредственно видимого, дают ощущение бесконечного. Именно эта неохватная пространственность становится темой живописного повествования в этих его невыдуманных пейзажах. Отгалкиваясь от живых впечатлений, он никогда не ограничивался ими. Это продуманный образ пейзажного мотива, а не буквальный снимок с него. Здесь не столько изобразительно-информативный подход, сколько лирико-философский.

Художник всегда стремился дать точный образный эквивалент мотива. Самоутверждающаяся мощь выветрившихся холмистых берегов в его «Столбичах» уравновешена мягкой живописной лепкой форм, плавной ритмикой общего строя, тонкой сгармонированностью колорита.

Целостное восприятие распахнутого простора ощутимо во многих его ровских рисунках и акварелях, представляющих интереснейшую часть его художественного наследия. Иногда в них только разведка мотива для будущей картины, но чаще—это самостоятельная сфера творчества. Нередко эти пейзажи увидены как бы с высоты птичьего полета, позволяющего запечатлеть обобщенную картину волжской природы в ее первоизданности. Егоров-рисовальщик стремительно набрасывал захватившие его черты конкретного пейзажа, обобщая и синтезируя их, выявляя свое обостренное чувство пространства, воссоздавая в большей мере «душу мотива», а не детали и подробности.

Немногими штрихами обозначал он рельеф земли, пластику холмов, очертания деревьев, построек. Все крепко построено и ритмически организовано. Фигурки людей и животных, стилизованные под детский рисунок, придают ощущение особой свежести, наивной удивленности видения мира. Совершенно иначе воспринимаются более поздние рисунки панорамы только что возведенного саратовского авиационного завода, наглядно



«У старой пристани». Саратов. Автолитография. Начало 20-х годов



«Мотыжка поля». Автолитография.  
1920–1925 гг.

предметов и фигур, — листы, воссоздающие трагедийные или трагикомические черты непознанной реальности.

Эмоциональный напор явно подчиняет себе в них образ увиденного, трансформируя его в соответствии с переживаниями художника. Верно замечено, что «гротеск — не стиль, но мироощущение», проявление своего восприятия алогизма действительности. И в характере восприятия жизни, и в художественной концепции этого цикла рисунков и литографий, а также некоторых живописных работ Егорова сильнее ощутимо воздействие немецкого экспрессионизма с его программным антиэстетизмом и гротесковой выразительностью персонажей. Но влияние это проявляется в существенно претворенном виде.

Ощущение тревожной напряженности в автолитографии «У старой пристани»: штормящая Волга, мощно обобщенная тракторка баркаса, прибрежных построек, суесящихся у мостков фигурок, гребцов в лодке. Явное преобладание черного над белым усиливает экспрессивную заостренность пейзажного образа.

Другой лист из этой серии «Мотыжка поля» экспрессией трактовки фигур и фона напоминает манеру Винсента Ван Гога, одного из самых любимых художников Евгения Егорова. В русле той же традиции и с хорошим знанием графики Ф. Бренгвина, К. Кольвиц исполнен и лист «Грузчики». Нарочитая огрубленность пластически очень выразительных фигур волжских грузчиков, которые, пригибаясь от физического напряжения, несут по мосткам на паровозе груженные бочки, угаданная передача их мерного пружинящего движения придают образу жизненную достоверность и характерность. Острая наблюдательность художника,

передающие размах и масштабность грандиозной стройки. В них больше внимания уделено четкой фиксации деталей и подробностей, они с протокольной точностью запечатлевали поступательный ход ведущихся работ.

Особое место в творчестве мастера занимают его сюжетные акварели, гуаши, рисунки тушью и литографии начала и середины 1920-х годов с характерной для них гротескной остротой характеристик, повышенной экспрессией рисунка, заметной деформирующей пластику



«Точильщик ножей». Автолитография.  
20-е годы





«В парикмахерской». Автолитография. 1924 год

как «Точильщик», «В парикмахерской», «Шарманщик». У этих людей нет шансов подняться над жалкой повседневностью, на которую их обрекли социальные катаклизмы эпохи.

Егоровские «душевные бедняки», если воспользоваться терминологией Андрея Платонова, вовсе не объект бичующей сатиры: в его листах нет обличения и дидактики, а лишь горьковатый юмор, иногда сарказм. А гротескный рисунок «Маленький человек в большом городе» с комически-нелепой фигурой центрального персонажа, шаржированными характеристиками остальных вырастает до размеров своеобразного символа обывательского существования той поры. Это свидетельство смятенной растерянности многих некогда вполне благополучных людей «из раньшего времени» перед реалиями новой эпохи. Художник показывает в этой уличной сценке изнанку нэповского быта, и, при всей очевидной ироничности его взгляда, он не может скрыть подлинного драматизма происходящего.

Натиск обывательской стихии — тема целого ряда егоровских рисунков тушью середины 1920-х годов: «Чайная Федя Курчавова» (есть и живописный вариант), «В мясной лавке», «Картежники», «Драка

чутко уловившего изнуряющую тяжесть такого труда, не лишает эти исполненные драматизма листы своеобразной героизации преодоления. Отсюда ощущение подлинной монументальности, явственно проявившееся в них. Егоров часто повторял фразу Ван Гога: «Пусть это будет неправдой, которая правдивее, чем буквальная правда».

Чутко-восприимчивый к осмыслению реальности, остро ощущавший уродство социального уклада, дисгармонию обыденного существования, он с гротесковой заостренностью воссоздает облики городских обывателей — пасынков новой жизни, поглощенных будничными заботами и невзгодами в таких типажно-жанровых литографиях,



«Шарманщик» (Уличные артисты). Автолитография. Начало 20-х годов



«Маленький человек в большом городе». Бумага, чернила, тушь. 20-е годы

в трактире» и акварелей «У ортопедической мастерской», «Сватовство», «В ЗАГСе». Художник обыгрывает такие фарсовые сюжеты в откровенно комедийном ключе. Ирония пронизывает всю структуру этих листов. Острой образных характеристик, смелостью пластической деформации, экспрессией самой манеры исполнения выделяются в этом ряду егоровские «Гробовщики», видимо, эскиз несохранившейся картины.

Гротескны и живописные типажные портреты «Пенсионер» и «Старушка» — образы пораженцев жизни, отягощенные бедами неприютной старости, выпавшие из родственной среды, печально сосредоточенные на собственных переживаниях. Образный подтекст этих работ роднит их с портретными решениями Хаима Сутина, живописью которого на рубеже 1920–1930-х годов, по свидетельству художника В. А. Милашевско-го, очень увлекался учитель и друг Евгения Егорова Валентин Юстицкий. Егорову близко сутинское стремление к внешней утрированности облика модели ради более глубокого выявления неизбывного драматизма душевной жизни. Он тоже пытался сделать их убедительными эмоционально, а не просто схожими с оригиналом.

Гротеск некоторых других полотен Егорова отнюдь не трагичен. Картина «В саратовской пивной (Венецианская капелла)», с ее несколько театрализованной сюжетикой, воссоздает быт скорее забавно-нелепый, чем страшный. В самом ее построении подчеркнутая инсценированность — мотив, отдаленно перекликающийся со знаменитым «Ночным кафе» Ван Гога. А содержательный смысл тут совершенно иной, лишенный вангоговского драматизма. Гротеск здесь лукаво-иронический с оттенком язвительного сарказма, но не более того.

Новейшее французское искусство саратовские художники той поры знали хорошо: сезанновское понимание цвета, строящего на плоскости объем, ощутимо в картине «Чайная Феда Курчавова» – тоже из круга нэповских полотен. Знакомство с напряженной красочностью полотен фовистов – в егоровских гуашах этой поры («Клоун с гармошкой», «В праздничный день»). Изысканной «французистостью» колорита отличаются натюрморты мастера: «Убитые вальдшнепы» – охотничьи его трофеи.

Очень интересен у Егорова довольно обширный цикл карандашных и перовых рисунков, акварелей, литографий и монотипий 1927 года, связанных с его летней поездкой на Кавказ. Чаще всего это пейзажи и пейзажно-жанровые композиции, посвященные Батуми и окрестностям этого города. Художник был очарован красотой грузинской природы, колоритностью бытового уклада, своеобразием жизни батумского порта, городских улиц и парков.

Некоторые рисунки возникли из набросков, сделанных им в движущемся поезде, прямо из окна вагона. Такова «Река Кура», где, следуя за пластическим ритмом самого мотива, он мастерски передал широкий охват разворачивающегося пространства, ощущение его динамики и воздушности.



«Гробовщик». Бумага, тушь



«В мясной лавке». Автолитография. 1924 год. (Коллекция Я. Е. Рубинштейна, Москва)

Поездка на Кавказ оказалась необычайно плодотворной.

Уже в 1928 году у художника обнаружили туберкулез. В 1933 году вынужден был оставить Саратовский художественный техникум, где был одним из ведущих преподавателей. А вскоре с женой и маленькой дочерью переехал сначала в Димитров, а затем в Москву. В крохотной комнатке Дома художников на Верхней Масловке, которая служила и жильем для семьи, и мастерской, он продолжал, несмотря на тяжелую болезнь, упорно работать: рисовал и писал улицы Москвы и пейзажи Подмосковья, портреты, натюрморты, шлюзы канала «Москва-Волга». Но постепенно темп его работы тормозился.

Это были самые трагические годы в его жизни: идеализирующий натурализм, настойчиво утверждавшийся в советском искусстве уже с начала 1930-х годов, имеющий официальную поддержку, всячески поощряемый и упорно насаждаемый, ему был органически чужд. Его искусство оказывалось не ко времени и не ко двору. Чудовищные условия жизни и прогрессирующая болезнь усугубляли ситуацию.

В своих пейзажах 1930-х годов, сохраняя живое ощущение тонко пережитых натуральных мотивов, работал мягкими градациями цвета. Их высветленная зеленоватая и голубовато-серебристая гамма напоминает живопись коренных мастеров саратовской школы. Даже написанные вдали от саратовской природы, они лежат в русле местной живописной традиции: ее закваска оказалась для Егорова-пейзажиста определяющей. Но появляется в них меланхолическая отрешенность и какое-то безотчетно-тревожное чувство, вызванные, очевидно, обострением болезни художника, предчувствием скорой смерти. В октябре 1941 года, когда Москва стала прифронтовым городом, семья художника была эвакуирована в родной Саратов. Сам он был к этому времени уже в безнадежном состоянии. И в феврале 1942-го Евгений Егоров скончался.

Сейчас кажется странным неизбежное полузабвение столь талантливого живописца и графика, невольно оставшегося в силу трагически осложнившейся судьбы во втором эшелоне отечественного искусства. Его творческий потенциал обещал большее, но жизнь распорядилась по-своему.

Уже в 1920-е годы Е. В. Егоров был активным участником не только саратовских экспозиций, но и самых престижных московских и ленинградских выставок. Его полотна и графические листы, хотя и бегло, но с неизменной симпатией упоминала как саратовская, так и столичная критика. Многие его произведения были утрачены в годы войны, но сохранившиеся оказались в различных музеях и частных коллекциях. В 1970–2000-е годы прошли небольшие персональные выставки работ Евгения Егорова, появились краткие публикации, посвященные именно его творчеству. И все же настоящее исследование художественного наследия Евгения Егорова, думается, еще впереди. Осмысление реального вклада таких художников в отечественное искусство помогает понять действительную направленность и характер художественного процесса эпохи, судить о которых только по творчеству самых выдающихся мастеров было бы слишком опрощено.



«Типажные наброски». Тушь, перо, кисть.  
Начало 20-х годов

ВЫСТАВКИ, СОБЫТИЯ

# ТЕНИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

...В Нижегородском государственном выставочном комплексе проходит выставка, приуроченная к очередному празднованию Дня города. Выставка «Старый Нижний. Тени культурного наследия»...

...Можно бесконечно говорить о важности сохранения культурного наследия, но одни слова не разрешат этой сложной проблемы, необходимы действия....



*Улица Ильинская. Фото С. Яворского*

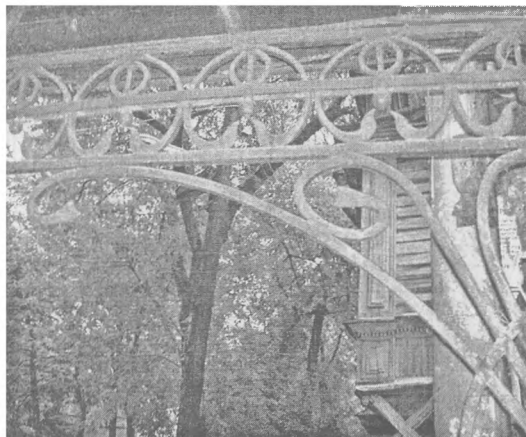
**А**х, что за прелесть эти старые русские города! «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» — уже не ссылка, а маршрут проведения долгожданного отпуска. Что влечет потоки туристов перемещаться по просторам Родины, какие впечатления желанны? Осмелюсь предположить, что типовая застройка, начиная от «хрущевок — брежневок» и заканчивая столь же безликим современным массовым строительством, в туристические маршруты не включена.

Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Казань, да мало ли их еще? Нанизанные ожерельем на великую Волгу, они возникли века тому назад, плотно прилегают к ландшафту, воевали, торговали, в веке XX разрослись, и каждый имеет население под миллион и больше. Судьбы вроде похожие, но у каждого лицо свое, с национальными особенностями и местными чертами — не перепутаешь. С ними, как с яркими человеческими личностями, интересно общаться. Старый город с глубокой исторической традицией вбирает в себя веками мудрость и опыт поколений: от размещения улиц на рельефе местности и до планировки домов, все подчинялось укладу жизни с его естественным стремлением к экономичности, экологичности, комфорту в использовании окружающего пространства. Ну, и репрезентативность тоже не последнюю роль играла: если уж строиться, то не хуже соседа.

В общем, как-то все очень правильно складывалось, соразмерно человеку, который за века ни ходить, ни дышать по-другому не начал, все так же стремится к покою, уюту, гармонии, хотя бы в жилом своем пространстве, раз уж на работе индустриализации не избежать. Вот улицы-то старых городов с чередой одно-, двухэтажных строений, с элементами архитектурного декора — своеобразной лепной да резной вязью фронтонов и наличников — несут усталой душе современного городского труженика умиротворение и полноценный релакс.

Сохранившаяся городская застройка, в основном середины XIX — начала XX в.в., официально названа культурным наследием, для туризма — местными достопримечательностями, а в реальном времени она создает неповторимую, колоритную среду обитания, ценную уже самим своим существованием.

Но в настоящее время ценная архитектурная городская среда находится под реальной угрозой быстрого, безжалостного и безвозвратного уничтожения. XX век рушил



*Фото Д. Ковригина*



*Почтовый съезд. Фото Д. Малышева*

храмы, новый век яростно ополчился на гражданскую архитектуру, объявил старую городскую застройку «ветхим фондом» и давай крушить все подряд.

Можно кивать на безжалостное время, но без ухода, без бережного обращения, без ежедневного человеческого внимания и дворец быстренько зарастет паутиной. «Усадьба купчихи такой-то», «доходный дом купца такого-то», как значится в архивных документах, давно изменили статус и принадлежность, а коммунальное прошлое и настоящее ни дома, ни людей не красит. И теперь бывает так трудно разглядеть в этих постройках, уныло покосившихся, печально обветшалых, покорно доживающих свой век, черты архитектуры, стиля, приметы истории. Нужно обладать особым чувством, и, возможно, в большей степени, знанием, чтобы радеть за их сохранение и восстановление.

Улицы старого Нижнего Новгорода совсем недавно еще были полным и добротным собранием самых разнообразных типов городских домов – особняки и городские усадьбы, доходные дома и лавки, представляющие древние аристократические роды, купеческие гильдии и ремесленные цеха. С немислимой скоростью под натиском современного строительства сейчас теряет город свои подлинные сокровища. И первыми попадают под нож бульдозера дома деревянные, их не спасают уже ни имя архитектора, ни мемориальные доски, ни резное убранство.

Как и каждый город в России, Нижний празднует свой День: второе воскресенье сентября отмечается фейерверками, ночными гуляньями и концертами заезжих звезд на площадях. А в Нижегородском государственном выставочном комплексе проходит выставка, приуроченная к очередному празднованию Дня города. Выставка «Старый Нижний. Тени культурного наследия» – негромкое, но проникновенное выражение чувств гордости и уважения к предкам-землякам, создававшим неповторимую индивидуальную среду обитания. Пятнадцать деревянных домов старого Нижнего Новгорода: фотографии, рисунки фасадов и деталей отделки, архивные

сведения, воспоминания жильцов – вот содержание представленных экспонатов.

Нынешняя экспозиция во всех отношениях необычна и уникальна. Показанный материал представляет собой результаты учебной этнологической практики студентов специальности «Культурология» Гуманитарно-художественного института Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета за несколько лет.

Казалось бы, что же в этом необычного? А дело в том, что этнологическая практика студентов-культурологов посвящена изучению и сбору материала об исчезающем облике нашего города – его старинных домах и улочках, людях и событиях. «Уходящий навсегда Нижний» – так можно было бы назвать эту выставку, ведь многих из этих домов уже нет и в помине, не говоря уже о людях. Характерная черта нашего города, сообщающая ему неповторимость и уникальность: именно они, доходные и мещанские домики, особняки дворян и именитого купечества, сейчас находятся на грани уничтожения и забвения. Индустриальный век наступает на них, стирая самобытность и поэзию исторического облика Нижнего Новгорода.

Конечно, можно бесконечно говорить о важности сохранения куль-



*Дом А. А. Ключковой. 1837 год, архитектор Г. И. Кизеветтер*



*Дом А. А. Ключковой. Воссоздание на Щелковском хуторе*



*Дом А. А. Ключковой. Пожар апрель 2007 год*



турного наследия, но одни слова не разрешат этой сложной проблемы, необходимы действия.

Кафедра культурологии ННГАСУ разработала программу этнологической практики для студентов, выполняя которую, ребята фотографируют и зарисовывают дома, знакомятся с их обитателями, собирают и записывают легенды и предания, обращаются к архивным записям, в которых можно найти упоминания практически обо всех изменениях, произошедших с домом. Эти материалы сейчас совершенно бесценны, потому что еще немного – и от старого Нижнего не останется и следа, а следующие поколения никогда не увидят наследия предков. Помимо сбора информации, в работе, которую делают студенты, присутствует значимая нравственная и воспитательная составляющая: они распознают в расхожем коммунальном понятии «ветхий фонд» подлинную материальную сущность культурного наследия, начинают осознавать необходимость его сохранения и заботливого к нему отношения. На открытии выставки ректор ННГАСУ профессор Е. В. Копосов предложил издать материалы, собранные студентами, и продолжить практику подобных выставок.

У организаторов такой своеобразной этнологической практики и устроителей выставки теплится надежда на то, что, в юности прикоснувшись к истории домов и улиц родного города, будущие специалисты составят тот костяк общества, который научится использовать культурное наследие по его прямому назначению и будет противостоять его безжалостному уничтожению.

Кстати, у одного из домов, представленных на выставке, судьба сложилась необычно. Это дом купчихи А. А. Клочковой, построенный в 1837 году по проекту первого нижегородского «городового архитектора» Г. И. Кизеветтера. Одноэтажный с мезонином деревянный дом в стиле провинциального классицизма эффектно оформлял угол двух центральных улиц Нижнего. На карте города на прежнем месте его уже нет, здесь теперь строительная площадка. Дом был разобран и перенесен на территорию Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья «Щелоковский хутор» (отдела Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника).

На новом месте идет процесс воссоздания старого дома, и надо отметить, что, если бы не два пожара, которые он пережил по прежнему адресу, к старым бревнам почти ничего не надо было бы добавлять. Насколько целесообразен перенос домов из исторического центра города на территорию музея, покажет время. В 1960-е гг. благодаря музеям деревянного зодчества удалось спасти из зон затопления водохранилищ бесценные памятники архитектуры. Но вопроса их полноценного сохранения по разным причинам решить все же не удалось.

Как несказанно жаль, что центр старинного купеческого Нижнего Новгорода превращается в универсально-безликий «сити». Без присутствия в жизни современного развивающегося города свидетельств его далекой и славной истории невозможно говорить о воспитании в обществе ни гражданственности, ни патриотизма.

**Ирина МАРШЕВА,**  
искусствовед  
**Юрий ФИЛИППОВ,**  
доктор педагогических наук

# «Crazy-House» и другие... (в анамнезе)

*Выставка Милы Гор  
открылась в клинике  
Святой Софии  
(Саратов)*



**К**аждое выставочное помещение, или, как сейчас принято говорить, площадка, во многом определяет характер выставки. Один и тот же мастер в музейном зале смотрится совсем иначе, чем в коммерческой галерее. Саратов – город «музейный», и тон в выставочном деле, конечно, задает Радищевский музей. Причем в пределах музея тоже по-разному могут выставки проходить. Основное здание предполагает более «классический» подход, а, к примеру, филиал его, Дом-музей Павла Кузнецова, прославился актуальной подачей материала. Престижно среди художников выставлять и в галерее музея Федина. А вот Выставочный зал Союза художников как-то оказался несколько на обочине художественного процесса. Посетителей мало, отзывы в прессе редки. Гораздо динамичнее смотрятся «Феникс» и «Эстетика», в рыночной стихии стремящиеся культурное лицо не потерять.

Кроме этих, привычных и известных площадок, есть еще несколько мест в городе, где художник может себя показать и коллег посмотреть. Время от времени в областном Доме работников искусств (бывший Дом ученых), помимо выставок самостоятельных художников, показывают профессионалов. Иногда в зале художественного училища и в Энгельском краеведческом музее можно интересную выставку увидеть. Впрочем, сейчас, даже если под открытым небом выставку устроишь, никто тебя бульдозером давить не будет. Хотя то, что у нас под открытым небом показывают, к искусству отношения не имеет (за исключением музейных проектов (Дом-музей Павла Кузнецова), но они, в основном, проходят на музейной охраняемой территории). Выставки на частных квартирах, в конце советского периода практиковавшиеся (например, живописи В. А. Солянова, организатор Ю. Проскураков), естественным образом исчезли.

Зато, с развитием капитализма, живопись пришла в банки и офисы, несмотря на неприспособленность помещений и ограниченный доступ публики.

Оказалось, что оборудовать под выставки холлы и коридоры не так уж и сложно, достаточно лишь смонтировать под потолком нехитрую конструкцию из реек для крепления работ и место для афиши найти. Конечно, освещение часто оставляет желать лучшего, тесновато – не отойти, некоторые работы требуют большого расстояния, но эти помещения и не претендуют на конкуренцию с выставочными залами, цели и задачи устроителей скромнее – обычно их формулируют как желание просто украсить пустые стены, создать среду, атмосферу.

Художников же привлекает не только надежда найти мецената, ведь и в административных, учебных, медицинских учреждениях проходят выставки, практически везде, куда позовут и где могут обеспечить сохранность живописи-графики. Можно даже сказать, что выставки в не предназначенных для этой цели помещениях имеют длинную историю: с конца девятнадцатого века художники осваивали редакции журналов и торговые павильоны, в шестидесятые годы века двадцатого – научные институты (вынужденно), а если глубже копнуть – многие музеи с «простого украшения стен» начинались.

Понятно, что молодым и непризнанным художникам эти площадки нужны для обретения первого опыта, иной раз это единственная возможность заявить о себе, а признанные мастера приходят с другими целями.

Формат не музейных (и не коммерчески ориентированных – галерейных) выставок предполагает большую степень свободы, независимость от куратора, ведь известно, что «поэт в России больше, чем поэт, меньше, чем литературовед» (Герман Лукомников). Можно творить все, что заблагорассудится – в пределах разумного, конечно, особо эпатажные акции

в этом формате теряют смысл; открывается широкое поле для эксперимента с экспозицией, появляется возможность проверить, например, как смотрится на стене та или иная работа. Правда, есть в этом и недостаток: кто-то от куратора страдает, а кому-то он необходим, в музее-галерее опытные сотрудники экспозицию сделают, с прессой свяжутся, выставку на блюдецке с голубой каемочкой зрителю подадут, а здесь все на свой страх и риск. И тут качество выставки от отношения автора к экспозиции целиком зависит, умением выстроить гармонию из разрозненного, разновременного материала не каждый известный мастер-живописец может похвастаться. Да и не всем под силу взять на себя развешивание произведений, хотя на этом этапе устроители обычно активно помогают, а то и целиком на себя работу берут.



*Дисковод крючковидный. 2007 год*

Продолжительность выставок обычно большая, несколько месяцев. И возможность самому автору определять сроки работы выставки, степень открытости – иной раз, к примеру, хочется сделать что-то для узкого круга друзей – добавляют обаяния этому формату.

К сожалению, нечасто таким неформальным площадкам удастся стать культурными центрами общегородского значения. И дело здесь не в уровне выставляемых работ, устроители обычно быстро начинают разбираться, кого из художников приглашать, кого нет, проблема скорее в ограниченности местных художественных «ресурсов», иногородних мастеров приглашать сложно, а вся деятельность строится, как правило, на энтузиазме и личных связях устроителей. А как только большая часть именитых художников свои произведения покажет, возникает опасность снижения уровня выста-

вок, да и энтузиазм ослабевает. Или новое руководство приходит, и команду «все убрать» дает. Или офис переезжает. В общем, только привыкнешь к залу, как выставки прекращаются. Это не упрек, спасибо энтузиастам-устроителям, что такой формат существует (да еще и на достойном, как правило, уровне), ведь на общественных началах что-либо делать сейчас не принято, тем более дело выставочное – хлопотное и неприбыльное.

Но исчезают одни площадки, возникают новые. Весной этого года в центре Саратова, на перекрестке улиц Ульяновской и Вольской открылся Лечебно-консультационный центр клиники Святой Софии. И сразу же стены маленького медицинского учреждения были отданы живописи. Клиника Святой Софии психиатрическая, а у саратовских психиатров давние связи с миром искусства. Не то чтобы саратовские художники чаще прочих пациентами оказываются, объединяет общность «материала» – и художник, и врач работают с эмоциями, занимаются, хоть и по-разному, душой человеческой. Психиатр

А. Л. Гамбург славился своим интересом к искусству, а врач Н.А. Григорьев, по утверждению художника Вячеслава Лопатина, является автором художественной идеи «формулы цвета» (1965 год), в дальнейшем разработанной В. Чудиным, осмысленной и популяризированной В. Лопатиным (Саратовское озеро. Мифопоэтический атлас./Саратов–Н. Новгород, 2007; с. 104).



Мессага (послание). 2007 год

Помещение небольшое; но все же в коридоре, холле-регистратуре и кабинетах размещается 40–50 работ среднего размера (при однорядном развешивании). Крупноформатные произведения – в регистратуре и кабинетах, размером поменьше – в коридоре, к сожалению, освещаемом лишь искусственным светом.

Особенность этой площадки – замечательный зритель. И сотрудники центра, профессиональным качеством которых является душевная чуткость, и пациенты, приходящие сюда в поисках душевного комфорта, воспринимают искусство гораздо острее, чем в других местах.

Первая выставка проработала с мая по сентябрь, а 29 сентября открылась вторая, на этот раз декоративно (а точнее, альтернативно) – прикладная. Мила Гор (псевдоним Людмилы Горожаниной) работает в технике «квилт». Техника эта – аппликация из ткани, прямое потомство лоскутных одеял – редко используется профессиональными художниками. Людмила Горожанина, художник-керамист по образованию, постмодернист по духу, давно переменяла муфельную печь на швейную машину. Выставки ее мягких в прямом и довольно-таки жестких в переносном смысле, ироничных и умных работ всегда напоминают феерию, карнавал; открытие выставки – большая игра со зрителями.

Над входом на выставку предупреждение: «Осторожно, территория альтернативного искусства, вход по медицинским показаниям». Конечно, невозможно не обыграть специфику учреждения, и посетителям выставки «доктор Пилулькин» (сама Мила Гор) выдает, предварительно оглядев «пациента», измерив: вес – безменом за шиворот, и рост – у дверного косяка, «амбулаторный котопропуск» с диагнозом «котомания» и рекомендацией принимать касторку. В приглашении



Собачка точка ру. 2003 год

на выставку «Крейзи-кот и другие... (в анамнезе)» требуется иметь с собой справку от врача и из налоговой, место действия обозначено как «Crazy-House», на вешалке висит знак «Эпидемия латентной шизофрении» (цветной картон, ПВХ-пленка), вдоль стен указатели «Вам не туда», «Туда Макар телят не гонял»...

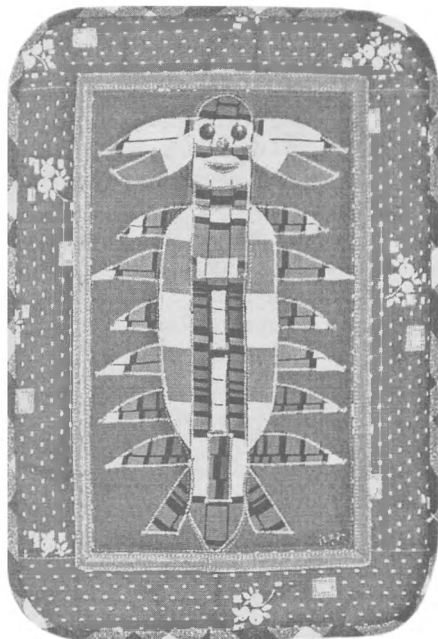
Шоу, развлечение, но за внешним шутовством скрываются глубина и трагизм. Работы Горожаниной называть декоративно-прикладными не вполне точно и даже некорректно. Яркие цвета, жизнерадостность, милые «кошки в полете» и волшебные рыбы, и вдруг жутковатый «Хытымаэль паралаксовый», тревожная «Мессага» (послание) и грустный Емеля – E-mail. Сочетание доброты и жесткости, смех сквозь слезы. Новой компьютеризованной реальности Мила Гор уже посвящала выставку, сейчас продолжение темы. В подборе работ есть некое противопоставление виртуального и реального миров, трагикомичная раздвоенность современного массового сознания как нельзя лучше отражается и фиксируется Горожаниной. И очень уместно смотрится в стенах лечебного учреждения.

А это уже более серьезные задачи, чем просто украшение стен, и может быть, если энтузиазм организаторов (врач Марина Гнатенко) не иссякнет на протяжении нескольких ближайших лет, на карте культурного пространства Саратова появится еще один значок. А словосочетание «выставка в психушке» перестанет эпатировать зрителя. Кстати, «Crazy-House» – прекрасное название для выставочной площадки.

А. Н-й



*Хансмер. 2006 год*



*Бипер (встроенный динамик в ПК). 2007 год*



**Людвиг Ахим  
фон Арним**

# Рафаэль и его соседки

*Повесть*

**Н**abent sua fata libelli<sup>1</sup> – удивительно и непросто сложилась в России судьба книг Людвига Ахима фон Арнима. Крупнейший представитель гейдельбергского романтизма, автор сборников новелл, повестей, романов, стихов и драм, в отечественной традиции он известен прежде всего как соавтор сборника народных песен «Волшебный рог мальчика» (1806–1808). И тому есть причины: из огромного творческого наследия Арнима (относительно полное собрание сочинений на немецком составляет 22 тома) на русский язык до сих пор переведено и издано всего три произведения: в 1935 – «Изабелла Египетская, первая любовь императора Карла V» (перевод М. Петровского, «Немецкая романтическая повесть»), в 1979 – «Одержимый инвалид в форте Ратоно» (перевод И. Татариновой, «Избранная проза немецких романтиков») и в 1996 – «Майорат» (перевод В. Темнова, журнал «Волга»). Не переведено – следовательно, не существует...

Гейдельбергский романтизм долгое время оценивался критикой как «переходный», «промежуточный», «второстепенный»; но гейдельбергская школа представляет собой важный и самостоятельный этап в развитии немецкой литературы – этап, без которого сложно представить романтизм поздний, без которого не было бы того Гофмана, которого мы знаем и любим.

Феномен взаимодействия Арнима и русской литературной традиции в том, что этот автор, долгое время остававшийся незаслуженно недооцененным и попросту забытым в отечественном культурном пространстве, оказал значительное влияние на литературное развитие через своих последователей как в немецкой литературе (сравнить хотя бы «Песочного человека» и «Изабеллу»), так и во французской литературной традиции (Бретон, Арагон), а также благодаря немецким экспрессионистам (Гуго фон Гофмансталь), неоромантикам (Рикарда Хух) и постмодерну 20 века. Арним не нашел понимания в 19 веке, но в конце 20 – начале 21 века, после Кафки – после Майринка – через постмодернизм, он становится узнаваемым – и почти понятным. Людвиг Ахим фон Арним в начале 21 века, – это знакомый незнакомец.

Этика и эстетика гейдельбергского романтизма, его болезненная преданность народному, немецкому, национальному и настороженная недоверчивость ко всему заграничному, разочарование в идеях и идеалах раннего романтизма, трансформация представления об искусстве, осознание нарастающей власти материи и материального и глубинный страх перед ней – мироощущение поздних романтиков неизбежно вело к переосмыслению образа художника – творца. Вершиной такого переосмысления и стала повесть зрелого Арнима «Рафаэль и его соседки» – одно из самых загадочных и противоречивых произведений автора.

<sup>1</sup> И книги имеют свою судьбу

Повесть «Рафаэль и его соседки» написана в 1822 году, опубликована в 1824 году в издательстве Амадея Вендта. В немецкой литературе к этому времени сложился интереснейший дискурс, объединяющий традиции романа-воспитания и романа о художнике – воспитание романтического художника (яркие примеры – «Генрих фон Офтердинген» Новалиса, «Франц Штернвальд» Тика). Эту парадигму переосмысляет и пародирует Арним.

Писатель обращается к образу Рафаэля, столь значимому в немецком романтизме (вспомним Рафаэля Вакенродера). Но образ художника у Арнима значительно отличается от канонического. Это уже не тот вдохновенный, гармоничный Künstler – истинное дитя Возрождения, это позднеромантический герой, это художник во плоти, материальное и духовное начала в котором находятся в мучительном противоречии.

Само строение повести воспроизводит схему романа-воспитания. В первой части – «К Психее Рафаэля» мы видим художника в юности, вторая часть «К мадоннам Рафаэля» рассказывает о годах учения, в третьей части «К Преображению Рафаэля» описывается зрелый Рафаэль. Но рассказ о художнике передается Бавиере – слуге-ученику Рафаэля, филлистеру от искусства, который после смерти Рафаэля зарабатывает себе на жизнь продажей гравюр. Поэтому в повести четко изображается бытовой план – Рафаэля окружают соседи и соседки, повседневные заботы и радости, художник погружен в быт, и сам Бавиера – бытовой двойник Рафаэля.

Ключевая для романтизма тема двойников чрезвычайно важна для Арнима. Удвоение фигур противопоставлено классическому роману воспитания, который показывает развитие личности, индивидуальности. Развенчивая миф о «неподражаемости», избранности, уникальности художника, Арним создает «дурную бесконечность двойников» – Бенедетта, Бебе, ученики успешно подражают Рафаэлю. Наиболее интересен образ Бебе – обезьяны, которая рисует картины под гипнотическим руководством Рафаэля. Обезьяна, которая оказывается немецким художником – это тот же Рафаэль, персонификация технического, ремесленного начала в нем. Арним прямо называет Бебе «автоматом», этот образ воплощает животные инстинкты и автоматизм, который пронизывает буржуазное общество и подчиняет себе человеческое тело. Этот образ – предвестник зверей и автоматов Гофмана.

Духовное и телесное начала воплощены в двух женщинах – соседках Рафаэля. Рафаэль должен выбирать между небесной Бенедеттой и земной Гитой, но судьбой он связан с обеими на протяжении всей своей жизни. Именно из связи с земной Гитой Рафаэль черпает свое «небесное» вдохновение и, что важнее – жизненные силы. Поэтому поставленный перед выбором: духовная Бенедетта или земная Гита, он этот выбор сделать не может и погибает.

Принципиальная невозможность существования искусства без, вне, против чувственного начала, о которой говорит Арним, – новый взгляд на искусство, противопоставленный взглядам раннеромантическим. Духовный образ должен обрести плоть, чтобы стать живым, чтобы стать подлинным и вечным. Путь Рафаэля – это путь художника между двумя крайностями: бесплотным искусством – таковы безжизненные картины Бенедетты, и техническим ремеслом, лишенным духовности, – картины обезьяны-Бебе. Рафаэль – позднеромантический герой, он ищет эту гармонию – но не находит и расплачивается за это жизнью.

«Рафаэль» Арнима – программная работа, выразившая искания и разочарования позднего романтизма и оказавшая огромное влияние на последующую литературную традицию (назовем, например, «Житейские воззрения кота Мурра» и «Мадам Скюдери» Гофмана, «Портрет Дориана Грея» Уайльда, «Портрет» Гоголя, «Шагреневая кожа» и «Неведомый шедевр» Бальзака).

Журнал «Волга» с десятилетним перерывом продолжает знакомить своих читателей с творчеством гейдельбергского романтика; с публикацией «Рафаэля» по-русски становятся доступны главные новеллистические произведения Арнима, которого нам еще предстоит открывать...

Марина КУЛИЧИХИНА



## Письма к С. Р.

**В**ы были изумлены, милостивый государь, когда я предложил Вам вырезанные Маркантонио, мною напечатанные гравюры с эскизов Рафаэля—как серьезность и сокровенная, божественная сущность этих работ может сочетаться с легкомысленным образом жизни их автора. Это дало мне повод опровергнуть многие порочащие его измышления, которые в глазах тех, кто был далек от него, укутывают мрачной адской мглой чистый свет его духа, исполненного любовью. Я был близок ему до конца, близок, как никто другой из его окружения—и могу сказать, что не было другой такой невинной души в этом испорченном мире. Вы взяли с меня обещание исправить Ваше мнение о нем посредством верного рассказа обо всем, что осталось в моей памяти после многолетнего общения с ним и его домочадцами. Это повествование, написанное мною не без боли и умиления, кладу я сейчас к Вашим ногам с желанием, чтобы оно могло примирить Ваше доброе сердце с человеком, которого Вы осуждали из-за своих высоких нравственных принципов.

Искусство живописи поглощает человека полностью, но развивает в нем лишь некоторые качества в ущерб прочим. Человек искусства должен ограничивать себя, чтобы сосредоточиться на своей работе, но, завершив ее, он ощущает непонятную тоску и, не найдя ей объяснения, пытается заглушить ее чувственным наслаждением. Человеку искусства необходимо обширное представление о чувственном, чтобы различать в нем сверхчувственное, схватывать и отображать его; но эта чувственная жажда становится для него опаснейшей противницей, если он подчиняет ей всю душу без остатка. Есть только два пути, чтобы обрести покой, которого требует его работа: или всецело довериться высшему покровительству посредством самоотречения и постоянной внутренней борьбы—путь, который выбирают более зрелые художники, в основном принимающие церковный сан,—или использовать каждую мимолетную возможность, которую предоставляет мир, что, по крайней мере, время от времени дарит покой, хоть и служит причиной все возрастающих тревог. На этот путь нашего Рафаэля привел образ мыслей наших современников; если бы он следовал своим собственным убеждениям, наверняка избрал бы тот первый. Никогда не сворачивал он на путь своих учеников и подражателей, которые, охваченные вожделием, стремились низринуть небо и воображали, что смогут всякими пустяками заполнить образовавшуюся пустоту—ту бездну, которую ничто земное заполнить не может—ни искусство, ни наука со всем их хвастовством. Рафаэль касался земли, не принадлежа ей, его поцелуй был прощанием ангела, который покидает землю ранним утром, стряхивая капли росы, и возносится вверх, к вечным звездам.

В глубине души я страдаю из-за того, что могу записать для вас так мало из полноты воспоминаний, которые покрывают стенки моей души, как имена пилигримов одного дома в Лоретто. Но эти стены, эти священные скрижали памяти разрушены смертью Рафаэля, как землетрясением, к тому же в моем земном доме я оглушен шумом печатных станков, и это мешает моим воспоминаниям и записям. Ведь сам Рафаэль забыл свою небесную соседку ради земной подруги—об этом вы узнаете из моего рассказа.

В то же время я выполняю Ваш приказ: разъяснить возникновение и значение некоторых работ Рафаэля, причем, будучи торговцем эстампами, я должен просить Вас поторопиться с доставлением Ваших заказов, поскольку первые гравюры с этих картин становятся все более редкими, коллекционеры берегут их как зеницу ока и не часто перепродают. Ведь каждый был бы рад сохранить хоть что-то от Рафаэля, но самое лучшее от него я храню в своем сердце и не продам ни за какую цену.

Вы хвалили мне Маркантонио, когда я принес Вам эти гравюры. Нет, моему Рафаэлю должны Вы возносить хвалу за эти едва распустившиеся почки, из которых мысли ангела, как листья новой весны, появляются на свет. История Психеи и Амура лежит перед Вами как загадка, которую каждому раз в жизни приходится решать. В этих работах нет бесполезной декоративности, ибо Рафаэль сам делал наброски на пластинах, и каждый штрих передает гениальность его замысла. Твердая рука Маркантонио лишь повторяла контуры гравировальным резцом, а моя сильная рука печатала все на одном из новых улучшенных прессов; большей награды, чем этот пресс, мы не получили. Рафаэль мог так хорошо растолковать любой вопрос, что он без труда приобщил бы каждого второго к этому делу — научил же он нас. А я под его руководством мог бы стать усердным художником, таким, как Джулио Романо и Франко Пенни — его ученики и помощники во многих работах. Он ведь частенько говорил мне, что только я мог выслушать его и дать дельный совет. Но единственное, к чему я стремился, — стать его верным слугой и наперсником. И правда, никто не был так близок к нему, благодаря ему и я приобщился к искусству: сам я не рисовал, но зато старался оградить его от всех забот, которые могли бы помешать в работе. А сколько всяких нарушителей спокойствия я не допустил к нему, сколько любовных писем скрыл, как, притворившись пьяным, выставил из дома одного кардинала, интересующегося искусством, и потом покорно выслушивал его брань, когда он подал на меня жалобу. Я делал его образ жизни таким легким и радостным, как желало его сердце, намучился, прикрывая все его интрижки, писал сонеты, соперничая со сладострастным Аретино, плел венки из цветов на праздники, раскрашивал надписи, устраивал фейерверки, разбивал фонтаны, представлял живые картины с участием разного сброда, моих недостойных родственников — с тех пор как носил платье с плеча Рафаэля. У нас не было ревности друг к другу, и мы часто разделяли одну и ту же радость. Я всегда откликался на его зов и приучил свой слух распознавать его голос в шуме прессов. Его слава была для меня неизмеримо дороже денег, вырученных от продажи эстампов и великодушно оставленных мне Рафаэлем. Но чтобы не изображать все в перекрестной штриховке, хочу начать, как и следует, с самого начала, и рассказать, как я познакомился с Рафаэлем и стал человеком, после того как долгое время был двуногим животным.

Это было весной 1508 года от Рождества Господа нашего и за двенадцать лет до безвременной кончины нашего Рафаэля. Он, появившись, словно комета на небе художников, вышел на улицу из Камеры делла Сеньятура в Ватикане, где должен был украсить потолок символическими фигурами, и в беспечности осматривался везде, потому что не явилась модель, с которой он хотел нарисовать образ поэзии. Верно, и у меня есть своя звезда, поскольку в это время я как раз стоял там и просил милостыни, одетый в такие лохмотья, которые скорее подчеркивали, чем скрывали мою наготу: не будь на мне этого тряпья, загорелая кожа сама по себе вполне могла бы сойти за хорошо сидящее платье. Я, кстати, был неплохо упитан и жил лучше, чем некоторые прилежные рабочие; мои родители с юности снаряжали меня так, чтобы мое статное тело тоже играло свою роль в возбуждении сострадания в людях. И в этот особенный день казалось, что облик, дарованный мне небом, оказал большее воздействие, нежели молитва, которую я набожно бормотал.

Рафаэль внимательно посмотрел на меня и, вместо того чтобы полезть в карман за деньгами, схватил мою голову, стал поворачивать меня на все стороны, как куклу, сорвал лохмотья, висевшие на мне, и воскликнул: «Клянусь всеми святыми, лучшей модели у меня еще не было!» Без лишних церемоний он привел меня к себе в студию, поставил меня в позу и нарисовал с меня образ, который выглядел совсем иначе, чем я, и к тому же был женским. Все это показалось бы мне колдовством, не будь я с молодых ногтей остроумным мальчишкой; сыграло роль и хорошее вино «Слезы Христовы», которого он мне налил, и в результате все показалось мне в должной мере христианским и естественным. И описать вам не могу, как понравился мне этот человек в первый же час. На столе являлись деньги, он же не обращал на это внимания; я мог бы украсить их, но не сделал этого вопреки моему тогдашнему обыкновению. Он не нуждался во внешнем лоске и наигранной рассеянности, но глаза его словно вбирали весь свет мира, и Рафаэль излучал вели-

кое спокойствие, наслаждаясь своей вечностью. И когда он захотел отправить меня прочь, наградив тяжелой монетой, я упал ему в ноги, обнял его колени и поклялся, что хочу исполнять для него самую черную работу без вознаграждения и никакая сила не может заставить меня разлучиться с ним. Он хотел оттолкнуть меня, но я крепко обнял его ноги. Тогда он поразмыслил и произнес: «Интересно, надолго ли хватит твоего желания служить мне? Ты, пожалуй, мог бы мне пригодиться: мои рабочие покидают меня иногда, чтобы предаваться собственным удовольствиям; тогда ты должен будешь растирать краски, мыть кисти, бегать за заказами и часами позировать мне в самых неудобных позах». Я поклялся ему, что все это мне покажется легким, после того как много лет я занимался тяжелым ремеслом улично-го попрошайки, что вовсе не соответствовало моему прирожденному стремлению к славе и успеху, а на этом пути я оправдаю большие надежды, которые возлагал на меня кузен-духовник. Он прилежно, то уговорами, то подзатыльниками, учил и—в конце концов—научил меня грамоте. «Если ты хорошо пишешь,—сказал Рафаэль,—то ты умеешь больше, чем я, и можешь пригодиться мне в общении с высокопоставленными особами и добропорядочными женщинами». Вот так я поступил к нему в услужение, пусть без жалования, но я брал все, что мне нужно, ел вместе с ним, когда он был один, и прислуживал, когда у него были гости, чинил его одежду и носил ее, напоминал его должникам, что пора платить, и выпроваживал его поклонников. Вскоре я уже хозяйничал в его доме; и Рафаэль увидел, что напрасно раньше доверял экономке, так как теперь деньги долго не кончались, а пиры, которые он устраивал на своей вилле для учеников—апостолов от искусства, стали гораздо пышнее. Все хвалили меня и нуждались во мне, чтобы передать через меня свои заветные желания и просьбы: мне он редко в чем отказывал. А в любовных делах я полностью подчинил его своей власти. Каждое утро я придумывал за него какие-нибудь комплименты, сочинял стихи и потом имел удовольствие видеть, как хорошенькие барышни целовали записки «от Рафаэля», которые писал я, копируя его почерк. Когда накапливалось чересчур много писем или он был слишком занят мыслями о работе, мне приходилось посещать всякие собрания вместо него, что прибавило мне почта в обществе и укоров от отца-исповедника. Но все это приятнее и интереснее переживать, чем рассказывать; я хотел упомянуть об этом, раз уж речь зашла о медных гравюрах, ведь в тех случаях, когда я играл его роль, он называл меня своим Амуром и предостерегал от светильника Психеи, который легко мог подпалить мне шкуру. Но настоящим Амуром был сам Рафаэль—он поведал мне об этом, когда рисовал историю Психеи на граверных досках.

«Сегодня я изображаю мою собственную историю,—сказал он,—и при этом у меня нестерпимо шемит сердце. Что может Слава без Святой Церкви, которая продлевает нашу жизнь; чем сильнее бьет фонтан искусства в нашем мире, тем быстрее иссякают его источники, и скоро один из них пересохнет—искусство или жизнь».—«Да, господин,—сказал я,—у вас, верно, набожное сердце, раз вы рисуете столько святых ликом».

«Ты не поверишь, Бавиера,—продолжал он,—каким набожным и робким мальчиком был я в доме моих родителей, как счастлив я был преклонять колена в церкви рядом с моей матерью; мой добрый отец таким и нарисовал меня тогда. Он был настоящим изобретателем, его искусство было самобытным, я же развил его начинания. В своих работах он раскрывал исключительное видение мира, но ему не хватало сноровки и заурядности сюжета, которые так высоко ценит толпа». Когда я спросил его, как он смог покинуть такого искусного отца ради обучения у Перуджино, тогда вздохнул он и улыбнулся и сказал: «Почему должен был скрыться Амур, когда Психея направила на него свет? У меня было на то больше оснований, чем у него!» После этого вступления мне не составило труда уговорить его, чтобы он рассказал мне историю своей юности, не прерывая работы над рисунком. Он и сейчас отчетливо мог представить себе все: отеческий дом с маленьким двориком, спальню, устроенную для него, когда он подросток, из маленького окна которой он мог наблюдать за происходящим на соседском дворе и, при желании, без труда взобраться на высокую стену, которая его окружала. Когда его переселили из спальни родителей в эту комнату, в соседнем доме жили два человека, которые работали с огнем, каждый на свой лад: горшечник и пекарь, они были в отдаленном родстве между собой. У каждого подрастала дочь, и девушки должны были помогать, как подмастерья, своим небогатым отцам. Бенедетта, дочь горшечника, хотя и обладала хрупким телосложением, была неутомима в тяжелой работе: она мяла глину, обрабатывала ее на гончарном круге, придавала ей форму мисок и тарелок, которые

потом еще и раскрашивала, и в городе их ценили так же высоко, как изящные изделия из Фазнцы. Гита, дочь пекаря, с пышным девичьим станом, высокая и сильная, с меньшим усердием выполняла свою работу: месить тесто в больших квашнях, формировать его в булки и подносить отцу дрова при топке печи. Отцу часто приходилось подгонять ее бранными словами, а она все время пререкалась и этим выводила из себя доброго человека. Все это Рафаэль наблюдал в первые дни, он отдал предпочтение Бенедетте и почувствовал неприязнь к Гите и охотно бы помог в работе той, первой, если бы его отец поддерживал знакомство с соседом. Но тот был горд, как и все Санты, которые считали себя великолепным родом, хотя и не знали, чем, собственно, гордятся, до тех пор пока Рафаэль не исполнил их чаяния. Но Рафаэля с такой силой влекло в соседский дом к Бенедетте, что однажды в комнате матери он подвинул свою тарелку так близко к краю стола, что уронил ее. Теперь он знал, что за ужином недосчитаются прибора, и поэтому получил разрешение купить посуду у соседа. Он поспешил к горшечнику; но, к его досаде, он увидел в комнате Гиту, которая занималась продажей гончарных изделий для двоюродного дяди. Она была ласкова к Рафаэлю, погладила его густые волосы, разделенные пробормом, и сказала ему, что может смотреться в них, как в зеркало, настолько они были гладкие. Он не нашел другого ответа, как сказать, что милостивый Господь покрыл их стойким лаком, иначе блеск давно уже стерся бы от шапки. В смущении — она взяла его за руку, рассмотрела пальцы и уверила, что у него очень красивая рука, — он спросил, кто нарисовал птицу на тарелке, которую он только что купил. Гита громко рассмеялась и сказала, что вообще-то это должен был быть человек, но Бенедетте зачастую приходилось расписывать тарелки в сумерках, и она к тому же порою так уставала, что засыпала за этим занятием. «Вы только взгляните сюда, — сказала она, — весь двор опять заполнен тарелками, которые она должна раскрасить к утру». При этих словах словно луч озарил его душу; теперь он знал, что может оказать ей услугу, и, всецело захваченный этой идеей, он пожал Гите руку и поспешил домой. Там он сумел, не выдавая истинной причины своей заинтересованности, разузнать у отца, какие краски используют горшечники, чтобы они могли выдержать огонь. Отец поразился его жажде знаний и рассказал, что некоторые масляные краски, используемые художниками, применяются и горшечники, но совсем другим способом — это необходимо предусмотреть, так как многие краски при обжиге совершенно изменяются: черный становится красным, красный — черным; ведь у огня много общего со страстями, которые одного человека портят, а другого облагораживают. Наш Рафаэль пропустил мимо ушей мораль сего рассказа; о красках он знал достаточно и был весьма доволен этим. Тогда отец рассказал ему еще, чем отличается обычная посуда от тонкой, которую делал сосед: простая расписывалась на сырой поверхности, а эта по глазури. Рафаэль уже не слушал этого; он думал только о том, как спуститься с высокой стены, разделяющей их, во двор, после того как он заберется на эту стену из своей спальни. Тут он подумал про большого Геркулеса, постаментом для которого служили другие мраморные обломки. Его недавно поставили в соседском дворе как раз рядом со стеной — не для того, чтобы любоваться его прекрасными пропорциями, созданными древним мастером, а чтобы разбить при случае и поместить в печь для обжига, поскольку горшечник в качестве дополнительного промысла свозил римские реликвии и отжигал из них известь. Рафаэль рассказал мне, что тогда в Италии находили огромное количество подобных обломков прекрасных статуй и лишь в некоторых городах придавали этому значение. Тогда в известковых печах одного города сжигали больше, чем сейчас осталось во всей Италии, поэтому и я боюсь за мои прекрасные эстампы: всем нужна бумага, но не каждый может понять ее истинную ценность.

Вечером, после того как родители ушли спать, он положил в свою сумку краски и несколько кисточек с палитрой и поднялся на стену при свете восходящего месяца; и как только он дошел до края стены, где с другой стороны стоял Геркулес, дубина показалась ему настолько удобной, чтобы спуститься по ней вниз, как будто именно для этого она была высечена стариком Фидием. И какое зрелище захватило его! Ему показалось, что он видит Бенедетту, в белом одеянии стоящую посреди двора, но она была в тени флигеля, и он не был убежден в своем счастье. Он хотел было поспешить обратно, но полная луна поднялась выше, и тогда он увидел, что принял за Бенедетту женскую статую, которую выделили среди прочих, поставив в самый центр двора. И уже ничто не могло остановить его. Он спрыгнул со стены на дубинку, с дубинки на плечо, с плеча на бедро, с бедра на большой палец ноги Геркулеса. Когда он благополучно спустился на землю, он увидел аккуратно рас-

ставленные миски и тарелки. С восхищением рассматривая прекрасный облик статуи, изящество облегающих, словно намокших, одежды, которые, казалось, были пропитаны ночной росой, серьезность черт лица, поднятые то ли в предупреждении, то ли в благословении пальцы правой руки, он наносил приготовленные краски на палитру. Одним словом, эта статуя была первой, которая в его глазах не осталась камнем и превратилась не в плоть, но в *душу*. Она стала первым изображением, которое он попытался нарисовать на тарелках; потом настал черед Геркулеса и других богов, ведь его окружали статуи, а отец часто рассказывал ему о древних героях. Так работал Рафаэль в самозабвенном упоении, пока не услышал шум в доме. Тогда он схватил рисовальные принадлежности, взобрался обратно на Геркулеса и прыгнул в свою комнату. Бенедетта пришла сонная, умыла лицо и руки в колодце и принялась рисовать своих уродцев, то ли людей, то ли животных, на его великолепные контуры, не глядя на то, что делает. Когда взошло солнце, она увидела то, что нарисовал Рафаэль, удивилась, что статуи изображены в уменьшенном виде, призвала всех святых и решила воздать хвалу за все ангелам, к которым она давеча обращалась в молитве—так, что заснула за этим благочестивым занятием и потеряла время. Но об этом небесном покровительстве она скромным образом умолчала, когда пришел отец и сразу спросил, почему она раскрасила тарелки совершенно иначе, нежели всегда. Она ответила, что людям нравится покупать любые новинки, и поэтому она попыталась срисовать старые образы. Так на следующее утро состоялся первый триумф Рафаэля-художника, когда он нес за матерью корзину для покупок на рынок и сам удостоверился, с каким пылом покупают люди разрисованные им тарелки. «Никогда,—говорил он,—я не ощущал потом такого счастья, как в тот миг: девушка надела венки на мое чело, и благодатный, сладкий аромат освежил мне голову. Это была Гита, которая продавала хлеб, украшенный цветочными гирляндами и венками, как принято в Урбино. Я опустил глаза, но с этого момента моя неприязнь к Гите исчезла. Мать поблагодарила ее от моего имени и сделала у нее покупки, хотя могла бы сделать это гораздо ближе, у нас в доме». Посуда раскупалась так хорошо, что горшечнику нужно было срочно подготовить новую партию для обжига. Как только она была готова для росписи, Бенедетта снова спокойно помолдилась утром и заснула, в то время как Рафаэль рисовал на тарелках новые придуманные им сюжеты. Когда она проснулась, то, к своей радости, увидела, что половина работы уже сделана и оставшуюся часть расписывала, подражая образцам с такой точностью и ловкостью, что Рафаэль, увидев работы, выставленные на рынке, сам едва смог различить, что было сделано им, а что скопировано его ученицей. «Да, вот это было время,—воскликнул он,—без отдыха и без сна. Все, что я сейчас только помню, я испытывал и ощущал тогда, но теперь я с трудом воскрешаю то истинное, что с такой легкостью давалось мне в первых набросках: посмотри, Психея, которую я рисую,—лишь бледное воспоминание о бывших картинах на тарелках, ибо я не в силах придать ей черты Бенедетты, с которой тогда я без труда мог бы нарисовать Психею, а сейчас не в силах даже представить ее, хотя отчетливо вижу всех безразличных мне людей из Урбино. Виновна ли в этом моя неверность?—Психея и Амур были так счастливы под покровом ночи, но я, несомненно, был еще счастливее на крыльях молитв Бенедетты, чем Амур в объятиях Психеи. Но как нечестивые сестры внушили Психее недоверие к любящему богу, так Гита помешала нашему целомудренному объятию, в котором слились воедино небо и земля, искусство и любовь, убедив кузину в том, что тайные рисунки могли быть делом не ангела, но черта или папских клеветников, преследующих всех девушек. Она предложила следующей ночью, когда тарелки будут выставлены для росписи, вооружившись, нести караул, чтобы увидеть ангела или поймать людей, которые столь дерзко проникают во двор, окруженный высокими стенами, и еще осмеливаются там озорничать. Бенедетта думала, что если она откажется, будет затронута ее честь и разрушено доверие, которое она питала к ангелам. И вот на четвертую ночь, которая была тихой и лунной, что казалось мне благоприятным для художника, как только я принялся за работу, обе девушки, увидев, но не узнав меня, выбежали из дома, каждая вооруженная старым заржавевшим мечом и захватив лампу, чтобы удовлетворить свое любопытство. Ты знаешь, я никогда не имел дела с оружием, но всегда предпочитал *изображать* великие подвиги с помощью красок, так что я не испытывал ни малейшего желания любоваться этими амазонками. Глядя на этих сумасшедших, я не помышлял ни о Бенедетте, ни о Гите, скорее я подумал о нескольких повредившихся в уме девицах, которые жили с другой стороны дома и могли сбежать от своего надсмотрщика, как это случалось уже неод-

нократно. «Святой Христофор, спаси меня!» – воскликнул я, обращаясь к Геркулесу, но девушки придавали себе храбрости криком, они орали: «Вор, вор!», бежали за мной и осветили меня как раз в тот момент, когда я забрался на плечо Геркулесу. Тут и ко мне вернулось самообладание: палитрой я прикрылся от Гиты, а кисточкой загасил лампу Бенедетты, таким образом я надеялся неузнанным пробраться через стену в свою комнату. Но там меня поджидала еще более печальная участь. Отец мой проснулся от женских криков «держи вора!», схватил ружье и подстрелил бы меня на стене, как воробья, будь оно заряжено. Когда я спрыгнул в свою комнату, узнал его и бросился ему в ноги, радость, что он не застрелил меня, погасила гнев из-за моей мнимой распущенности; его руки сложились в молитве, вместо того, чтобы наказать. Когда вошла мать, я признался во всем, не упустив ни одной детали, чтобы она не подумала обо мне чего-нибудь худшего, и обратился за похвалой к отцу: это упражнение в рисовании не было бесплодным, ведь с этих пор он сам заметил явный прогресс в моих работах. Отец и мать по моему лицу видели, что я не лгу. Отец сказал, что из-за глупого ребяческого легкомыслия я попал в беду и вряд ли бы остался бы в живых, если бы пекарь проснулся от крика девушек. «Видишь, мать, – продолжил он, – не в человеческих силах было уберечь его здесь от такой великой опасности; поэтому я наконец-то даю свое согласие отправить его в Перуджу на обучение к Пьетро Вануччи, как ты однажды согласилась отнять его от твоей материнской груди, после того как ему удалось добраться до полного бокала вина и опорожнить его. Тому, что известно мне, я не могу научить, да и сам не могу воплотить это на практике. Там он найдет лучшего мастера, который медленно, но верно продвигается по проторенной дорожке, и многих одаренных соучеников, там есть отважные труженики и дух соперничества, пора ему покинуть дом, от греха подальше, тем более что эти соседи мне никогда не нравились».

Тогда Рафаэлю пришлось выслушать все упреки и увещевания матери, она плакала, уверяла, что ему нечего искать на чужбине, ведь он так легко всем увлекался, что любой человек мог без особого труда подчинить его своему влиянию с хорошей или дурной целью. Отец ответил на это так: «Мы старики, этот сын родился у нас слишком поздно, как только мы умрем, он сразу же отправится на чужбину. Пьетро – мой друг, и Перуджа не на краю света, там мы сможем позаботиться о его будущем и навещать его иногда». Так еще ночью родители решили, что отправят его в Перуджу, в то время как сам Рафаэль думал только о Бенедетте и о Психее. Казалось, только теперь он почувствовал ожог в сердце, там, где упала капля раскаленного масла ее лампы – и вот Венера уже отправляет его в чужие края. Наконец заплаканные глаза сомкнулись, и виделись ему очень странные сны, как будто он – Амур, и идет он, чтобы утешиться, в школу к Грациям, одна из которых вышила нежный цветок, другая лилию и третья фрукты на поясе Венеры. Он смотрел на них и кивал им; и когда он снова взглянул на расстегнутый пояс, над которым они работали, – он склонил на него свою голову и захотел выпрямиться, то увидел, что все три использовали для вышивки его локоны, чтобы натурально изобразить внутреннюю часть цветка и плоды. Поэтому он не мог, как ни старался, встать и освободиться, чтобы лететь обратно к Психее. Они разговаривали и играли с ним во время работы; быстро сменились весна, лето и зима. Но тогда, отложив это безобидное рукоделие, грации извлекли спрятанные веретена и большую книгу, и он увидел, не без ужаса, что зимой грации становятся парками, которые привычными движениями прядут нить человеческой жизни. Он хотел бежать, но его длинные волосы уже были спрядены в пряжу, и в отчаянии, что скоро они и вовсе лишат его волос, он рванулся и проснулся в своей постели – в дверь громко стучали, – и сердце его бешено колотилось. Не успел он сказать «войдите», как порог переступил отец Бенедетты, гончар, который за руку втащил в комнату упиравшуюся дочку. Рафаэль хотел вскочить, но вспомнил, что не одет, он едва решался взглянуть, но все же сразу заметил заплаканные глаза Бенедетты и то, что она несла миску с выпечкой, а его родители благосклонно смотрели из-за двери на происходящее. Отец девушки хрипло прокричал: «Я покажу тебе, Дегта, ты должна просить прощения у него за свою невоспитанность, ты на коленях должна умолять молодого доброго господина, чтобы он и в дальнейшем оказывал нам честь раскрашивать наши тарелки! Слышишь, протяни ему эту миску в знак признательности за высокий спрос, которым пользуется наш товар благодаря его искусству!» Бенедетта все еще упиралась, и старик замахнулся другой рукой, чтобы нанести ей жестокий удар, и тут Рафаэль вскочил с постели, кое-как укутанный в красное одеяло, и бросился прямо в руки горшечнику, рассыпаясь в благодарностях за его любезность, так что удар пришел-

ся по грубой груди мужчины, не причинив ему вреда. «Я чуть было не ударил вас, а это было бы совсем невежливо, — продолжил гончар, — но за это Бенедетта должна вас поцеловать, или я снесу с нее голову, как кривой горшок». С этими словами он прижал Рафаэля к щеке прекрасного ребенка, так что ее слезы оставили соленый вкус на его губах, как будто он в час прилива заснул на берегу моря и первая нахлынувшая волна возвращающейся стихии разбудила его, оставив у него во рту бесценную жемчужину.

Потом отец забрал у нее миску, протянул ее Рафаэлю, девушка выбежала стора от стыда, и отец сердито прокричал ей вслед: «Она останется такой же глупой, какой была ее покойная мать!» Когда девушка оставила их, Рафаэль вздохнул с облегчением, пообещал гончару продолжить работать над тарелками с разрешения его отца, пока он еще в Урбино, и отказался от какого бы то ни было предложенного вознаграждения, поскольку такая легкая работа не стоила денег. «Юный господин, — сказал горшечник, — останьтесь здесь и посвятите свое искусство полностью моему делу; ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит, особенно если оно связано с благородным искусством, и если для вас это искусство легко, вам оно должно приносить радость, и ведь оно лучше вас прокормит, чем картины, которые ваш отец пишет с таким трудом. В юные года я работал в Фазнце, я знаю толк в своем ремесле. Когда Вы повзрослеете, а дочь моя поумнеет, кто знает, не сложится ли так, что у нас будет один дом и одна касса». Рафаэль молчал, покраснев, и гончар раскланялся. И вот Рафаэль пробовал сладкую выпечку, представляя себя мужем Бенедетты, гончаром и деловым человеком. Так завершился этот утренний визит, на долгие годы сохранившийся в памяти Рафаэля. Его родители были восхищены, что он легкой рукой, почти играючи, привлек внимание всей округи к своей работе, но опуститься до ремесла казалось неммыслимым для его отца, эта женитьба представлялась недостойной, и он решил поторопиться с исполнением своего намерения — отправить сына в Перуджу.

## К мадоннам Рафаэля

**Р**афаэль, избавленный от привычных работ у отца из-за подготовки к отъезду, приходил в последующие дни к гончару, предлагая ему свои услуги, которые тот с радостью принимал. Рисунки давались теперь не так легко; он не мог делать исправлений, как на бумаге, но при этом хотел добиться славы, которая поначалу досталась ему играючи. Придя на следующий день, он так и не увидел своей Бенедетты: ей было неловко, из-за того что с ней грубо обошлись в его присутствии, поэтому она избегала встреч — так объяснила это Гита, которая по-дружески под села к нему, предложила завтрак, когда он пришел, и почистила ему камзол, когда он собрался уходить. Его неприятие по отношению к ней исчезло, с тех пор как он узнал, что именно она делает сдобную выпечку, которая стала первой наградой юному художнику. Проникшись к ней уважением, он пожимал иногда ее красивые руки, которые лепили булки по своему образу и подобию: воздушно-аппетитные, поражающие округлостью форм. Узнав об этом первом юношеском впечатлении Рафаэля, вы поймете, почему он часто восклицал, глядя на известнейшие изображения богов, созданные скульпторами нашего времени: «Свежий круглый хлеб, гладкая тарелка — боги рядом с этими скелетами, претендующими на Олимп; лучшие их творения не сравнятся с самым скромным произведением старого гончара». И, напротив, он был щедр на похвалу, когда речь шла о старых скульптурах, которые он видел у горшечника, особенно о статуе женщины, принятой им за Бенедетту. Он никак не мог определить, чье это изображение — музы, Психеи или кого-то еще, — так как у нее не было ни одного атрибута. Наверное, и ее пустили на извесь: через несколько лет он не смог ее найти. Он хотел перенести этот облик на тарелку, но не смог вписать ни в один сюжет. Он много раз пытался нарисовать с нее Венеру, но безуспешно. Наконец ему пришлось в голову изобразить ее как Богоматерь, он придал ей глаза, цвет лица и волосы Бенедетты и добился того, что этот образ отличался от всего, что он видел у своих предшественников, и все же продолжал традицию. Он так и не встретил красоты, способной затмить эту статую, вспоминая ее, он и создавал все то, что теперь восхищает Вас в его мадоннах.

В последний день пребывания Рафаэля в Урбино статуя явила ему величайшее чудо, и стоило ему вспомнить об этом, как его сердце начинало бешено стучать. Настал день прощания, а он так и не видел Бенедетты. Ему хотелось бы передать ей небольшой подарок, который прежде он хранил как самое дорогое из своих вещей. Это было диковинное кольцо из металла, которого никто не знал, с надписью, которую никто не мог прочесть, — дар одной благосклонной незнакомки, которая, проезжая мимо верхом, на мгновение задержалась перед маленьким Рафаэлем — тот молился на коленах у матери. Она заверила мать, что кольцо должно уберечь ее сына от какого-то несчастья. Мать в свою очередь предложила ей ответный подарок, но путешественница с улыбкой отказалась. Рафаэль думал, что должен во что бы то ни стало принести это кольцо в дар Бенедетте, хотя мать строго-настрого наказала беречь его. На этот раз он хотел быть уверенным, что разыщет девушку, поэтому пришел раньше условленного времени, застал и дождался Бенедетты, которая собралась месить глину так, как это принято у гончаров. Он видел, как она сняла свое синее, с красным поясом верхнее платье, чтобы не запачкать, и надела его на чудесную статую во дворе. Она подобрала подол, как девочка, которая собирается на жатву, сняла туфли и чулки, и ее босые ноги, касаясь черной земли, светились нежным сиянием, как заходящая луна. Она наступала сначала медленнее, потом, когда глина стала мягче, быстрее, в такт всем известной в то время колыбельной песни. Этот нехитрый напев разбудил Гиту. Она тоже принялась за работу, сбросила свое платье на землю, закатала рукава сорочки и месила тесто в чанах, которые стояли с другой стороны статуи, напевая при этом озорную песню птицелова, который после долгого ожидания наконец-то видит, что птица попала на пруттик, намазанный клеем. Но таким дерзким, как она, Рафаэль в то время не был; он хотел только передать Бенедетте кольцо, которое будет держать в плену его самого. Поэтому он быстро прокрался вдоль соседского дома во двор. Первой его заметила Бенедетта, когда он подошел к ней вплотную, схватил ее за руку и, что-то говоря при этом, попытался надеть кольцо. Вязкая глина и ужас крепко удерживали ее ступни; ей удалось только вырвать у него руку, прежде чем он смог надеть кольцо, она закрыла лицо руками и покачала головой в знак того, что не хотела ничего слышать и ничего принимать в дар. Гита высмеяла ее, назвала пугливым жеребенком — уж она-то не стала бы артачиться и приняла бы такой подарок от красивого юноши; с этими словами она протянула свой выпачканный в тесте палец за кольцом. «Так не пойдет, — сказал Рафаэль, смутившись, — оно вам маловато, к тому же у вас все пальцы выпачканы в тесте». Но Гите хотелось во что бы то ни стало заполучить кольцо, и она быстро вытерла руки платком. Тогда Рафаэль, еще более смутившись, отпрянул от нее и угодил прямо в руки прекрасной статуе, которую Бенедетта одела в свое синее платье и подпоясала своим поясом. И вдруг одна рука мраморной статуи плавно поднялась, протянув указательный палец. На него и упало кольцо, которое он выронил в смущении, и соскользнуло, так как было великовато, по трем фалангам. В этот момент ему показалось, что кольцо забрала та самая женщина, которая его подарила. «Оно уже подарено, — весело сказал Рафаэль Гите, — пусть его носит моя каменная невеста, и когда вы видите его на ее пальце, добрая Бенедетта, вспоминайте обо мне: утром я уезжаю с отцом в Перуджу. И помолитесь как-нибудь за меня, если окажете мне такую честь, хотя сегодня вы не удостоили меня даже взглядом!» Бенедетта не двинулась с места, но посмотрела сквозь сомкнутые ладони, а Гита не хотела отпускать Рафаэля без поцелуя и возжелала присвоить кольцо. И только благодаря удивительному чуду ей не удалось ни то ни другое, и все потому, что сначала она потянулась за кольцом — многие девушки по той же причине не могут найти мужа: они слишком быстро спрашивают об обручальном кольце. Когда она хотела снять кольцо, палец статуи согнулся, и невозможно было поднять кольцо выше второй фаланги. Она воскликнула, что свершилось чудо. Рафаэль посмотрел туда и на мгновение застыл от удивления. Вместе они с усердием пытались снять кольцо, но совершенно напрасно. Бенедетта забыла о своей робости, обругала Гиту за то, что та рассказывает небылицы, выпрыгнула из вязкой глины, которая прилипла к ногам, так что чуть было не упала. Она приблизилась к статуе; другие посторонились, чтобы она сама убедилась в необычности произошедшего. Она потянулась за кольцом и сняла его без малейшего усилия с пальца статуи, который снова распрямился как ни в чем не бывало. Так чудо перешло на Бенедетту, она доказала, что сильнее, чем старая языческая богиня. Рафаэль испытал перед ней благоговейный ужас, он глубоко поклонился и, не сказав ни слова на прощание, побе-



жал от нее к церкви, куда каждый день ходил с матерью. Чувство отчуждения и страха, словно пронизывающий ветер, пронеслось между двумя розовыми бутонами, не позволяя им расцвести. Рафаэль думал, что совершил нечто греховное, он раскаивался в каждом своем шаге, он клялся не глядеть в сторону соседского дома, он молил небо защитить его от всех ангелов и демонов и одарить его привычным ходом мироздания, который его вполне устраивал. В таком настроении он уехал из Урбино, после горького прощания с матерью. Но по дороге в Перуджу он отвлекся от мрачных мыслей: его окружал новый мир, и отец рисовал ему самые радужные перспективы.

Здесь я должен заметить, что история, которую я Вам поведал, объясняет, откуда взялись ложные слухи, будто Рафаэль был отправлен в Перуджу из-за прекрасного облика Мадонны, который он нарисовал на дворовой стене. Стоит задуматься—и сразу станет ясно, что отец, с большим вниманием обучавший своего сына, вовсе не нуждался в такой случайности, чтобы распознать его талант. Но состоятельным господам повара преподносят мелко порезанную пищу, чтобы те не тратили много усилий на пережевывание, и все, что рассказывает челядь, с целью позабавить их, о событиях, происходящих в мире, — сплошные преувеличения и искажения. Это наш-то великий Рафаэль должен был быть «открыт» своим отцом только из-за мазни на стене, как некий старый мастер по одному-единственному штриху, который, в конце концов, любой каллиграф мог сделать изящнее; тогда нам не понадобились бы каллиграфы для изображения округлых свиных очертаний греческого письма, в чем я лично очень сомневаюсь.

Отец с сыном благополучно прибыли в Перуджу, и мастер Пьетро заметил уже по первому этюду, что он заполучил ученика, который принесет ему славу и деньги. Он охотно принял его и скоро смог так занять работой, что у Рафаэля не оставалось времени подумать об Урбино. Вскоре им овладел активный дух соперничества с другими учениками, среди которых он не превзошел лишь Луиджи: это был юноша выдающихся способностей, но весьма склонный к излишествам. Пьетро пробуждал в учениках прилежание, выделяя им кое-какую мелочь из своих доходов. Тогда на эту премию ученики устраивали кутежи. Каждый должен был привести возлюбленную, а тому, кто еще не обзавелся подругой, другие находили спутницу. Луиджи привел для нашего Рафаэля дочку садовника, которую все прозвали Помоной. Рафаэлю нужно было одеться в женское платье, чтобы участвовать в представлении басни, в которой Луиджи в образе Бахуса на колеснице вместе с Ариадной в конце примирил всех. Луиджи — а он был богат — приготовил много вина, и все предались естественности старых языческих обычаев, не обращая внимания на то, что свет уже не смотрит благосклонно на подобные занятия. Если бы у Рафаэля еще было кольцо, оно, возможно, напомнило бы ему о лучшей участи, а может, он небрежно отдал бы его садовнице вместе с льняными вещами, которые заботливая мать сшила ему на дорогу, поскольку у него не было ничего другого. Только проснувшись на следующее утро, он заметил, что Помона унесла в корзинке для фруктов его имущество и сердце в придачу, которое мать берегла еще заботливее, чем все его снаряжение.

Рассказ об этом случае, наверное, заставил его задуматься, он продолжил работу молча, а я исполнил песню, которую Аретино как-то сочинил о Рафаэле, чтобы дразнить его из-за его Мадонны с рыбой.

Она начиналась так:

*Здесь почет  
Тому искусству,  
Что поднявшись  
До беспутства,  
Создает красу  
И поет хвалу  
Падшим грешницам—  
Пусть потешатся,  
Глядя на портрет,  
Где греха и нет,  
Рафаэль, нарисуй!  
Рафаэль, поцелуй!*

А потом было:

*Что ни город—  
Нрав иной,*

У красавиц –  
 Нрав иной,  
 Для души  
 И для костюма  
 Новый выбери покрой.  
 Что ни речка –  
 Вкус иной,  
 Губ красавиц –  
 Вкус иной.  
 На столе – иные рыбки,  
 Невод нужен здесь иной.  
 Хороши! –  
 Так закажи  
 Свежей рыбки,  
 Вкусной рыбки!  
 Знатный ждет тебя улов –  
 Коль и впрямь ты сердецелов!  
 И цена невысока:  
 Для такого жениха.  
 И недолго  
 Длится ловля –  
 Быстро  
 Остывает пыл:  
 Как поел –  
 Так и забыл,  
 Ни колец и ни цепей  
 Пей и кушай веселей!  
 Мы, поверь, не унываем  
 И бокалы поднимаем:  
 Есть другие, что в дороге,  
 И охота будет многим  
 Пообедать  
 И отведать  
 Свежей рыбки,  
 Вкусной рыбки!

Потом Рафаэль жил некоторое время в Сиене и во Флоренции. Женское общество было ему необходимым. При его занятости он не мог позволить себе быть разборчивым. Благородные души должны винить самих себя за то, что он доставался пронирыливым дамочкам. Они должны были разглядеть в его глазах истинную сущность, которая раскрывалась, когда он работал, но их отпугивал его прежний образ жизни. А он умел рисовать в разных манерах и смог бы любить иначе. Мне часто приходилось писать за него любовные письма самого разного содержания; но добропорядочные женщины обычно сразу нас отпугивали далеко идущими планами, на которые у него не было времени из-за работы. Раз согрешив, он оказался всецело во власти этой дьявольской жажды, и должен был постоянно удовлетворять ее, чтобы потом претворять свои божественные идеи. Теперь все это получило широкую огласку. В то время мы с ним жили беспечно, не думая о завтрашнем дне. Но к чему мне рассказывать вам о всяких пустяках; теперь речь пойдет о той женщине, которая нарушила его покой. Это случилось в один из дней поста, когда он отвлекся от работы и приказал мне отвести его к жене пекаря, уверив, что та напомнила ему Гиту, которую он не видел со времени отъезда из Урбино, поскольку обе соседские семьи пострадали от чумы – то ли погибли, то ли уехали из беспокойной Италии. Он велел подать ему очки, которые ему продал путешествующий голландец, расхвалив как совершенно новое изобретение для усиления зрения, а глаза его начинали болеть из-за напряжения. Но этот голландский художник, как вы вскоре догадаетесь, наверняка был дьяволом, и я после смерти Рафаэля растолок проклятые очки в ступке, чтобы они больше никому не смогли причинить вреда.

В этих очках он пошел мимо лавки пекаря, где продавалась сдобная немецкая выпечка. «Это Гита, – сказал он, – мои сомнения развеялись, я ведь смотрю на нее в очках. Какие роскошные формы!» «Вы про эту толстую матрону?» – спросил я удивленно. Он не стал ходить вокруг да около, а сразу вошел в дом, как будто его

туда влекла ведьма. «Действительно, на нашей вилле такого образа еще не было!» — сказал я и пошел за ним следом, чтобы он — или его репутация — не оказались в смертельной опасности, ведь именно тогда по предложению графа Кастильоне решался вопрос о том, чтобы даровать Рафаэлю кардинальскую шапочку в награду за множество работ, выполненных для папы. Булочница сама вышла нам навстречу и спросила с приятной улыбкой, как будто она уже узнала Рафаэля: «Кто вы, господи?» — «Честные помощники пекаря, — ответил я, — которые знают толк в ремесле. Нет ли работы?» «Конечно, есть, — ответила она, — я только что прогнала одного подмастерья за пьянство, один из вас сможет сразу получить работу». «Кто же, если не я, — спросил я напористо. «Мы так не договаривались, — сказала она, — я выберу себе тихого порядочного человека (при этом она показала на Рафаэля), он лучше подойдет овдовевшей женщине, которая потеряла любимого супруга, а вы, как я погляжу, просто вертопрах». С этим словами она увлекла Рафаэля в комнату, где подходило тесто, сняла с него тонкое красное пальто, повязала ему фартук, и так наш будущий кардинал стал пекарем и с улыбкой месил тесто. Я хотел подкараулить, чем дело кончится, но она вышла, протянула мне несколько золотых монет и отправила меня в комнату служанки дожидаться моего господина. Он сам рассказал мне следующим утром, что она, после того как он наработался до пота, разразилась громким смехом и сказала ему: «Видели бы Вас сейчас Ваши ученики, с которыми вы обычно чинно шестуете, окруженный всеобщим почтением и приветливостью, словно пророк среди апостолов». Он понял, что его узнали, и она уверила, что она — Гита и только робость идти к столь известному человеку в ее низком положении и, возможно, вызвать лишь его презрение, удерживала ее от того, чтобы приблизиться к нему. Она жаловалась на свою судьбу, рассказывала, что, убегая от чумы, они долго скитались, до тех пока в нее не влюбился один немецкий булочник — а он владел особыми секретами мастерства. Ей пришлось выйти за него замуж, чтобы покончить с нуждой. Супруг ее умер, и она стала сама себе хозяйкой.

Вот и все, что Рафаэль рассказал мне, но я сразу понял по его поручениям, что склонность к Гите вытеснила все прочие влюбленности. Я спросил его, не передала ли ему Гита весточку от Бенедетты. «Молчи об этом, — мрачно ответил он, — она, должно быть, умерла, она была создана не для этого мира и не для грешника. Ты должен познакомиться с Гитой, когда я закончу ее портрет, в ней все смертные грехи расцвели пышным цветом, но лучшее в человеческом облике скрыто для вас — это я видел по тому, что ты качал головой, — кроме того, ты должен стать ее слугой, чтобы полностью понять ее великолепную царственную сущность». — После длительного молчания он продолжил: «У нее есть странная обезьяна, огромный самец, никогда я еще не видел, чтобы животное было столь подобно человеку. Когда мы отужинали, он вышел из своей комнаты и со звериной жадностью накинулся на обедки и потом, довольный, прыгал по столу и креслам. Он носит чужеземное платье и, казалось, понимает, что я говорю о нем. Таковы уж эти животные: мне все время кажется, что они — воплощения старых богов, которые продолжают жить только страстями, с тех пор как их царствование над человеком закончилось. Но как бы то ни было, — завершил он, — обезьяна ли это существо, старый языческий бог или изуродованный человек, я попросил Гиту, чтобы я видел его как можно меньше, она любит его, она ласкает его, и это сердит меня!»

Я должен так подробно говорить об этой «обезьяне» — так называла Гита это существо, — поскольку оно сыграло значительную роль во всей этой истории и это ужаснейшее создание из всех, которых я когда-либо встречал. Оно не было обезьяной, клянусь спасением своей души! Впрочем, я видел его весьма редко, поскольку обычно он находился взаперти в темной каморке рядом с комнатой, где спала Гита, и выходил иногда лишь по вечерам. Тем временем я очень быстро понял истину и увидел, что она перед сном обычно месила тесто в той темной комнате с его помощью, после того как снимала с себя роскошные парадные платья, которые Рафаэль по собственному усмотрению покупал для нее или заказывал у портного. Но что поделывать, о некоторых вещах Рафаэль и слышать не хотел. Поэтому свои догадки я держал при себе.

Никакой другой женщине Рафаэль не уделял столько внимания, не был столь изобретательным в развлечениях, которые могли бы ей понравиться. Он не экономил, занимал деньги у друзей, когда ему не хватало, чтобы полностью обустроить старый, хоть и большой, но очень запущенный дом булочницы. Ведь большую часть тех гравюр с античными сюжетами, которые вырезал Маркантонио, — например, Юпитер, который ведет нерешительную Юнону к трону свергнутого Сатурна, Парис, который

отдает яблоко красивейшей, и многие другие эскизы к фрескам должен был выполнять Джулио, из-за того что корыстная булочница занимала руки Рафаэля постоянными заказами, за которые хорошо платили, да только денежки-то все равно уходили на нее. Рафаэль был уверен, что все женские фигуры, которые он рисовал в то время, напоминали Гиту. Я отвечал, что всему причиной проклятые очки. Он сердился и не разговаривал со мной; я приходил в отчаяние и искал возможности примириться с ним. Тут мне пришла в голову блестящая идея, по которой вы можете судить, что и я не чужд высоким доблестей. Рафаэль и Гита любили гулять осенью, в первые светлые лунные ночи, в пустом саду за домом, в котором не было ничего примечательного, украшающего сад, кроме разве что пары старых лимонных деревьев и одной пинии, поскольку вся поросль стравиливалась мельничными осликами, которые привозили муку. И вот однажды я заметил, что следы там, где прошли Гита и Рафаэль, были похожи на след змеи, из-за шлейфа возлюбленной, который стлался, как хвост, а там, где они целовались, след замыкался в круг и был похож на веночек, если они задерживались там надолго. Едва я это заметил, я в спешке отправился к своим почтенным домочадцам, единственным занятием которых—если не считать попрошайничества—было садоводство. Я предложил им разбить сад за одну ночь, и стоило мне пообещать за это бочку вина утром, как все понеслись с лопатами и мотыгами, с топорами и пилами. В течение часа они пыхтели там с огромным грузом кустов и цветов самого благородного рода, которые они бог весть где выкопали и вытащили из земли. Я тем временем лопатой прибил и заровнял следы шлейфа, предательский след любви. В глубоком молчании шла работа, каждому из нас был отведен определенный участок, на котором он и сажал свои трофеи—украденные цветы и кустарники,—при этом, не сговариваясь, мы все притащили самые разнообразные сорта, и возникшая картина поразила нас своим великолепием еще в лунном свете. Как же мы были ошарашены утром, когда опустили бочку с вином на самом высоком камне нового сада и восходящее солнце осветило нашу работу. Мы увидели, что наш сад представляет собой Рим во всей его красе, и никакой замысел и расчет не могли быть столь удачны, как художественное чутье Рафаэля, который, даже прогуливаясь, стремился наслаждаться роскошью и стройностью архитектуры вечного города и вел Гиту так, что их путь повторял рисунок римских улиц, как будто Рим всегда оставался перед его внутренним взором. Когда я обратил внимание своих кузенов на то, что ни один шаг не был случайным, что там, где Рафаэль менял направление, казалось, небо сливалось с землей в поцелуй, простой люд сложил руки в молитве, и кто-то воскликнул: «Святой Рафаэль, помолись за нас!», а юные девушки должны были по моему указанию спеть новые слова на старый мотив:

*Что за чудный блеск зеленый  
Победил ночную тьму?  
— В честь свидания влюбленных  
Сад расцвел за ночь одну!  
Мы пленительную тайну  
Этой встречи сохраним:  
Каждый шаг был неслучайным,  
Каждый шаг—дорога в Рим.  
Узенькая тропка вьется  
По высоким по холмам.  
Пьет росу и слезы солнце  
И отраду дарит нам.  
Этой встречи прямой страсти,  
И блаженству, и любви  
Мы сегодня сопричастны,  
Почитатели твои.  
Но смотри: на небосклоне  
Радуга—Ириды дар.  
Где легки шаги влюбленных,  
Там плетемся мы едва.  
Сладкий трепет грудь наполнил,  
Чтобы в песне прозвучать,  
Рафаэль, прими корону,  
Разреши тебя венчать.*

Песня удалась на славу и произвела желаемое воздействие: Рафаэль назвал нас соловьями—мол, он слышал наше пение, но не видел, как мы работали ночью. Он позволил девушке надеть на себя венок и расцеловал всех, хотя Гита едва могла скрыть свою досаду. Чтобы утешить ее, я впилел в ее волосы самый роскошный букет цветов, который когда-либо был составлен. Это ее развеселило, и она устроила народный танец, который исполняла с необычным изяществом, с легкостью, будто она на наших глазах сбросила с себя лет двадцать, что же и говорить о глазах Рафаэля, какой должен был он увидеть ее сквозь заколдованные очки? Одна из моих любимых кузин, которая занималась гаданием, выступила вперед, попросила уставших от танца протянуть ей руки и стала читать по ним и предсказала, что Гита умрет в большой набожности, а Рафаэль—с седыми волосами, окруженный своими детьми. Рафаэль при этом покачал головой: он всегда торопился со своими работами, так как боялся умереть, не доведя их до конца, хотя он опасался не какой-нибудь болезни, но угасания небесного огня под гнетом земных забот. С чего бы взяться такой тревоге? Возможно оттого, что его образ жизни вовсе не соответствовал требованиям того небесного огня и любое напоминание об этом печалило его. Подобные мысли не омрачали Гиту, о будущем она думала не больше, чем люди перед грехопадением, она протягивала свою руку не для гадания, а за бокалом вина. Рафаэль радовался ее жажде жизни, он приказал принести лучшие вина, и так наше торжественное собрание закончилось дикой вакханалией—Гита забралась верхом на Джулио, и он катал ее по саду—так они изображали кентавра. «Это милые дети,—сказал Рафаэль,—если им не перечить. Художник смотрит на мир особым взором, подмечая то, что можно потом нарисовать, и теперь я убедился: любое событие должно сначала по-настоящему произойти в мире, чтобы потом стать картиной, чьей-то выдумкой. Если бы я не видел этого шествия, я не смог бы выдумать вакханалию. Дай мне угля: стена сада должна сохранить память об этом, но не копировать то, что мы видели сейчас».

Спустя какое-то время, думаю я, Рафаэль захотел отыгаться за наш праздник в саду, поскольку на стене спальни—а она была обделана новыми досками—тайно, когда никто не видел его за работой, появлялись новые картины, которые, несомненно, вышли из-под его кисти, хотя подобные сюжеты были для него нехарактерны. Я ни слова не говорил об этом, напротив, делал вид, что ничего не замечаю. Но однажды утром я застал Рафаэля в непривычно раннее время перед этими картинами в удивлении, как будто он видел их в первый раз, он лишь качал головой и потирал лоб. Завидев меня, он восклицает: «Есть второй Рафаэль, подумай только, обезьяна рисует! Посмотри внимательно, я сам бы принял это за свою работу, если бы не знал, что не сделал ни мазка, а Гита поймала его с поличным. Посмотри, тут хорошо все, кроме самого главного. Здесь ты четко можешь видеть, в чем отличие звериной натуры: она здесь становится единственной сущностью, а все духовное—блеском и иллюзией, это очень трагические картины и их можно назвать почти продолжением моей Психеи, после того как она навсегда соединилась с крылатым богом».

Я не знал, что думать и что сказать. Я был убежден в том, что обезьяна не могла так рисовать, но никто другой не мог так рисовать кроме Рафаэля, а Рафаэль не принял бы всерьез упреков, если бы сюжет не понравился некоторым людям, и уж тем более не стал бы из-за этого сочинять небылицы о возникновении этих настенных картин. Нашему Джулио такие проделки были не чужды, но он не мог создать такой линии, такого цвета. Раньше для меня все было объяснимо, а теперь я стоял перед замурованными воротами и нигде не мог найти выхода. Время покажет, подумал я и не заботился более о таких тайнах, поскольку Рафаэль направлял всю мою фантазию на то, чтобы ежедневно устраивать новый праздник для своей возлюбленной. Это беспокойство, казалось, причиняло вред его здоровью; но он утешал меня предсказанием, которое я сам ему привел,—надеялся на детей и седые волосы и говорил, что причина его усталости—нудная писанина и обременительные счета, которые он должен был сам просматривать по вечерам из-за переносающегося строительства церкви Петра, хотя обычно этим занимались подмастерья. Счета, торговлю и прочие дела, которые для меня были игрою, он не перекладывал на меня в этот раз из-за ответственности перед церковью, хотя ему это было очень тяжело, а свои собственные деньги он с легким сердцем доверял мне. Таланты-то у всех разные! Самый трудный рисунок не стоил ему стольких усилий, как складывание длинной колонки цифр, и этим мы, люди незначительные, можем утешиться, ведь у нас есть свои достоинства и дарования. Рафаэль сидел, слепой и поте-

рянный, за своими бумагами или искал среди старых обломков мрамора, вырытых для строительства, достойные внимания скульптуры, а Гита за его спиной тем временем флиртовала с Джулио, его любимым учеником, или слушала дьявольские выдумки Пьетро Аретино, на совести которого, собственно, было развращение Джулио, — именно он подбивал его увековечивать кистью каждую дерзкую шутку, приходящую кому-нибудь в голову. Этот Аретино не стеснялся высмеивать лучшие работы Рафаэля, а Рафаэль улыбался и не говорил ничего, кроме: «Таковы поэты, они открывают рот, чтобы сказать все, что дьявол шепнул им на ухо». Потом он спокойно работал дальше, как будто ничего не слышал, но утверждал, что ему полезнее слышать такие упреки, чем хвалу всего мира. Но он был чересчур дотошным и всегда находил какой-нибудь неверный штрих, например, где ржавчина чуть тронула стальной клинок.

Все друзья Рафаэля постепенно стали друзьями Гиты, она умела каждого расположить к себе в нужный момент своей особой манерой. Она и ко мне сумела подобраться, я сам не знаю, как, одним словом, у меня скоро тоже не стало глаз, я носил свои собственные очки и прислуживал ей со всем усердием, когда был свободен от службы у Рафаэля. В этом вы не можете меня упрекнуть, ведь я ел ее волшебный хлеб. Сам мудрый Фабио из Равенны, которого Рафаэль называл своим ученым отцом и без которого он не предпринимал ни одной работы большого объема, заверил его: у Гиты был только один недостаток, а именно то, что она не была Рафаэлю законной супругой.

Почему Гита, к удивлению Рафаэля, отвергала честь супружества с ним, хотя он неоднократно ей это предлагал, оставалось для меня загадкой, поскольку ее отговорка, которой он и сам не очень-то верил, — не мешать в его перспективах на кардинальскую шапочку — вызывала и мои подозрения. В равной мере удивляло меня и то, зачем она дважды скрыла от Рафаэля, что, казалось, ожидала прибавления, и каким образом исчезали эти надежды, а страстное желание Рафаэля иметь детей так и не было исполнено. Я вызвал ее на откровенный разговор, но она отрицала все и утверждала, что согласно пророчеству Рафаэль должен быть осчастливлен детьми только в более зрелые годы, так как он умрет в окружении своих детей.

## К Преображению Рафаэля

**В**ы, наверное, уже догадались, что человек столь проникательный, как Рафаэль, за время двухлетнего общения с Гитой должен был наконец-то увидеть ее изъясны, вот только не могу Вам точно сказать, когда это произошло. Я и сам узнал об этом случайно во время визита, который нанес нам знаменитый художник Фра Бартоломео из Флоренции. Когда Рафаэль жил во Флоренции, он был очень дружен с Бартоломео. Рафаэль учился у него колориту, Бартоломео у Рафаэля — перспективе, которая тогда для многих была своего рода тайной. В мрачном настроении, которое было свойственно Бартоломео, он почувствовал непреодолимое влечение повидать своего друга, и Рафаэль предложил ему пожить у него. Оба казались очень радостными и помолодевшими благодаря долгожданной встрече, и Рафаэль сокрушался только о том, что чрезмерное количество работ не оставляло ему много времени, чтобы полностью посвятить себя радости общения с другом. Тот пытался вновь заняться живописью, после того как долгое время он от нее отрекался, из-за чувства, что она греховна. Но напрасно Рафаэль считал грехи Бартоломео выдумкой. В этом он совсем не знал своего друга, иначе не поселил бы его у Гиты. Я в первый же вечер заметил, что она восприняла Бартоломео как свою собственную и приняла его соответственно. Она сразу же поняла, что тот был словно составлен из двух совершенно различных частей: из головы святого и тела Бахуса. Чересчур крепкое телосложение не гармонировало с бледностью его впалых щек, и поэтому его строгие речи ее вовсе не отпугнули. Она попросила фра стать ее духовником, сославшись на то, что прежний священник оглох настолько, что даже покаяние принимал за рассказ о добрых делах. Так наш брат Бартоломео на следующее утро был назначен отцом-исповедником, а вечером он должен был играть жреца на жертвоприношении, который они организовали в честь обнаруженной Рафаэлем статуи Юпитера. Джулио внушил доброму Бартоломео, что это святой, поэтому его не мучи-

ли угрызения совести, когда они забили молодого бычка перед его изображением и поджарили себе на ужин лучшие кусочки на жертвенном огне. Аретино пел при этом песни, в которых наш брат, так как греческий и латынь остались для него чужими, не понимал ни слова. Однако я узнал от Джулио, что в них шутивно воспевался триумф старой веры, которая завоевала столь набожного черного монаха. Рафаэль неожиданно присоединился к празднеству, он непривычно рано ушел от кардинала Библины из-за поручения к Бартоломео: тот должен был выполнить на заказ две картины. Он посмеялся над странными церемониями, спросил, что это означает. И когда Бартоломео представил ему Юпитера как святого, он ответил: «Хоть он и не святой, но сама идея хороша. Кто способен оценить такие идеи, может набожно почитать его наравне с другими, эти изображения – тела, не обремененные уродством, и они тоскуют по душе, не обремененной грехом, я еще покажу миру, как можно взглянуть на эти старые образы, ведь они – часть его, и без ложного стыда приукрашают славу церкви». Бартоломео ничего не понял из этого, зато сказал, что ему не терпится начать работу над новыми картинами, заказанными кардиналом.

Спустя какое-то время Рафаэль поделился со мной своими сомнениями: он не знал, что и думать о друге Бартоломео, который в своих картинах, несмотря на все прилагаемые усилия, не выказал никакого прогресса. Наверное, ему мешали ежедневные покаяния, бичевания и коленопреклонения, к которым фра относился слишком серьезно. Рафаэль все чаще предлагал Бартоломео написать картину вместе с ним, но тогда Бартоломео бросался ему на шею и говорил, что не заслуживает такой милости. Бартоломео то предлагал ему совершить обряд обручения с Гитой, то настаивал на том, чтобы он ее покинул, после того как ему рассказали об Андреа дель Сартто, как тот доверил деньги, которые дал ему король Франции на покупку картин, своей расточительной жене, и из-за этого потерял свою добрую славу. Рафаэль тоже привел несколько примеров проклятой супружеской жизни: он рассказывал историю доброго немецкого мастера Дюрера, который чуть богу душу не отдал из-за того, что жадная жена все время подгоняла его в работе; вспомнил, как назойливая жена превратила нашего церемониймейстера Париса де Грассиса во всеобщее посмешище, мешая ему проводить торжества. Тогда я заверил его, что Гита великодушно отказывалась от всех брачных предложений. «Возможно, – продолжил он, обращаясь ко мне, – сегодня мы убедимся, прав ли Джулио в своих догадках по поводу фра. Я не останусь сегодня, как сначала говорил, на вилле, я хочу тайно вернуться в город вместе с тобой. Не будем терять времени!»

Рафаэль был совершенно чужд тайной слежке, и, предчувствуя, чем закончится этот поздний путь, я последовал за ним, когда стемнело, в дом, который устроил он для себя и Гиты. В комнате Бартоломео горела лампа, и два силуэта, словно тени, двигались вверх и вниз. «Уже время для сна, – вздохнул Рафаэль, – неподходящее время для исповеди, теперь я готов поверить, что и Бартель знает, где можно всласть полакомиться. Но даже если я должен спать в эту ночь на гравии, я не хочу ему мешать. Это вознаграждение после стольких ударов бича, он долгие испытывал жажду, пусть хоть раз напьется допьяна, возможно, это первые для него часы блаженства, ведь я наслаждался многим. Уверен, что его картины теперь пойдут на лад».

Зная его пылкую страсть к Гите, я удивился этому безразличию, казалось, он не замечает, что происходит нечто из ряда вон выходящее, он был спокоен и уговорил уличного музыканта одолжить ему цитру за пару монет. «Никто из вас прежде не слышал моего пения, – сказал он, – и я ни на что не претендую, просто спою для вас что-нибудь». Едва он взял несколько аккордов на цитре, оба силуэта подошли к окну, доверчиво скрестили руки и поцеловались. Мы узнали обоих, и Рафаэль запел:

*Я кинжалом трону струны –  
Голос мой пропитан ядом.  
Но не грома грозным шумом,  
Не вулкана жарким чадом –  
Пусть любовью эти звуки  
Успокоят гнев и муку.*

*Одари благим забвеньем,  
Тех, кто полон наслажденьем.  
В этом сладостном обмане  
Благороднее пусть станет*

*Тот, кому прощенья счастье  
Выше ревности и страсти.*

Казалось, они были так поглощены друг другом, что не слышали слов, прозвучавших внизу, и лишь знакомый мотив, на который пел Рафаэль, растревожил их чувства, а он продолжал:

*Что не выразить словами,  
За меня расскажет песня,  
Пылок жар ее лобзаний,  
Но она не любит сердцем,  
Простодушна, словно дети,  
Все слова ее – на ветер.*

*Красота на трон вступает  
И собирает дар любви.  
В восхищенье расцветает –  
Увядает взаперти.  
Красотой нельзя владеть –  
Можно лишь ей гимны петь!*

После этих или подобных слов – а я вас уверяю, что в таких вещах я не отличаюсь точностью, но охотно вспоминаю обо всем так, как мне больше нравится, – он вернул цитру незнакомцу, а тот спросил его, не нужен ли ему хороший клинок, если да, то он рад услужить. Рафаэль с удивлением посмотрел на него, и узнал своего мастера по фехтованию – он его как-то рисовал. Этот смелый человек – звали его Пантормо – воспользовался доверием, которое ранее связывало его с Рафаэлем, чтобы разъяснить ему, что тот подарил свою склонность недостойной особе, вместе с тем он спросил, не видел ли он племянницу кардинала Биббиены, которую тот не прочь с ним обвенчать. Рафаэль уверил его, что знает о легкомысленности Гиты и рад был бы познакомиться с племянницей кардинала Биббиены, поскольку никогда не упускает подобных случаев, но та, по словам кардинала, согласилась на встречу с ним только при условии, что он откажется от других женщин. В этом требовании заключалось нечто невозможное для него: отдать все, что связывало его с миром, за нечто неопределенное, незнакомое. Мастер фехтования высказал мнение, что, возможно, племянница кардинала не так уж ему незнакома, как он думает, может, он помнит ее – ведь он же приходил в тот монастырь, который недавно открылся. Рафаэль спросил его, смеясь, уж не принимает ли тот его за подкидыша, которого нужно принести в дар *Богородице без младенца*. «Разве Вы никогда не были в этой церкви, – спросил мастер фехтования, – а вот многие ваши картины там выставлены». «Мои? – спросил Рафаэль, – первый раз об этом слышу». Фехтовальщик заверил, что эти картины именно его кисти, и извинился, что не сможет его сопровождать, поскольку ранним утром он должен был вернуть кардиналу Биббиене лошака, которого его преосвященство предоставил ему на время для верховой езды. На этом он откланялся, и Рафаэль сказал мне, скорее в рассеянности, чем в ожидании необыкновенной находки: «Пойдем-ка в монастырскую церковь, она, кажется, открыта, странно, что она так близко от нас, а мы там еще ни разу не были». На самом деле ничего странного в этом не было, так как Рафаэль был слишком занят, а я слишком ленив, чтобы обходить все окрестные церкви. Маленькая церковка была еще открыта, возможно, для того, чтобы украсить новой картиной алтарь боковой капеллы.

Рафаэль взглянул при свете свечей на картину, которая висела наверху, и с удивлением спросил меня, не он ли это нарисовал. «Возможно, – дерзко ответил я, – но наверняка прежде, чем я к вам поступил». «Если бы это нарисовал я... – вздохнул Рафаэль. – Я хочу познакомиться с мастером; скорее всего, эскизы к этим картинам я посылал в Нидерланды, чтобы по ним изготовили гобелены, но это не моя работа». Теперь я рассмотрел картины внимательнее и обнаружил большую серьезность, но меньшую живость лиц, нежели это было свойственно Рафаэлю. На центральной картине я увидел Христа, в образе садовника представшего перед Магдаленой. Он – поправший смерть, она – отринувшая грех. Он светлый и прозрачный, почти лишенный плоти, как больной, исцелившийся, выздоравливающий от страшного недуга, после тяжелой болезни, она, напро-



тив, впитала в себя всю животворящую силу земли, но и тот и другая словно цветы спасенного мира.

По обе стороны картины было изображено вифлеемское избиение младенцев, но ужас смертного насилия был побежден утешением, исходящим от центральной картины. «Если бы у Луиджи еще были его глаза,—сказал Рафаэль,—я бы подумал, что он так разыграл меня—шутка ли, превзойти меня в моих собственных картинах. Я спросил одного из рабочих о художнике. Он ответил, что художника, жившая в монастыре, нарисовала эти и прочие картины. В это время Рафаэль подошел к главному алтарю, где я и нашел его коленапреклоненным. Не поднимая глаз, он указал мне на алтарь—и я увидел мраморную статую в голубой одежде, которая показалась мне совершенной, но не произвела сильного впечатления. Рафаэль молча поднялся, схватил меня за руку, прижал ее к сердцу и повел меня к большому фонтану, где освежился глотком воды из пригоршни. Я попросил его быть любезным и объяснить мне, что все это значит. «Все, что я пережил в юности,—воскликнул он возвышенным тоном,—снова ожило в моей душе! И это должно быть совпадение, что именно сегодня эта статуя предстала пред моим взором в образе Небесной царицы, которой в Урбино я надел кольцо на палец! И этот палец, кажется, предупреждал меня не откладывать более мое главное произведение, «Преображение», которое кардинал Медичи заказал мне уже давно, а я все не решался его начать. Незвестный художник пробудил во мне духовные силы и желание создать нечто подобное!»

С этими словами он сел на край колодца и водил в задумчивости своим посохом по освещенной луной водной поверхности. «Мне сопутствует удача!—сказал он спустя некоторое время, полный воодушевления.—Я вновь вижу голубой воздух с легким золотистым облачным покровом, как однажды это было над домом возлюбленной, мне явился Господь с Моисеем и Илией, а внизу для нас был открыт весь земной мир, который поднимется по бесчисленным ступеням в веру и сомнению». Я упал ему в ноги и попросил, чтобы он сам выполнил эту работу, его ученики не смогли бы схватить это настроение, они бы разрушили столь глубокомысленное произведение буйством красок. Он погладил меня по волосам и сказал, что так и будет, если проклятая слава даст ему хоть немного времени, но он не мог отказывать просьбам людей, которые льстили ему, он брал слишком много заказов, и самая сложная работа на первых порах, в пылу воодушевления, казалась ему безделицей. «Возможно, будет время,—прибавил он,—когда я смогу рисовать одну картину за несколько недель, как Леонардо да Винчи, только если со мной не случится того же, что и с Луиджи, который из-за неверности своей подруги выплакал себе глаза! Пойдем к нему, я должен рассказать ему о моем Преображении, он видит все с такой живостью, что любое упущение сразу же заметит». «Но ведь сейчас ночь,—возразил я. «Он не знает этого в своей слепоте,—продолжил Рафаэль,—и запретил всем говорить о пути солнца и времени суток, он спит, когда его принуждает к этому утомление, и то лишь несколько часов».

Я предложил Рафаэлю отдохнуть, но он и слышать об этом не хотел. И мы поспешили вверх по маленькой улочке к Луиджи—у него была квартира в доме с садом. Он узнал наши голоса при первом же оклике, открыл нам двери нажатием ручки и поприветствовал нас в комнате, не вставая с места. «Добро пожаловать!—воскликнул он.—Одинокий кое-что затеял: он лепит из глины лица, которые он желал бы видеть рядом, вы найдете Рафаэля и мастера Пьетро такими, какими они были прежде». Рафаэль с удивлением осмотрел свое юношеское изображение и сказал: «У юности и красоты есть только один недостаток: они проходят». Луиджи продолжил: «Это были счастливые времена; тогда люди гадали, что из меня получится, а когда я оцупываю твое лицо, Рафаэль, я думаю, что в тебе еще много талантов осталось нераскрыто.

*О, если знал бы человек,  
Какой ему предписан век,  
Не стал бы смерти он бояться,  
Ведь жить—блуждать и заблуждаться.  
Жить—значит, время тратить зря,  
За это рок благодаря.  
Судьба над нами вновь вершит  
Расправу, жизнь—лишь смерть души.  
О, если знал бы человек,*

*Куда привел его наш век,  
Он убежал бы за моря,  
В иные, теплые края.  
Здесь – в пятнах и луна и солнце,  
И человек вот-вот споткнется,  
Ведь мир, где множество углов,  
Опасен для слепых глупцов.*

Тем временем Луиджи положил свои руки на лицо Рафаэля и сказал ему, что тот, кажется, нездоров – видно, снова переусердствовал. Рафаэль подтвердил это и рассказал ему о своем замысле Преображения. Луиджи весь обратился в слух – казалось, он все видит своим внутренним взором; слепой поделился своими мыслями, даже сделал несколько набросков на доске и, наконец, сказал, что это трудная задача. От этой работы его отвлекли две женщины – они робко позвали его и попросили целебное средство для больного. Рафаэль спросил его, не принял ли он духовный сан и не о соборовании ли идет речь. «Недаром, – ответил Луиджи, – в юности меня называли гением. С тех пор как из-за плохого врача я лишился глаз, я принялся за изучение медицины и теперь хорошо разбираюсь во врачебном искусстве, насколько позволяет острота моих прочих чувств». И он стал искать лекарство. В это время Рафаэль спросил его, не слышал ли он об одаренной художнице, которая жила среди милостивых сестер. «Уж не племянница ли кардинала Библиены?» – поинтересовался Луиджи, и Рафаэль в смущении замолчал.

После того я пошел с Рафаэлем на виллу, где мы прохрапели целый день, утомленные после ночного бдения. В полдень нас разбудил кардинал Библиена, потом он заперся с Рафаэлем. После его ухода Рафаэль рассказал мне, что Бартоломео из-за угрызений совести подумался исповедаться кардиналу в блаженстве, которое он испытал этой ночью, и по его совету покинул Рим. Потом он в нерешительности добавил, что кардинал и от него добился обещания покинуть Гиту, в тот момент ему легко было сказать это, а сейчас кажется невозможным, он жив ее хлебом, он работает ради ее похвалы, без ее благодарности он стал бы посмешищем для мира, погрузился бы в ничегонеделание и начал бы презирать самого себя. «Пусть Микеланджело утверждает, – сказал он, – что искусство – его возлюбленная и ему не нужна никакая другая – ведь к сивиллам и пророкам не нужно залезать в окно, – но тот, кто желает раскрыть величайшую тайну мира, не может от этого мира отгородиться; настоящему художнику недостаточно одной анатомии, он должен стремиться постичь гармонию души и тела, чтобы вдохнуть жизнь в мертвое полотно. И даже если опасность велика и лишь немногим удастся без вреда для того и другого достигнуть цели, я не могу иначе, с тех пор как Бенедетта потеряна для меня. Гита все-таки лучше, чем прочие, которых я знал, и если я опьянен дурманом, то развезть его может лишь тот, кто его навел. Она отдалась мне не ради тщеславия или денег, ей незнакома пустая тоска и недовольство, ее бытие есть наслаждение, и только полнота ее любви вынуждает ее к расточительности. Она дарит наслаждение и другим – но ведь я могу уделять ей так мало времени! Она не вмешивается в мое искусство, но умеет вдохновить меня, она заслоняет от меня заботы будней, она не стремится управлять мной, и я не нуждаюсь в том, чтобы властвовать над ней. Она то мое тело, то моя душа. Но она никогда не будет сразу и тем и другим. Она – земля, которая меня носит, с Бенедеттой я мог бы только летать, но кто не знает, что нельзя летать вечно».

С разинутым ртом я слушал это изливание сердца, я удивлялся, так как теперь мне стало понятно, что ее неверность давно не была секретом для него. Теперь он стал более искренним со мной и советовался, как мириться с маленькими слабостями Гиты и уберечь ее от себя самой. Я должен был тайно смешивать вино с водой, чтобы она не злоупотребляла им, или, как он выразился, чтобы вино не вредило ее здоровью, и не держать дома много бутылок. Настольную игру я должен был прятать от нее – ведь подмастерья только вытягивали из нее деньги, еще я не должен был впредь впускать женщин, которые одалживали ей что-либо под залог. Наконец он попросил меня сыграть роль ее возлюбленного, так как после той ночи он опасался серьезных вышней от кардинала. Я пообещал выполнить его поручения и разложить свои граверные доски между комнатами Рафаэля и Гиты.

Гита, которая боялась более серьезного наказания за свое прегрешение, после того как кардинал: пригрозил ей цепями и веревками, безропотно приняла это

маленькое изменение домашнего распорядка, поскольку знала, что может вертеть мной, как ей угодно.

В это время Рафаэль закончил эскиз к «Преображению». Был вечер, и по небу пронеслась бродячая звезда. Он воскликнул, что тогда, когда он видел Бенедетту в последний раз, пролетала похожая комета. Я сразу же использовал это для изящной выдумки и громко спел:

*Звезду вновь я вижу,  
В ночной глубине.  
Она с вышины  
Стремится ко мне.  
Зловещих знамений  
Бояться не стоит:  
Народ ждет сражений—  
Я жажду покоя.  
Другие ждут новых,  
Опасных времен,  
Звезда лет прошедших  
Пусть светит в мой дом!*

Ему понравилась эта выдумка, а в таком настроении он охотно думал о новых работах. Он вспомнил, что монахи из Пьяченцы заказали ему нарисовать Мадонну с ребенком в божественном явлении святому Сиксту и святой Варваре. Как было заведено, я положил перед ним чертежную доску, подточил мелок сангины и гладко зачесал его непослушные волосы, подобные вихрям косматой звезды, чтобы на его лбу можно было видеть божественный огонь, сравнимый с огнями святого Эльма на мачте во время бушующего шторма. Когда он задерживался за работой дольше обычного, я музицировал в соседней комнате и приносил воду со льдом и фруктовым соком, чтобы он освежился. Тогда он спрашивал у меня, видно по своей доброте, совета, утверждая, что я вижу лучше, чем профессиональный художник, поскольку я не был связан школами и методами. Если я качал головой, он какой-то миг смотрел на меня очень зло и говорил, что на меня невозможно угодить, как бы он ни изнурял себя работой и, наконец, он и сам знает толк в своем деле. Но потом он признавал, что я, возможно, прав, и, так как речь обычно шла лишь о незначительной детали, он пробовал нарисовать позу или одежду прямо с меня, а я уже настолько привык к этому, что мог быстро снять свою одежду или переодеться, будто хотел прибавить к комедии «Каландрия» косоного кардинала Библиены еще одно скучное действие. Что мне рассказать Вам об этой проклятой комедийной истории, наш Рафаэль унижался до того, чтобы делать эскизы декораций и костюмов, поскольку ученые утверждали, что это была первая правильная, настоящая и стройная комедия. Я упоминаю об этом только для того, чтобы сказать, как Рафаэль отдавался всему, и продолжаю рассказывать о том, как создавались крупные работы. Когда я не мог быть натурщиком—Вы знаете, что я достаточно плотного сложения и едва ли гожусь в Аполлоны или в святые,—тогда я должен был подбирать ему кого-нибудь из моей семьи, а мои драгоценные родственнички предпочитали праздность работе и представляли большую ценность, чем закрепленный проволокой скелет, который изготовил для себя Микеланджело. Рафаэль говорил тогда в большом удивлении: «Даже если этот висельник уже трижды побывал на галерах, не погас в нем отблеск божественного огня, праведник не представляет себе, как много можно увидеть в лице самого страшного грешника, а художник обладает способностью различать истинную сущность человека, которая отражается в его внешности, и те страшные следы, которые оставили на его лице блуждания вдали от путей господних». Так я нашел для него модели Варвары и святого Сикста для работы над картиной, которую заказали в Пьяченце, и рассчитался несколькими пригоршнями каштанов и монетами с моим старым дедушкой и невесткой, когда спросил, должен ли я впустить модель для Богородицы. «Не нужно,—сказал он с несвойственной ему проникновенностью,—прекрасное побеждает просто красивое, и с тех пор как я увидел мраморную статую и явно представил себе, как Пречистая из своего небесного владения с любовью взирает на мир, я не могу думать ни о какой другой модели для святого образа. Никогда Бенедетта не была величественнее, чем в то далекое утро, в своем утреннем одеянии она не шла, а парила, и божественная гармония ее тела превосходила земные представления

о прекрасном. «Неужели, — с удивлением спросил я, — она была так же совершенна, как ее образ, который вы нарисовали на доске?» Рафаэль подпер рукой подбородок, посмотрел в пространство и воскликнул: «О да, именно так она выглядела бы сейчас. Если бы она только жила!» «О, если бы я мог вернуть ее вам, — воскликнул я, — я бы отправился за ней к самой смерти!». Рафаэль вскочил и с мрачным видом стал ходить туда-сюда. Потом он сказал: «Когда-то, пока меня охраняла ее близость, и я был добрым ангелом, но сейчас я не смог бы вынести ее живого присутствия. Только воспоминания, только воссозданный образ по силам мне. Со мной происходит то же, что и со многими из тех, кто любит искусство картинами, а доведись им пережить чудесные события, которые на этих картинах изображены, они, слабые, бежали бы прочь, они отвернулись бы, как тот на моем Преображении. Лик Бенедетты действительно прекрасен, он задумчив и полон чувственности — прости меня Господь, если я кощунствую, мне кажется, даже Бог не смог бы устоять перед мольбой этих кротких глаз, я уверен, она — истинная заступница наша. Но если бы я должен был рисовать только Пресвятую Деву, я не выдержал бы. Поэтому иногда меня радуют порочные, безбожные рисунки, ибо они освежают меня. Мой отец в его олимпийском спокойствии мог работать в одном направлении, я должен был следовать его примеру, чтобы достичь той вершины, которая доступна только чистому душой человеку. Но я поддался дьявольскому искушению: я хотел писать то как один художник, то как другой, и чувствовал, что легко могу подражать чужой манере. Так я потерял что-то свое, стал не совсем Рафаэлем: только одну руку я протягивал своему ангелу-хранителю, а другую я протягивал какому-нибудь нечестивцу. А теперь слишком поздно!» Я обнял его колени, я умолял его отринуть это грустное настроение, которое, в конце концов, должно было его раздавить. Даже для святого, говорил я, в нем самом еще достаточно материала, у него еще есть время вернуться на перекресток, где расходятся пути. «Я привык к хлебу, — ответил он, — к хлебу Гиты, это отвращает меня от хлеба жизни, я следую за ней, как рыба на крючке. Я хочу терпеть боль и страсть, но мир не должен догадаться об этом по моим работам, я хочу отдать ему все, что во мне осталось хорошего».

После таких речей я был просто потрясен тем, что в заново обустроенной спальне, куда я как мнимый поклонник Гиты переселился теперь с моим граверным прессом, появлялось все больше непристойных картин, изображавших языческих богов, и эти картины неумолимо указывали на кисть Рафаэля, хоть он и не уставал повторять, что рисовала их «обезьяна». Еще более удивляло меня то, что картины рисовались ночью, но не было слышно ни единого шороха. Хотя с ранней юности мой сон был здоровым, но в то же время очень чутким. Я знал воров, которые могли погрузить в сон сторожевых собак своим дыханием, и тогда у меня закралось подозрение, что со мной происходит нечто подобное. Еще одно обстоятельство нас горюжило меня. Никто, кроме меня, не умел открывать подвал и чулан — замки были с очень хитрым секретом, — и все же по ночам эти замки открывались и закрывались, а по утрам я недосчитывался вин и яств. Однажды я решил выяснить, что происходит на самом деле, но как только Гита с двумя старухами уехала спать в соседней комнате (так объясняла она свое бодрствование) — я заснул, несмотря на твердое намерение не спать. Возможно, каждый раз случалось нечто подобное, и мне не было позволено приподнять эту завесу тайны. Но однажды ночью мне пришла на помощь слепота Луиджи. Он взялся доставить Рафаэлю через одного больного немецкого мастера подарок от знаменитого Альбрехта Дюрера — автопортрет в цвете на пергаменте на фоне Нюрнберга. Луиджи не знал, день сейчас или ночь, и, поскольку двери дома Рафаэля были открыты — Гита выскользнула через них к любовнику, он поднялся по лестнице, по которой забирался и я во сне с ключами от погреба. Он доверительно прикоснулся ко мне и этим разбудил, я подумал, когда проснулся, что повредился в уме, и напрасно пытался рассудком понять, как я дошел до такого состояния. Он не мог понять моего удивления и спросил, где Рафаэль, который должен был объяснить ему эту странность. Так он прошел — без моей помощи — в комнату, ранее отведенную под спальню, где обезьяна тренировалась в живописном искусстве, а теперь там была моя постель. С удивлением я увидел, что Рафаэль лежит на моей постели в красном халате, а обезьяна в платье пекаря, вся измазанная в муке, усердно рисует под светом яркой лампы, засучив рукава. В соседней комнате я увидел рядом с веретеном, оставленным Гитой, замешенное тесто, которое быстро подходило. Я остановил Луиджи, чтобы он не наделал шума. Казалось, Рафаэль с закрытыми глазами видит все, что делает обезьяноподобное существо, и он командовал, как полководец. «На правой ноге, —

кричал он, —добавь белого, и больше красного в тени!» Автомат исполнял все очень точно, и что-то от Рафаэля было в его кисти. Я прошептал об этом Луиджи на ухо, и когда он услышал о веретене в соседней комнате, он заверил меня, что разобрался во всем, и сразу попросил меня только порвать нить на веретене. Стоило мне сделать это, и так называемая обезьяна бросила палитру и муштабель и в ужасе юркнула в свой уголок, а Рафаэль даже не пошевелился. Луиджи подошел к нему и поздоровался с ним, сказав что-то вроде «Утренний час дарит золотом нас» — так они приветствовали друг друга в молодости. Рафаэль проснулся, обрадовался его приходу — ведь он редко нас навещал, и пожаловался, что его замучил кошмар, будто он преподает целой стае обезьян, которые выдают себя за его учеников. Луиджи сказал, что это могло быть и явью, и объяснил, что Дюрер передал ему автопортрет через одного большого немецкого мастера, который называл себя Бебе и был родом из Нюрнберга — он был племянником знаменитого художника. «Ach, mein Bruder!» — воскликнула так называемая обезьяна в углу. Страдание вырвало из груди «немного» эти немецкие слова, смысл которых понял только я один, поскольку я почти выучил этот тяжелый язык благодаря занятиям с двумя учениками Маркантонио. «Ты умеешь говорить, — сказал я ему по-немецки, — сейчас же признавайся, кто ты!» Я вытащил его наружу и подвел к столу, на котором лежал развернутый изящный акварельный портрет Дюрера на фоне Нюрнберга. Когда он увидел этот рисунок, из его глаз градом полились слезы, он судорожно ухватился за Рафаэля и стал так же ужасающе разговорчив, как прежде был молчалив. Вам будет достаточно одного отрывка, в котором он рассказал обо всех своих жизненных невзгодах. «Бебе, — рассказывал он, — зовут моего брата, Бебе звали моего отца, Бебе зовут меня. Мы все пекари по рождению и только через нашего дядю по материнской линии, через великого Дюрера, мы приобщились к ремеслу художника. Посмотрите, вот на картине дом, где я родился, высокая труба выходит из пекарни. Мой отец и моя мать крепкого телосложения, таким стал бы и я, если бы по недосмотру меня не положили бы в печь вместо колыбели. Из-за этого я вырос маленьким и несколько невзрачным, хотя дух мой всегда стремился к великому. Красота Гиты сделала меня ее пленником — я познакомился с ней, когда приехал в Италию для изучения живописи, восхищенный этюдами Рафаэля, которые я видел у мастера Дюрера. Как художник я нашел у нее скромный прием, но зато как пекарь, когда я показал ей искусство моего отца по части сладкой выпечки, вызвал всеобщие аплодисменты. Из-за этого она решила выйти за меня замуж, но при условии, что я буду жить в ее доме не как супруг, но как немой слуга и помощник, и не стану вмешиваться в ее образ жизни. Бедному плохо испеченному Бебе и это было за счастье — ведь без посторонней помощи, при своем телосложении и редкой неспособности к итальянскому он вряд ли смог бы добиться успеха в Италии. Но мало того: благодаря связи Гиты с Рафаэлем мне посчастливилось учиться у него и рисовать вместе с ним. Об одном я молю вас теперь, не мешайте бедному Бебе в его счастье, не выдавайте Гите, что он проболтался, защитите его, если она узнает об этом благодаря своему искусству.

Едва он закончил свой рассказ, как в комнату вошла Гита, которая представления не имела о происходящем, очень нарядная, но с растрепанными локонами и уставшими глазами. Только на один миг она, казалось, застыла в изумлении, а потом расхохоталась. Рафаэль сразу засмеялся вместе с ней, казалось, при ее виде он забыл весь свой гнев, к тому же он надел свои очки, чтобы лучше ее видеть. Луиджи не смог сдержать своих упреков из-за волшебного веретена, которые сделали меня и Рафаэля лунатиками, и из-за того, что она обращалась со своим супругом и покровителем как с домашней обезьянкой. Гита угрожающе ответила: «Он проболтался, и между нами все кончено! Я только по доброте своей так долго терпела рядом с собой такое невыносимое существо». Бебе хотел сначала показать свой гнев, но в комическом прыжке бросился ей на шею и поклонился, что не может расстаться с ней, даже если бы она заставила его играть роль более неприятного животного. Луиджи стало ясно, что Рафаэль ничего не сделает для своего спасения, и он ушел, в надежде, что это сможет повлиять на Рафаэля — но тот, кажется, вовсе и не заметил ухода друга. При таких обстоятельствах я счел нелишним на всякий случай заключить мир с привлекательной колдуньей и спросил, не желает ли она освежиться после такой беспокойной ночи. Когда она приветливо кивнула мне головой, я расстелил скатерть на портрете Дюрера и принес то, что оставил, когда мне помешали в моем гипнотическом блуждании, — несколько бутылок, перепелиный паштет и варенье. Рафаэль наполнил стаканы, провозгласил тост за тайнство любви, а Гита спела своим глубоким и приятным голосом песню примерно такого содержания:

*Вы, кого я целовала,  
Вдруг грозите мне судом,  
Будто вас околдовала,  
Завлекла обманом в дом?  
Вы меня нарисовали,  
Сделав образ мой святым,  
И мою любовь узнали –  
Расплатиться чем иным?*

*Ворожить и мне позвольте,  
Хватит колдовства на всех!  
Опьяненные любовью,  
Не бранили вы мой грех.  
Так прославьте это благо:  
Тайну красоты храня,  
Ваши кисти, ваши шпаги  
Пусть послужат для меня!*

*Вы меня казнить готовы  
Или в море утопить?  
Вам, похитившим мой облик,  
В пустоте меня винить?  
Разорвать вы нить решили,  
Что прядла я по ночам.  
Если вы вдруг разлюбили,  
Я-то чем виновна вам?*

*Ведьма женщина любая,  
С нежностью вершим обряд,  
Чудеса вам открываем,  
Вы боитесь: это яд.  
Позабыты поцелуи,  
И уста у вас – что лед,  
Где Амура лишь зову я,  
Там мерещится вам черт!*

Бебе и Рафаэль одновременно попросили прощения, меня же охватил ужас, поскольку в некоторые моменты мне казалось, что Гита на моих глазах превращается в черного козла, а Рафаэль ласкал ее и Бебе был на коленях у ее ног. Меня отправили прочь.

Утром все выглядело так, как будто ночью ровным счетом ничего не произошло, все шло своим привычным ходом. Я заметил, что Рафаэль полностью отдался работе, чтобы забыть об этих событиях. Но Луиджи не успокоился на этом – он рассказал обо всем кардиналу Библиене. Тот попросил передать, что захворал, поэтому не мог бы Рафаэль принести «Мадонну со святым Сикстом» к нему домой и закончить ее там. Рафаэль должен был выполнить эту просьбу и прокричал картине с незнакомым мне доселе отвращением: «О, Савонарола, как часто я надсмехался над тобой, что ты довел флорентийцев своей обличительной речью до того, что они сожгли лучшие картины на кострах на рыночной площади! Если бы я мог разжечь такой огонь изо всех моих греховных произведений, который смог бы очистить меня и мир! Но они уже не принадлежат мне, и всем прилежанием я не смог бы так много заработать, чтобы выкупить их и уничтожить. Но и тогда, эту, единственную, я уберег бы от огня!»

Рафаэль приходил домой по вечерам бледный и измученный, и я ужаснулся тому, что его волосы, которые я обычно расчесывал по вечерам, перед тем как надеть шелковую шапочку, – его прекрасные темные волосы стали наполовину седыми. Он сказал мне тихим голосом: «У меня два сына, ты только подумай, какое счастье. Я нарисовал их сегодня, не зная об этом». Я сразу подумал, наверное, из-за седых волос и детей, о зловещем предсказании, задрожал, но постарался скрыть это. Он продолжил: «Ты удивлен! Да, это прелестные мальчики, ты можешь увидеть их на картине с Мадонной и святым Сикстом, внизу, там, где меня раздражало пустое пространство, там стоят они, облокотившись, и смотрят

вверх, милые дети с яркими крыльями. Я увидел их перед картиной, они обращались к моей Деве как к своей матери и точно так же облокотились на стул. Я не знал их, но они вписывались в картину, принадлежали ей, должны были быть на ней, я нарисовал их на одном дыхании. Когда я нижняя часть картины была готова, вошел кардинал, казалось, он был смущен, и отослал детей. Потом он спросил, хотел бы я, чтобы это были мои дети. Я ответил, что это сделало бы меня счастливым. Он посерьезнел, повернул меня в другую сторону и проговорил: «Это и есть твои дети. Прими их из руки, которая их оберегает». Я посмотрел туда, и как явление там стоит та, с которой я нарисовал Небесную царицу, живая женщина рядом с образом, а на ее пальце поблескивает то самое судьбоносное кольцо, которое Бенедетта получила от статуи. Она подводит ко мне детей, она показывает мне кольцо; это Бенедетта!—я едва могу рассказывать об этом, так сильно бьется мое сердце. Кардинал напоминает мне, что я обещал жениться на его племяннице, оказывается, что Бенедетта и есть его племянница! Что ж,—говорю я ей,—раз у нее мое кольцо, она может взять и мою руку. Она просит меня не торопиться, она навеки связана со мной кольцом и мыслями, но сомневается, могу ли я теперь быть связан с нею. От нее я узнал, что это дети Гиты: и одна старая женщина положила их в руки Богородицы без младенца—дядя Библиена привез эту статую из Урбино в Рим, когда еще не был кардиналом, и ее поставили в новой церкви милосердных сестер. Оказалось, что это была та же самая статуя, которая одарила Бенедетту кольцом, набожные люди украсили ее, а Бенедетта—посвященную ей церковь, она рисовала картины на мои сюжеты».—«Удивительно,—сказал я Рафаэлю,—а мы совсем забыли эту мраморную статую и все эти образы!». «Я не забыл,—возразил Рафаэль,—ибо я видел, как она рисовала тарелки, подражая мне, но я боялся признаться самому себе, что это она. А теперь в один миг все встало на свои места, и недоставало только ее согласия обручиться со мной, хотя дядя заметил, что только из-за склонности, которую она питала ко мне, она не приняла постриг. Он напомнил ей о том, как она заботилась о моем доме, словно ангел-хранитель, каждый день молилась за меня и плакала. Но она оставалась непоколебимой в своем намерении разорвать пути греха, которые связывали меня с безбожной, считая это своим единственным долгом. Благодаря тому, что я услышал и узнал, была разорвана завеса, я понял, что хлеб порчи удерживал меня от хлеба милости, и без сознания упал я к ногам Бенедетты. На меня опустился долгий тяжелый сон. Я видел во сне себя супругом Бенедетты, божественно-чистая стояла она рядом со мной, и это было для меня чистилищем. Она была вознесена над земными желаньями, она возвышалась надо мной, как снежная гора, никакой вымысел не мог приблизиться к ее величию, искусство исчезало со всеми его соблазнами, добро и зло были для меня одинаково далеки. Меня охватила тоска по греху, мне невыносимо хотелось заполнить пережитую пустоту, мне снилось, что я бросаюсь в Тибр—и я проснулся. Я понял, что провел в этом состоянии всего пару часов, а казалось, что прошли многие годы. Поддерживающие лекарства Луиджи вернули меня к жизни, но я тянулся сильнее, чем когда-либо, к еще более живительным поцелуям Гиты, я боялся, что эта власть исчезнет только вместе с жизнью!» В этот момент Гита из соседней комнаты робко позвала Рафаэля по имени. Я опасался, что она подслушивала нас, но не сомневался, что Рафаэль не обратит теперь никакого внимания на ее зов. Но казалось, при звуке ее голоса все добрые его намерения исчезли. Он сказал, что должен посмотреть, почему она зовет его с таким страхом, но я задержал его. Она позвала в другой и в третий раз. Он хотел вырваться, но я был сильнее. Он послал меня ко всем чертям и сказал, в соседней комнате могло что-то случиться. Тогда я вспомнил крестное знамение и заговор, которые применял мой кузен, капуцин. Черт явно понимал эти загадочные слова лучше, чем я, Рафаэль сдался и остался. Но черт хотел мне помешать. Он поднял ураган на улице и бросил в оконные стекла дождь. Он вышел из Тибра в облике высокого седого человека, укутанного в водяной смерч, показывая небу красный язык пламени, и проскользнул маленькой летучей мышью в разбитое окно. Я боялся этого существа, меня трясло, но я собрал все свое мужество и крепко пригвоздил его ножом к двери и окунул в сосуд с масляным лаком, от чего тот испустил дух. Я и сейчас могу показать Вам его как доказательство моей правдивости—я победил черта и прогнал его из мира, ведь о нем с тех пор и говорят гораздо меньше. И пусть господа естествоиспытатели будут утверждать, что это была обычная летучая мышь, каких не счесть, я знаю то, что я знаю, и как она превращалась на моих глазах!

Во время моей битвы с чертом вошла Бенедетта с Луиджи и духовником. Я сразу узнал ее по картине, передал ей почтенного мастера и продолжил свой крестовый поход против дьявола.

Духовник должен был по просьбе Рафаэля, который чувствовал себя очень слабым, посмотреть, где Гита. Выяснилось, что ее едва не убил разгневанный Бебе, которого она в наказание за его болтливость хотела запереть в печи. Ему удалось убежать через окно, прихватив с собой большую папку с рисунками Рафаэля, которые потом я видел в Германии, купленными за большие деньги. Луиджи тем временем влил Рафаэлю укрепляющего лекарства, а Бенедетта на коленях молилась за него. Что было дальше, я не могу рассказать, поскольку духовник, который с большим удивлением отметил мою храбрость в сражении с чертом, доверил мне Гиту, с тем чтобы я незамедлительно доставил ее к милостивым сестрам, чтобы они исцелили ее израненное тело и больную душу. Но когда я вернулся, то застал Луиджи у постели Рафаэля в яростном споре с мастером Галеном, лейб-врачом папы, которого тот послал для спасения Рафаэля, не подозревая, что этим обрекает его на погибель. Я слышал, что Гален принадлежит к врачам, которые сначала пробуют одно, а потом прямо противоположное. Он похвалил укрепляющее лекарство Луиджи, но прописал кровопускание и расслабляющие средства. Луиджи хотел остановить его, но Гален вспылил из-за того, что Луиджи не отвечает той же вежливостью, которую он сам выказал по отношению к его предписаниям. Бенедетта была погружена в глубокие раздумья о глупости людей, которые так много забываются о здоровье тела, а здоровью души едва ли уделяют внимание. Рафаэль попросил Луиджи доверять ученому Галену, как себе самому. Хотя Луиджи и не успокоился, что мог он, бедный слепец, противопоставить Галену, который думал, что *видит*, доверие высокопоставленных лиц к нему сделало его почти равным им. Луиджи только ощупал голову Рафаэля и сказал: «Я хочу сохранить ее, когда все ее разрушают». Он ушел, ведомый своей верной собакой, и сразу же принялся за работу, и изображение, созданное им, вернее всего передает черты Рафаэля, каким он был в последние дни.

Вопреки заверениям Галена у Рафаэля с каждым часом поднималась температура. Однажды ему показалось, что он выздоравливает, и он вернулся к Преображению, но силы скоро покинули его. Он еще раз приказал протянуть ему зеркало и удивился своим седым волосам, показал на детей, которые его окружали, и тогда вспомнил о предсказательнице. Потом, казалось, он потерял представление о том, что его окружает, из его речей мы поняли, что он духовно присутствует при страданиях Господних в Иерусалиме. Он описывал то, о чем говорится в Библии, и то, что могло бы быть в ней, и его рассказ был настолько убедительным, что мы прониклись его верой. Наконец, Рафаэлю привиделось, что и он испытывает крестные муки, ибо затмил славу всех художников, что были до него. А когда стемнело, он услышал утешающие слова Господа, что и в раю они будут вместе.

Так умер Рафаэль, на 37 году своей жизни, в 1520 г. от Р. Х., в тот самый день, в который он появился на свет: в Страстную пятницу. Вы были на похоронах и видели «Преображение» — последнюю работу покойного. Рим вымер на несколько часов, чтобы присягнуть мертвому в своей печали, а люди искусства совершали паломничества к его могиле, как грешники к могилам святых, чтобы его творческая сила снизошла на них. Но только Бенедетта в одиночестве монастыря достигла того, что было недоступным для прочих в суетном мире, — на нее перешло вдохновение Рафаэля, и святые картины, созданные ею, продаются теперь как его работы.

Я был хорошо обеспечен согласно последней воле Рафаэля, так как он завещал мне большую часть медных гравюр, которые были его собственностью, хотя вырезал их Маркантонио. Я путешествую по разным краям, продаю эстампы и распространяю славу Рафаэля. Что мог лучшего я сделать на земле? Это приносит мне пользу, ему честь, и, кроме того, все мои рассказы — чистейшая правда.

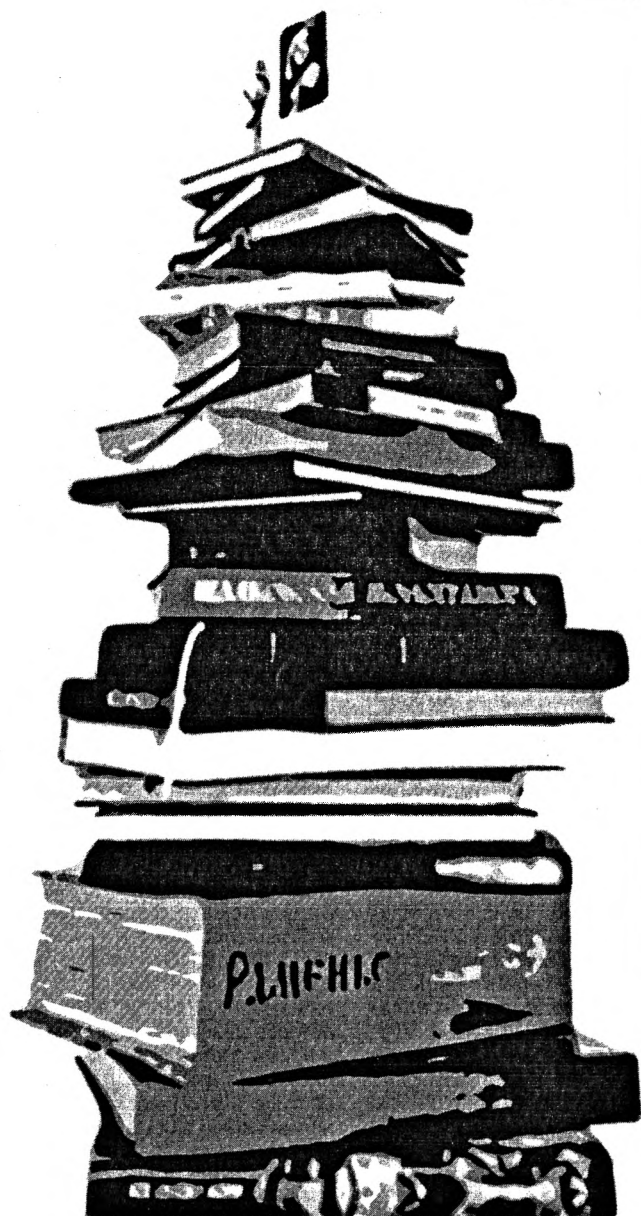
После моего повествования о жизни Рафаэля Вам будет что рассказать о художнике в кругу знатоков — то-то они удивятся тем тайнам, которые стали Вам известны. А теперь я перехожу к тому, чтобы в нескольких мазках показать вам, что в жизни и великопепных работах мастера достойно похвалы, а что — упрека.

(А наш рассказ на этом прерывается, ибо подобных отзывов — более чем достаточно.)

Перевод  
Марины Куличихиной



# Литературная критика



Марта Антопичева

## Наши другие берега

**Берега: Литературно-периодическое издание молодых писателей Поволжья. Вып. 1, 2007.**

**У** всех на слуху Форум молодых писателей России. Каждый год там собираются прозаики, поэты, драматурги, переводчики, критики со всех регионов России. Порой для них это мероприятие — единственная возможность быть услышанными, прочитанными, обсужденными. Многие воспринимают эту возможность как шанс «попасть в литературу». Важное наблюдение писателя: «Я вдруг представил, как тяжело быть не таким, как все, в провинции, где этого не понимают совсем. <...> Это ведь важно — осознать себя как личность, как значимую единицу» (А. Бабченко. Писатель не маргинал, даже если не пишет детективы // Новая газета. 23.11.2006).

Мало кому пока известен Форум молодых писателей Приволжского федерального округа. Провинциальных авторов, о которых так точно выразился А. Бабченко. Большинство участников форума приезжают из разных городов России, некоторые из очень далеких. При этом некоторым авторам кажется, что если бы они жили, например, в Москве, то их писательская судьба складывалась бы гораздо успешнее. Вопрос очень спорный и, по-моему, совершенно некорректный. Но, к сожалению, такая точка зрения уже существует. Хотя начинает постепенно изживать себя.

Следующим шагом после организации Форума молодых писателей Приволжского федерального округа стал выход демоверсии первого номера литературного периодического издания молодых писателей «Берега». Журнал выходил в 2006 году в электронном формате, на cd. Нестандартный, как может показаться, формат ничем не проиграл многим бумажным периодическим изданиям.

Выпуск подобного журнала говорит о многом. Прежде всего, о появлении

очередного доказательства отсутствия территориального центризма в литературе. Где бы ни жил человек и чем бы он ни занимался, он может добиться успеха. Это было доказано результатами Форума молодых писателей России, это пытается доказать Форум молодых писателей Приволжского федерального округа.

Что же представляет собой проект «Берега»? Прежде всего, это периодическое издание, которое не боится новых имен и ориентируется прежде всего на них. Предел охвата — Приволжский федеральный округ. Насколько жестко это ограничение? Не сильно. Предел допуска существует во всех изданиях. В «Берегах» это рубрики «Гость на Берегах» (в демоверсии опубликованы стихи А. Нитченко, лауреата премии «Дебют» 2005 г.), «Взгляд» (в этом номере читаем любопытную информацию о курсах подготовки молодых специалистов на «Мосфильме» и знакомимся с точкой зрения на современный российский кинематограф известного режиссера, генерального директора киноконцерна «Мосфильм» К. Шахназарова).

Номер являет собой широкое поле литературных практик — поэзия, проза, драматургия, детская литература, критика. Большинство авторов номера — участники Первого форума писателей Приволжского федерального округа, который проходил в г. Саранске осенью 2006 года. Это неудивительно, ведь идея создания подобного периодического издания родилась именно там. Поле авторов действительно очень обширное, и правы составители, говоря: «молодым писателям нужен свой журнал, который не будет бояться идти на риск, предлагая новые имена, новые лица, смелый язык и свежий взгляд на реальность, который донесет до достаточного круга читателей тексты и не даст им затеряться».

Тексты уже публиковавшихся в «толстых журналах» и получавших премии-стипендии-дебюты авторов соседствуют с произведениями практически неизвестных литераторов. Первых, конечно, меньше. Поэтическая подборка радуется своей разноплановостью: лиричность поэзии А. Каримовой соседствует с жестким и ироничным мировосприятием А. Евстратова, экзистенциальной предельностью и болезненностью интонации М. Багаутдинова, суровой акмеистичностью Е. Канайкиной, типично русской традиционностью поэзии Р. Кошкина и многих других. Не уступает ей и проза. Глава из повести И. Богатыревой «STOP! или Движение без остановок» (части повести были представлены в номинации «малая проза» на «Дебюте»—2006, части повести были опубликованы в пятом номере журнала «Октябрь» за 2007 год), где ключевой темой является путешествие авто-стопом; рассказ-пьеса О. Ефремовой «Люди чрезвычайных ситуаций»; очень спорный рассказ Г. Павлоида «Шахидка», получивший специальную премию «За остроту и злободневность» в рамках литературного конкурса «Исламский прорыв» (в нем принимают участие произведения, связанные с исламской проблематикой); игровой рассказ «Это» начинающего прозаика С. Кукушкиной; «производственный рассказ» в стилистике 60-х Д. Липатова; часть повести «Ангелы над Израилем» уже сложившегося прозаика А. Фуфлыгина о пространстве детства. Детская литература также разнопланова по своему посылу—с одной стороны, серьезная попытка С. Тремасовой совместить этнические элементы в рамках повествования для детей (народные традиции, деревенское мировосприятие, притчевость), с другой—игровая проза Ж. Николаевой. Чего стоят одни только названия—цикл «Зверские сказки» или рассказы «Никогда не надевайте галстук с рогатыми собачками», «К чему приводит глотание табуреток», построенные на логике абсурда, алогичности, игре слов.

31 марта—1 апреля 2007 года в рамках программы мероприятий «Года чтения и русского языка» в Ульяновске состоялся Литературный праздник, организованный Координационным советом молодых писателей Приволжского федерального округа. Был проведен Турнир поэтов, в котором могли принять участие все желающие, как из Ульяновска, так и из других городов. Ключевым мероприятием в рамках праздника стал круглый стол «Молодая литература ПФО: тенденции, направ-

ления развития». В нем приняли участие губернатор Ульяновской области С. И. Морозов, помощник губернатора Т. В. Сергеева, представители органов государственной власти Ульяновской области, члены Координационного совета молодых писателей ПФО, представители литературных объединений Ульяновска и Димитровграда. Это мероприятие стало начальным этапом для дальнейшего развития проекта.

Специально ко Второму форуму молодых писателей Приволжского федерального округа, который прошел в сентябре 2007 года, из печати вышел уже «полноценный», бумажный, журнал «Берега» на высоком полиграфическом уровне. Этот номер был специальным, первым, так называемым «Саранским», так как основа произведений, на которых он строился,—это творчество жителей Саранска (Е. Канайкиной, Д. Фролова, С. Тремасовой и др.).

В замысле участников Координационного совета—выпуск подобных сборников в каждом округе Приволжья. На сегодняшний день уже готовится к выходу самарский номер, в ближайшем будущем планируется выпустить еще и ульяновский номер.

В Нижнем Новгороде с успехом прошла презентация бумажной версии «Берегов» в формате литературной беседы, когда наряду с презентацией авторы, жители Нижнего, читали свои произведения и делились собственными суждениями о литературе и творчестве. Об успешности замысла говорит и тот факт, что главного редактора «Берегов», Ирину Богатыреву, сразу после выхода журнала пригласили в качестве участника на мастер-класс для редакторов толстых литературных журналов, который в ближайшее время пройдет в Перedelкинe.

В последнее время молодые авторы перестали жаловаться на свою судьбу. Все полубессознательные попытки идеализации советской модели, когда писатель представляется сытым, довольным, сидящим на своей даче в Перedelкинe и ничего не делающим, порождают какие-то болезненные фантазии у молодого поколения, стремящегося к этому шаржированному идеалу. И происходит своеобразное замещение, когда творчество подменяется деятельностью, направленной на собственную выгоду. Подобное отношение к писательскому труду говорит, прежде всего, о провинциальности воспринимающего, где бы он, замечтавшись, ни находился—в Подмоскoвье или в Нижнем Тагиле. Под провинциальностью понимается свойство сознания,

ментальная категория, а не географическое явление.

Множественность точек зрения на мир говорит не только о том, что все мы индивидуальны и мировосприятие каждого из нас уникально. Не толь-

ко об этом. Скорее о другом. О том, что на сегодняшний день существует широкий круг авторов, которым есть чем поделиться, о чем рассказать. Нужно только перестать лениться. И начать читать.

Алексей Александров

## «Абзац» как альманах и проект

**Абзац: Альманах. Вып.1—Тверь: Издатель Алексей Ушаков, 2006; Вып. 2—Москва, 2007.**

«Абзац» — это издание с симпатичным оформлением, намекающим на содержание альманаха (многократно напечатанное мелким шрифтом слово «полный» в качестве фона на обложке), намеренно нерационального масштаба со всеми признаками литературного проекта. Правда, концепция этого проекта тяжеловата. В самом деле, «теперь, когда 90-е закончились, появилась возможность осмыслить этот опыт и воплотить в художественной форме» (из редакционной статьи второго выпуска) — такая идея в качестве объединительной хороша, но, на мой взгляд, слишком уж неподъемна для пары номеров. Для решения задачи такого рода необходим проект размаха «Вавилона», который, собственно, ее и решал до своего закрытия, да и времени прошло слишком мало, чтобы понять, в чем именно проявляются эти самые «особенности мировоззрения нынешних «тридцатилетних». Впрочем, редакция альманаха вполне осознает сложность выбранной эстетической концепции — чтобы убедиться в этом, достаточно почитать статью Даниила Давыдова «Поколенческая утопия как способ выхода».

Вообще альманах не столько благодаря теоретическим выкладкам, сколько именно за счет художественных текстов вполне отображает общую картину литературного процесса уже нашего времени. Умная поэзия, неровная, оттого нервная, эпатирующая все и вся проза — такое соотношение сил было характерно и для 90-х, и для 2000-х. Ироническое отношение к мифологии советской или постсоветской эпохи вряд ли способно долго продержаться в качестве главной темы, грядут времена, да, собственно, они уже и наступили. Тем интереснее, чем станет «Абзац» — лет так через пять, хотя я отдаю себе

отчет, что такой срок по литературным меркам немалый и не всякое издание способно его пережить.

Тем не менее, вот уже в двух номерах «Абзаца» опубликованы весьма любопытные, а местами и вовсе замечательные стихи и проза авторов из Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова и Твери. Интересны попытки исследовать некоторые культурные феномены эпохи 90-х, так, в первом номере альманаха мое внимание привлекло эссе Анны Голубковой о творчестве лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, во втором выпуске «Абзаца» напечатана целая серия критических материалов о романе «Dухless» Сергея Минаева.

В альманахе для разборчивого читателя есть публикации на любой вкус. Перечислю, что понравилось более всего мне как читателю — стихи Евгении Вежлян, Егора Кирсанова и Даниила Файзова, Дмитрия Григорьева и Андрея Емельянова, замечательные хайку Марины Хаген. Из прозы, пожалуй, впечатлили рассказы Дмитрия Данилова.

Многие из перечисленных, равно как и другие авторы альманаха, печатаются в толстых журналах, имеют изданные книги стихов и прозы. Так что «невысребренность» этих писателей слегка, скажем, преувеличена. Но я не думаю, что это повод для убийственной критики всего издания в целом. В пику множеству альманахов, созданных для отражения интересов какой-то части литературной среды, изданий в силу этого недолговечных, у «Абзаца» есть что развивать и куда продолжаться. А претензии к альманаху как к «поколенческому» проекту, хотя, на мой взгляд, и обоснованы, но никак не мешают оценить высокий художественный уровень его содержания.

# Говорить и быть

Данил ФАЙЗОВ. Переводные картинки.—  
М.: Арго-риск; Книжное обозрение, 2007.

Данил Файзов — культуртрегер Москвы и Вологды. Вместе с Юрием Цветковым Файзов является организатором творческой группы «Культурная инициатива», проводящей поэтическую жизнь в Москве, организующей ее и всячески о ней заботящейся. Файзов приписывает себя (или приписан другими, что не очень-то здесь и важно) к направлению, называемому *киберпочвенничеством*. Участник всех без исключения литературных фестивалей — в Москве, Нижнем, Калининграде, Екатеринбурге, Саратове. Кроме того, периодически участвует в слэм-овых выступлениях на Украине. В силу рода занятий (и — что важнее — характера) знаком и состоит в дружеских отношениях с поэтами самых разных лагерей и сословий. После достаточно длительного периода организации, выступлений и общения наконец-то случилось — Дмитрий Кузьмин в своем издательстве «Арго-риск», совместно с издательством «Книжное обозрение» выпустил книгу Данилы — в «поколенческой» серии, выпуск шестнадцатый (до этого там значились Дина Гатина, Ксения Маренникова, Юлия Идлис, Марианна Гейде, Анна Русс и другие). Событие должное и, прямо-таки сказать, даже запозднившееся — в силу того, что стихи Файзова известны большинству поклонников современной поэзии из первых уст. Не последнюю роль в этой известности сыграли хорошая манера чтения (не случайно слэм-овое влияние) и выбор тем для стихов. Особенно выделяется и запоминается, конечно же, цикл *Reset*, посвященный компьютерным играм. Хотя Файзов как таковой — не в этом. Он, если позволите употребить не свойственное здесь слово, экзистенциален и во многом депрессивен (мягкая форма: грустен). Как тот самый бычок, который идет, шатается. И нет доске конца. И при всем при этом хорошие манеры и челка в пол-лица, улыбка как улыбка, развязанный шнурок.

После выхода книги Файзова уже появилось несколько откликов, характеризующих его даже как «лидера андеграунда». Так пишет некий Дмитрий

Силкан в «Независимой газете» («Поэтический накал лидера андеграунда»: [http:// exlibris. ng. ru/ fakty/2007-09-27/3\\_nakal. html](http://exlibris.ng.ru/fakty/2007-09-27/3_nakal.html)). Файзов там «стреляет в слушателей чеканными поэтическими станцами», отчего присутствующие теряют возможность цепляться за «концептуальные грани строк». И т.д. Речь идет о презентации книги в клубе «Жесть» 18 сентября, где — силой обстоятельств — побывал и автор данного текста. Там, помимо представления автора Юрием Цветковым, выступления редактора и издателя Дмитрия Кузьмина (напомнившего слушателям о том, что такое переводные картинки, в связи с чем упоминалось, что Файзову есть что переводить и самое главное — куда), Файзов прочитал всю вновь вышедшую книгу плюс несколько текстов, которые — по разным причинам — в книгу не вошли. Он был грустен. Это запомнилось точно. Жаль, что автор вышеупомянутой статьи не видел Файзова в ударе, на каком-нибудь фестивале. Видимо, его бы хватил удар или накал не выдержал бы, перегорел. На то Файзов и называется там «урбанистическим пифием» (?).

Здесь не хотелось бы составлять разбор или анализ книги Файзова, но лишь высказать некоторое впечатление, которое, вполне возможно, к Файзову имеет незначительное отношение, но вызвано почему-то именно *его* творчеством — и ничем более. Кроме того, это впечатление вновь и вновь настоятельно заявляет о себе именно при обращении к творчеству этого молодого поэта. Только одно впечатление — и ничего сверх того.

Конечно же, в разговоре о поэзии приходится выбирать определенный ключ, который предоставит возможность приоткрыть особую дверь, ведущую к любому мало-мальски значимому высказыванию. В случае Файзова хотелось бы выбрать тему *детства*. В ее отношении можно провести одно существенное различие, которое распределено бы по разные стороны стиха две стратегии: *говорить* о детстве и *быть* ребенком. В обыденном пребывании

мы несомненное преимущество отдаем второму—*быть* ребенком, оставляя за *разговором* лишь рефлексию взрослых, обусловленную и спровоцированную тем, что они как раз *не могут уже быть* детьми—и, посему, им остается *говорить*. Речь о детстве во многом противоречива, и основанием для этого выступает в первую очередь изначальное опоздание взрослого к тому, чтобы ребенком быть. Там, где нельзя быть, остается говорить (случай речи ребенка о своем детстве во многом выглядит умильным образом, который, будучи очередным изобретением взрослых для собственного предохранения от мести убитого детства, лишает ребенка права на существование высказывание в принципе).

Если же теперь от обиденного пребывания перейти к случаю поэтического, то тут заявленная оппозиция, как кажется, уже не работает: в позиции нам вообще даны лишь слова, разговор—и не более. Говорение о детстве выдает себя за ребенка, но в этом самом *выдает* за скрывается неочевидный переход, которому мы *никогда* не поверим. В этом случае нами правит лишь общая договоренность полагать, что так оно и есть: если поэт говорит о детстве, то детство становится *предметом* разговора, но сам поэт именно в силу *присутствия* этого предмета *отсутствует* в своем ребячестве.

А теперь представим себе, что может быть поэзия, которая, оставаясь *говорением*—то есть принадлежностью взрослого по преимуществу (ребенок не говорит, но лишь лопочет, болтает, выдумывает и т.д.), совершенно неизвестным образом создает впечатление бытования ребенком—но не в своем *предмете* (что у Файзова также случается, *ностальгически*), а в стихотворении *как таковом*. Не автор стиха, не сюжет стиха, но *сам* стих бытует ребенком—вопреки всей невозможности этого, поскольку остается говорением взрослого. Причем впечатление это автором не создается, автор, что называется, о другом вообще говорит. И поэтому автор такого стихотворения не является отцом этого ребенка. Точнее, если он и является отцом, то лишь того, что он *создал*, но не того, что *создалось* и *создается* самим стихотворением. Это—случай Файзова.

Стихи Файзова—это дети, но дети не своего автора, а *дети как таковые*—изначально и навсегда. Они живут в мире, где нет места взрослым даже в качестве богов этого мира, даже в качестве богов Эпикура. Обращение к маме и никогда обращения к отцу—

это не связь мира детей с миром взрослых, как связь стихотворения с поэтом, но скорее наоборот, указание на окончательную закрытость этого мира, о котором можно сказать лишь одно: он есть. Искать причины детству как таковому в родителях или обстоятельствах, или в устройстве общества, культуры, политики, искусства—бессмысленно. Оно есть—и всё. Это, кстати, не значит, что оно вечно—нет, просто оно может быть, а может и отсутствовать—безо всяких переходов туда и обратно. Хоббиты здесь не ходят и мировая история учит иному, чем Толкиен и Ле Гуин. И, опять же, никто в последнем обстоятельстве не будет виноват. Просто детства не будет так же, как оно только что было. Это *самое так* же как раз-то невыносимее всего. В случае поэтическом, в случае Файзова, детство есть самым невероятным образом—через тоталитарно захваченную взрослыми прерогативу говорения. Стихи Файзова взламывают взрослость на ее же территории, являясь своего рода саботажниками, перед которыми речь как таковая, речь как речь взрослых, оказывается полностью безоружной—далеко от линии фронта, в скучном и плесневелом, пропитом и выжженном взрослом тылу. Ваше величество, вы голый. Ваша супруга ушла на блядки.

И тогда занавески комнаты дрожат и шепчут: мы еще повоеем. Это же так легко и просто. И мертвый ребенок, убитый нами в каждом из нас, вдруг против нашей воли тянет руку к детству, которое здесь есть, но взрослый чувствует лишь зудящее желание помочь Файзову стать взрослым, чтобы не задевал, чтобы не травмировал, не разрывал зарытое и уже не существующее, но—при всем при этом—наше самое настоящее, детство. Комбре Пруста взорвано во время Второй мировой, а потому не надо говорить о платье герцогини в деревенской церкви. Не надо о цветах шиповника. Даже о печенье и чае—*не надо*. Но поэт провоцирует взрослого и не дает взрослому шанса, прикрываясь охраняющей и консервирующей сентиментальностью, присвоить уже однажды и навсегда убитое—собственное детство, точнее, собственную *детскость*. И не надо Файзову помогать взрослеть. Он сам сделал нас детьми. Он сможет погрузиться в отчаяние взрослых по пояс и даже по грудь—но он легче воды, легче себя самого. Легче взрослому в себе—а потому у нас нет шансов сделать его повзрослевшим. Файзов ускользнет: пациент (нужное подчеркнуть) жив, болен, смешон, расстроен.

# Выход ученого

**Эмилий АРБИТМАН. Жизнь и творчество Н. Н. Ге. – Волгоград: ПринТерра, – 2007.**

Так сложилось, что фамилия Арбитман стала более известна благодаря Роману, тогда как имя его отца, искусствоведа Эмилия Арбитмана знакомо узкому кругу его коллег, да еще музейным работникам Саратова. Волгоградское издательство сделало доброе дело, переиздав монографию Эмилия Николаевича о Николае Ге, дополнив издание его статьями и снабдив обстоятельным очерком жизни и творчества ученого, написанным Ефимом Водоносом.

Рецензировать эту книгу должен, конечно, искусствовед. И я уверен, что, подобно первому изданию «Жизни и творчества Н. Н. Ге (Саратов, 1972)», новое также вызовет немалую прессу. Тем более что известную монографию (в 1979 году Э. Арбитман блестяще защитил в МГУ написанную на ее основе кандидатскую диссертацию) дополнили разбросанные по различным изданиям статьи. Можно было бы и этот состав расширить, включив многие рецензии ученого, в частности напечатанные в 90-е годы в журнале «Волга».

Повторюсь, что мне, как неспециалисту, доступен лишь субъективный читательский взгляд, предполагающий жанр разрозненных заметок. Вот они.

Ефим Водонос называет громадной удачей Эмилия Николаевича его «выход на творчество Н. Н. Ге». Но почему он на него вышел?

У меня, до работы Э. Арбитмана, не было особого интереса (не говоря уж об увлечении, какие я пережил, скажем, В. Серовым, Б. Кустодиевым, Б. Григорьевым) к этому художнику. Творчество Ге дробилось на разрозненные фрагменты. Так, у меня раздельно существовали классически-мастерская «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» и невнятная, как мне казалось, «Что есть истина?», а «Тайная вечеря» никак не сопрягалась с гениальными портретами Герцена и Толстого, изумительным портретом дочери писателя Марии Толстой. Еще я что-то знал об особых отношениях Ге и Толстого, о шумном и разноречивом восприятии русским обществом картины «Что есть истина?». Вот, пожалуй, и все.

Возьму на себя смелость утверждать, что большинство знает о Николае Ге не больше моего.

Так вот, работа Э. Арбитмана настолько глубоко погружает в личность и творчество художника, что прочитавший ее уже не останется безучастным к имени Ге. Без ухищрений, внятно, очень выразительно исследователь проходит со своим героем долгий путь обретений и потерь, попутно разворачивая исторический – художественный и политический контекст, множество связей, параллелей, из которых самая важная, конечно, Ге и Толстой.

При чтении «Жизни и творчества Н. Н. Ге» мне становились понятны те противоречия его поисков, которые я обозначил выше как «разрозненность». Николай Николаевич, подобно великому своему другу, не желал быть сколько-нибудь удобным для восприятия, ему претил путь постепенного восхождения к вершинам мастерства. «Редко кто способен, как Ге, сказать всякому правду, не ощипывая ее кому-либо в угоду», – заметил Н. С. Лесков.

Сравнивая, скажем, творческие судьбы Ге и Репина, нельзя не отметить принципиального отличия их: неровности, мучительных метаний первого, и ровной поступательности второго.

Среди тех немногих современников, кто понимал и во многом разделял духовно-нравственные и художественные поиски Ге, был самый, по моему убеждению, независимый из русских писателей, до сих пор недооцененный (как и Ге) Николай Лесков.

Взаимоотношения писателя и живописца посвящена статья «Н. С. Лесков и Н. Н. Ге», публикуемая в приложениях. Любопытно, что противоположность позиций Репина и Ге Лесков усматривал и в личном поведении каждого. Он писал Льву Толстому уже после смерти Ге: «Я (...) убеждаюсь в огромных преимуществах Ге над всеми людьми его среды. (...) Он (Стасов) меня уже вопрошает, когда они были лакеями (в известном, конечно, смысле), а я не знаю, когда они таковыми не были. И если бы не были в смысле подхалимства перед «заказчиками», то были

«художественные нахалы». Ге ушел от всего этого и на прощанье со мной радовался на Валентина Серова, который отказался от должности в Академии художеств... (...) А 70-летний Шишкин, и Репин, и В. Маковский все «свиной поперли» и будут ходить в мундирах и «вицмундирных фраках».

Арбитман продолжает мысль писателя: «Голос Лескова звучал одиноко. Ге не был понят своими временем, был отвергнут им». Вот здесь, как мне кажется, я понял причину «выхода» Эмиля Арбитмана именно на Ге.

Кроме статьи о Лескове и Ге, в приложениях печатаются статьи «Художник М. В. Нестеров»: поиски духовной

сущности», «А. П. Чехов и В. А. Серов», «Алексей Петрович Боголюбов», «О картине «Виленские евреи» М. П. Клодта». «Раннее произведение Г. Г. Мясоедова», «Художник-саратовец Василий Коновалов». Все они существенно и естественно дополняют работу о Ге. Жаль лишь, что среди цветных репродукций в книге не оказалось полотен ни Нестерова, ни Серова, ни Боголюбова, ни Клодта. Особенно недостает работ малоизвестного саратовца Василия Коновалова.

Нельзя не пожалеть, что книга «Жизнь и творчество Н. Н. Ге» была в свое время (1968) отвергнута редакцией ЖЗЛ.

## Роман Арбитман

# Элементарно, дорогой Холмс!

**Джулиан БАРНС. Артур и Джордж: Роман. – М.: АСТ, 2007; Череп Шерлока Холмса: Сборник. – М.: Форум, 2006; Калед КАРР. Итальянский секретарь: Роман. – М.: Эксмо, 2007; Мария ГАЛИНА. Солдат Ее Величества//Мария Галина. Берег ночью: Сборник. – М.: Форум, 2007.**

**А**ртур Конан Дойл умер, но дело его живет.

Те, кто думает, что уже все знает о Шерлоке Холмсе и его творце Артуре Конан Дойле, сильно заблуждается. Издательство «АСТ» выпустило перевод романа англичанина Джулиана Барнса «Артур и Джордж» – произведения, любопытного по многим причинам. Во-первых, книга попала в шорт-лист прошлогоднего Букера и была, по мнению экспертов, в одном шаге от премии. Во-вторых, роман написан на грани между «серьезной прозой» и The Entertainment – умение, недоступное для большинства букеровских финалистов (как по ту сторону Ла-Манша, так и по эту). В-третьих и в главных: появление сегодня в качестве главного героя-сыщика литературного отца «холмсианы» собственной персоной, весьма симптоматично.

Образу частного детектива, применяющему дедукцию и развлекающемуся опиумом и игрой на скрипке, в разные годы отдали дань Джон Диксон Карр и Стивен Кинг, Роджер Желязны и Куин Фоссетт, Филип Жозе Фармер и наш Илья Варшавский, и еще многие другие.

Детектив нередко был уже замешан на фантастике и мистике (в новелле упомянутого Варшавского, к примеру, Холмс оказывался роботом, которого ученый-самоучка Ватсон пытался продать Скотленд-Ярду).

В конце минувшего года в Нью-Йорке увидел свет сборник «Призраки Бейкер-стрит» (Chosts of Baker Street, на русский пока не переводился), составители которого – Мартин Гринберг, Дэниэл СтрашOVER и Джон Лелленберг, распорядитель литературного наследия Конан Дойла в США – годом ранее обратились к современным авторам, дабы «те организовали Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону новые приключения, сверхъестественные по сюжету и духу».

Одним из первых на просьбу составителей откликнулся Калед Карр, автор «Алиениста» и «Убийц прошлого» – фантаст и детективщик в одном лице. Однако задуманная им небольшая повесть «Итальянский секретарь» разрослась до романа и, в конечном итоге, была опубликована отдельной книгой (в минувшем же году ее перевели на русский и выпустили в издательстве «Эксмо»).



Согласно сюжету Калеба Карра, Майкрофт Холмс, глава секретной службы и одновременно старший брат Шерлока, просит его и Ватсона отправиться в Шотландию—в замок Холируд. Именно там недавно произошло загадочное двойное убийство, а поскольку в Холируде любит отдыхать королева Виктория, Майкрофт подозревает, будто некие темные силы (возможно, подстрекаемые кайзером Вильгельмом) задумали убить Ее Величество. Великий Сыщик не верит в заговоры, зато, как выясняется, обожает средневековую мистику: именно в Холируде триста лет назад был убит итальянский секретарь королевы Марии Стюарт, и дух его, по местным преданиям, до сих пор слоняется по замковым покоям, навсильная итальянские мелодии и лелея планы мести за свое убийство.

Финал книги как бы дублируется. С одной стороны, преступлениям, совершенным в окрестностях замка, найдутся рациональные объяснения. Обаятельный с виду аристократ продемонстрирует зловеющий оскал, а мрачный и неприступный слуга окажется благородным мальчиком. Один из преступников раскается и будет прощен, а другой, разоблаченный Холмсом, угодит в сети полиции. Майкрофт Холмс вздохнет с облегчением, узнав, что кайзер ни при чем и британской королеве ничего не угрожает (и не угрожало). С другой же стороны, реалистической составляющей истории не ограничивается. Романист делает концовку многозначной. Действительно ли в замке жил призрак убитого итальянца или он привиделся Ватсону? Бог весть. «В науке о преступлениях, Ватсон, встречаются явления, которые мы не в силах объяснить,—рассуждает в финале Шерлок Холмс.—Мы уговариваем себя, что в один прекрасный день наука найдет им объяснение; может, и так. Но пока необъясненность этих явлений придает им невероятную силу—потому что они заставляют отдельных людей, а также поселки, города и целые страны, вести себя страстно и неразумно. Они поистине могущественны; а надо признать: что могущественно, то существует на деле...»

Почти одновременно с «Chosts of Baker Street» в России был осуществлен аналогичный проект: в московском издательстве «Форум» вышел сборник «Череп Шерлока Холмса» (идея и предисловие Натальи Резановой, составление Марии Галиной). «Конан Дойл сочинял детективные рассказы для журналов, отнюдь не «нетленку»,—говорится в предисловии к сборнику.—Но он создал нечто большее, чем детектив,

даже выдающийся детектив. Это миф. А интерпретация мифа всегда привлекала фантастов». Большинство авторов сборника пишут на русском языке; англоязычным гостем является лишь автор первого—и, пожалуй, лучшего во всей книге!—рассказа Нила Геймана «Этюд в изумрудных тонах». Это одна из самых изящных попыток фабульной инверсии. Почти до самого конца читатель не догадывается, что повествование ведется вовсе не от лица доктора Ватсона и что его друг—сыщик, сотрудничающий во Шотланд-Ярдом, вовсе не Шерлок Холмс. Кто он? В финале есть достаточно подсказок; те, кто знаком хотя бы с конан-дойловским рассказом «Пустой дом», оценят авторский умысел.

Правда, остальные рассказы и повести, включенные в сборник, не столь удачны, как новелла Геймана. А потому наилучшим русскоязычным произведением сборника следует считать процитированное в предисловии теперь уже знаменитое стихотворение Марии Галиной «Доктор Ватсон вернулся с афганской войны»—маленькое, емкое, парадоксальное, страшноватое, оно обвиняет едва ли не большинство сюжетов повестей и рассказов, опубликованных в книге.

В рассказе все той же Марии Галиной «Сержант Ее Величества» (вошел в авторский сборник «Берег ночью»—издательство «Форум», 2007) возникает в качестве персонажа и сам Конан Дойл: писатель и врач, пытающийся разобраться в мрачной африканской мистике и приходящий к печальным—для Британской империи—выводам.

Впрочем, Мария Галина—фантаст. Рассказанная ею история о роковом вмешательстве Конан Дойла в судьбу сержанта Его Величества не более реалистична, чем мистическая история из ее же повести «Покрывало для Аваддона» (кстати, опубликованной в «Волге»). А вот Джулиан Барнс свой роман «Артур и Джордж» основывает на реальных фактах, известных дотошным биографам сэра Артура.

В перечне побед Холмса нет «дела Идалджи», зато создатель «холмсианы» лично провел расследование, итогом которого стала реабилитация невинного. «Дело Идалджи» сравнивают с французским «делом Дрейфуса». Скромный юрист Джордж Идалджи—близорукий молодой человек—был обвинен в жестоком убийстве чужого скота и приговорен к семи годам тюрьмы. На свою беду, подозреваемый был парсом; инстинктивная неприязнь общества к «ненашенским» решила дело.

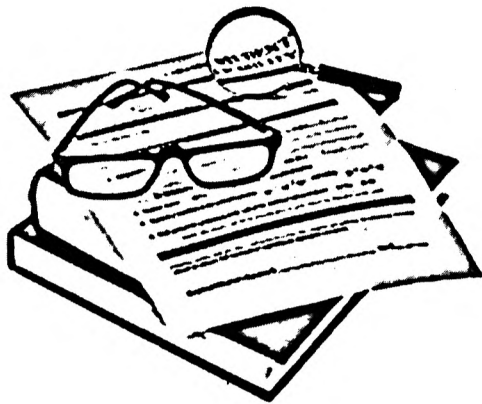
«Он превосходный малый с ясной головой,—рассуждает Конан Дойл о своем подзащитном.—Но если просто взглянуть на него, а тем более глазами невежественного работника с фермы, тупого деревенского полицейского, узколобого английского присяжного или подозрительного председателя суда, так вы могли бы и не проникнуть за смуглую кожу и необычность глаз. Он показался бы странным...»

Справедливость в финале восторжествовала. И в романе, и в реальности Конан Дойл победил инерцию предубеждения: своими статьями он поднял волну, заставил пересмотреть результаты расследования (приговор был основан на косвенных уликах, натяжках и домыслах) и вернул Идалджи доброе имя— вместе с возможностью, как и прежде, зарабатывать на жизнь юриспруденцией. В результате был создан уголовный апелляционный суд, которого прежде в Англии не существовало. Хэппи-энд как будто бы. Но...

Победа Конан Дойла в «деле Идалджи», уверен автор, была хоть и очевидной, но не блестящей. И виноват в этом, по мнению Барнса, сам Шерлок Холмс. «На сэра Артура слишком уж влияет его собственное творение,—печально рассуждает в романе юрист Идалджи.—

Холмс делал свои блистательные дедуктивные выводы, а затем вручал блюстителям закона разоблаченных злодеев, чья вина была недвусмысленно на них написана. Но Холмсу ни разу не случилось быть свидетелем на процессе... Сделанное сэром Артуром было эквивалентно тому, чтобы выйти на луг, где могли обнаружиться следы преступника, и исходить его вдоль и поперек. Он в своем увлечении юридически уничтожил дело против Ройдена Остера (преступника—Р. А.) благодаря стараниям создать это дело...»

Автор книги ненавязчиво подталкивает читателя к выводу: литература может быть точным или кривым (по выбору автора) зеркалом жизни, но вот организовать жизнь по законам литературы чаще всего не удается вовсе. Стерев границу между детективным произведениям, где возможна мера условности, и реальностью, Конан Дойл взял на вооружение методы Великого Сыщика. И невольно заигрался. Сам того не желая, он уничтожил для суда важнейшую улику, которая могла бы обличить подлинного виновника. Эта печальная мысль аккуратно спрятана в сердцевине романа, но не надо быть Холмсом, чтобы ее обнаружить.



Андрей Суздалев

# Три книги из проекта «Кабинет Зангези»

*«Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом... Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка...»*

(Велимир Хлебников.

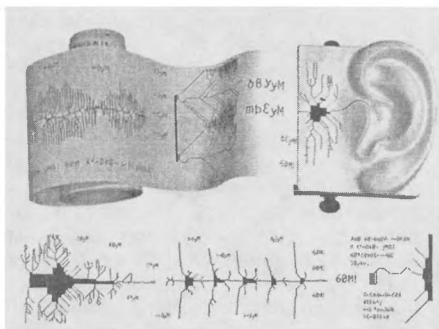
Из предисловия к сверхповести «Зангези»)

**Э**то слова настоящего поэта-будетлянина. Как и почти все у него, они не просто цветистая метафора, но приглашение к действию, к активному сотворчеству. И, кажется, сказаны словно бы специально о «книге художника». По сути, они могли бы быть частью манифеста жанра. Ведь именно это направление, — занимающее пограничное положение на стыке различных видов искусства, впитавшее все основные арт-практики прошлого столетия (порою в самых неожиданных комбинациях) и в то же время сохраняющее статус книги как традиционного носителя

информации, — как нельзя лучше подходит для реализации глобального поэтического замысла.

Так из одной фразы Хлебникова, услышанной и принятой, вырос наш проект «Кабинет Зангези», задуманный как серия авторских книг и книжных объектов по мотивам избранных глав из поэмы «Зангези». Различные по художественному решению, по виду и размеру, по совокупности приемов и технологий, но связанные общим мировоззренческим подходом, вместе они и должны составить некую рабочую модель, костяк «сверхповести».

## КОЛОКОЛ УМА — плоскость мысли IX



**Художники:** Андрей Суздалев, Ольга Хан  
«Издательство Alcool», Москва 2006

**Книга-объект.**

**Книжный свиток на картонном валике с деревянными ручками, закрепленный внутри футляра.**

**Свиток:** 210x4000 мм, бумага, цифровая печать.

**Футляр:** 230x180x60 мм, папье-маше, акриловый лак.

**Вкладыш:** сложенный вдвое лист с концепцией книги и выходными данными.

*Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотре всех родов разума. Вот! Пойте все вместе со мной!*

Гоум.

Оум.

Уум.

Паум.

Соум меня

*И тех, кого не знаю.*

Моум.

Боум.

Лаум.

Чеум.

–Бом!

Бим!

Бам!

Первой такой «глыбой» сверхповести в рамках проекта явилась книга «Колокол ума» – типичный book-object, связавший воедино различные формы человеческого опыта: визуального, тактильного, манипулятивного, слухового.

Уже сам графический ряд книги изначально связан со звучанием, непосредственно из него проистекает. Удары колоколов различного размера и высоты тона – от больших церковных до корабельной рынды и валдайских колокольцев – буквально «впечатаны» в книгу. Такой свободный переход одного типа информации в другой (звука в изображение) характерен для цифровых искусств, ключевое понятие здесь – «визуализация данных». Рассчитанные в аудиоредакторе графики звука подвергались дальнейшей компьютерной обработке. Сохраняя некоторые исходные параметры, они в то же время сильно трансформировались, постепенно приобретали новые черты, вытягивались причудливой органикой, подобно разветвлениям нервных окончаний. Но ведь так и в «звукписи» Хлебникова, где каждый колокольный звон есть особый вид ума, «оттенок мозга».

Не менее важным графическим элементом являются буквы, которыми набрано в книге само стихотворение. Основой и источником вдохновения послужил чудной freeware-шрифт Anarchy Mono, выловленный из Интернета. Но большинство знаков (в основном кириллические) пришлось сделать заново, и текст набирался практически «вручную», буква к букве. В результате же слова приобрели нужный графический характер – нечто среднее между псевдоручническим письмом и математической формулой – еще один поклон Велимиру.

Как известно, «информация» буквально означает «запечатление в форме», и листаем ли мы страницы кодекса, раскладываем книгу-гармошку или разворачиваем свиток – всякий раз это иной

опыт, иное впечатление. Практически сразу был выбран и «сценарий чтения», основная конструктивная модель будущей книги – свиток (дорога, путеводная нить, свободно льющаяся устная речь или, например, бесконечная лента самописца). Свиток получился достаточно протяженным – четыре метра, и единственным подходящим способом печати оказался плоттер. Это позволило избежать нежелательных склеек, разрушающих ощущение непрерывности графического (и поэтического!) потока.

И наконец, несколько слов о наиболее очевидном, о том, что как раз в первую очередь бросается в глаза зрителю. Это рукодельный объект-футляр в форме огромного человеческого уха. Само собою, раз возникнув, этот (неожиданный в своей предсказуемости) образ как бы сфокусировал на себе внимание, собрал различные смысловые и пластические элементы книги в единое целое. Но, кроме художественной и чисто функциональной задач, эта гипертрофированная «вещность» обложки, тактильность, доведенная до гротеска (скульптурный рельеф!), проистекает еще и из внутренней потребности как-то компенсировать жесткую двумерность цифровой графики и печати.

Основа для объекта была слеплена Ольгой Хан из пластилина, затем отформована в гипсе. И, наконец, папье-маше, наша излюбленная технология. Легкое и прочное, прекрасно держащее форму, хранящее тепло естественных материалов: бумаги, муки и столярного клея. Благодаря внутренней пустоте и гулкости футляра мог бы служить неплохим резонатором, наподобие гитарной деки. Кстати, первоначально была такая идея: предполагалось снабдить футляр маленьким встроенным динамиком с чипом, вроде тех, что спрятаны в дешевых музыкальных игрушках китайского производства,

только вместо музыки—те же колокольные звоны. В итоге от этого отказались. Это был бы уже явный перебор.

Чисто пластических средств для реализации замысла оказалось более чем достаточно.

## ПТИЦЫ — плоскость I



**Художники: Андрей Суздалев, Ольга Хан**  
**«Издательство Alcool», Москва, 2006**  
**250x115 мм, 16 отдельных карточек в картонной обложке. Бумага, картон. Цифровая печать, штамп.**

*Пеночка зеленая  
(одиноко скитаясь по зеленому морю, по верхним вечно качаемым ветром волнам вершин бора):*

*Прынь!  
Пциреб-пциреб!  
Пциреб!  
Цэ-сэ-сэ.*

**В**елимир Хлебников родился в семье ученого-орнитолога и сам в юности увлекался изучением птиц. Не это ли стало одним из первых источников вдохновения для заузного (выходящего за пределы обыденного ума), «птичьего» языка многих его произведений? По крайней мере, этот отрывок из «Зангези» является замечательным примером поэтического звукоподражания голосам птиц.

Идея книги как некоего странного псевдокаталога, архива натуралиста-любителя (или натурфилософа) родилась довольно давно. С одной стороны, она близка нашим представлениям об авторской книге как идеальной форме художественной документации, с другой—оказывается созвучной представлению о Хлебникове как поэте-исследователе. Но собственные орнитологические «изыскания» в энциклопедиях и в Интернете не привели к рождению внятного образа (хотя, конечно, попутно мы получили множество занятой информации). Выходом мог стать лишь непосредственный художественный жест. И тогда мы вышли «на пленэр», мы поднялись на крышу.

Одна из высоток на юге Москвы, 25-й этаж. Крыша мастерской художника Леонида Тишкова уже не в первый раз становится площадкой для «театра живого искусства»: разнообразных перформансов, фото- и видеопроектов (в том числе

и для нас—на этой площадке когда-то совместно с Леонидом мы реализовывали цикл «Антология Поднебесной»). Только рубероид под ногами, невысокие ограждения и небо над головой. И ветер. Здесь и возникла фотосессия, положенная в основу книги «Птицы»: перед объективом поочередно мы пытались втиснуть свои непослушные тела в птичьи позы. Нахоленные, щебечущие, расправляющие крылья, вытягивающие шею.... нелепые, напряженные пластические иероглифы тела, стремящегося, но не способного к полету. Именно эта тотальная неспособность, укорененная в теле, является главной темой фотоперформанса. Репарка поэта: «Такие утренние речи птиц солнцу. Проходит мальчик-птицелов с клеткой».

Фотографии снимались на фоне ярко-го неба, с низкого ракурса—контражур, почти силуэт, чтобы подчеркнуть графическую знаковость поз. И хотя в конечном итоге после обработки из фотографий «ушел» весь фон (оставлена только узкая полоска крыши под ногами), я думаю, что некое исходное настроение, аура места в них сохранилась. По крайней мере, в процессе работы она была важна и необходима для нас самих.

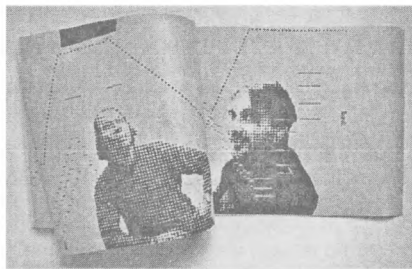
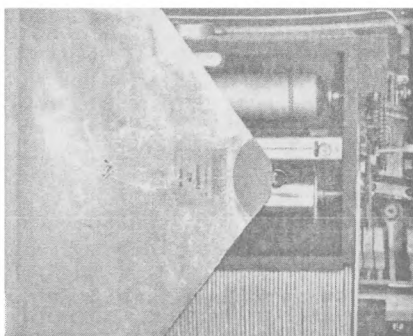
Остальная часть истории—сплошная череда отказов: от переплета, от изобретательной упаковки, от соблазна «оформить», приукрасить, дополнить. Книга напечатана на

14 узких вертикальных карточках (в качестве материала послужил съемный блок плотной бумаги из старого канцелярского набора). «Подручная» цифровая печать, стандартное решение для всех страниц—документ! Вновь использован шрифт, уже возникший раз в объекте «Колокол Ума», но им набраны только птичьи монологи, в то время как все остальное—обычный казенный «ареал». Скромная картонная папка, в которую уложены листы. На обложке оттиск резинового штампа с факсимиле Хлебникова—«виньетка с птичками». Единственный «комментарий» возник сам собою.

При печати первой же страницы принтер дал сбой, выдав вместо картинки ряд непонятных значков и закорючек. Это было воспринято как добрый знак. Лист стал обязательным и для всех последующих экземпляров книги, как еще один вариант «птичьего языка», на этот раз языка технологии.

*Р. С. Тираж, конечно, мог бы быть гораздо больше—«цифра» позволяет. Но самих карточек нужного формата и цвета, купленных по случаю довольно давно и сберегавшихся до времени,—их хватило только на 6 экземпляров. Жаль.*

## БАБОЧКИ (PAPILLONS) — плоскость VI



**Художник: Андрей Суздаев**  
 «Издательство Alcoa», Москва, 2007  
 280х350 мм, крафт, ролик для механического фортепиано, ткань. Ручная печать (моно-принт), штампы. 20 стр. плюс обложка.  
 Сопровождается медиаобъектом на CD (компьютерная анимация).

*Мне, бабочке, залетевшей  
 В комнату человеческой жизни,  
 Оставить почерк моей пыли  
 По суровым окнам, подписью узника,  
 На строгих стеклах рока.  
 Так скучны и серы обои из человеческой жизни!  
 Окон прозрачное «нет!»  
 Я уж стер свое синее зарево, точек узоры,  
 Мою голубую бурю крыла—первую свежесть.  
 Пыльца снята, крылья увяли и стали  
 Прозрачны и жестки.  
 Бьюсь я устало в окно человека.  
 Вечные числа стучатся оттуда  
 Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.*

Однажды я написал: «Художник, быть может, всего лишь умелый ремесленник, вручную обрабатывающий поверхность времени, придавая ему очертания своей памяти и своих фантазий». И вот спустя несколько лет эта фраза неожиданно срикошетила. Это начало истории. Точнее, началось все

с подарка на день рождения. Вручая запечатанный рулон со словами: «Надеюсь, ты придумаешь, что с этим сделать...», художник Николай Селиванов невольно стал инициатором новой книги.

В свертке оказался оригинальный аудионоситель начала XX века—бумажный ролик для механического фор-

тепиано (так называемой пианолы или фонолы). Долгое время я хранил его просто как замечательный артефакт ушедшей эпохи. Засело в памяти название, напечатанное на ярлычке, — «Papillons» (франц. — мотыльки, бабочки). Завораживала своеобразная красота машинной графики — причудливый узор перфорации, служебные надписи и значки, напечатанные поверх. Прихотливая пунктирная линия из точек, проходящая насквозь через всю ленту, — дополнительная партия? — напоминала траекторию полета некоего «цифрового мотылька».

После некоторых изысканий удалось опознать (и даже услышать — в Интернете) само произведение, заключенное на бумаге. Это запись популярной некогда пьесы композитора и пианиста Морица Розенталя, считавшейся эталоном беглой и виртуозной фортепианной техники (вспомним, что большинство этих механических игрушек использовалось не только для развлечения, но и для обучения). Причем «запись» здесь можно рассматривать сразу в нескольких значениях: как механическую фиксацию звука (sound recording, track) и в то же время — как визуальный, графический язык (notation, script).

Замысел книги сложился неожиданно, когда на этот материал спроецировалось стихотворение Хлебникова, стихотворение пронзительное, очень личное. Произошла «химическая реакция»: срифмовались названия, столкнулись две разные темы. И опять через образ звука! Насколько он был важен для Хлебникова и как настойчиво, вновь и вновь, всплывает в нашем проекте.

В первую очередь, это, конечно, книга-посвящение. И не только Хлебникову. В качестве «иллюстраций» на страницах книги появляются портреты моих друзей и соратников — художников, поэтов и музыкантов, придающих смысл «обоям из человеческой жизни». Эта метафора Хлебникова явилась клю-

чом ко всей работе. А само стихотворение (вероятно, современник исползованного аудионосителя), включенное в книгу, послужило поводом для размышлений о течении жизни, возрасте, творческой судьбе.

Фотопортреты растриваны в крупную точку, до соответствия оригинальной графике ролика. Тем самым была достигнута необходимая степень «низкой определенности» образов. Изображения переводились на материал с принтерных отпечатков вручную, при помощи растворителя и офортного станка (техника «монопринт», разработанная М. Волоховым). Появлялся третий слой, если считать сквозную перфорацию и печатные элементы источника. И даже четвертый — там, где изображение проступало на обороте страницы. Своего рода палимпсест. Задачей было минимальными средствами создать некое новое единое графическое и смысловое пространство.

Вопрос с тиражированием книги решился сам собою. Всей длины ролика (около 6 метров) хватило только на два экземпляра. Впрочем, само слово «экземпляр» здесь достаточно условно. По сути, это два самостоятельных авторских варианта: книга первая — начало ролика, книга вторая — его окончание. Различна композиция и последовательность впечатанных «иллюстраций» в каждом из вариантов.

И еще один немаловажный для меня аспект работы. В процессе создания сам ролик, разумеется, должен был подвергнуться искажению, исчезнуть как таковой, окончательно «умолкнуть» (путем разрезания на страницы, складывания, запечатывания, переплета), чтобы дать жизнь новому произведению, совсем иного рода — визуальному, для глаза, а не для уха; превратиться в «книгу для чтения». Это напоминает превращение гусеницы в бабочку. Или наоборот? Смотря что вы предпочтете считать бабочкой...:)))

## Еще одна цитата вместо послесловия

*«Ныне для слова у нас имеются два измерения. Как звук слово является функцией времени, а как изображение — оно функция пространства. Будущая книга должна быть тем и другим. Этим самым автоматизм современной книги будет преодолен, ибо автоматизированный образ мира перестает существовать для наших чувств и мы ощущаем себя в пустоте. Энергетическое задание искусства — превратить пустоту в пространство, то есть воспринимаемую нашими чувствами организованную единицу. С изменением структуры и формы речи меняется также облик книги».*

*(Эль Лисицкий. «Книга с точки зрения зрительного восприятия — визуальная книга»)*

Сергей Боровиков

После гибели нашей «Волги» большинству ее авторов пришлось несладко. Я имею в виду, разумеется, не Евг. Попова, А. Слаповского или Светлану Кекову, которым рады ведущие журналы Москвы и Петербурга, а многих из тех, кого «Волга» открыла – О. Хафизова, Н. Якушева, А. Титова, С. Самойленко и др. Встречать их новые публикации – Хафизова в «Знамени», Титова в «Новом мире», было и приятно, и досадно – не в «Волге» ведь!

И все же хуже всех пришлось критикам. Кто-то, разумеется, печатался в тех же столичных «толстяках». Однако отклики на саратовские издания можно было опубликовать лишь в местных газетах. А это не так просто. При обилии газет нетрудно заметить, что большинство их поглощено либо политикой, либо рекламой, либо тем и другим одновременно. Культуре приткнуться почти некуда. Можно назвать «Богатей» и старые «Новые времена», где постоянно присутствовали статьи, рецензии на книги, спектакли, концерты.

Но и здесь все не так гладко. Во-первых, газетный объем не чета журнальному, и критик должен был укладываться в 2–3 странички там, где материал требовал десяти. Во-вторых, критик мог высказывать мысли, которые расходились с – скажем деликатно и современно – «форматом» издания. А критики «Волги» привыкли к свободе мнений, не связанных той или иной политической платформой.

И все же с 2000 года кое-что было напечатано, из того, что должно было бы появиться в «Волге». Поэтому мы решили донести до читателя некоторые публикации прошедших лет. При их отборе мы руководствовались соображениями актуальности той или иной статьи и рецензии, как бы ее правом на существование сегодня. Пока мы ограничиваемся Саратовом, но будем рады предложениям коллег из городов Поволжья.

## Что и как

Энциклопедия Саратовского края (в очерках, событиях, лицах). / Научный консультант Е. К. Максимов. – Саратов: Приволжское кн. изд-во, 2002.

Этой книге суждено стать на какое-то время (до следующей попытки подобного издания) незаменимой и вместе с тем принять на себя неизбежный огонь критики ввиду неисчислимых изъянов.

Несомненный плюс издания – фактическая насыщенность тома. Разнообразие информации. Стремление к максимальной тематической широте.

Одним словом, если со «ЧТО» и не полный порядок, то все же есть попытка дать читателю как можно больше сведений о Саратове и области, то с «КАК» очень часто дела вовсе не блестящи.

Весьма и весьма похвально, что в наше политизированное время «Энциклопедия» не ограничилась областями социально-общественными, и кроме разделов «Государство и общество», «История», «Экономика» именно два огромных раздела – «География» и «Биология» открывают том.

В разделе «География» можно почитать про геологические и гидрогеологические особенности нашего края. «Маастрихский водоносный горизонт имеет достаточно широкое распространение в зап. ч. обл. и приурочен к трещиноватым мергельно-меловым, реже



песчаным отложениям мощн. 30–40 м. Горизонт явл. напорным, коэф. фильтрации изменяются от 0,2 до 6 м/сут, дебиты—0,1–6 л/с. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 1 г/дм<sup>3</sup>. Кампанский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающие породы представлены мергельно-меловыми, песчаными (опоки) отложениями мощн. 10–15 м. Горизонт преимущественно безнапорный или слабо напорный...» И т.д. Статья «Гидрогеологические особенности саратовского Поволжья», с.14. Спасибо, очень интересно.

М. б., про землю-матушку? «Для солонцов характерны следующие признаки: дифференцированный профиль по элювиально-иллювиальному типу; щелочная реакция почвенного раствора иллювиального и нижележащих горизонтов; столбчатая или призматическая структура иллювиального горизонта при его высокой плотности; насыщенность ППК иллювиального горизонта обменными катионами натрия или магния; наличие значительного кол-ва легкорастворимых солей в ниж. ч. профиля под иллювиальным горизонтом». Статья «Почвенный покров», с. 33–35. Как просил персонаж популярного кинофильма: «п-переведи!»

От мертвой природы обратимся к живой: «В сырых лугах встречаются дренанокладусы, бриумы; в болотистых местообитаниях—аулакоминум болотный, политрихум обыкновенный. В озерах и болотах на первый план выступают леподиктиумы, фоктиналис противопожарный и др. Для верховых болот характерны сфагнумы (7 видов) политрихум обыкновенный, мниобриум Валенберга». Статья «Флора Саратовской обл.», с.139. (В цитатах возможны неточности, так как в процессе перепечатки у автора рецензии от ученых слов случилось головокружение).

Последняя надежда на братьев наших меньших. «На плесах происходит заилиение грунтов и образуется характерный комплекс фауны заиленных грунтов: улитки живородки (*Viviparus viviparous*), битинии (*Bithinia tentaculata*), малощетинковые черви (*Potamotrix*, *Limnodrilus*), пиявки (улитковая *Glossiphonia complanata*, двуглазая *Helobdella stagnalis*, малая ложноконская *Herpobdella octoculata*), личинки стрекоз-дедок *Gomphus vulgarissimus*, комаров-звонцов из родов *Chironomus*, *Procladius*, *Polipedium*. Характерным компонентом речного бентоса явл. двустворчатые моллюски перловицы (*Unio*, *Crassiana*), беззубки (*Anodonta*), шаровки (*Sphaeranium*) и горошинки (*Pisidium*). Статья «Животный мир внутренних вод» (в оглавлении не вод, а «водоёмов»), с. 159.

Что ж, люди ученые, писать нормально не умеют...

Да нет, в тех же разделах ясным языком написана, к примеру, статья «Климат Саратовской области» (С.И. Пряхина). Более того, соседствующие на одной странице и близкие по теме статьи могут отличаться как день и ночь: «Моховидные» (Л.А. Черепанова), которую мы процитировали выше, и «Лишайники» (В.С. Дайковский), где «все понятно, все на русском языке».

Авторы статей менее всего виноваты. Быть может, имярек крупный ученый, а написать живо и понятно статью не может, не дано. В этом случае обязанностью редколлегии было найти другого автора или, на худой конец, подвергнуть текст литературной обработке, памятуя, что энциклопедии издаются для широкого круга читателей, специальная же литература для специалистов и выпускается. Но как быть, если автор неудобочитаемой статьи и профильный член редколлегии—одно и то же лицо, как, например, Г.В. Шляхтин, автор или соавтор 18 из 41 статьи о фауне?

И еще об этике. Мне что-то не доводилось прежде встречать энциклопедических изданий, в которых члены редколлегии сами о себе бы писали статьи. Ноу-хау Приволжского книжного издательства. Член редколлегии Ю.А. Яковлев весьма похвально пишет о засл. раб. физ. культуры Ю.А. Яковлеву. Видимо, ему настолько понравилось производство автопортретов, что он поместил их дважды: в статью «Физкультура и спорт» (с.630) и статью «Спортсмены» (с. 643). (Эх, и приятное, должно быть, занятие—писать о себе самом, да при этом еще поглядывать в зеркало: как, дескать, брат, не покраснел?)

А вот что написано о члене редколлегии музыковедом А. И. Демченко (авторы статьи «Музыкальное искусство» — А. И. Демченко и В. Е. Ханецкий): «науч. деятельность отличается интенсивностью поиска, всеобъемлющей широтой тематики исследований, тяготением к охвату больших исторических периодов в развитии иск-ва. (...) Его труды посл. времени открывают новое науч. направление — универсальное искусствознание, обращенное к изучению мирового худ. процесса в исчерпывающей полноте, с рассмотрением всех видов иск-ва» (с. 520). Право, к чему еще какие-то исследователи, если один А. И. Демченко проанализирует все виды мирового искусства всеобъемлюще и исчерпывающе.

Разумеется, некоторые недостатки издания были неизбежны. Прежде всего неполнота охвата событий, и особенно имен. И потому вопрос: «А почему нет икса, игрека, зета?» непременно будет задавать читатель. Однако, в просчетах по этой части следует разделить неизбежные упущения и явную тенденцию к умолчаниям и пропускам.

Ограничусь разделом «Культура».

Почему в персоналиях «Поэты, писатели» нет статей о Светлане Кековой, Алексее Слаповском, а также о первом главном редакторе журнала «Волга» Николае Шундики? Называю намеренно самые громкие имена. Авторы статьи «Литература» В. И. Азанов и А. И. Баженова заявляют: «Нельзя не вспомнить о таких поэтах, как В. Богатырев, В. Гришин, Н. Благов», но если о первых двух статьи имеются, то о Николае Благове, действительно талантливом поэте, к тому же тесно связанном с журналом «Волга» (зав. отделом поэзии, гл. редактор), не упоминают. (Надо ли говорить, что о самих себе и Азанов, и Баженова, и Преображенский не преминули представить обстоятельные персоналии). Кстати, журнал «Волга» тоже не удостоился отдельного сообщения, попав в «Энциклопедию» исключительно в связи с Приволжским книжным издательством. В отсутствие даже упоминания о самом известном из современных писателей-саратовцев Алексее Слаповском, особенно забавно читать о другом литераторе: «Славу ему принес двухсерийный т/ф по его сц. «Оправдание Паганини»», или о том, что стихотворец, пиитическими талантами не отмеченный, зато «имеет 5 авторских свидетельств на изобретение». (То, что Слаповский живет в столице, не объяснение — статьи удостоились литераторы, лишь местом рождения связанные с Саратовом: М. Алексеев, С. Голубов, Г. Касмынин, В. Панферова и др.).

Как можно было в раздел «Артисты» не включить никого из АТХ, включая заслуженную артистку Елену Блохину и худрука театра Ивана Верховых? Очень, однако, избирательная «забычивость»! А ежели ее объяснить нам исключительно недостатком места, то какой смысл был помещать большие статьи об Алексее Толстом, Константине Федине или знаменитых актерах, некогда, наравне с Вологдой и Керчью, выступавших на саратовской сцене, — Качалове, Давыдове, Стрепетовой и др.? Ну, ладно, пропустили так пропустили, забыли так забыли. Но чем вызвана поистине дикая тематико-композиционная чехарда «Энциклопедии»?

Создается впечатление, что ни редколлегия, ни редакторы, ни научный консультант Е. К. Максимов целиком книгу не читали. Чем иначе объяснить, что:

— все, что касается экономики края до 1991 года, идет по разделу «История», а статьи по истории ж. д. транспорта, телефонной сети, земской почты, кустарных промыслов, казначейства и т. д. — по разделу «Экономика»?

— в разделы «Киноактеры» и «Артисты» помещены персоналии режиссеров и сценаристов, композиторов и операторов?

— некоторые из «лиц» удостоились справок дважды по разным разделам? И если две статьи об Альфреде Шнитке еще можно объяснить преклонением перед гением композитора, то сложнее мотивируются две статьи об Ольге Гладышевой (как кинематографисте и как писателе), причем для кино она родилась в Саратове, а для словесности — в Энгельсе. Аналогичные случаи с Евгением Бикташевым,

Валентиной Федотовой, Николаем Палькиным, Анатолием Учаевым и другими;

– оперные певцы О. Ковалева, А. Пасхалова, Л. Сметанников оказались в «Музыкальном искусстве», а Г. Ковалева, В. Баранова, Н. Брятко, Н. Довгалева, Ю. Попов в «Артистах»?

– из длинного ряда руководителей саратовского края, включая П. Столыпина и Д. Аяцкова, дается оценка деятельности лишь одного-единственного Ю. Белых?

Вопросник можно продолжать и продолжать.

Что касается присутствия в «Энциклопедии» начальства, редколлегия проявила похвальный такт, не поместив привычных для саратовской печати панегириков в адрес губернатора. С фотографией же вопрос спорный: 16 фото Д. Аяцкова на одну книгу—много или мало? Откуда смотреть. Если с Запада, с позиции какого-нибудь там Тони Блэра—многовато, а если с Востока, с точки зрения Туркмен-баши, то явно недостаточно.

В целом иллюстративный ряд «Энциклопедии» обширен, особенно отрадна насыщенность старыми фотографиями, недурен дизайн и оформление переплета, но вклейки далеко не всегда отвечают критериям современного книжного дизайна, зачастую кажется, что листаешь журнал «Работница» 50-х годов.

Ну что ж, зададут мне древний вопрос: зачем же выставлять напоказ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство... (и далее по известному тексту), неужто не нашел рецензент в «Энциклопедии Саратовского края» решительно никаких достоинств?

Отчего ж! Я с них и начал, и с удовольствием ими завершу, заметив прежде, что в лучших страницах книги видна огромная потенция научных, литературных, культурных сил нашего города, которую не всегда сумела использовать редколлегия. К тому же и в самых непрофессиональных по исполнению разделах, каковы прежде всего «Литература» и «Поэты, писатели», читатель все-таки найдет немало сведений, в другом издании не представленных. Полезна собранная воедино информация о реках и парках, экологии и транспорте, этническом составе населения и его миграции, о военных и общественных деятелях (весьма неполная и с выделенными непонятно почему революционерами-народниками). Увлекательны многие статьи раздела «История», как, например, «Должностные знаки XIX—начала XX века. Награды Саратовской губернии», «Нагрудные знаки после 1917 года. Жетоны», «Нумизматика в краеведении» (все—Ю. Сафронов). Очень уместно появление, и, кажется, впервые, персоналий «Краеведы» (тот же автор), куда, правда, почему-то не вошли ни братья Семеновы, ни В. М. Цыбин, автор книги «Пароход на Волге».

А роскошный обширный очерк истории саратовского джаза! Да и в целом раздел «Эстрада» (Ю. А. Жимский, Ю. Н. Трофимов) стал украшением тома.

Однако—в самых интересных разделах вдруг, словно ушки, выгланет и та самая тенденция. Так, в завершающем том разделе «Религия» самый значительный объем (больше, чем исламу и даже православию) отведен масонству.

Не говоря уж о том, что располагать сие явление-течение в ряду мировых религий по меньшей мере странно, но как объяснить при таком внимании к масонству отсутствие статьи о старообрядчестве в нашем крае? Уж не масонскими ли происками?

Имеется в томе раздел, который в наше трудное время не подлжит комментарию. «На страницах этого раздела—более 100 имен. Все они—наши земляки, люди с интересной судьбой и беспокройной душой. Каждый из них состоявшаяся личность... <...> Благодаря их финансовой помощи и моральной поддержке увидело свет настоящее издание «Энциклопедия саратовского края». Патриоты своей малой родины, так они отметили вступление в XXI век... ну и далее в приложенных к цветным фото справках с анкетными данными, наградами и целеустремленностью. Все предельно ясно, кроме одного: а тем, чье оплаченное лицеизображение не красуется в «Энциклопедии», им в XXI век вход заказан?

## Лебединая песня

**В. Н. СЕМЕНОВ. Авторская песня в Саратове. Проблемы и подвижники жанра в городе на Волге на фоне общероссийского процесса. Саратов, 2005.**

Саратовский краевед Виктор Семенов, автор многих книг по истории города, выпустил неожиданную книгу «Авторская песня в Саратове». Неожиданную, потому что само понятие авторской песни в последние годы потеряло актуальность. Этим жанром можно назвать все, что угодно, в отличие от 1960–80-х годов, когда под аббревиатурой КСП понимались романтические устремления под гитару у костра. Тогда эта характеристика не содержала никакой иронии. Чем на самом деле являлась «романтика дальних походов», вспоминает саратовский бард Н. Жевалев в интервью о фестивалях авторской песни, расцвет которых пришелся на середину 1980-х: «Первый фестиваль, на котором я побывал, это XXV Московский. Проходил он в мае, 15–17-го числа, аж на окраине Ярославской области. На нем было около 8000 человек. Осталась масса ярких впечатлений. И одно из них – заморозки на почве до минус четырех градусов. Пробовали спать в полной экипировке, в ботинках, в спальнике – ничего не получалось. Чай пили ведрами – не спасало».

От себя могу добавить, что дело было на стрельбище Кантемировской дивизии, в реальности представлявшем собой болото с редкими елочками, которые барды с их культом природы стеснялись переводить на дрова. Искусство требовало почему-то именно жертв. Та же приблизительно атмосфера царила и на других фестивалях, включая знаменитый Грушинский под Куйбышевом, в лучшие годы собиравший до сотни тысяч человек. Курировали эти сборища комсомольские вожаки, которые на деле лишь отравляли жизнь «литованием» песен. Это когда автор в обязательном порядке посещает спецотдел ВЛКСМ и выслушивает бесконечные придирки по поводу тематического несовершенства текстов. Сегодня Грушинский находится в ведении департамента по делам молодежи Самарской области. Ежегодно губернатор издает распоряжение о проведении фестиваля, привлекая медиков, милицию, дорожников, МЧС и т.д. Какая уж тут романтика.

В главе «Авторская песня в России и в Советском Союзе» обильно цитируется книга неких Истомина и Денисенко «Самые знаменитые барды России». Не слишком понятно, зачем профессиональному историку-публицисту В. Семенову уделять ей столько внимания. Биографии Вертинского или Высоцкого – не тайны за семью печатями, а упоминать в среде КСПшников о Розенбауме неприлично. Ему еще в 1986 г. А. Мирзаян (действительно достойный автор) выдал исчерпывающую характеристику: «Наш Гамлет выронил перо, а Розенкранц поднял гитару». Правда, в конце главы Семенов активно критикует «Самых знаменитых...», предлагая вполне обоснованные коррективы. О причинах упадка жанра рассуждают по сию пору, но на самом деле это вопрос вкуса, и спорить тут не о чем. Книга же ценна как скрупулезное исследование одной из форм общественной жизни Саратова. Не только культурной, потому что в движении КСП принимали участие люди, весьма далекие от музыкально-поэтической практики. И если автор ведет речь о «подвижниках жанра», то рассказы об организаторах, вдохновителях и меломанах-архивариусах вполне уместны. Ныне покойная Наталья Зернакова, не автор и не исполнитель, но столп самой сути КСП, выслушивала за ночь более десятка местных дарований.

Что означало на практике в те годы устроить концерт, пригласить для участия иногородних исполнителей, выбить помещение под клуб? Обкомы ВЛКСМ, в чьем ведении находились барды, справедливо считали их идеологическими диверсантами и общением подопечных не обременяли. В 1974 г. саратовские барды всё же объединились в клуб авторской песни «Дорога», чья история подробно рассказана в книге его участниками. Клуб регулярно проводил концерты и даже фестивали общесоюзного масштаба. Упадок начался в 1986-м, о его причинах также сказано в книге немало.

Саратовские авторы-исполнители никогда не числились корифеями жанра, но регулярно выступали с концертами по всей стране. Самым известным из саратовцев считается Владимир Ланцберг, основатель «Дороги», покинувший город более 30 лет назад. В кругу поклонников самодетальной песни уважением пользуются Н. Ключкин, В. Евушкина, Г. Бараева, П. Кошкин, А. Кириллов.

Несколько страниц книги уделено Игорю Гладыреву, основателю театра «Балаганчикъ». Он немало сделал для популяризации поэтических текстов и классиков, и молодых в то время саратовских поэтов. Алексеем Слаповскому В. Семенов посвящает строки прямо-таки эпические: «Известный саратовский и российский драматург и прозаик, живший и работавший в Саратове до начала XXI века, а ныне пребывающий в Москве, где он ведет жизнь профессионального писателя и сценариста». Семенов приводит несколько песен Слаповского, про которые можно сказать только то, что проза лучше. Причем сам автор никогда свои песни не афишировал и в КСП не ходил. Зато в пору ранней юности активно выступал под эгидой КСП Данила Калашник, модный современный музыкант, гитарист скандальной группы «Ленинград» и автор музыки к фильмам «Антикиллер» и «Апрель». В книге его имя не встречается.

Остальные саратовские исполнители, упомянутые в книге, известны разве что знатокам. О причинах этого В. Семенов говорит в последней главе «Авторская песня. Состояние и перспективы». По словам краеведа, «автор-исполнитель – это талант плюс интеллект... это образованный человек, окончивший в абсолютном большинстве случаев высшее учебное заведение... это нравственный человек, творчество которого утверждает идеалы добра и справедливости... отвергает корыстные устремления».

Развернутый ответ на грустный вопрос о перспективах развития жанра не оставляет никаких надежд.

## «Я умер в палиндромный год...»

**Александр ХАНЬЖОВ. Пора возвращения. Стихи. – Саратов: Научная книга, 2004.**

Сколько ни приходилось слышать о Ханьжове, все рассказы сводились к описаниям алкогольно-криминальных драм с его участием, вопиющих даже для саратовской богемы поздних советских лет. Пьянство, драки, суицид – обыденные вещи для андеграундного художника, они заменяли ему публикации, съезды и ордена. Но только за Ханьжовым числились столь впечатляющие достижения: ЛТП, психдиспансер, семилетний срок.

А вот стихи его не цитировали никогда, ни уважительно, ни в качестве карикатуры. Во всяком случае, до тех пор, пока саратовский издатель Олег Рогов не выпустил небольшой сборник Ханьжова «Круги надежды» в 1997 году (а составлен был в 1988 и вышел в качестве приложения к самиздатовскому журналу «Контрапункт»).

В поэтическом подполье распространено всего два способа существования. В качестве многопишущего мэтра с зигзагами биографии и в качестве героя шумных околотитулярных трагедий с тремя достойными строчками. Стихи Ханьжова всегда оставались в тени его биографии.

Между тем поэтом он был настоящим, непризнанного гения из себя не строил, не рвался в печать, но и графоманских выкриков себе не позволял.

Официальное искусство  
свои законы утвердило,  
увы, не столько силой чувства,  
а чувством силы.

Написанные в 1969 г., эти строчки были откровением, потом, в конце 80-х, когда я впервые их прочитал, воспринимались виртуозно оркестрованной банальностью, а теперь снова стали неожиданно актуальны.

Лирика 70-х, трогательно-брутальная, лучшее, как мне кажется, из написанного Ханьжовым: «Тот дом за трехлетний срок/ не переменялся личиной:/ все тот же щербатый порог/ и та же калитка с пружиной,/ все та же узорная дверь/ и все там по-прежнему, кроме/ того, что она теперь/ ему отдается в том доме».

«Пора возвращения» — скорее всего, полное собрание стихов. В книге приводятся и варианты строф, и отрывки из записных книжек, и тюремные открытки. 115 законченных стихотворений (за период с 1966 по 2002) говорят о чувстве меры у автора, столь несвойственной поэтическим натурам. Большинство из них, и, разумеется, написанные в зоне, печатаются впервые.

В заключении многие пишут стихи, даже те, кто на воле читать толком не умел. Все в этих поделках, как правило, предсказуемо: от тоски по женщине до обиды на несправедливое наказание. Ханьжов до такой чепухи не опустился. «С этапа попадая в лагерь свой, / доволен я и шконкой угловой, / и полотенцем, теплым и пушистым... / Убог уют усталого раба! / Но, как бы ни скребла меня Судьба, / я и в Аду останусь гедонистом».

Вот, вроде бы, предсказуемый самоанализ:

За тысячу каторжных дней  
и сотню ночей в этом роде  
мне стало видней и ясней,  
каким я был сам на свободе.

Но тут же автор спохватывается, невесело иронизируя: «Теперь, как «признанный поэт», / пишу для лагерных газет». И, вразрез с традицией, констатирует: «Что я виновен был — нет спору».

Правильно, что щемящее чувство вызывают не строки про загубленную молодость, которые у Ханьжова, к сожалению, тоже есть, но вот такие:

Не верится, что срок идет к концу,  
что, годы здесь отбыв, я пережил  
четыре поколения местных кошек.

Отношение к смерти меняется от показного равнодушия до математически выверенного предсказания. «Не важно мне: умру ли я, как Лорка, / или «крякну» под личиной алкаша / от зланных суррогатов пиццеторга, / кончиной никого не всполоша».

Ну, такой позой давно никого не удивишь. Но и от строк, написанных уже без всякого жеманства, не отвернешься:

Я умер в палиндромный год  
и возраст мой был палиндромен.

В конце 2002 года в возрасте 55 лет Александр Ханьжов умер от туберкулеза.

Иван Козлов

№ 9-10 2007

# Императоры, топ-менеджеры и дамская проза

**Т**ри известных режиссера представили три свои новые ленты. Любопытно было бы подменить титры и посмотреть, как прореагировала бы публика, не зная, например, что «Самого главного босса» снимал фон Триер. Но эпоха анонимного кино еще не наступила повсеместно, и контекст творчества режиссера по-прежнему остается определяющим в разговоре о той или иной ленте. А у хороших режиссеров даже неудачные ленты интересны.

## Самый главный босс



Все ждали от Ларса фон Триера третью часть его «американской трилогии» («Догвилль», «Мандерлей»), а он снял комедию. Вернее, то, что считает комедией. Или то, что как бы кем-то считается комедией, а он, фон Триер, эти жанровые условности раз-

рушает. Причем разрушает своим фирменным образом — подчеркивая и усиливая их, в то же время от них отстраняясь, как бы говоря: «Это не я придумал, это такая культурная традиция существует. А почему, как вам кажется?». Именно таким способом он «разбирался» с мюзиклом в «Танцующей в темноте».

Но если «Танцующая...» была интересна именно своей избыточностью приемов, то «Самый главный босс» явно недотягивает до ее уровня. Фильм очень камерный, проходной, как бы извиняющийся за свое существование. Зачем фон Триер его снимал, просто потому, что деньги дали? Говорят, впал в депрессию из-за коммерческого неуспеха своего детища.

Что в фильме любопытно — как решается основная проблема в ее национальном, так сказать, изводе. Проблема состоит в снятии с себя ответственности за административные действия. То есть — проблема с личностью директора.

Отечественный вариант прост и понятен, дошел к нам через десятилетия в своем классическом неизменном варианте под кодовым именем «Фунт». Помните, да?

«Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом».

И старик медленно загибал пальцы, сцита царей.

— При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни...»

Американский вариант представлен фильмом братьев Коэн «Помощник Хадсакера». Фирма жила долго и счастливо, но хотела бы умереть, желательнее естественным путем. Для это нанимается заведомо провальный менеджер, который, впрочем, творит на своем рабочем месте подлинные чудеса именно из-за своего нестандартного подхода к наболевшим проблемам.

Вариант европейский—самый разочаровывающий. Владельцу IT-компания стыдно рулить самому, и он изобретает—для подчиненных—самого главного босса, который принимает так хорошо нам всем знакомые «непопулярные решения».

Смотреть этот фильм нашему офисному люду тяжело и горько. То ли мы «еще», то ли они «уже». Я с трудом себе представляю ровную и продолжительную работу в фирме человека, который время от времени дает в морду «самому главному», к тому же прилюдно, во время совещаний.

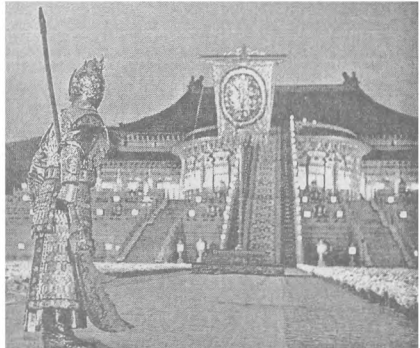
Ах да, это ж комедия. А самый главный вовсе не самый главный, а обычный актер, который хочет подработать и по знакомству устраивается на эту должность, то есть на эту роль.

Ему хочется побыстрее и попроще ее отыграть, но оказывается, что надо играть не только перед коллективом, но и перед партнерами. С коллективом, само собой, возникают и рабочие, и чисто человеческие отношения, вплоть до романов, а вот с партнерами дело обстоит сложнее. Тут, пожалуй, самый интересный (хотя и самый маловнятный для большинства россиян) аспект фильма—национальный. Дело в том, что партнеры—исландцы, а их связывают с датчанами очень непростые отношения на протяжении целых столетий. А если добавить, что роль исландского партнера играет весьма популярный у нас исландский же архаусный режиссер Фридрих Тор Фридриксон, то получается вполне удачный капустник.

Триер несколько раз лично вторгается в ход фильма, что-то «объясняя» или «оправдываясь», такую роль он себе назначил, такой имидж соорудил. Главное в нем, пожалуй, не игра с жанрами, не ниспровержение метаприемов, а нечто глубинное—готов-

ность к неудаче. Практически любой его фильм потенциально провален. Но большинство из них—как бы шедевры, принятые на ура. С «Самым главным боссом» не получилось. Но завтра, со следующим фильмом—обязательно получится.

## Проклятие золотого цветка



Чжан Имоу, некогда фрондирующий китайский кинорежиссер («Красный гаолян», «Поднимай красный фонарь») продолжает совершенствоваться в жанре средневековых боевиков с летающим балетом,—так традиционно решаются в восточном кино боевые сцены («Герой», «Дом летающих кинжалов»).

Эти фильмы, по крайней мере, сняты с Чжана Имоу ярлык персоны нон грата у него на родине. Новые ленты традиционно поругивают, но успех их на международных фестивалях и внушительные сборы заставляют закрывать глаза на до сих пор неприемлемые для компартии мотивы в его фильмах. Тем более что такая фигура, как Чжан Имоу—в его сегодняшней ипостаси,—позволяет достойно представлять китайским национальным кинематографом на международной арене.

«Проклятие золотого цветка»—как бы развитие исторической темы, заявленной в «Герое» и «Доме летающих кинжалов». Впрочем, не очень понятно, при чем тут вообще историческое время, X век и династия Тан. Зрителю почти все равно, главное—«в некоем восточном царстве-государстве жили-были». Или исторический колорит призван оттенить волшебные происшествия, намекнуть нам на какой-то золотой век, когда монахи летали, простолудины любить умели, а коварство и этикет подавались в одном флаконе (причем буквально).

Дюма со своими подвесками королевы, конечно, отдыхает. Мы смотрим,



прежде всего, очень красивое зрелище, имеющее отношение к конкретному историческому периоду лишь восточным колоритом и, наверное, какими-то реалиями, относящимися к «древним временам» в широком смысле.

А так все очень современно—политика, незаконные дети, инцест, опять инцест, борьба за власть. Главное, чтоб взгляд было не оторвать. Массовые сцены, действительно, впечатляют, а неожиданный конец заставляет вспомнить о названии.

Любопытно, что изменилось в эстетических требованиях публики. Если раньше это были «клеопатры», «анжелики» и прочие «плащи и шпаги», то теперь востребован восточный вектор. Восток, само собой, дело тонкое (интриги), с другой стороны, он перенаселен, отсюда регулярные сцены массовых побоищ. В «Проклятии золотого цветка» это уже не битва, а сшибка двух цветковых пятен. Такое впечатление, что мы перенесли из предельно детализированного и эстетизированного мира в такой же условный—но муравейник, кинематическую абстрактную композицию.

Мне, наверное, было бы не очень приятно видеть такие квазиисторические ленты на отечественном материале. Национальная гордость, что ли, мешает... Хотя тут вопрос в степени условности—насколько «невсамделишность» происходящего позволяет отстраниться от эмоциональной реакции, оставив лишь эстетическое любопытство?

## Ангел



Франсуа Озон любит снимать «женские» фильмы, в этом он похож на Альмодовара. Только если у испанца это

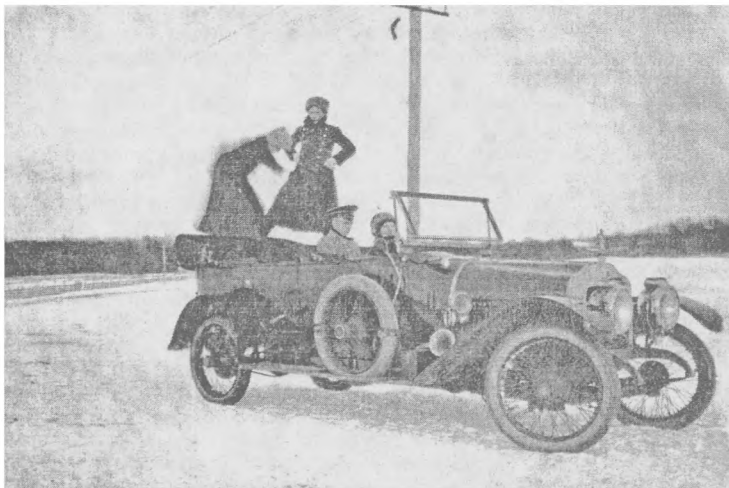
всегда Пенелопа Крус и абсурдный карнавал комедии положений, то фильмы Озона куда более строги и камерны («Восемь женщин», «Под песком», «Бассейн»). «Ангел»—из этой же когорты, печальная и агрессивная история девушки, которая считала себя писателем. Собственно, это мнение поддерживалось окружающими. Потом она вышла замуж, муж ушел на войну, ему отрезали ногу, а она умерла. Впрочем, все претензии к первоисточнику—фильм является экранизацией романа Элизабет Тейлор.

Это, как вы поняли, мелодрама. Озон, словно хищный зверь, вынюхивает, что можно извлечь из траектории традиционных ходов коммерческого костюмного кино. Оказывается, много чего. В первую очередь—приемы эффекта остранения, то, как режиссер дистанцируется от того, что он снимает. В этом есть своего рода смирение и холодный взгляд аналитика.

Озон совсем не романтик, он очень крепкий ремесленник, в нем есть какая-то врачебная безжалостность, настолько хладнокровно он препарировал материал. Те нюансы, которыми пронизана ткань фильма, и делают его тем особенным зрелищем, которое планировал для нас Озон. Например, явное безумие героини, проявляемое не явно, но исподволь,—то в дурновкусии, то в неопрятности.

Не очень понятно, зачем все это было затеяно, но режиссерская душа—потемки. Важно одно—фильм получился. И еще важнее другое, определенная тенденция: многие зрелые киномастера ищут вдохновения в маргинальных жанрах, коммерческом мусоре, приспосабливаясь к его ауре и в то же время отстраняясь от него, как исследователь изучал бы объект. Наверное, работа с «низкими» жанрами очень захватывает, тут можно почти все, раз ты уже взял себе индульгенцию, снимая такое кино. Критиковать его невозможно, да и не нужно. Интереснее просто наблюдать, как Озон усиливает эмоциональный фон, как добавляет депрессивных тонов, как декорирует китч.

Массовая культура завораживает многих. И припадают к ней, как к бесконечному источнику, который сам в свое время поглотил оригинальные идеи выдающихся мастеров «авторского» кино.



*Первый автомобиль города Саратова  
графа Нессельроде на Кумысной поляне (1909 г.)  
(Открытие из коллекции Евгения Спицына)*

Журнал «Волга – XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,  
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Соучредители: Министерство информации и печати Саратовской области,  
Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации  
«Союз писателей России».

Издатель: ООО «Редакция журнала «Промышленность Поволжья»»  
Генеральный директор – Сергей Гришин (Издательский дом GrishineL).

Ответственный редактор – Анна Сафронова  
Билд-редактор – Ирина Елисеева  
Дизайн и верстка – Лилия Баранова  
Корректор – Марьям Крылатова

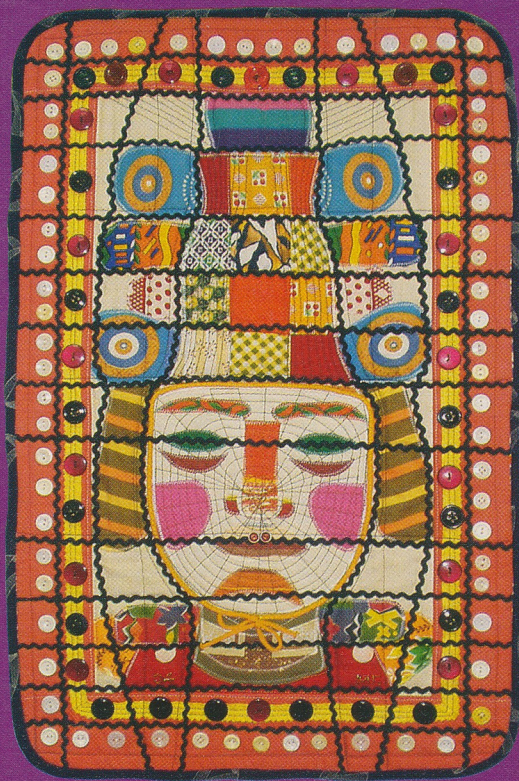
Подписано в печать 11 октября 2007 года.  
Журнал отпечатан в типографии ООО «Новый ветер»  
(410600, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 113).  
Заказ № 7869.  
Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 217.  
Адрес редакции: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239, корп. 42, оф. 528.  
Тел./факс: (845-2) 45-96-49;  
тел.: (845-2) 59-50-10.  
E-mail: [ivm@genet.ru](mailto:ivm@genet.ru) (с пометкой – для «Волги»).  
[Http://www.i-v.ru](http://www.i-v.ru)  
[www.grishinel.ru](http://www.grishinel.ru)

Перепечатка или размножение любых материалов журнала допускается только после  
письменного разрешения издателя, ссылка на издателя обязательна.

В своей деятельности редакция руководствуется стандартом ISO 14001.  
Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 21,45.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 23,66.  
Тираж 1100 экз.



Мила Гор. «Сетевой ангел». 2005 г.



Мила Гор. «Кошка в полете». 2007 г.



Фото Валерия Кузьменко «Калитка во времени»



**Publisher – Grishinel**  
**hand made**  
**2007**

